

Николай Гейнце
ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ
НОВГОРОД



Николай Гейнце

Господин Великий Новгород: сборник

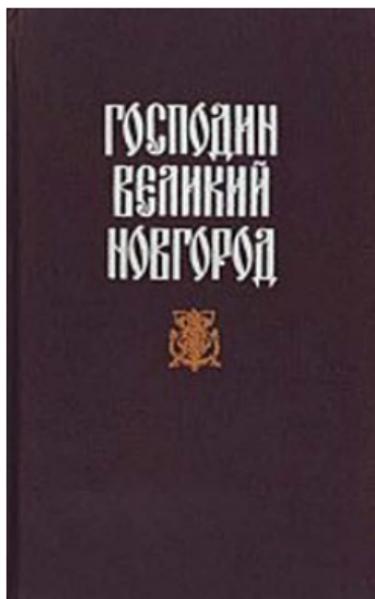
Имя Николая Гейнце — видного русского писателя середины прошлого века, автора ряда исторических романов об истории России сравнительно мало известно отечественному читателю.

От множества современных и более поздних писателей, пишущих на ту же тему, его отличает глубокое проникновение в суть описываемых событий, активная работа с документальными источниками, многие из которых оказались безвозвратно утраченными в наши дни, активная гуманистическая и православная идея.

Повести о «Господине Великом Новгороде» воскрешают перед нами события XV–XVI веков, когда молодое российское самодержавие боролось с новгородской вольницей, противостоявшей утверждению абсолютной монархии на Руси.

Составитель Л. И. Моргун

Николай Гейнце



ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД (сборник)

Содержание:

НОВГОРОДСКАЯ ВОЛЬНИЦА

Часть I. ГОСПОДИН ИЛИ ГОСУДАРЬ?

- I. В Новгороде
- II. В тереме Марфы
- III. Клятва
- IV. Среди спасителей отечества
- V. Новгородская бывальщина
- VI. Чурчила
- VII. Вече
- VIII. Бунт
- IX. В келье Феофана
- X. Ответ великому князю
- XI. На берегу Волхова
- XII. В доме Фомы
- XIII. В Чертовом ущелье
- XIV. Терем под Москвой

- XV. Поздние гости
- XVI. История
- XVII. Рассказ Савелия
- XVIII. Рассказ Агафьи
- XIX. На пути к Москве
- XX. Москва в 1477 году
- XXI. В Кремле
- XXII. Царь
- XXIII. Начало новгородской смуты
- XXIV. Польская интрига
- XXV. Война
- XXVI. В доме князя Стриги-Оболенского
- XXVII. В палатах великокняжеских
- XXVIII. Пред лицом великого князя

Часть II. ПОД ВЛАСТЬ МОСКВЫ

- I. На берегу Наровы
- II. Пленник
- III. Павел-колдун
- IV. Бегство
- V. Замок Гельмст
- VI. Весть о русских
- VII. Два соперника
- VIII. Гритлих
- IX. Свидание
- X. В московской думной палате

- XI. Увещательная грамота
- XII. Под стяг московского князя
- XIII. Выступление и поход
- XIV. Новгородские перебежчики
- XV. Новгородское посольство
- XVI. Перед осадой
- XVII. Ворон ворону глаз не выклюет
- XVIII. Спасение Гритлиха
- XIX. Среди земляков
- XX. Ряженые в замке
- XXI. За славу, за Эмму!
- XXII. В подземелье
- XXIII. Пожар
- XXIV. Гибель Эммы
- XXV. Под Новгородом
- XXVI. Единоборство сына с отцом
- XXVII. Прерванное обручение
- XXVIII. Признание посольства Назария
- XXIX. Свадьба среди боя
- XXX. Арест вечевого колокола и Марфы

Посадницы

- XXXI. Послесловие

СУДНЫЕ ДНИ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

- I. На Волховском мосту
- II. Начало судных дней

- III. Царский суд
- IV. Афанасий Горбач
- V. Без матери
- VI. В Александровской слободе
- VII. Первая любовь
- VIII. В родительском доме
- IX. Перед лицом царя
- X. Христова невеста
- Послесловие

СЦЕНА ИЗ ЖИЗНИ

- I. Красавец-мужчина
- II. Услужливый слуга
- III. Секретарь-философ
- IV. Артистка
- V. Без протекции
- VI. Благотворительница
- VII. Рассудил
- VIII. Дебютанты
- IX. Врасплох
- X. Банкир
- XI. В Малом Ярославце
- XII. Общее собрание
- XIII. Скатертью дорога
- XIV. Раскаяние
- XV. Неисправимый

- XVI. У актрисы
- XVII. Подруга
- XVIII. Кто в лес, кто по дрова
- XIX. Скандал
- XX. Возвращение
- XXI. Не дожидала

СЦЕНКИ, ОЧЕРКИ И ТИПЫ

- Торжество добродетели
- Современные сестрицы
- Дорогая шляпа
- Чековая книжка
- Выигрышный билет
- Этажом ошибся
- Вечный жених
- От Москвы до Петербурга

МЕЛКИЕ РАССКАЗЫ

- Бессилие искусства
 - Исповедь
 - В цирке
 - Портрет
 - Петербургская субретка
 - Первая подлость
-
-

НОВГОРОДСКАЯ ВОЛЬНИЦА (Исторический роман из времен Иоанна III)



Часть I ГОСПОДИН ИЛИ ГОСУДАРЬ?



I В Новгороде

На дворе стоял сентябрь 1477 года.
Бледные осенние тучи бежали по небо-
склону. Из них сыпался мелкий частый



дождь; отдаленные горы и вершины были покрыты как бы серебряной дымкой; ветер то бурливо завывал по ущельям, раскачивая макушки огромных дубов и шумя последними желто-красными листьями молодого осинника, то взрывал гладкую поверхность реки Волхова, и тогда, пробужденная от своего ве-

личественного покоя, разгневанная стихия бурлила и клокотала, как кипяток.

Вдруг среди этих чудных по своему разнообразию звуков природы раздался звон вечеревого колокола в Новгороде: раз, два... и залился. Вся окрестность, содрогнувшись, заняла от этого звука.

Народ, заслыша его, повалил буйными и нестройными толпами на Ярославово Дворище, окружавшее вече, и буквально затопил его. Рогатки, заграждавшие улицы, раскидывались и трещали от напора толпы.

Призыв на вече раздался рано утром, и рогатки еще не были раздвинуты ярыжками[1].

— Что за невзгода снова грозитя на нас, бедных! — восклицали иные бегущие вслух, а другие только думали то же самое про себя, спеша достигнуть двора Ярославова, с которого несся вещий и пронзительный звук вечеревого колокола.

Без всякого порядка, без малейшего уважения к этому священному месту, бросился народ к воротам и стучал в них чем попало, угрожая выломать их или же сшибить камнями звонаря, если его тотчас не впустят в

общее собрание.

Несколько караульных, — иные с бердышами, иные с пищалями, чинно разъезжавшие вокруг двора, — были сметены, а полусонные ярыжки, шатавшиеся в изумлении и хлопотах во все стороны с поднятыми, присвоенными их должности палками, были биты ими же.

Наконец ворота подались, скрипнули, народ еще теснее прижался к ним, и они начали медленно растворяться.

Толпа с шумом, подобно бурному потоку, бросилась в них, но вдруг отступила, как бы пораженная внезапным видением, окаменела и мгновенно оказалась с обнаженными головами.

Архиепископ Феофил, во всем облачении, с животворящим крестом в руках, сопровождаемый знатнейшими сановниками, посадниками города и клиром, появился перед народом.

— Люди дерзновенные! — раздался среди наступившей могильной тишины его грозный голос, — образумьтесь! На что покушаетесь вы и перед кем? Разве забыли вы, послуш-

ники богопротивные, перед чьим лицом предстоите? Смиритесь и приложите внимание к грамоте, которую прочтут вам. Но предваряю вас: размыслить хорошенько, о чем пишет к вам законный ваш князь. Вот наместник его, прибывший к нам вчера о вечерье.

Архиепископ указал рукою на бывшего тут же боярина Федора Давыдовича и продолжал:

— Не посрамите себя перед ним, дайте в душе вашей место голосу совести и отвечайте ему кротко, что внушит вам рассудок. Настало время решительное. Отечество наше зыблется. Вы сыны его; я пастырь ваш; мы должны поддержать его, исцелить язвы, которые и прежде недрились в самом сердце его! Обдумайте, решитесь и преклоните колена перед милосердной заступницей нашей, святой Софией.

Феофил кончил и подал знак рукой. Посадник Яков Короб начал читать запросную грамоту великого князя:

— «Осподарь всея земли русския и великий князь московский, владимирский, псковский, болгарский, рязанский, воложский, ржевский, бельский, ростовский, ярослав-

ский, белозерский, удорский, обдорский, кондийский и иных земель отчин, и дедич, и наследник, и обладатель, Иоанн Васильевич, посылает отчине своей Великому Новгороду запрос с ближним боярином своим и великим воеводой, Федором Давыдовичем: что понимает народ его отчины под именем государя вместо господина, коим назвали его прибывшие от них послы архиепископские: сановник Назарий и дьяк веча Захарий? Имут ли они желание видеть власть судную в одних его руках и хотят ли присягнуть ему как полному властителю, единственному законодателю и судии не причастному, не иметь у себя тиунов, кроме княжеских, и отдать ему двор Ярославлев, древнее место веча? Если так, то он посылает им милость свою и скоро имеет вступить во владение своих праотцев. Сию запись скрепил печатник печатью великокняжескою, князь Юрий Патрикеев. Писал ее дьяк Анциферов, по реклу[2] Шершавый».

Далее были прочтены скрепы сановника Назария и дьяка Захария.

Когда посадник окончил чтение этой грамоты, несколько минут народ хранил молча-

ние ужаса, затем уже послышался глухой ропот:

— Это все бояре да посадники мудрят, якшаются с москвитянами, одаряются ими и тайком от нас обсылаются вестями да записями!

— Зачем же вече-то установлено, как не про всех? Что мы черных сотен слобод людишки, так нам и не поверяют умыслы свои! Вот от белых-то и замарались! Дело вышло на разлад, так наши же руки и тянут жар загребать! — слышались там и тут возгласы.

— Как бы не так! Что сами заварили, пусть сами и расхлебывают! крикнул чей-то зычный голос.

— Кто отвращает лицо свое от блеска меча вражеского, тот недостоин называться гражданином Новгорода Великого! — возвысил голос архиепископ. Но дело в том. Прение наше должно совершиться во льготу отчизне, иначе месть Божия над нами!

— Владыко святой! — начал тысяцкий Есипов. — Ты сам видишь, что всю судную власть забирает себе наместник великокняжеский. Когда это бывало? Когда новгородцы

так низко клонили свои шеи, как теперь перед правителем московским? Когда язык наш осквернялся доносами ложными, кто из нас был продавцом своего отечества? Упадыш? Казнь Божия совершилась над ним! Так да погибнут новые предатели — Назарий и Захарам. Мы выставляли князю московскому его оскорбителей, выставь и он нам наших!

— Вестимо так, требуем этого по договорным грамотам! — раздались народные крики.

— Пойдите, выслушайте меня, или же я слагаю теперь же сан свой с себя! — заговорил Феофил, возвышая голос, заглушаемый народом.

Из уважения к пастырю душ воцарилось молчание.

Архиепископ заговорил:

— Чьи очи из вас не зрели бедствия, унижения и срама отечества в недавнем времени? Чей слух не был раздираем воплями соотечественников братьев ваших? Чье сердце, содрогаясь, не соболезнавало в те тяжкие времена? Ваша кровь не совсем еще высохла на стенах крепостных, и вы, кичливые, опять становитесь доступны гордости, самонадеян-

ности и непослушанию; опять даете пищу мечу вражескому, опять хотите утолить жажду его собственной кровью! Проклят тот, кто неправедную силу не отражает силой, но вдвое тот — кто противится правоте.

— Владыко святой, да видит Бог, мы неповинны. Ты сам видишь, на нас налгали. Между нами предатели, Иуды! Так бы и Литва не поступила! — снова закричал народ.

— Дети мои, — кротко и величественно отвечал Феофил, — сознавайтесь, чашу горшую должны допить вы за прошедшую вину свою ни чем неискупимую. Не ропщите же, но допивайте ее. Презренные наушники зло хитрят над вами: отклоните от их наветов слух свой, будьте терпеливы и предайтесь на волю Провидения. Мы обошлемся сперва с князем, обвиним предателей и поклонимся ему; предатели же будут наказаны собственным и грозным судом своей совести, а от нас да будут они преданы анафеме! Пойдемте же, поклоните колени перед престолом Всевышнего: это будет священным началом нашего дела!

Он снял клобук, благоговейно перекре-

стился и пошел.

— Анафема изменникам! — торжественно воскликнул клир.

— Анафема! Да будут преданы анафеме изменники — предатели отечества! — подхватил народ и в стройном порядке отправился за своим духовным владыкой.

Величественную и стройную картину представлял из себя храм святой Софии, основанный князем Владимирским, сыном Ярослава Великого, оставшийся доныне единственным памятником древнего Новгорода, когда благочестивый архиепископ, облаченный в крещатую ризу, с паствой своей преклонил колена перед алтарем и клир умирительно запел молитву: «Царю небесный».

По окончании ее Феофил вдохновенно произнес:

— Царь небесный услышит нас, когда мы dokonчим благословенное начало, но гром Его не замедлит разразиться в противных поступках. Опять повторяю вам: будьте кротки и терпеливы. Видите ли вы в куполе образ Спасителя со сжатой десницей вместо благословляющей? «Аз-бо — вещал глас писавшему

сию икону, — в сей руке Моей держу Великий Новгород; когда же сия рука Моя распространится, тогда будет и граду сему окончание».

Растроганный народ начал молиться почивающим в храме мощам святителя Никиты, печерского затворника; благоверного князя Владимира Ярославича и святой благоверной княгини Анны, матери его; приложился к Евангелию, писанному святым Пименом, и иконам Всемиловитового Спаса и премудрости Божьей — Петра и Павла, затем вышел на паперть, поклонился праху архиерея Иоакима и, освобожденный и успокоенный пастырским словом, мирно разошелся по домам.

II

В тереме Марфы

Темная ночь давно уже повисла над землей... Луна была задернута дождевыми облаками, и ни одна звездочка не блестела на небосклоне, казалось, окутанном траурной пеленой. Могильная тишина, как бы сговорившись с мраком, внедрилась в Новгороде, кипящем обыкновенно деятельностью и народом. Давно уж сковала она его жителей безмятежным сном, и лишь изредка ветер, как

бы проснувшись, встряхивал ветками деревьев, шевелил ставнями домов и опять замирал.

Вся Никитская улица с своими домами, балаганами и лачужками утопала в непроницаемом мраке. Только в самом конце ее, в продолговатом окошке высокого терема, обращенном во двор, мелькал огонек. Терем этот отличался от других особенным искусством и красотой в постройке, а потому назывался «Чудным теремом».

Его окружал на большое пространство высокий забор с зубцами, а широкие дощатые ворота, запертые огромным засовом, заграждали вход на обширный двор; за воротами, в караулке, дремал сторож, а у его ног лежал другой — цепной пес, пущенный на ночь. Кругом, повторяем, царила мертвая тишина, лишь где-то вдали глухо раздавались переклички петухов, бой в медную доску да завывание собак.

Послышались чьи-то тяжелые уверенные шаги. Кто-то шел вдоль забора и, остановясь у калитки, вырубленной в воротах, отыскал проволоку, продетую сквозь нее и потянул ее

к себе.

Раздался тонкий звук колокольчика.

Чуткий пес, давно уже настороживший уши, рывкнул, вскочил, подсунул рыло под подворотню и радостно забил хвостом о землю. Сторож тоже встрепенулся, и с языка его сорвался обычный вопрос:

— Кто идет?

— Свой! — ответил ему не громко, но грубо, поздний гость.

В ту же минуту сторож отскочил от калитки, медное кольцо зазвучало, и незнакомец, тщательно закутанный, перенес свою ногу через высокий порог, оправил полы своего широкого охабня и опять грубым голосом сказал сторожу:

— Тебе, старый леший, сидеть бы на горохе да пугать воробьев. Что так рано пришиб тебя сон? Разве забыл, что должен дожидаться меня?

— Не во гневе твоей милости, господине: от самой боярыни вышел приказ держать ворота на запоре! — отвечал ему сторож.

Вошедший посмотрел на окно терема.

— Что это за огонь в оконнице?

— Должно быть, светец горит, али жирник, а статья может свечи теплятся в образной боярышницей перед ликом праздничной иконы. Завтра ведь праздник Рождества Богородицы.

— Не впрок мне звать о празднествах твоих. Говори, старый плут, не укрывается ли кто у ней? Все ли наши собрались?

— А кто их знает. Я, окромя тебя, да князя Василия Ивановича, никого не знаю. Вишь, ходят все ночью, как тати.

— Скажешь ли ты мне, кто с ней, или я вызову у тебя язык вот этим! вскрикнул незнакомец и, распахнув полы охабня, показал на кинжал, блеснувший во мраке своей серебряной чешуей.

— Сейчас, боярин, сейчас. Прошел к ней еще о вечерьи; в память ли тебе тот чернец-то, что, бают, гадает по звездам? Мудреный такой! Ну, еще боярыня серчала все на него и допрежь не допускала пред лице свое, а теперь признала в нем боголюбивого послушника Божия? В самом деле, боярин, уж куда кроток и смирен он! Наша рабская доля — поклонись ему низехонько, а он и

сам так же.

— Кто бы это? — проворчал сквозь зубы вошедший. — Да это соловецкий пришелец, монах тамошней обители, все оттягивает у легионерной бабы льготы от земель ее на свой монастырь. Ну, я выжму ж его от нее... Он что-то мне подозрителен, — продолжал он вслух высказывать мысли, направляясь к крыльцу терема.

Терем этот принадлежал вдове бывшего новгородского посадника Исаака Борецкого — Марфе.

В описываемую нами ночь она сидела в своей наугольной гриднице, где на широком дубовом столе догорала восковая свеча в точеном костяном светце и освещала передний угол с иконами в богатых окладах. Гридница эта была под сводами и роскошно убрана во вкусе того времени. Стены ее были обиты алым бархатом с раскиданными на нем серебряными и золотыми звездочками, а по бокам воткнуты были красивые позолоченные стрелы, как бы поддерживая эти богатые обои. В глубине гридницы стояло высокое ложе с пышными, шитыми в узор шелками из-

головьями, задернутое кружевным пологом.

Марфа Борецкая сидела недалеко от него, важно раскинувшись на лавке, покрытой соболями.

Это была красивая, но далеко не молодая женщина. Покрывало ее, отороченное золото-шелковой бахромой, было немного опущено на лицо, и из-под него мелькали быстрые глаза, особенно когда она повелительно устремляла их на своего собеседника, скромного чернеца, сидевшего перед ней с опущенными долу взорами.

Этот чернец был отец Зосима, еще довольно молодой, настоятель Соловецкой обители.

— Да скажи же мне, отче Зосиме, каким случаем сделалась известна обитель Соловецкая и по чьим следам вошел ты в нее? — говорила Марфа.

— Невидимая рука Божия привела меня в это тихое и уединенное пристанище, — отвечал отец Зосима, — предместник мой, святитель Савватий, бывший инок Кириллова-Белозерского монастыря, искал пустыни, где бы мог укромно возносить молитвы свои к престолу Всевышнего и безмятежно кончить дни

свои, пустился странствовать с духовным братом своим Германом. Они отыскали такое место на диком, уединенном, совершенно безлюдном острове и поселились на нем в 1422 году; там выстроили они себе убогий шалаш под мрачными сводами елей, недоступными солнечным лучам, а подле него часовню и дожили срок жизни своей тихо и благословенно.

— Как же ты переступил рубеж светской жизни? — продолжала допытываться Борецкая.

— Молва и слава о подвигах моего предместника огласилась во всех концах земли русской, сердце мое закипело святым рвением — я отверг прелесть мира, надел власяницу на телесные оковы и странническим посохом открыл себе дорогу в пустыню Соловецкую, обрел прах предместников моих, поклонился ему, и искра твердого, непоколебимого намерения, запавшая мне в душу, разрослась в ней и начала управлять всеми поступками моими. С благословения покойного архиепископа новгородского Ионы, основал я храм и огородил его стенами. Люди чуждые мира

стекались ко мне со всех сторон и охотно понесли со мной тяжелый крест, скоро сделавшийся для нас легким; вскоре все избрали меня настоятелем, и это избрание довершил Иона благословением своим и поставил меня в игумены. Мощи святителя Савватия перенесли мы со всем благочинием в обитель, где почивают они и доньше. С тех пор живем мы тихо, миролюбиво, согласно и привольно. Грамотой новгородской предоставлено нашей обители владеть островами Соловецким, Анзерским, Заяцким и другими. Мы, сколько могли, улучшили обитель: питаемся рыбной ловлей и засеянными нашими руками овощами; завели солеварню, провели каналы от потопления и без всякой нужды ожидаем вечности.

— И тебе, отче святой, не взгрустнулось по свету в юные годы твои? Не наскучили труды тяжкие, каждодневные, ни тогда, ни теперь?

— Они-то и не дали места скуке в душе моей, посвященной Богу и трудолюбию. Тогда я был крепче телом, ныне — духом. От молитвы — к трудам, от трудов — опять к молитве. Мне некогда было скучать и кручиниться. На

душе было легко, на сердце весело. В часы отдохновения, бывало, выйдешь поразмыслить о своей новой жизни, взглянешь на все окружающее, начнешь созерцать искусство Небесного Художника — и мысли потонут в дивной красоте. Дикое, но прекрасное очарование положительно сковывает тебя: высокие развеселей, пышными шатрами нависшие и шумно раскачивающиеся над головой, а под ногами мрачное море, по которому ходят бурливые волны, глаз обнимает бесконечную сизую пелену, кипящую сверкающими алмазами при свете дня. Одна мысль, что ты находишься на краю земли, отдаленном от всего мира, возбуждает благоговейные и высокие чувства, не радость и не печаль закрадывается в душу, а что-то необъяснимое, что выше того и другого. Когда же в немом восторге слеза умиления прольется из глаз, упадет на сердце и осветит его, когда душа зарвется из пленной оболочки своей и запросится в мир чудес и света... тогда поймешь этот мир, несравненно более прекрасный, нежели оставленный тобой.

Зосима умолк.

Благоговейно слушала Марфа вдохновен-

ные слова святого мужа и после некоторой паузы растроганным голосом сказала:

— Да, у кого святое тепло на сердце, тому и ничего не недостает; но у кого душа больна...

Она не могла более продолжать и быстро надвинула покрывало на все лицо, чтобы он не прочел в нем движения сердечных дум.

— У кого она страдает светскими помыслами, так ее и многим не удовлетворить: это бездонный сосуд, которого ничем никогда не наполнишь! отвечал, понявши ее, отец Зосима.

— Истинно верую в слова твои, — начала она опять, успокоившись. Помнишь ли, праведный отче, когда ты искал покровительства моего от обид двинских жителей. Я владею близ страны, тобой обитаемой, богатыми селами, но я отказала тебе во всякой помощи. Теперь совесть, раскаяние мучит меня.

— Человеку долженствует помнить одно добро; тебя смутил искуститель в образе неверного литвина. Прости меня, боярыня. Хоть ты и чтишь его своим суженым, но истина руководствует мной, и я вторично повторю устами ее: «отжени от себя врага, удались

от зла и сотвори благо».

Она сидела с поникшей головой.

— И тогда неправеден был гнев твой, — продолжал Зосима. — Вспомни, сколько щедрот своих излил на тебя законный князь твой: все имущество твое, золото, серебро, камни дорогие и узорчья всякие, поселения со всеми землями и угодьями остались сохранены от алчбы вражеского меча; жизнь твоя, бывшая подле смерти, искупилась не чем иным, как неподкупною милостью великого князя московского. Сверх того, сын твой Дмитрий также не обойден был ею и пожалован знатным титулом боярина московского. Чего же недостает ненасытности твоей?

Глаза Марфы блеснули из-под вновь приподнятого ею покрывала.

Было заметно, что напоминание о прошедшем затронуло слабую струну ее сердца.

— Но где же сыновья мои? — воскликнула она. — Один под черным рубищем муромского монаха, быть может, скитается без приюта и испрашивает милостыню на насущное пропитание; другой, — жалованный боярин мой, — под секирой московского палача

встретил смертный час! Это ли милость великокняжеская!

Она перевела дух.

— Я призвала тебя и одарила богато, чтобы посоветоваться, как отвратить общую напасть, грозящую всему Новгороду, а ты, пробудив во мне заснувшую было ненависть к мучительнице-тиранке — Москве, заставляешь еще каяться за то, что я люблю отечество свое и не меняю его перед гонителем сына моего, меня самой, моей родины! Нет. Марфа не укротится, не посрамит себя!

— Многие я сказал бы тебе на слова твои, — прервал ее отец Зосима, но ты, несомненно, слышала уже слова владыки нашего Феофила, а мне остается только домолвить. Я призываю цель твою, меня не смутят козни любимого твоего Болеслава Зверженовского. Вы хотите властвовать! Но помните: кто выше станет, тот быстрее падет! Любовь всякая, как и твоя к родине, бывает часто слепой. Если ты не желаешь видеть света истины, то отпусти меня — я более не нужен тебе — и дары твои оставь при себе: они тяжелы, не по силам моим.

— Тебя любит народ. Как молитвы твои доступны слуху Всевышнего, так и увещевания на подвиги бранные воспаляют сердце каждого новгородца против врагов отчины! — начала было умиловать его Марфа.

— Я не вижу их! — сказал он равнодушно, вставая со своего места.

— Так благослови же хоть меня на это! — выговорила с заметной досадой огорченная Марфа, поспешно вставая со скамьи.

— Отныне и до века благословляю и заклинаю тебя именем Вездесущего Свидетеля всех дел и помышлений наших, и всеми святыми угодниками новгородскими, и матерью-заступницей нашей, святой Софией, только на добрые дела! — произнес торжественно Зосима и вышел.

— Гордый монах! — прошептала Марфа и в волнении начала ходить по светлице.

III

Клятва

Шаги отца Зосимы не затихали на чугунном полу узких сеней терема Борецкой, как Болеслав Зверженовский — незнакомец,

разговаривавший со сторожем, — вошел в противоположную дверь светлицы Марфы, блеснув своим коротким полукафтanjem и ножками кривой польской сабли.

— Здравствуй, боярыня! — сказал он мрачно с заметным неудовольствием в голосе, низко и почтительно кланяясь хозяйке.

— А, это ты, пан! — ласково приветствовала она его, хотя выражение ее теперь почти открытого лица носило следы только что пережитого душевного волнения. — Ну, что нового? Я давно поджидаю тебя!

— Свет наш состарился: что же искать в нем нового? — коротко отвечал он.

— Ночь уже очернила его, теперь он не белый, а во мраке, и в этих случаях, по моему мнению, новостям должен быть урожай, — с ударением на каждом слове проговорила Марфа, усаживаясь на скамью.

— Ты, боярыня, сама была окружена за последнее время чернотою, от которой не спасет тебя и свет, а во мраке — новости мрачные; не спрашивай же о них!

— Что замышляешь ты сказать мне? — озабоченно спросила она, не поняв или не

желая понять его намека. — Или худой оборот приняли наши дела, или мало людей на нашей стороне? Возьми же все золото мое, закидай им народ, вели от моего имени выкатить ему из подвалов вино и мед... Чего же еще? Не изменил ли кто?

— Никто, все идет хорошо! — спокойно отвечал Болеслав, садясь возле Борецкой по данному ею знаку.

— С чего же ты такой озабоченный, пасмурный?

— Не дух ли сына твоего, Феодора, до меня являлся проститься с тобою? — ответил он ей вопросом.

— Нет, это был чтимый Зосима, муж разумный, но... несколько... не знаю что и сказать о нем.

— Не в нем дело! — раздраженно прервал он ее. — Ты давно не видала своего сына?

— С тех пор, как московские тираны выволокли его в цепях из родных стен и принудили постричься в Муроме; напрасно я старалась подкупить стражу, лила золото как воду, они не выпустили его из заключения и доныне, не дозволили иметь при себе моих сокровищ.

вищ для продовольствия в тяжелой иноческой жизни... Но к чему клонится твой вопрос? Нет ли о нем какой весточки? — с трепетным волнением проговорила она.

— Боярыня! — торжественно, громко произнес Зверженовский, поднимаясь с лавки, — будь тверда! Ты нужна отечеству. Забудь, что ты женщина... докончи так, как начала. Твой сын уже не инок муромский, не черная власяница и тяжелые вериги жмут его тело, а саван белый, да гроб дощатый.

— Как?.. он... второй?

— Его домучили... Сегодня я узнал об этом достоверно от одного муромца, очевидца его последних минут. Но будь тверда...

Трудно описать выражение лица Борецкой при этом известии; оно не сделалось печальным, взоры не омрачились, и ни одно слово не вырвалось из полуоткрытого рта, кроме глухого звука, который тотчас и замер. Молча, широко раскрытыми глазами глядела она на рокового вестника, казалось, вымаливала от него повторения слова «месть».

Зверженовский с злобной радостью, казалось, проникал своими сверкающими глаза-

ми в ее душу, но также молча вынул из ножен саблю и подал ее ей.

— Значит, ты понял меня? — произнесла она хриплым, сдавленным голосом.

Он кивнул головой и, сложив руки на груди, вопросительно глядел на нее.

— Клянусь острием этой сабли, клянусь кровью и прахом сыновей моих, я изнурю себя, лишусь своего имущества, но уязвлю гордыню московского князя под стенами Новгорода, или пусть погибну под ножами его клеветников, торжественно произнесла Марфа, размахивая саблей, и глаза ее блистали как сталь, которую она держала в руке.

Картина была достойна великого художника: хитрый поляк с сверкающими злобной радостью глазами, с шершавой головой и смуглым лицом, оттененным длинными усами, казалось, был олицетворением врага и искушителя человечества, принимающего исповедь соблазненной им жертвы.

— Через мой труп перешагнут на тебя твои враги, боярыня, — хвастливо произнес он, — а победа надо мной достанется им дорого.

— А если она будет на нашей стороне?

— Тогда гуляй мечи на смертном раздолье! Весь Новгород затопим вражеской кровью, всех неприязненных нам людей — наповал, а если захватим Назария, да живьем еще, я выдавлю из него жизнь по капле. Мало ли мешал он мне, да и тебе, ни на вече, ни на встрече шапки не ломал. А Захария посадим верхом на кол, да и занесем в его притон — Москву. Нужды нет, что этот жирный бык не бодается, терпеть нам его не след.

— А после, — с восторгом начала Марфа.

— А после, — прервал он ее, — после тебе в руки жезл правления... Казимир твоя правая, а я — левая рука...

Борецкая дико, радостно захохотала.

— Ты... ты, — произнесла она, тихо переводя дух, — ты будешь моим, я твоей... жизнь поделим поровну.

Вдруг в древнем Херсонском монастыре, на Хатуне, заныл колокол, брякнул несколько раз и опять замолк; только ветер, разнося дождевые капли, стучавшие по окнам, гудел как труба — вестница чего-то недоброго.

Злоумышленники вздрогнули и переглянулись между собой.

— Что бы это значило? — почти шепотом сказала Марфа. — В глухую ночь кто может взойти звонить на колокольню? Кажется, нам не слышалось?

— Нет, это, должно быть, ветер шевельнул колоколами, — отвечал Зверженовский с расстановкой, прислушиваясь. — Вот опять стало тихо.

— Однако, это не даром... мне что-то жутко! Уж не бунт ли затевается? Кажется, рано. Не предупредил ли нас кто-нибудь?

В это время на дворе заскрипела калитка, залаяла собака и слышались голоса входивших на двор людей.

— Бабушка, бабушка! Мне страшно, не спится что-то, да и грезы все такие страшные, будто ты, — заговорил сквозь слезы, дрожа всем телом, вбежавший десятилетний внук Борецкой, сын ее сына Федора Исакова.

— Что ты, Васенька, чего испужался? — прервала его Марфа, лаская мальчика. — Что такое тебе привиделось?

— Да вот, будто, ты, да пан этот, — ребенок указал рукой на Зверженовского, — хватаете меня мохнатыми руками и хотите стащить с

собой в яму, оттуда тятенькин голос слышится, да такой слезливый, и он, будто, сидя на стрелах, манит меня к себе. Кровь из него ручьем хлещет, а глаза закатились. Мне не хотелось прыгать к нему, да вот пан этот так на меня глянул, что я не вспомнил, сотворил крестное знамение, зажмурился, прыгнул, вскрикнув, и проснулся. Вокруг меня темно, и, кажись, наяву, представился мне опять тятя, поглядел на меня так жалобно, к вам сюда кулаком погрозился и пропал. Я хотел выговорить молитву: силюсь, да не могу. Тут оглушил меня звук колокола... Отец-то мой давно уж мне грезится...

— Полно, полно, позабавься, да полакомься гостинцами... и все пройдет, — в смущении заговорила Марфа и высыпала в подол его рубашки из коробки всяких сладостей.

Ребенок ушел с пришедшей за ним нянькой.

— Должно, это наши стучат по стенам, а то бы рабы твои остановили незваных гостей! — радостно сказал Зверженовский, заметно ободрившись.

— И впрямь наши, — отвечала Марфа и

вместе со своим гостем перешла из гридницы в соседнюю советную палату.

Там, действительно, уже были налицо все их соплеменники: сам тысяцкий Есипов, степенной посадник Фома, посадник Кирилл, главный купеческий староста конца Марк Памфильев, из живых людей[3], Григорий Куприянов, Юрий Ренехов в другие старосты концов: Наровского, Горчанского, Загородского и Плотницкого, некоторые чтимые в Новгороде купцы, гости и именитые, наконец, такая же знатная и богатая вдова, как и Марфа, Настасья Ивановна, которая хвасталась, что великий Иоанн, в бытность свою в Новгороде в 1475 году, ни у кого так не был роскошно угощен, как у ней.

IV

Среди спасителей отечества

После взаимных приветствий жданные гости разместились по широким лавкам.

Первая начала Марфа, обратившись к тысяцкому Есипову:

— Что, велемудрый боярин, соглашается ли с нами народ? На нашей ли улице праздник?

— Пока еще будни на нашей улице, боярыня, вот что скажет завтра. Золото, серебро и вино действуют; в хмельном разгуле народ побушевал, потолокся на площади, да и разошелся по домам, — отвечал Есипов.

— Теперь время действовать словами. Вон Феофил как опешил толпу велеречием своим, все пали ниц и заныли об отпущении вины, — заметил посадник Фома.

— Да, он все дело на свой лад настроил, да черно на душе его, так и всем будет: сладко во рту, да горько на сердце отрыгается! — вставил свое слово Зверженковский.

— Я сама завтра явлюсь перед народом. Он еще помнит меня и поминает, — начала было Марфа.

— Проклятием, — перебила ее Настасья Ивановна. — Я сама слышала намедни, как поносили тебя, боярыня, кляли, позорили того, кто послушает твоих наветов и обещались вымести телом пристанника твоего Софийскую площадь, если он только покажется на ней.

— «Слова без дел, что лук без стрел!» — ваше же русское присловие! обиделся Зверже-

новский. — Таковы новгородцы; а как услышат, что земляки мои наготове напасть на москвитян — заговорят другое. Они как рыбы — в худую погоду ищут глуби, а в ясную любят поиграть на солнце.

— Надобно непременно пустить слух, что Казимир стоит за нас и рать его уже выступила против москвитян, — поспешно сказала Марфа.

— Да их, вашу братию, новгородский народ не стал терпеть за обманы и называть челядинцами, голой Литвой, блудливыми кошками и трусливыми зайцами! — заметил один из старцев.

— Небось, на нашей стороне еще много людей, а золото, ласковые слова и обещания перетянут хоть кого. Завтра попробуем счастья новыми посулами, подмажем колеса, и все пойдет ходче, — с веселым, беззаботным смехом произнес Зверженовский.

Слуги в это время внесли и поставили на столы яства и пития, и между долгими разговорами и совещаниями началась попойка. Болеслав Зверженовский, съев конец сладкого пирога и оросив его крепким русским ме-

дом, воскликнул первый:

— Многолетие тебе, Марфа Борецкая, нынешняя боярыня и будущая княгиня новгородская.

— Многолетие, многолетие! — подхватили все, и гордая жена, встав, начала раскланиваться во все стороны.

Вдруг ударил колокол, другой, и благовест разлился по всему городу.

Все встрепенулись, как вороны, почуя кровь, думая, что это призыв к бунту и убийствам, но вскоре опомнились, и тысяцкий Есипов сказал:

— Чу... утренняя... пора и по домам...

— Нас давеча изумил еще дальний колокол в самую полночь, так завыл, что мы, шедши к тебе, боярыня, индо пригнулись к земле, — вставил один из гостей.

— Да, сильна непогода на Софийском храме, говорят, бурей крест сломило, — добавил другой.

— Ахти! — воскликнул третий, — это, братцы, помяните мое слово, не к добру...

— Ты бы сидел между баб и точил им веретена, когда, ничего не видя, начинаешь уже

трястись как осиновый лист, — оборвал его Зверженовский.

Все засмеялись, иные от души, а иные и нехотя вслед за другими.

— Горожане! братья! — начала снова Марфа. — Время наступает, отныне я забываю, что нарядилась женщиной, прочь эти волосы, чтоб они не напоминали мне этого, голова моя просит шлема, а руки меча; окуйте тело мое доспехами ратными, и, если я немного отступлю от клятв моих, залейте меня живую волнами реки Волхова, я не стою земли.

— И мы тоже! — подхватили все.

— Завтра поступаем по общему условию!

— Утро вечера мудренее, — говорили между собою, расходясь, гости.

— Каково же завтра проглянет день?

«Что-то темно! Уж не суждены ли нам вечные сумерки», — думали робкие, и скоро чудный дом Марфы опустел и замолк как могила.

На одном конце стола, покрытого длинной полостью сукна, стоял ночник: огонь трепетно разливал тусклый свет свой по обширной гриднице; на другом конце его сидела Марфа в глубокой задумчивости, облокотясь на стол.

Ее грудь высоко вздымалась. Печаль, ненависть, злоба, сомнение о сыновьях сверкали в ее глазах.

— Итак отныне я не женщина, — воскликнула она. — Прочь же эти уборы!

Она сорвала с головы своей покрывало, и две длинные косы, иссиня-черные, как вороново крыло, расплелись и скатились волнами на ее могучие плечи.

Когда волнение ее несколько улеглось, ей представился отец Зосима с коротким и вместе укоряющим взглядом. От сердца ее отлегло, на душе стало светлее и слеза умиления скатилась из ее глаз.

Она вздохнула было с облегчением, но вдруг ее взор упал на лезвие сабли, забытой Болеславом Зверженовским.

Вид этой сабли снова напомнил ей все.

Она схватила косу и мгновенно обрезала ее.

«Свершилось!» — пронеслось в ее голове.

V

Новгородская бывальщина

Багровая заря вошла на небо и бросила свой красноватый отблеск на землю. На-

стало раннее утро. Погода была переменчива. Порой ветер разгонял облака и показывалось солнышко, то опять оно заволакивалось тучами, черным саваном повисшими над Новгородом.

Снова, как и вчера, ударили в вечевой колокол со двора Ярославова, и пронзительный звук его разлился по окрестностям. Народ, только что успокоенный накануне Феофилом, не знал, как и разгадать причины нового призыва на общественный совет. Улицы заволновались, и ропотный шум толпы все усиливался и усиливался на Софийской площади.

Около самых ворот веча, осажденных со всех сторон народом, стоял старик с длинной, седой как серебро бородой, в меховой шапке с куньей оторочкой и длинными подвязными наушниками, зипун на нем был серый, на овчинном подбое, в руках держал он толстую, суковатую палку, с широким литым набалдашником из меди. Хотя морщины складками облегли его лицо, но глаза, из-под седых нависших бровей, горели огнем юности, особенно когда он, рассказывая про былую старину окружавшим его любопытным, при-

правлял свой рассказ разными прибаутками, присказками и присловьями и, переносясь на много лет назад, подражал молодецким движениям.

— И что за времена настали нонеча! — говорил он. — Чуть враг за лишком — и поникнут головами так низко, что шапка валится. Со страха, вестимо, искра кажется больше польмя. Износил я на плечах своих десятков семь с золотником годов, и изучился видеть, что черно, что бело. Бывало, кто не слышал, кто не видал Новгорода Великого далеко? Тот город то-то привольный, то-то могучий! — говорили и немчины, и литвины, и все иноземные людины: ганзейцы и мурмане, гречины и татары, бывшие в нем не как врага, а как гости, — любили заглядываться на позолоченные главы церквей его, разгуливать по широким улицам и любоваться на площадях и в балаганах всеми товарами заморскими! Тут раскиданы и меха пермские, и полотна фламсендские, и ковры персидские, и соболи сибирские, и камки хрущатые, и бахромы золотниковые, и всякие снадобья хитротканые, и седла азиатские, и камни самоцвет-

ные, и жемчуга бурлицкие, и уздечки поборные, и всякие узорья выписные. Всего грудями навалено было перед чужеземными зевками — отдай деньги и бери добра сколько хочешь, сколько можешь.

В мирное время задает всякий пир на весь мир! Отъедайся, отпивайся душа, ходи стена на стену, али заломи набок шапку отороченную, крути ус богатырский да заглядывайся на красоточек в окошечки косячатые; затронул ли опять кто, отвечай огнем, да копьем, да стрелами калеными, прослышат ли про караван ливонский, али чей-либо ненашенский — удальцы новгородские разом оскачат его, подстерегут и накинута с быстротой соколиной раскупоривать копиями добро, зашитое в кожи, а меж тем — косят часто головы провожатых, как маковинки. Бывало, одурь возьмет, как давно нет дела рукам; ну что, сиди на печи, да гложи кирпичи — разучишься и шевелить мечом; ждешь, не дождешься, когда-то грохнет вечеровой колокол, а уж как закатится, любо сердцу молодецкому, вспрыснет его словно живою водою радость удалая. Уж так забьется, так заскачет ретивое,

как конь необъезженный в чистом поле, того и гляди, что выскочит в пригоршню. А бились мы с Чудью и с Ямью, и с своими, и с чужими, и морем, и сухим путем, и Наровою, и Волгою, и по Нову-озеру несло наше ополчение на несчетных судах. На кого наскочили, тот разведывайся; куда пришли, там и дома. В Кострому ли, в Тверь ли, в Ярославль ли, под Астрахань ли богатую, рады не рады — принимайте гостей, выносите калачей на золотых блюдах, на серебряных подблюдниках, выкатывайте бочки медов годовалых и чокайтесь с ними зазванными пирами; а если хозяева попросят расплаты, рассчитывайся мечами, да бердышами, да бери с них сдачи ушами да головами, а там снимай, удаляя дружина, и мчись восвояси. А где лихой народец, как примером сказать бы в ближних пригородах ливонских, да еще где застанешь его не врасплох и выступят против тебя хозяева-то в железных обручах, да начнут пересыпаться с гостями своим свинцовым горохом, затепливай скорей его лачугу со всех четырех сторон и тут-то вот и привольно бывает погреться: шум, гам, гик, вопль, стены трещат,

рушатся, растопленное железо рекой течет, а люд словно воск тает. Натешилась душа, и заливай пожарище вражеской кровью; ведь как булат разогреется, от него пар валом валит, острие притупится хлестать по телам да по костям, а еще хочется. Ведь это не то, чтобы мы напраслинно нападали на соседей, и они при случае не спустят. Обоз ли отбит у наших, девушек ли захватит, золота ли без счета пограбит, да передувив стариков и малых детей — это им обычно; да не удавалось проклятым в частую, как нам приходилось, напрашиваться не в любые для них гости. А как опять мировая, так и мы бывало придерживаемся присловья: «В поле враг, дома гость, садись под святые[4], починай седову; в лесу — кистенем, а в саду — огурцом». И ведется речь любезно, и ходим об руку попарно, и любуются, не насмотрятся наши гости, как красуется град наш, а в нем рдеют девицы красные, да разгуливают молодцы удалые, и бросаются им всякие диковинки редкие, и стали звать, прозывать его давно-предавно, чуть прадеды помнят, и чужие и свои славным, богатырем, Великим Новгородом.

Взоры слушателей, впившиеся в рассказчика, сверкнули огневой отвагой, а старик, откашлянувшись, продолжал:

— И ноне придерживаются этого старики, да не обеими руками, с тех пор, как Иоанн московский залил наши поляны родной нашей кровью. Все как-то пошло на разлад: старики шатаются от старости, молодые трясутся от страха, а родина гибнет. Молодечество[5] иные стали считать делом зазорным, а по силе грамот отнимать — это им нипочем. Укажите-ка мне, кто теперь поспорит, постоит и словом, и делом, и языком, и плечом за отчину. Разве один Чурчила с своими удалыми удальцами! Если бы ономясь не отшатнулся бы он добывать добра в Ливонию, в замок Гельмст, попятил бы московскую дружину так, что некому было бы и до Москвы добежать. Он хоша и не словесен, да рука-то его речиста, что твой кистень.

— Краснобай ты, старинушка, но кривы уста твои, да нас-то по что избидел ты? Чем мы не молодцы? Загуди только труба воинская, все побратаемся скинуть головы свои или вражеские, выменять на косную жизнь,

на славную смерть! — воскликнули окружавшие старика.

— Все красно, ребяташки, да не так как солнце! — возразил он. Прежде бывало, московские князья засылали к нам гонцов и велеречиво просили через них подмоги. Дмитрий Иоаннович не знал, как чествовать нас, когда на Куликовом поле четыредесять тысяч новгородцев отстаивали Русь против поганой татарвы, хоть после и озлобился на нас, что мы въяве и без всякого отчета стали придерживаться своего самосуда, да делать нечего, из Москвы-то стало пепелище, так выжгли ее татары, что хоть шаром покати, не за что зацепиться; кой где только торчали верхи, да столбы, да стены обгорелые. Видно, понадобилось ему золото новгородское — подступил. Мы не прочь, выбирай любое: деньги али битву. Взял первое, да и пошел отстраиваться, а к нам-то татары никогда и ноги не заносили неприязненно. Соберем дань, пошлем в Москву, и разделявайся ей московский князь с ордой, как рассудит. Нынешний-то лих что-то, а то, бывало, указывали мы путь обратный и московской в литовской дружинам; вольни-

ца-то новгородская не очень робела и тех и других. Как послышим: поднимается на нас враг — и в ус не дуем; каждый новгородец накинёт шапку молодецки на одно ухо, подопрется и ходит козырем; по нем хоть трава не расти, готов и на хана и на пана! Вам грозят, а на вече голосят: не спугнешь ножами, когда ножа не боимся. Впервые, что ли, нам слушать угрозы московские? Кассы наши полны, закрома тоже, да и железное снадобье отпущено. Что нам? Мы своих боярей имеем, нам свои грамоты оставлены Ярославом Великим, ссылаемся на них, да на крепкие головы земляков своих — и с нами Бог, умрем за святую Софию.

— И вестимо! — подхватили слушатели. — Московский князь нас не поит, не кормит, а нас же обирает: что ж нам менять головы на шапки. Званых гостей примем, а незваных проводим. Умрем за святую Софию!

VI

Чурчила

Гулко раскатились эти крики по площади и послужили как бы призывом для рослого и плечистого молодца. Он не вбежал, а скорее

влетел в толпу.

Невысокая бархатная голубая шапка с золотым позументом по швам, с собольим околышем и серебряной кисточкой на тулье, была заломлена ухарски набок; короткий суконный кафтан с перетяжками, стянутый алым кушаком, и лосиная исподница виднелись на нем через широкий охабень, накинутый на богатырские плечи; белые голицы с выпушкой и кисой с костяной ручкой мотались у него на стальной цепочке с левого бока; черные быстрые глаза, несколько смуглое, но приятное открытое лицо, чуть оттененное нежным пухом бороды, стройный стан, легкая и смелая походка и приподнятая несколько кверху голова придавали ему мужественный и красивый вид.

— Чурчила! Чурчила! Отколе тебя Бог принес? Легок на помине!.. Ну, что, как живешь-можешь? — раздавались радостные приветствия в толпе.

— Да живется, братцы, как живется, а может, как может! — отвечал душа новгородских охотников[6], снимая шапку и раскланиваясь на все стороны.

— Где побывал, добрый молодец, что последним поспел на совет наш? спросил его старик рассказчик.

— Земляки знают меня, — отвечал Чурчила, — на схватке я бываю не последним, а думаю раздумывать, сознаюсь прямо, не моего ума дело, да и о чем?

— Знаю тебя, отъемная голова! — заметил старик. — В кого ты уродился, — дедовский в тебе нор. Таков был и Абакунов при Дмитрие Иоанновиче, предводитель вольной шайки новгородской; он тоже всегда молчал, зато красно и убедительно говорил его меч-кладенец.

— Таперича надо и раздумать, — вставил один видный парень из толпы. Скажи, Чурчила, на какую сторону более склоняется твое ретивое?

— Вестимо, к родине лежит, — твердо ответил он, — и за нее куда придется, в огонь или в воду, в гору или в пропасть, за кем бежать и кого встречать, — я всюду готов.

— А мы за тобой! — воскликнули окружающие. — Хватайся, ребята, за палку, кинем жребий, кому достанется быть его подруч-

НЫМ...

— Пойдите, не спешите, ваша речь впереди, — остановил их старик и, обратившись к Чурчиле, расправил свою бороду и сказал с ударением. — Ты, правая рука новгородской дружины, смекни-ка, сколько соберется на твой клич, можно ли рискнуть так, что была не была? Понимаешь ты меня — к добру ли будет?

Чурчила молчал.

Старик пристально посмотрел на него и добавил:

— Ведомо ли тебе, что весть залетела недобрая в нашу сторону? Московская гроза, вишь, хочет разразиться над нами мечами и стрелами, достанется и на наш пай.

— Так вы об этом призадумались, об этом разболтали языком вечевого колокола? — вместо ответа, с презрительным равнодушием спросил Чурчила. Я ходил в Чертову лоцину, ломался там с медведем, захотелось к зиме новую шубу на плечи, али полость к пошевням, так мне недосужно было разбирать да прислушиваться: о чем перекосятся между собой степенные посадники.

— Поддай, вишь, Москве на огнеметы[7] перелить наш колокол, да на сожженные законные грамоты наши, а после...

— Широко шагают, — вспыхнул Чурчила, прервав старика, — не видали мы их брата-супостата. Что нам вече — тинистое болото, в котором квакают лягушки, что им вздумается. За пригоршню золота да за десяток ядер отступятся от прав своих. Так что же вы, братцы, не рассудите до сих пор, — окинул он всех быстрым огненным ответным взглядом. — Мы-то что-ж? Пусть их звонят, и колоколом и языками... Нам то любо. Слышь, трезвонят. Вот так, качай во всю и припляснуть можно!.. Что уж давно звонили?.. А свыклись мы с этим раздольным голосом: так и подступает к сердцу смертная охота рвануться на целую ватагу, — а то ведь и мертвым стало не в чем позавидовать живым. Облежались мы до пролежней без всякого дела... Давайте же руки, братцы, жмите крепче, до слез. Пусть бояре хитроумничают, а мы затеем свое дело... Кто за мной?

— Мы все за тобой, удалой молодец! — закричал народ, — пойдем мечи острить!

Толпа с воинственным криком кинулась вслед за Чурчилой, почти бежавшим по площади.

— Прямой сокол, — заметил, глядя ему вслед старик, — ретивое у него доброе, горячо предан родине... Кабы в стадо его не мешались бы козлы да овцы паршивые, да кабы не щипала его молодецкое сердце зазнобушка, — он бы и сатану добыл, он бы и ему перехватил горло могучей рукой так же легко, как сдернул бы с нее широкую варежку.

VII Вече

На вече, между тем, в обширной четырехугольной храмине, за невысоким, но длинным столом, покрытым парчовой скатертью с золотыми кистями и бахромой, сидели: князь Гребенка-Шуйский, тысяцкий, посадники и бояре, а за другим — гости, житые и прожитые люди.

На столах были накиданы развернутые столбцы законов, договорных и разных крестоцеловальных грамот. Не всех желающих видеть это собрание, слышать совещание допускали внутрь веча, так как там уже и без

того было тесно.

Два копейщика с секирами в руках охраняли двери, около которых на дворе и на площади, как мы уже видели, толпилось громадное количество народа.

Князи Василий Шуйский-Гребенка с тысяцким Есиповым, в бархатных кожухах с серебряными застежками, сидели на почетном месте в середине стола, возле них по обе стороны помещались посадники Фома, Кирилл и другие.

Марфа, важно раскинувшись на скамье с задком, в дорогом кокошнике, горящем алмазами и другими драгоценными камнями, в штофном струистом сарафане, в богатых запястьях и в длинных жемчужных серьгах, с головой полуприкрытой шелковым с золотой оторочкой покрывалом, сидела по правую сторону между бояр; рядом с ней помещалась Настасья Ивановна, в парчовом повойнике, тоже украшенном самоцветными камнями, в покрывале, шитом золотом по червачному атласу, и в сарафане, опушенном голубой камкой. Сзади них стоял Болеслав Зверженковский, в темно-гвоздичном полукафтани, обло-

женном серебряной нитью.

Вокруг них толпился народ, успевший проникнуть в храмину. Подьячий Родька Косой, как кликали его бояре, чинно стоял в углу первого стола и по мере надобности раскапывал столбцы и, сыскав нужное, прочитывал вслух всему собранию написанное. Давно уже шел спор о «черной, или народной, дани». Миром положено было собрать двойную и умилоствить ею великого князя. Такого мнения было большинство голосов.

Возражать встала Марфа Борецкая.

— Честные бояре и посадники! — сказала она. — Думаете ли вы этим или чем другим, даже кровью наших граждан, залить ярость ненасытного? Ему хочется самосуда, а этой беды руками не разведешь, особенно не вооруженными.

— Этого мы и в уме не хотим держать! — прервал ее Василий Шуйский, ее личный враг, но и верный сын своей родины. — Разве его меч не налегал уже на наши стены и тела? Я подаю свой голос против этого, так как служу отечеству.

— Он не служит, а подслуживает! — шеп-

нул Марфе Зверженовский.

Последнюю обдало, как варом, несогласие сие с ней Шуйского.

— Князь, — воскликнула та, сверкнув глазами. — К чему же и на что употребляешь ты свое мужество и ум? Враг не за плечами, а за горами, а ты уже помышляешь о подданстве.

Князь Василий в свою очередь распалился гневом, заметя ее сношение с Зверженовским.

— Мы верили тебе, боярыня, да проверились, — заговорил он. — И тогда литвины сидели на вече чурбанами и делали один раздор! Я сам готов отрубить себе руку, если она довременно подпишет мир с Иоанном и в чем-либо уронит честь Новгорода, но теперь нам грозит явная гибель... Коли хочешь, натыкайся на меч сама и со своими клеветами.

— Но и самосуда мы не потерпим! Сколько веков славится Новгород могуществом своим и каким же ярким пятном позора заклеим мы его и себя, когда без битвы уступим чужестранным пришельцам те места, где почивают тела новгородских защитников и где положены головы праотцев наших! — важно ска-

зал Есипов.

— Боже сохрани и слышать об этом! — воскликнул Шуйский. — Первая рука, которая протянется за нашей хранительной грамотой, оставит на ней пальцы. Но зачем же самим заводить ссору?

— Да исчезнет враг! — раздались возгласы посадников и народа.

— Родька, — сказал тысяцкий, обращаясь к подьячему, — прочти-ка еще помедленнее запись великого князя.

Все снова ужаснулись и даже самые мирные граждане, расположенные к великому князю, повесили головы.

— Ишь, требует веча! Самого двора Ярославлева. Мы и так терпели его самовластие, а то отдать ему эти святилища прав наших. Это значит торжественно отречься от них! Новгород судится своим судом. Наш Ярослав Великий заещал хранить его!.. Месть Божья над нами, если мы этого не исполним! Московские тиуны будут кичиться на наших местах и решать дела и властвовать над нами! Вот мы предвидели это; все слуги — рабы московского князя — недруги нам. Кто за него,

мы на того!

— Проклятие, проклятие двоедушным косонозычникам Назарию и Захарию. И когда мы общались через них с московским князем? Это голья лишь! Анафемы! Сам владыко произнес это.

— Да что владыко? Он за князя подает голос, стало быть, против нас!

Такие были разнообразные возгласы народа, подстрекаемого Марфой и ее сообщниками.

Лишь немногие члены веча задумчиво молчали.

Начавшийся нестройный шум голосов вызвал владыку Феофила, который, пробравшись сквозь почтительно расступившуюся перед ним толпу, воскликнул:

— Необузданные мятежники! Зачем же вызвали вы меня из моей смиренной кельи на позорище мятежа? Нет вам моего благословения; делайте, что хотите. Горе вам, непослушные! на начинающих — Бог!

Голос его был заглушен дикими криками, и он быстро удалился, всплеснув руками.

— Суетливая земля! — был его заключи-

тельный возглас.

Тогда воспрянула Марфа. Шуйского она не так опасалась, как Феофила, но, заметив и к последнему холодность народа и победу горластых сообщников, она громко и оживленно заговорила:

— Настало время управиться с Иоанном! Он не государь, а лиходея наш. Великий Новгород сам себе властелин, а не его вотчина. Казимир польский возьмет нашу сторону и не даст нас в обиду, митрополит же киевский, а не московский, даст архиепископа святой Софии, верного за нас богомольца.

Эти слова вызвали у толпы восторженные крики одобрения, начало которым дали, конечно, клеветы Марфы Посадницы.

VIII Бунт

Между людьми, не принимавшими сторону бунтовщиков, находились: знатный муж Василий Никифоров, боярин Захарий Овин, брат его Кузьма Овин и несколько других, лично доброжелательно относившихся к Иоанну и ценивших его за ум и энергию. Они держали его сторону, и Василий Никифоров

обратился к народу:

— Братья, одумайтесь, что вы замышляете? Изменить Руси и православию, поддаться иноплеменному королю, просить себе от еретика латышского святителя и этим накликать на себя и гнев Божий и государева правосудия меч? Вспомните, предки наши, славяне, вызвали из земли вражеской Рюрика, он княжил мудро и славно, что видно из преданий, а кровные потомки его более шести веков законно властвовали над Великим Новгородом. Истинной же и православной верой обязаны мы святому Владимиру, а от него прямо происходит и Иоанн, латыши же всегда были нам неверны и ненавистны. Рассудите: к кому же более должны мы обращаться сердобольно и молить о милостях?

Увидя, что эти слова Василия Никифорова, шедшие прямо из сердца, и крупные слезы, катившиеся на его седую бороду, начали трогать слушателей. Марфа, поддерживаемая своими, воскликнула:

— Ты, злой кудесник, давно связался с Ивашкой на погибель своих соотечественников и хитро ведешь свои сладостные речи,

чтобы заманить и нас в свои сети. Исчезни, коварный старик! Да обратится на тебя все зло, которое ты готовишь нам.

— Да оглушит тебя гром Божий, жена дьявола! — громко заговорил было Василий Никифоров, но сам был оглушен восклицаниями:

— Не хотим Иоанна, да здравствует Каземир! Да исчезнет Москва!

Небольшая кучка защитников Иоанна отвечала криками:

— Не хотим Каземира! Да здравствует Иоанн!

Марфа, выйдя с клеветами из храма на Ярославов двор, распорядилась рассыпать народу несколько четвериков пуль[8], раздать по оловяннику[9] меда на брата и подала знак, по которому туча камней полетела на ее слушников. Иные, сраженные, падали, другие разбежались, а крики толпы становились все громче.

— Хотим за короля, меч на Иоанна!

— Хотим к Москве православной, к Иоанну и отцу его Герантию![10] прокричал на Софийской площади Василий, Никифоров наси-

лу выбравшийся на нее, расчистив себе путь мечом, но голос его остался без отголоска.

Явилась щедрая Марфа со своей челядью и обратилась к народу:

— Если вы, мужья, к великому позору Великого Новгорода, откажетесь биться с москвитянами, то ступайте сторожить и прятать имущество свое от разбойничьей роты Иоанновой; а мы, жены, пойдем на бойницы и будем защищать вас, робких мужей!

Народ или, вернее сказать, толпа бунтовщиков, возбужденная хмелем, стыдом, жаждой мщенья, остервенилась.

— Повели, боярыня, на кого нам? Что начать?.. Вольные новгородцы не посрамят себя!..

— Казнь изменникам! Они соглядатаи и предатели отечества! воскликнула Марфа, указывая на Василия Никифорова.

В миг неистовая толпа ринулась на него, вцепилась в него десятками рук и потащила снова на вече, нанося чем попало ему удары.

— За что и куда потащите вы меня так позорно, как татя? — слабым голосом говорил мученик.

— Ты соглядатай, ты предатель, ты изменник, ты Иуда! — кричала толпа.

— Нет, видит Бог, я прав; кровь моя останется на вас и когда-нибудь сожжет ваши души, совесть заглохнет вас, богопротивники, и тебя, гнусная жена-змея!.. Я клялся Иоанну в доброжелательности, но без измены моему истинному государю, Великому Новгороду, без измены вам, моим брат...

Он не успел окончить. Убийственный топор звякнул, и голова его отскочила от туловища, и покатила по песку, чертя по нему кровавые следы. Некоторые дрогнули, другие же, остервенясь еще более, продолжали волочить по площади обезглавленное тело, схватили Захария Овина, брата его Кузьму и убили их обухом топора.

Оба умерли почти не вскрикнув.

Началась дикая расправа над их телами: толпа тешилась, рубя их на куски, и любовалась зрелищем, как эти окровавленные куски прыгали под саблями и топорами.

Бросились расхищать балаганы и лавки на Славковой улице. На дворе архиепископском тоже грабили и сажали в застенки[11] подо-

зрительных людей, которых тут же без допроса и суда убивали.

Усталые от кровавой работы подходили эти люди-звери к выставленным для них догадливой Марфой чанам с брагой, медом и вином: кто успевал черпал из них розданными ковшами, а у кого последние были вышиблены в общей сумятице, те черпали окровавленными пригоршнями и пили это адское питье, состоявшее из польской браги и русской крови.

Шум, ропот, визг, вопли убиваемых, задранные окрики, гик, смех и стон умирающих — все слилось вместе в одну страшную какофонию. Ничком и навзничь лежавшие тела убитых, поднятые булавы и секиры на новые жертвы, толпа обезумевших палачей, мчавшихся: кто без шапки, кто нараспашку с засученными рукавами, обрызганными кровью руками, которая капала с них, все это представляло поразительную картину.

— Ты что же, сокол, стоишь без дела и не бьешь изменников? Или и тебе крылья перешибли? — спросил знакомый уже нам старик-балагур, столкнувшись нечаянно с Чур-

чилой, томно и задумчиво смотревшим на ужасную картину побоища.

— Я люблю биться, а не бить! — ответил ему мрачно тот и, отвернувшись, быстро пошел в другую сторону.

— Постой, я понимаю тебя, молодец! Подумаем-ка вместе. Мы не этого ждали, — сказал старик, догоняя его.

Побоище продолжалось. Иной дрался поневоле. Быть безучастным зрителем было небезопасно, могли как раз принять за изменника. Не скоро руки палачей устали наносить удары, наступивший вечер не разогнал их. Кто-то догадался посвятить им: зажгли дома убитых, и страшное пламя, откидывая на небо багровое зарево и наводя грозные тени на двигавшихся во мраке убийц, придавало этой картине вид еще ужаснее, еще поразительнее.

— Вот так в случае и весь город запалим! Пусть московитяне поживятся головнями нашими вместо золота! — раздавались со всех сторон возгласы.

Марфа Борецкая со своей шайкой была на площади до позднего вечера, тайно прислу-

шиваясь к все еще продолжавшимся крикам и стонам, результатам ее адской работы.

Все они то и дело натыкались на мертвые тела.

Болеслав Зверженовский, шедший рядом с Марфой, чуть было не упал, споткнувшись обо что-то круглое.

Он нагнулся и поднял за волосы голову.

Блеснувшее зарево осветило ее — это голова Василия Никифорова.

— Вот он, враг-то наш, у нас теперь не ослабляется, — со смехом произнес он, поднося ее Борецкой.

Она взглянула. В закатившихся, полуоткрытых глазах мертвой головы она, почудилось ей, прочитала страшный упрек. Дрожь пробежала по всему ее телу. На лбу выступил холодный пот.

— Пора, давно уже ночь, — робко промолвила она, как бы пораженная нависшим над ней мраком, и быстро пошла по направлению к своему дому.

Взгляд мертвых глаз, казалось, преследовал и подгонял ее.

В келье Феофила

Неистовства толпы еще продолжались несколько дней.

Вольный народ, то есть, чернь новгородская, перед которой трепетали бояре и посадские, бесчинствовала, пила мертвую, звонила в колокола и рыскала по улицам, отыскивая мнимых слуг и советников Иоанновых и расхищая у слабых последнее достояние. Дрались на смерть между собой из-за добычи.

Новгородские сановники, принимавшие вначале сами участие в бунте, опомнились первые, хотя и у них в головах не прошло еще страшное похмелье ими же устроенного кровавого пира. Их озарила роковая мысль, что если теперь их застанут врасплох какие бы то ни было враги, то, не обнажая меча, перевяжут всех упившихся и овладеют городом, как своею собственностью, несмотря на то, что новгородская пословица гласит: «Новгородец хотя и пьян, а все на ногах держится».

Многие держались уже только на руках.

Задумались люди сановитые, стали собираться каждый день на вече, почесывали затылки, теребили свои бороды и, наконец, ре-

шили — бить челом владыке Феофилу, чтобы он благословил принять на себя труд голосом духовного слова не только успокоить неистовую толпу, но и запретить народу, под страхом проклятия, отлучения от церкви, гнева Божия и наказания, буйствовать и разбойничать.

Жребий вести речь владыке выпал на степенного посадника Фому, прочие же бояре и посадники решили сопровождать его. Не теряя времени отправились они пешком в смиренную келью архиепископа. Не доходя еще до двери его, они обнажили головы, а войдя в нее Фома отделился от них, пошел вперед и обратился с просьбой к привратнику, чтобы он сказал келейнику, что бояре и посадники и все сановитые и именитые люди новгородские просят его доложить владыке, не дозволит ли он предстать им перед лицом своим и молить его скорбно и слезно об отпущении многочисленных грехов их перед ним.

Через некоторое время архиепископ Феофил вышел сам на крыльцо и строго обратился к ним:

— Да рассыплются племена нечестивые,

ищущие брани, и будут поражены молнией небесной и, как псы голодные, лижут землю своими языками! Чего еще хотите вы от меня?

— Благодушный пастырь наш! — отвечал за всех Фома, преклоняя колено. — Человек рожден со страстями. Молим тебя, праведный, обрати гнев на милость, спаси Великий Новгород — он гибнет.

Слезы брызнули из его глаз, и он, окончив свою речь, низко опустил свою голову.

— Безумные, вы сами просили этого... Спасение града нашего в руке Божьей. Покайтесь! Я могу только умиловать Его, соединяя свои молитвы с вашими, — заметил тронутый Феофил.

— Этого и жаждем мы, владыко святой. Воззри на раскаивающихся, благослови начинание наше и помоги нам, — молящим тоном произнес Фома.

— Дети мои, — заговорил архиепископ тихим ласковым голосом, после некоторой паузы, обведя всех стоявших перед ним пронизательным взглядом, знаю, что дух и плоть — враги между собой. Тесно добродетели ужи-

ваться в этом мире срочном, мире испытания, зато просторно будет в будущем, безграничном. Не ропщите же, смиритесь: претерпевший до конца спасен будет — говорит Господь. Но вы сами возмущаете, богопротивники, братьев своих и надолго ли раскаиваетесь?

Пристыженные сановники молчали.

Он продолжал:

— Думаете ли вы, что я не сочувствую вам в общей горести и гибели отечества? Разве забыли вы мои услуги ради его? Не я ли выпросил у московского князя гибнущие права наши и настоял: быть Новгороду Великим? Вы сами положили начало той язвы, которой теперь страдаете. Сколько раз я внушал вам благие мысли: смиритесь — и все дастся вам, и успехом увенчаются дела ваши, а вы как исполняли слова мои, как угождали святой Софии? Разве так подобает защищать его — распрями и убийствами? Я сделал все, что возлагает на меня сан мой, рвение и любовь к отчизне. И мое сердце кипит любовью к ней под черной рясой, но я сомневаюсь в вас, в вашем послушании.

— Будем послушны вовеки, — воскликнули в один голос присутствующие и преклонили свои головы.

Архиепископ осенил их крестным знаменем и пригласил к себе для совещания.

Вечевой колокол все еще заливался, кровь лилась на площадях.

В одном месте черпали вино из полуразбитых бочек шапками, в другом рвали куски парчи, дорогих тканей, штофов, сукна и прочих награбленных товаров, как вдруг с архиепископского двора показался крестный ход, шедший прямо навстречу бунтовщикам; клир певчих шел впереди и пел трогательно и умиленно: «Спаси, Господи, людей Твоих». Владыко Феофил, посреди их, окруженный сонмом бояр и посадников, шел тихо, величественно, под развевающимися хоругвями, обратив горе свои молящие взоры и воздев руки к небу.

Пораженные как громом, бунтовщики окаменели и остались неподвижно в тех позах, в которых застало их это чудное видение.

Руки, державшие добычу, замерли на минуту, затем поднялись для молитвы, шапки

покатились с голов, но толпа не смела поднять глаз и, ошеломленная стыдом, отшатнулась и пала на колени, как один человек.

Архиепископ, молча, не взглянув на народ, не удостоив его благословения и не допустив приложиться к Животворящему Кресту, прошел к соборному храму св. Софии, помолился у золотых ворот его. Так называются медные, вызолоченные ворота, по народному преданию, вывезенные из Корсуни или Херсонеса, — они находятся на западной стороне церкви, — знаменитая древняя редкость, сохранившаяся до последних дней.

После краткой молитвы у этих ворот процессия тронулась к городским стенам.

Х

Ответ великому князю

Прошло еще несколько дней.

Софийская площадь очистилась. Мертвые тела положили на носилки и похоронили по христианскому обряду за городским валом, колокола замолкли, и вече перестало представлять собой простую мирскую сходку.

На первом месте в храме заседал архиепископ, возле него тысяцкий Есипов, князь Ва-

силий Шуйский, посадники Фома, Кирилл и другие. Марфа же с Настасьей Ивановной уехала посетить свои села, находившиеся вблизи Соловецкой обители.

Великокняжеского посла, боярина Федора Давыдовича, жившего на Городище с многочисленной дружиной, чествовали, как подобает, ни чем не обижали, только не допускали на вече и решились отпустить к великому князю с запиской от имени веча Новгородского.

— Люди новгородские! — сказал Феофил, — я написал ответную грамоту в Москву, останетесь ли вы довольны ею?

Подьячий Родька Косой начал громко читать ее, поглаживая свою бороду:

— «От Веча Великого Новгорода к Великому Князю Московскому и проч. ответная грамота:

«Кланяемся тебе, Господину нашему, Князю Великому, а государем не зовем. Суд твоим наместникам оставляем на стороне, на Городище, и по прежним известным тебе условиям; дозволяем им править делами нашими, вместе с нашими посадниками и боярами, но

твоего суда полного и тиунов твоих не допускаем и дворища Ярославлева тебе не даем; хотим же жить с тобою, Господином, хлебосольно, согласно, любезно, по договору, утвержденному с обеих сторон по Коростыне, в недавнем времени».

«Кто же тебе предлагает быть государем нашим, Великого Новгорода, тех самих ведать, и то, как подобает наказывать за криводушие. Мы здесь также управились со своими предателями, и ты не взыскивай с нас за самосуд, данный нам предком твоим, Ярославом Великим, каковым мы нынче и воспользовались, сиречь, в силу одного дозволения, не преступая нашей к тебе чтимости и покорности».

«Молим и взываем к тебе, Господин, всеусердно и всеуниженно: держи нас по старине, по крестному целованию; и мы всегда будем верными слугами тебе, и отчизне твоей Великому Новгороду».

Руки приложили: владыка Великого Новгорода, архиепископ Феофил, тысяцкий Ксенофонт Есипов, новоизбранник дьяк Тит, по реклу Остапов и проч.

— А если Иоанну не понравится наше послание? — заметил князь Шуйский, — чего должны ожидать тогда?

— Битвы, — почти в один голос отвечали Есипов, Фома, Кирилл и другие.

Архиепископ задумчиво молчал. Он чувствовал, что не уговорить ему своих сограждан к безусловному подданству, да и самому тяжело было решить все лишь в пользу Иоанна.

— Но в силах ли мы бороться с ним? — понизив до шепота голос, промолвил дьяк Ксенофонт.

Никто не отвечал.

— А уж когда он одолеет нас, — прибавил он, — много резни будет, досыта насытитесь меч его кровью новгородской. Надобно чем-нибудь отвести эту грозу великую, черную...

— Красную, кровавую и непреодолимую, — продолжал его мысль посадник Фома. — На нас она покатится, над нами и разразится! Тогда я первый не скрываю своего намерения поддаться Литве.

Молодой парень, слушавший с прочим народом мнения бояр, стоял в углу храма и дав-

но уже с досады кусал губы и рвал оторочку своей шапки.

Последние слова о подданстве Литве, произнесенные Фомой, заставили его вздрогнуть. Он сбросил с себя охабень и быстро вышел вперед, окинул всех присутствующих орлиным взглядом своих глаз, сверкающих и блестящих, как полированный лист.

— Владыко святой, — начал он взволнованным голосом, — и вы все, разумные, советные мужики новгородские, надежда, опора наша, неужели вы хотите опять пустить этих хищников литовцев в недра нашей отчизны? Скажите-ка, кто защитит ее теперь от них, или от самих вас? Разве они не обнажили уже не раз перед вами черноту души своей, и разве руки наши слабы держать меч за себя, чтобы допускать еще завязнуть в этом деле лапами хитрых пришельцев?

— Мальчик! — возразил ему Фома с заметным неудовольствием, — что же ты нашел противного в литовцах, что у них волчьи зубы или лисьи хвосты?

— И то, и другое, чтимый муж, если хочешь, чтобы мальчик вразумил твои седи-

ны! — отвечал ему гордо молодец.

— Чурчила, ты забываешься, так иди же вон отсюда немедленно! закричали в один голос Фома и Кирилл.

— Уйду и унесу с собой ретивое, которое бьется любовью к родине так же сильно, как рука эта будет вертеть головы ваших заступников челядинцев, и это так же верно, как то, что я называюсь Чурчилой! — сказал пристыженный и взбешенный витязь Новгорода и, натянув голицу свою, сжал кулак и быстрыми шагами вышел из веча.

— Я говорил тебе, что этот мальчик вреден и языком и кулаком своим Новгороду. Слава Богу, что я это узнал вовремя! — заметил нахмурившись Фома Кириллу.

— Он пылок, но добр. Однако здесь не время и не место объясняться о нем; теперь приходится всякому думать о себе, — с досадой ответил ему Кирилл.

— На сей раз довольно! — сказал владыко, вставая со своего места.

На его лице ясно отпечатывались следы глубоких дум.

Все встали за ним.

Колокол ударил несколько раз, означая окончание заседания, и народ, трепетно, с каким-то вещим, недобрый предчувствием смотрел на бояр, тихо и задумчиво расходящихся по домам.

XI На берегу Волхова

Ярко и весело светил месяц на землю, звездочки при нем чуть искрились, то пропадали, то снова сверкали в темной синеве горизонта, как резвые рыбки в чистой воде блистают своей серебристой чешуей.

В Новгороде ярко горели огни, но мрак вечера давно уже сгущался; наступила ночь, светлая, роскошная. Огни один за другим стали потухать, и скоро вечно живой город, слившись с горизонтом в один бледный свет, затих и заснул.

На берегу реки Волхова сидел, пригорюнившись, добрый молодец. С правой стороны его стоял оседланный конь и бил копытами о землю, потряхивая и звеня сбруей, слева — воткнуто было копьё, на котором развевалась грива хвостатого стального шишака; сам он был вооружен широким двуострым мечом,

висевшим на стальной цепочке, прикрепленной к кушаку, чугунные перчатки, крест-накрест сложенные, лежали на его коленях; через плечо висел у него на шнурке маленький серебряный рожок; на обнаженную голову сидевшего лились лучи лунного света и освещали черные кудри волос, скатившиеся на воротник полукафтана из буйволово́й кожи; тяжелая кольчуга облегла его грудь.

Он молчал и лишь порой затягивал какую-то заунывную песню, глядя пристально и печально на Новгород и считая рассеянно волны, бившиеся о берега.

Вдруг ему послышался приближающийся от города звук конских копыт.

Он приложил ухо к земле — звук слышался явственнее, и конь его насторожил уши. Вскоре показался конник, осматривающий окрестности, как бы на поисках. Заслышав шорох у берега, всадник свернул туда своего коня, взгляделся на полулежавшего молодца и, радостно вскрикнув: «Чурчила!», соскочил с лошади и заключил его в свои объятия.

— Постой, Дмитрий, ты задушишь меня, как слабого ребенка, — заговорил Чурчила

(это был он) в свою очередь дружески обнимая прибывшего, — я и так насилу дышу: у меня на сердце камень, а в душе — сиротство несчастное!

— Так вот как поступают наши задушевные-то! — воскликнул Дмитрий. Помчался ты, как вихрь, невесть куда, и не сказал мне прощального слова! Бог тебе судья, Чурчила! А мы с тобой еще побратались на жизнь и смерть! Что я тебя обидел, что ли, чем, словом, или делом, или косым взглядом?

— Не кори меня ни тем, ни другим, брат названный, — вздохнул тяжело новгородский витязь. — Чудно тебе показалось отбытие мое из родного края, особенно же тогда, когда уже сковался я кольцом обручальным, но я еще чуднее дело поведаю тебе...

Крупная, как градина, слеза, скатившись по щеке его, разбилась о кольчугу.

— Да что ты, богатырская косточка, неужели и впрямь заплакал как баба? О чем же? Расскажи скорей, не терпится!

— Эх, замолчи молодецкое сердце! — заговорил снова Чурчила, ударяя себя в грудь. — Дай вымолвить тоску-кручину другу

закадычному! Нет, я весел, Дмитрий, право, весел, как этот месяц, — продолжал он, прикидываясь веселым. — Да о чем тосковать? Красоток много на белом свете, а милая-то хоть и одна, да что ж? Если забыла она слово клятвенное, не в омут же бросаться от этого, чертям в угоду.

Он улыбнулся, но эта улыбка была скорее болезненной гримасой.

— Так-то это так, — отвечал в раздумье Дмитрий, — да вот мне невдомек: во-первых, я тебя не узнаю, ты ли это Чурчила-сокол, кистень-рука, веселый, удалой, всем пример, который, бывало, один выходил на целую стенку? Во-вторых, удивительно мне, как могла разлюбить тебя Настенька, новгородская звездочка? Хоть родитель ее, степенный посадник Фома Крутой, и впрямь крут, да твой родитель, Кирилл, тоже посадник, не хуже его, они же с ним живут в превеликом согласии; издавна еще хлеб-соль водят, так как и мы с тобой, бывало, в каждой схватке жизнь делили, зипуны с одного плеча нашивали, да и теперь постоим друг за друга, хоть ты меня и забыл, помощника своего, Дмитрия Смело-

го!

— Постой, брат, не язви меня, дай передохнуть — все выскажу.

Глубоко и тяжело вздохнув, Чурчила начал:

— Ведомо тебе хлебосольство и единодушие отца моего с Фомой и то, как они условились соединить нас, детей своих; помнишь ты, как потешались мы забавами молодецкими в странах иноземных, когда, бывало, на конях перескакивали через стены зубчатые, крушили брони богатырские и славно мерились плечами с врагами сильными, могучими, одолевали все преграды и оковы их, вырывали добро у них вместе с руками и зубрили мечи свои о черепа противников? Бывало, радость привольная охватит удалых такая, что десятью языками не сможешь рассказать о ней. А тот восторг, который чувствовал я в душе при взгляде на мою суженую, когда благословили нас Пречистой, когда вложили руки ее в мою и наказали нам жить в любви и согласии, — восторг, вознесший меня на седьмое небо!.. Ах, Дмитрий, если бы ты знал, если бы ты мог знать, как билось мое рети-

вое!.. Бывало и смерть была мне близкой соседкой, и острие меча мелькало перед самыми глазами, но я не пугался: отобьешь его, да свое запустишь по самую рукоять — и прав — и понесся далее, а тогда... О! Нет, не умею!.. Какая она была красивая, как понимала меня!.. Как хотела нежить мою буйную голову на коленях своих!.. Настя, добрая, милая моя Настя!

С этими словами он крепко сжал руку Дмитрия и упал головой к нему на грудь, стараясь скрыть выступившие на глазах слезы, которых он стыдился.

Раздались сначала тихие, а потом громкие рыдания.

— Не одна она, и я понимаю тебя, добрый друг! — говорил Дмитрий, обнимая Чурчилу.

— Да, теперь ты у меня остался один, один на всем белом свете; теперь он почернел для меня: «Отсветила звезда моя, отсветила приглядная, покрылась саваном, небо туманное»... Как это дальше-то поется эта песня, которую сложил Владимир-утопленник?

— Полно, не обманывай ни себя, ни меня: до песен ли тебе, лучше расскажи, как поется

дальше твоя песня...

— Слеза смыла пятно тоски задушевной, как будто я поделился ею с тобой! Отлегло немного от сердца. Слушай же далее! Я, как водится, с большим поездом сватов и друзей, стал ездить к невесте своей разгульно и весело!.. Пир у нее на столах высились горами, напитки лились рекой, и назначили уже день, когда совершить наше благословенное дело. Этот день был торжеством для всего народа, день памяти по святой Софии, к которому отец Насти Фома, хотел совсем приготовиться. Все шло своим чередом: старики наши отдались радости и руками и ногами, а дружки и все гости всей головой, пили они как на заказ, а мы... да что и говорить, так было привольно всем!.. Вдруг, точно ворон накаркал беду на нас бедных, нагрязнул гонец из Москвы — и все пошло прахом. Дорога мне моя Настя, не возьму я за нее всего мира подлунного, но родина... Сожму ретивое, заставлю молчать его и променяю бесценную мою, стотысячную, на бесценнейшее сокровище отчизну... После пусть сам умру бесчисленное число раз, не проживу мига без нее, зато на

душе не будет зазорно.

Чурчила молодецки потрянул своими кудрями.

Дмитрий молча слушал исповедь друга.

— Ты знаешь клеветов Марфиных, — продолжал тот. — Они, в том числе и Фома, зачинщик всему делу, задумали опять подчиниться Литве, а у нас с тобой никогда не лежало сердце к этой челяди. Я, услышав об этом, прорвался в думскую палату и горячо заговорил с Фомой. Не понравилось ему это, рассерчал он на меня и обозвал обидными словами. Я тоже и при отце своем, и при всех советных мужиках задал ему такую отповедь, что пристыдил его и тем накликнул на себя немилость и ненависть. Когда же сердце мое отошло, остыло от обид его, я спохватился. Отец мой принял его же сторону и послал меня повиниться перед ним. Я тотчас ринулся туда, куда душа моя давно просилась, и стал молить его забыть обоюдные распри наши и покончить скорей начатое дело.

Чурчила перевел дух.

— Когда бы ты видел, как он рассвирепел на меня! «Одно условие, рывкнул он как

зверь, — и я прощу тебя и назову сыном: приходи завтра на вече и на коленях при всем собрании вымоли у меня прощение вины твоей. Да еще согласись на все помыслы наши: преклони голову перед прибывшими литвинами, и, всячески их приветствуя, моли заступиться за родину. Иначе выкинь из головы когда-либо называться моим сыном, да и дочь моя выбрала уже себе другого суженого». Слова эти затронули меня за живое. «Ползают одни гады, — отвечал я ему резко, — а приветствовать литвин я должен не языком а мечом. Когда бы им посчастливилось добыть меня живьем и, загнув голову, держать нож над горлом, и тогда бы не стал я унижаться и чествовать их, просить пощады у заклятых врагов наших!» — «Так если же ты когда-либо занесешь ногу свою через подворотню мою, — завопил он, — я затравлю тебя лихими псами». — «Да я и не захочу встречаться с тобой, ты злей их облаиваешь», — сказал я ему, как отрезал, и так сильно захлопнул за собой калитку, что ворота затряслись и окна задребезжали.

— А что же отец?

— Отец мой напустился тоже на меня за то, как посмел я дерзко речь вести с чтимым посадником, близким его товарищем, зачем не уступил ему, не согласился на его условия. К жару добавил он еще жару. Я не стерпел. «Значит, вы одной шайки!» — Больше не мог я выговорить ни слова, выбежал на перекресток и начал клич кликать. — «Верные мои молодцы-сотоварищи, кто хочет со мной рискнуть за добычей далеко, за Ново-озеро, к Божьим дворянам[12], того жду я под вечер в «Чертовом ущелье», — а сам вскочил на коня и не смел обернуться назад, чтобы косяцатое окошечко Фомина дома не мигнуло бы мне привычным бывалым и не заставило вернуться, да пустился сюда, как на вражескую стену, ожидать...

Не успел он договорить эти слова, как вблизи послышался конский топот. Явилось множество всадников, броня которых сверкала при трепетном блеске луны. Раздался звон оружия, когда они, соскочив с коней, окружили своего удалого предводителя.

— Ну, теперь прощай, друг! — сказал Чурчила, крепко обнимая Дмитрия. — Она забы-

ла меня! Но ты вспомни меня, умру не умру, а помчусь рассеять тоску-кручину или прах свой!

— Как! — воскликнул Дмитрий, — и ты думаешь, что я пущу тебя одного без себя. Да мне и большой Новгород покажется широким кладбищем.

— Нет, Дмитрий, — сказал Чурчила, — не рискуй, у тебя дряхлый отец. Прости!

Закинув на руки поводья, он прыгнул в седло и вмиг исчез со своей дружиной.

Дмитрий остался один.

— Да ведь отец мой любит больше копить сокровища, чем дорожит сыновней любовью, — задумчиво говорил он сам себе, вспоминая последние слова Чурчилы. — Ты покинул меня, так я тебя не покину, — воскликнул он.

Луна скрылась в это время за облако и скрыла его погоню за своим другом-братом.

XII

В доме Фомы

В день столкновения Чурчилы с посадником Фомой последний не возвращался домой из думной палаты до позднего вечера.

В доме посадника еще никто не знал о происшедшей ссоре жениха с отцом невесты, а потому по обычному порядку в дом к нему собрались на свадебные посиделки девушки — подруги невесты, которая еще убиралась и не выходила в приемную светлицу. Гости, разряженные в цветные повязки, с розовыми лентами в косицах и в парчовых сарафанах, пели, резвились и играли в разные игры, ожидая ее.

Скоро по извилистой лестнице, ведущей в эту светлицу, раздались стуки костыля и в дверях показалась, опирающаяся на него, сторбленная старушка в штофном полушубке, в черной лисьей шапке и с четками в руках.

Девушки, завидя ее, оставили игры и, бросившись ей навстречу, закричали:

— Ах, Лукерья Савишна, матушка! — подхватили ее под руки и начали с нею шутить, приглашая побегать, да поплясать с ними.

— Ох, полноте, резвуньи, — говорила старуха, садясь в передний угол, кряхтя от усталости и грозясь на них костылем, — у вас все беготня, да игры, а я уж упрыгалась, десятков шесть все на ногах брожу. Поживите с мое,

так забудете скакать, как стрекозы или козы молодые. Да где же мое дитяtko, Настенька-то?

— Она еще не выходила, а мы уже давно собрались жениха да гостей встречать хоть издали, — сказала одна из девушек.

— Пожалуй, мы вместо ее тебя повеличаем, Лукерья Савишна? промолвила другая, — запеть, что ли?

— Пошли же вы, — отвечала старуха, — провеличайте тогда, когда мне скоро уж запоют вечную память!

— Полно, что ты, Христос с тобой, Лукерья Савишна! Разве на свадьбе о похоронах думают? — закричали все девицы, всплеснув руками.

— Да к тому уже время подходит, милые мои молодницы! — со вздохом произнесла старуха, задумчиво чертя по полу своим костылем. — Только бы привел Бог при своих глазах пристроить Настюшу, тогда бы спокойно улеглись мои косточки в могилу, — добавила она прослезившись.

— Да полно же, перестань, так ты на нас тоску наведешь. Повеселимся-ка лучше! — за-

говорили девушки.

— Нет, это ведь я так к слову молвила, жаль дитяtko стало, разлучают нас с ней, некому будет мне и глаза закрыть. Фома Ильич, Бог его ведает, как начал опять на вече ходить, и не подступишься к нему, такой мрачный стал. Спросишь что, — зыкнет да рыкнет, так поневоле не радость на уме-то, как обо всем подумаешь. Прежде я и сама не такая была: в посиделках ли на пиру ли, на беседе ли, на масленой ли в круговом катании, о святках ли в подблюдных песнях — первая я закатывалась. Плясать ли пуцусь — выступаю плавно, подопрусь рукой, голову набок, каблучками пристукну, да как пойду, пойду — все заглядываются...

Не успела Лукерья Савишна договорить свои воспоминания, как в комнату, в сопровождении сенных девушек, вошла невеста. Настасья Фоминишна была красивая, стройная блондинка, с белоснежным лицом, нежным румянцем на щеках и темными вдумчивыми глазами, глядевшими из-под темных же соболиных бровей. Недаром по красоте своей она считалась «новгородской звездоч-

кой». Этой красоте достойной рамкой служил ее наряд. Атласная голубая повязка, блистающая золотыми звездочками, с закинутыми назад концами, облекала ее головку; спереди и боков из-под нее мелькали жемчужные поднизы, сливаясь с алмазами длинных серег; верх головы ее был открыт, сзади ниспадал косник с широким бантом из струистых разноцветных лент; тонкая полотняная сорочка с пуговкой из драгоценного камня и пышными сборчатыми рукавами с бисерными нарукавниками и зеленый бархатный сарафан с крупными бирюзами в два ряда вместо пуговиц облегли ее пышный стан; бусы в несколько ниток из самоцветных камней переливались на ее груди игривыми отсветами, а перстни на руках и красные черевички на ногах с выемками сзади дополняли этот наряд.

Девушки кинулись к ней навстречу, окружили ее и повели к старушке, припевая всем хором:

*Шла девица, голубица,
Свет наш, Настенька,
По крылечку, по тесову*

Да по коврику.

*Она шла, переступала,
Приговаривала:
Как роскошно, как богато
Здесь у бабушки;
Как приглядно, торовато
У родного мне.*

*Славно птичке поднебесной,
Резвой ласточке,
Порхать по полю чистому,
По зеленому,
Красоваться, любоваться
Светлым ведрышком,
Быстро виться, расстилаться
По поднебесью.*

*Так и Настеньке талантливой
Быть век девицей
Притаманней и привольней,
Чем молодушкой!*

*Вдруг откуда ни возьмись
Да навстречу ей
Идет молодец красивый
Словно писанный.*

Ясноокий и румяный,
Кудри черные,
Он приветит ее речью
Сладкогласною:
Ты куда, моя девица,
Настя-звездочка?

Воротися, дай мне руку:
Я твой суженый!
Хорошо тебе, раздольно
В отчем тереме;

А с милым другом милее
Жить во бедности.
Мы согласно и советно,
По-любовному,
Не увидим, как промчатся
Годы многие.

Настя дрогнула, смутилась
И потупилась.
Ее щеки жаром пышут,
Разгораются,
Ретивое бьется сильно,
Колыхается;

Словно сладкий мед вливают
Речи молодца,

*И разнежася вздыхает
Тяжко, сладостно;*

*Исподлобья и украдкой
На него глядит
И с стыдливою ухваткой
Говорит ему:
Суженый — возьми девицу,
Полюби меня,
И сверкнула на ресницу
Жемчугом слеза.*

В то время, когда девушки приветствовали невесту этой песней, она была в объятьях своей матери и, слушая с удовольствием приятные для нее напевы, скрывала на груди Лукерьи Савишны свое горящее лицо. Затем, как бы очнувшись, она начала целовать по одиночке своих подруг.

— Что это?.. На дворе уже давно вечер, а жениха нашего все нет как нет. Да и отец что-то запропастился на вече. Ну что ему там делать с ранней зари да доселе. Ведь всех не перекричать! — сказала старушка-мать.

— Уж не приключилось ли с ним чего недоброго? — заметила дочь, не спуская глаз с окошка.

— Кому? — спросила мать, смеясь, — отцу или жениху? Кто для тебя дороже?

Настя смешалась и молчала. Лишь после довольно продолжительной паузы вымолвил:

— Оба они неоцененны для меня, матушка, но батюшка дороже, он родитель, кормилец мой.

— Полно пустословить, Настюша! — перебила ее мать. — Я по себе это знаю: бывало, сидя наверху, да взаперти в своей девичьей светлице, как хочется найти такого человека, который бы вынес тебя оттуда, как заговоренный клад, и как он после того становится нам дорог. Вот мы с отцом твоим, так признаться сказать, не всегда ладили, норовом-то он крутенок и теперь. Сперва звались мы «голубками», хотя подчас и грызлись как кошка с собакой, а после он прозвал меня сорокой-трещоткой, — ведь вот какой обидчик. Да, впрочем, я ему сама не спускала: он меня за косу, я его за бороду — отступится поневоле. Я еще скромна, не все высказываю. Да что же ты, Настенька, призадумалась? Девицы, гряньте-ка песенку, да погромче какую, только не заунывную,

что душу тянет, а так — поразгульнее, повеселей... Я и сама подтяну вам.

Старуха запела дребезжащим голосом:

*Отставала свет-лебедушка
Прочь от стада лебединого...*

— Да ты уж, кажись, и плакать собралась?.. О чем это?.. Да, да, мы расстанемся с тобой, неоцененное мое дитяtko! Отдаю я тебя в чужие люди! Осиротеем мы обе!

— Полно, родная, мне и без того моченьки нет, что-то так тяжело взгрустнулось, так вещь замерло, и сама не знаю о чем! — отвечала, всхлипывая, дочь.

О чем?.. Ну, вестимо, о чем, что долго суженого нет? Вот придет он дам я ему себя знать!

— Да придет ли он, матушка?.. Что-то во мне и веры нет! Я сегодня сон видела, злоещий такой...

— Я сама — тоже. Будто отец твой, муж мой, обратился в медведя, еще страшнее стал, да и...

— Вот кто-то подъехал... Чу, уже и голос раздастся в сенях. Должно быть, это они! — закричали девушки, и мать с дочерью,

несмотря на то, что последней вменялось в преступление самой показываться жениху, бросилась встречать долгожданных гостей.

Девушки между тем запели:

*Вылетал сокол ясный на долину,
Он искал соколицу, девицу,
Он сыскал себе...*

— Анютка! Палашка! — кричала старуха своим девкам. — Ступайте, бегите скорей принимать кульки с гостинцами от жениха! Накрывайте столы. Пойте, пойте, девицы!

Девушки заливались.

Вошел Фома с несколькими незнакомцами.

— Что это? — Угрюмо проговорил он. — Чего вопите? Гасите светцы и замолкните, теперь не до вас!..

— Как! Да что это ты затеял? — подхватила Лукерья Савишна, пятясь от него и раскинув удивленно руки. — Зачем гасить светцы да замолкать песням? Что ты ворожить или заклинать кого хочешь в потемках? Так ступай в свою половину, а в наши дела, жениха принимать, не вмешивайся.

— Жених сегодня не будет! — грубо буркнул Фома и стал усаживать своих гостей, из которых один пристально и жадно глядел на бледную томную Настю.

— Чтобы тебе самому принудилось, старому лешему! — проворчала про себя старуха. — Почему же? Что же ему сделалось? Не хворает ли он и помнит ли слово клятвенное? — пристала она к мужу с вопросами уже вслух.

— Нечистый его знает и с тобой-то, отвяжись от меня! — закричал на нее Фома.

— И ты от меня со своей челядью стинь с глаз долой! — не осталась в долгу Лукерья Савишна.

— Баба! — крикнул еще громче Фома. — Я вижу, у тебя волос длинен, да и язык не короток, замолчи, а не то я его совсем вытяну или укорочу.

— Да что ты взаправду рассерчал и озлобился на меня без причины, уж нельзя и слова вымолвить! Мы ждали жениха, а не тебя с этими, сразу понизила она тон.

— Чурчила более не жених моей дочери! Слышишь ли? Теперь о нем более ни слова. Скажи это Насте, чтобы и она не смела более

помышлять о нем.

Старуха всплеснула руками, а Настя, сама услышав свой приговор, дико взглянула на отца изумленными, помутившимися глазами и бледная, как подкошенная лилия, без чувств упала на пол.

— Что ты, варвар старый, что ни слово, то обух у тебя! Батюшки светы! Сразил, как ножом зарезал, дитя свое... Разве она тебе не любя? — кричала и металась во все стороны Лукерья Савишна, как помешанная, между тем, как девушка вспрыскивала лицо Насти богоявленской водой, а отец, подавляя в себе чувство жалости к дочери, смотрел на все происходившее, как истукан.

— Что же теперь хорошие люди скажут? Вот сердечный твой сыночек старший, Павлуша нелюдимый, знать более тебе по нраву пришелся! Тебе нужды нет, что он день-деньской шатается, да с нечистыми знается. Нет же ему моего материнского благословения! От рук он отбил, уж и церковь Божию ни во что ставит! Или его совесть заела, что он туда ногу не показывает? Или его нечистые заколдовали? Или сила небесная не пускает недостой-

ного в обитель свою? Намедни он, — вопила старуха.

— Что ты отходную, что ли, читаешь дочери? — мрачно сквозь зубы прервал ее Фома, сурово сдвинув брови.

— Ах ты, мои родные! Сгубил тебя варвар, мою крошечку!.. Заплатит ему Бог, — стала было причитать Лукерья Савишна, но силы ее оставили и она, в последний раз всплеснула руками, как сноп упала возле дочери.

XIII

В Чертовом ущелье

Почти на краю Новгорода, далеко за Московскими воротами, был обширный пустырь, заросший крапивой и репейником. Вокруг него торчали огромные рогатые сосны, любимое пристанище для грачей, ворон и хищных зверей, в середине находилось ущелье, прозванное «Чертовым», — в нем под горами хвороста и валежника водились всякие гады: змеи и ужи.

Недалеко от него стояла маленькая избушка с соломенной крышей и с двумя прорезями маленьких окон. Покосившаяся от времени дверь, сколоченная из трех досок, поминутно

билась и скрипела на крючьях, то отворяясь то затворяясь.

Предание об этой избушке было недоброе.

Старожилы уверяли, что они и не помнят, кто построил ее. Место это обегали испокон века, и только запоздалый путник решался идти мимо него, да и то в некотором отдалении, осеняя себя крестным знамением.

Рассказывали, будто дверь избушки, бьющая, как подстреленная птица крылом, была подвижна нечистой силой, которая нарочно заманивала любопытных внутрь избушки, откуда уже они никогда не возвращались.

Молва шла далее и утверждала, что в ней жил чернокнижник, злой кудесник, собой маленький старикашка, а борода с лопату и длинная, волочащаяся по земле; будто вместо рук мотались у него железные крючья с когтями, а ходил он на костылях, но так быстро, что догонял ланей, водившихся в окружности. Днем он не показывался, заклятый еще святителем Ионой Новгородским, а по ночам прогуливался, если не на костылях, то верхом на огненном козле, и с таким пронзительным свистом, раздававшимся по всему лесу, что

распугивал всех хищных птиц, притаившихся в гнездах. Птицы выли, стонали и били крыльями страшную тревогу по всему лесу.

Солнце глянуло своими лучами сквозь серые облака на мрачные ели и сосны и зарумянило «Красный холм», находившийся перед самой избушкой «Чертова ущелья». «Красным» он был назван потому, что под ним злой кудесник погребал свои жертвы, и в известные дни холм этот горел так ярко, что отбрасывал далеко от себя красное зарево.

На этом холме сидели двое.

Один из них — человек мрачного вида, в натальном тулупе и в нахлобученной на глаза шапке из черных овчин, волосы его, черные как душа закоренелого убийцы, были нечесаны и взъерошены и высывались ключьями из-под шершавой шапки, так что трудно было догадаться, где кончается овчина и где начинаются волосы. Кудрявая борода, смуглое лицо, кушак, кованный из чугуновых колец, на котором висели заржавленные ножны, — ножом же он шаркал по бруску, — лежавшая подле него рогатина — все это показывало в нем, если не хозяина сего места,

то достойного его жильца, обыкновенно называемого «придорожным удальцом».

Вид его белокурого товарища был менее свиреп, но все-таки у постороннего зрителя могло сразу сложиться убеждение, что они: два сапога — пара.

— Прощай же, Семен! — говорил задумчиво черный.

— Видно, ты далеко на добычу хочешь отправиться! Куда это? Что-то давно я вижу тебя таким сумрачным и что-то обдумывающим, — спросил его белокурый.

— Куда мне надобно! — уклончиво ответил тот.

— Слушай, Павел Фомич, — начал Семен, — грех тебе таиться от товарища, который мыкается с тобой одной жизнью, готов наткнуться за тебя на нож и копьё.

Помолчав немного, Павел отвечал:

— Так и быть, поведаю тебе, что ни на есть мое задушевное. Мне скучно на родине, тесно в большом городе, люди не ласково смотрят на меня, да и сам я не люблю никого из них, словно рожден быть не человеком... Ты знаешь, как я ненавижу Чурчилу, и вот за что: до

него я слыл на кулачном бою первым бойцом и удальцом, но он раз меня сшиб так крепко, что я пролежал замятво целые сутки, а ты знаешь мой норов: или ему, или мне могила, без того жить не хочу. Ты знаешь и то, что случилось в нашем семействе. Если бы он не повздорил с отцом моим и свадьба их с сестрой состоялась бы, я уж готовил ему подарок в заздравной чаре... Но говорить теперь некогда. Он далеко ищет смерти, а я из стремени ноги не вытащу до тех пор, пока не найду его и не помогу ему в этом, то есть не всажу ему нож в горло. Он думал видеть во мне брата и обходился со мной всегда очень любезно, тем легче будет мне втереться к нему в доверие. Давно бы выслал я его с белого света, да за него здесь заступников много, а там, где он теперь скитается, верней и лучше найдется рука на его шею. Сам знаешь, грозен враг за горами, но грозней за плечами. А ты оставайся здесь рыскать по ночам за добром с прочими товарищами. Прощай, конь мой далеко, руки чешутся.

С этими словами Павел быстро вскочил на своего коня и исчез, мелькнув раз-другой в

чаще деревьев.

— Вот оно что! — удивленно развел руками Семен, вытаращив глаза вслед удалявшемуся товарищу.

Оставим на время наших героев, дорогой читатель, вернемся для объяснения некоторых описанных в предыдущих главах исторических событий за некоторое время до этого, причем заглянем в московское княжество.

XIV

Терем под Москвой

Тихо, мертвенно было в природе. Черные тучи густо обложили горизонт, изредка лишь мерцали на нем редкие звездочки, но и те одну за другой заволакивали дождевые облака.

Ночь уже совершенно спустилась на землю и покрыла ее как бы черным траурным крепом; молния изредка разрывала тучи, но этот мгновенный пожар неба еще более сгущал сумрак, висевший над землей.

Громовые раскаты долго и яростно звучали в пространстве.

Был конец августа 1477 года.

В нескольких десятках верст от Москвы и

на столько же почти в сторону от большой тверской дороги стоял деревянный терем, окруженный со всех сторон вековыми елями и соснами. При первом взгляде на него можно было безошибочно сказать, что прошел уже не один десяток лет, когда топор звякнул последний раз при его постройке. Крылья безостановочного времени не раз задевали его и оставили на нем следы свои. Добрые люди давно не заносили ноги через его порог.

Путники, застигнутые ночью или непогодой на большой дороге, редкие не знали, что на ней находится приятный шинок, содержащийся одним жидовином, по прозвищу Загреба, славившимся в то время на всю окрестность молодой брагой и молодой женой, которая была весела и так же гуллива, как брага и щеки которой были так же пышны и румяны, как поджаренные блины ее мужа.

Недобрые тоже давно не прокладывали следов к этому терему, зная, что в нем, кроме ветра, хозяйничавшего по жидням, ловить было некого, да и поживиться, кроме живших в нем старика и старухи, было нечем и не у кого.

Терем этот, огороженный высоким бревенчатым забором, разделялся длинными сенями на две неровные половины. Меньшая из них, состоявшая из одной светлицы, была занята упомянутыми стариками, а большая, по слухам, обитаемая нечистой силой, стояла запертой большою железной дверью, сквозь которую продеты были двойные заклепы, охваченные огромным замком с заржавленной петлей.

Шесть долгих зим провели в том необитаемом тереме старик Савелий с женой Агафьей; недаром говорят, что привычка долго ли, коротко ли, а обращается во вторую природу: старики были довольны своей судьбой и друг другом. В последнем бывали исключения лишь тогда, когда Савелий, побывав в Москве за харчами, соблазнился на обратном пути елкой, гордо торчавшей над дверью шинкаря Загребы, ласково и умильно манившей к себе конных и пеших путников, заезжал будто ненароком к хозяину шинка спросить: «нет ли какой ни на есть работенки?» несмотря на то, что жидовин при всякой надобности всегда сам присылал за ним.

Савелий при этих посещениях не был обносим ковшом пенистой браги, а при выходе из шинка пазуха его всегда топырилась доброй краюхой пирога с капустой, данной ему на дорогу или в гостинец Агафье Сидоровне.

После такого задабривания гостеприимный Загреба уж и не спрашивал Савелия: можно ли ему в пределах леса, вверенных последнему, рубить дрова для варки браги и печения пирогов.

Только Агафья-то Сидоровна всегда недовольная встречала своего муженька, заметив, что у него лицо осело, как ее праздничная кичка, а ноги и язык, видимо, заплетаются. Он же с похмелья был недоволен женой, когда она своим ворчанием прерывала его вместе грустные и сладостные воспоминания так недавно минувшего.

В сущности они жили дружно, хотя и не припеваючи.

В описываемый нами поздний вечер, зажженная лучина, воткнутая в железный светец, слабо освещала Савелия, сидевшего на скамье; возле него лежал готовый лапоть, другой он плел, спеша закончить его к утру

на продажу. Напротив него Агафья дремала под однообразное жужжание веретена, а последнему вторил сверчок за печкой.

Старики молчали.

Вдруг молния облила своим пламенем оконце светлицы.

— С нами крестная сила! — воскликнула Агафья, перекрестясь и выронив из рук веретено.

— Упаси Господи, какая гроза наступает! — сказал Савелий, также осенив себя широким крестом.

Вслед за громовым ударом забушевал ветер и полил проливной дождь: лес дрогнул, деревья порывисто закачались своими вершинами.

— Сидоровна, — сказал Савелий, — заслонка окно-то ставнем, а то задует лучину.

Старуха поплелась, но только лишь подошла к окну, как в него ворвался порыв ветра, лучина вспыхнула и потухла. Вместо нее ослепительно блеснула молния и осветила окнами движущиеся фигуры людей.

— Батюшки светы, что это? — воскликнули в один голос старики, пораженные такой

массой неожиданностей, но раскат грома заглушил их слова.

— Эй, кто здесь живет, добрые люди или не добрые? Укройте от темной ночи и непогоды заблудившихся! — раздался у окна громкий голос.

— Да поскорей! — поддержал другой, хрипловатый, дрожащий, видимо, От холода голос.

— Бабка! Вдувай огня! — заговорил Савелий, придя в себя, — а я побегу отворить ворота.

— Как бы не так, вдувай огня! — передразнила Агафья мужа вполголоса. — Да кого это нелегкая принесла в такую пору. Стану я светить всяким бродягам. По мне они хоть все глаза повыколи себе о рожны, побери их нелегкая!

— Или хозяев нет, или они нехристи какие, что не могут пустить нас на часочек обогреться да обсушиться? — повторял за окном хрипловатый голос.

— Да что попусту толковать... Ишь — ни привету, ни ответу... Если бы они были добрые люди, то сами бы позвали нас, а со злыми считаться нечего! — прервал его громкий го-

лос. — Если совсем нет хозяев, то мы и без них обойдемся... Терем не игольное ушко — пролезем... Эй, люди, ломайте ворота, а я попробую окно...

По стуку ножен меча не трудно было догадаться, что говоривший спрыгнул с лошади.

— Иду, сейчас, вот только накину зипунишко! — закричал Савелий, струсив перед решительными поступками незваных гостей.

Через несколько минут, медленно скрипя, растворились ворота, и Савелий вышел из них, тараща глаза, как бы желая рассмотреть сквозь окружающий густой мрак приезжих.

— Входите, вот сюда, за мной... Да много ли вас? — с тревогой спрашивал он.

— Всего четверо, — ответил ему громкий голос, ощупав его плечо и ухватясь за него, — авось углы твоей светлицы не разломаются от нас.

Остальные трое, введя на двор лошадей, ухватились тоже один за другого и, таким образом, медленно, гуськом, ощупью, вступили в обиталище Савелия.

XV

Поздние гости

— Да посвети нам, хозяин, нам не в прятки диграть; нет ли хоть на алтын огоньку! — заговорили приезжие, войдя в светлицу Савелия.

— Шарю... родимые... Куда впотьмах светец обронил? — отвечал с расстановкой хозяин. — Жена, баба, хозяйка! — продолжал он, — ты куда еще запропастилась? Вздуй-ка господам огоньку. Небось, они не тронут.

Молния блеснула и осветила Агафью, выскользнувшую как ящерица из-под печки.

— Ха-ха-ха! Видно хозяйка там цыпляет высиживает! — захохотали приезжие, — ты бы крышкой закрыл, а то сглазят.

Молния повторилась. Агафья приподнялась с пола и, прокравшись по стенке к мужу, начала что-то шептать ему.

— Что? Не хочешь вздуть огня? Вот дам я тебе затрещину, так поневоле засветишь, как искры из глаз посыпятся, — отвечал, ей полупшепотом Савелий.

Агафья, ворча себе что-то под нос, отыскала трутницу, высекла огонь, вздула его на лучину и осветила светлицу и находившихся в ней.

Четырехугольная, обширная светлица, вопреки своему названию, была закопчена, как угольная яма. В переднем углу, в божнице, стояло несколько икон в медночеканных окладах; под божницей висела запыленная занавеска, прикрывавшая полку, на которой лежали писанные святцы и четки из Богородицыных слез. В передней стене находились два узких продолговатых окна, называемые — красными. В рамках были вставлены стекла, — что для описываемого нами времени составляло значительную роскошь, так как они получались из чужих краев, — только кое-где, вместо разбитых верешков, была наклеена холстина, обмазанная маслом. В боковых стенах были волоковые окна, заткнутые говяжьими пузырями. Все это, как и колоссальная изразцовая печь, указывало, что светлица эта была некогда обитаема не Савелием с Агафьей, а ближними боярами великого князя.

По стенам светлицы были лавки, а в переднем углу стоял вымытый и выскобленный стол, в заднем, на двух столбах, стояло корыто, над которым находились полки с разной

посудой.

Агафья, засветив огонь, стала у шестка, обтирая руки о полосатую поневу, и исподлобья оглядывала поздних гостей; невдалеке от нее Савелий был занят тем же самым.

Посредине светлицы стоял высокий, средних лет, мужчина, с открытым, добродушным лицом, в камлотовой однорядке, застегнутой шелковыми шнурками и перехваченной козылбатским[13] кушаком, за которым заткнут был кинжал. Широкий меч в ножнах из буйволово́й кожи, на кольчатой цепочке, мотался у него сбоку, когда он отряхивал свою мокрую шапку с рысьей опушкой. На ногах его были надеты сапоги с несколько загнутыми кверху носками; на мизинце правой руки висела нагайка.

Подле него стоял, недоверчиво озираясь, другой человек, постарше, низкорослый, но плотный, с редкой рыжей бородой, с широкой плешью на голове и с быстрыми маленькими глазами, одетый почти так же, как и его товарищ, исключая разве вооружения, которое у этого состояло из одного широкого ножа с серебряной рукояткой.

На двух других были надеты простые, суровые охабни, но они были вооружены с головы до ног — видимо, это были холопы двух бояр.

— Ну, здорово, хозяева! — сказали пришедшие, помолясь в передний угол и слегка поклонясь Савелию и Агафье. — Не взыщите, что мы напросились к вам, нужда привела.

— Милости просим, бояре, рады гостям! — отвечали хозяева в один голос.

— За что взыскивать? — продолжал уже Савелий один, — мы по возможности рады приютить вас чем Бог послал от темной ночи и непогоды... Не знаю, как ваша милость прозывается.

— Меня зовут Назарием, а товарища моего — Захарием, — отвечал высокий. — А тебя как звать?

— Да был Савелий Тихонович!.. А далеко ли едете? — говорил Савелий, обтирая полою своего зипуна переднюю лавку и усаживая на нее гостей.

— Уж это не твое дело! — заметил Захарий, садясь и отдуваясь от усталости.

— Вестимо, не мое, боярин, я так, просто спросил, — отвечал Савелий, кланяясь.

Он отошел в сторону и стал сложа руки.

— Вот думали-гадали сегодня до Москвы доехать, а вышло иначе! заговорил Назарий. — Дождь загнал нас в лес; хотели укрыться под какое-нибудь дерево и проплутали, да уж слава Богу, что у тебя нашли в потемках ночлег.

— Человек предполагает, а Бог располагает, это искони ведется, боярин! — отвечал Савелий. — Известно, в лесу жутко. Теперь молния так и обливает заревом, а гром-то стоном стонет. Чу? Ваши лошадушки так и храпят, сердечные.

— Да, вот спасибо напомнил! Что ж вы, олухи, забыли про лошадей-то? закричал Захарий, повернувшись к холопам, — самих вас выгнать на двор, пусть бы дождик доколотился до ваших костей, стали бы вперед заботиться о животных.

— Лошадей мы ввели сюда, на двор, боярин; а наше дело — не знали, куда их поставить! — ответил один из холопов. — Ведь, мы не дома.

— Хозяин, нет ли у тебя навеса какого для нас? — спросил Назарий.

— Как же, боярин, — отвечал Савелий, — там позади сарай, в нем и моя клячонка стоит.

— Ну, что же вы глаза-то вылупили? Ступайте за хозяином! — снова закричал на холопов Захарий и стал что-то нашептывать своему товарищу.

Савелий зажег лучину и, прикрывая ее полюю, пошел было к двери, но Назарий вернул его вопросом:

— Слушай, хозяин, да много ли вас здесь живет в тереме?

— Мы с женой, боярин, двое только. Вот в Никитин день минет шесть лет, как мы здесь одни маемся; а прежде он стоял пустой, прах его возьми! А до того еще жили в нем.

— До прежнего нам дела нет... а теперь, не утаивая, все расскажи. Знай, что мы не поддадимся тем, кого ты скрываешь здесь; только тронь нас, вот ты же поплатишься головой и тех бородой своей не заслонишь... даром, что она широка.

— Да что ты, барин, кормилец, я хоть раб на белом свете, а меня добрые люди знают и ничем не ругают... Правда, парнишки шинка-

ревы трунят, да зубоскалят иногда надо мной: ты, дескать не лесничий, а леший... Намедни...

— Врешь, проводишь вот как мы допросим тебя палашами, то не так заговоришь, — сказал прищурясь Захарий.

— А еще, похоже, добрые бояре! — отвечал Савелий, покачав головой. Седые волосы мои порукой, что я не грешен перед Богом и добрыми людьми во лжи! Что же мне-то о вас думать?..

— Верим, верим тебе, старина! — сказал Назарий ласковым голосом, трепля его по плечу. — И ты поверь нам, что мы ни одной седины твоей не тронем, вот тебе правое слово мое.

— Да было бы за что и тронуть, — вмешалась в разговор Агафья, — ведь мы — москвичи, суд найдем: нас рабов своих, ни боярин наш, ни сам князь великий в обиду не даст всяким заезжим.

— Ого! Наконец, и ты каркнула, старая ворона. На чью только голову? заметил Захарий, язвительно улыбаясь.

— Да в своем гнезде и ворона коршуну гла-

за выключает, не прогневись, боярин, — поклонилась старуха.

— Слушай ты, лягушка! Перед чем ты расквакалась? Пикни еще, так я тебе засмолю пасть-то! Эка, невидаль — москвичка! А москвитяне-то все рабы!

Агафья струсила и замолчала, продолжая ворчать что-то себе под нос.

— Полно, товарищ, — сказал Назарий с недовольством, — ты не прав; лучше исследуем сами истину! Дедушка, посвети-ка нам до твоего сарая; чай, наши лошади продрогли.

Савелий молча и нахмуренно направился к двери, за ним следовали все четверо приезжих.

Захарий шел последним, недоверчиво оглядываясь на Агафью, как бы боясь преследований ее ухвата, опершись на который она стояла у шестка.

XVI

История терема

Захарий вернулся со двора раньше своего товарища и, убедившись в справедливости слов Савелия, не в пример храбрее вошел в светлицу. Агафья оказалась относительно его

такой неласковой хозяйкой, что тотчас же убралась в сени после его прихода.

Захарий, пройдясь несколько раз по светлице, отошел к сторонке и, вынув из-за пазухи кожаную кису, зашнурованную ремнями на сборчатых кольцах, высыпал из нее на ладонь несколько серебряных монет, стал любоваться их блеском, видимо, обдумывая, куда бы получше спрятать свои сокровища.

Вошедший вслед за ним Назарий, доверчиво скинул с себя охабень, разложил его на лавку, подкинул под голову шапку и, приготовив, таким образом, себе постель, оглянулся на товарища.

— Эй, послушай, — заговорил он. — Как у тебя глаза-то приросли к деньгам: так и впился в них, что не оттянешь ничем! Сколько не пересчитывай, этим не прибавишь! Да и на что тебе больше? Их и так столько у тебя, что до страшного суда не проживешь, а тогда от смерти не откупишься; черти же и в долг поверят, — по знакомству, — а не то на них настрочишь челобитную...

— Ты только зубоскалишь! — хмуро отвечал Захарий. — Чем бы дать добрый совет, да

защитить товарища, а тебе все равно: ограбят ли его или прихватят горло... А я, кажись, почтеннее тебя, потому что постарше: не тебе язык чесать надо мной, — ты еще ползком ходил, а я уже заседал в думной палате.

— То-то и есть, ты от всех отпрыскаешься чернилами... А насчет добрых советов: я и тебе подаю его — спрячь-ка ненаглядные свои, они тебя вводят частенько в искушение, но не избавят от лукавого... Уж я тебе предрекаю, что ими ты не один нож призовешь на свою шею... Да вон кто-то уже и идет.

Захарий поспешно задернул шнурками кису и, опустив ее за пазуху, приосанился как ни в чем не бывало.

— Самого свежего, сочного сенца задал лошадам вашим, бояре, и кадушку овса насыпал для них, — сказал вошедший Савелий. — Ишь как измучились сердечные. Одна чья-то уже куда добра, вся в мыле как посеребрена, пар валом валит от нее, и на месте миг не стоит, взвивается... Холопская уж куда ни шло, а то еще одна там есть, ни дать, ни взять моя колченогая... Променяйте-ка ее в Москве на ногайскую, что привели наемни татары це-

лый табун для продажи... Дайте в придачу рублей...

Захарий весь вспыхнул от злости, обидевшись тем, что старик браковал его лошадь, и резко прервал его:

— Что гроза еще не прекратилась?

— Слава Богу, стихло, дождь чуть покапывает, только с деревьев больно сыплет его ветер, как веником смахивает.

Вошел холоп Назария и подал своему господину яшмовую фляжку с греческим вином, серебряный рожок и конец белого панушика.

Назарий, налив в рожок вина, перекрестился и, поклонясь хозяевам, разом опорожнил его, а, наливая другой, обратился к Захарю:

— На-ка, промочи живой водицей свою душеньку, небось она зачерствела со страху в лесу.

Тот не отказался и, прильнув к рожку, вытянул вино как насосом.

Дошла очередь до хозяина, но тот обеими руками отмахивался от вина.

— Что ты, боярин! Нам нельзя это снадо-

бье, наше рыло не отворачивается только от пенной браги, да и то в праздничный день, а не в будни[14].

Не малого труда стоило Назарию уговорить его выпить хотя один рожок. Савелий опасался, что среди приезжих есть соглядатай из холопного приказа[15], который после возьмет с него виру[16].

Только тогда, когда Захарий поклялся ему московским чудотворцем, святым Петром митрополитом, что никто из них из избы со-ру не вынесет, т. е. не будет на него доносить, старик охотно согласился опорожнить не только рожок, но даже целую флягу.

Понравилась ему, видимо, лакомая влага. С самодовольной улыбкой погладил он свою бороду, которую звали полосатой, так как она была черная с проседью, и любовно посмотрел на оставшееся во фляжке вино.

Агафья тоже промочила себе горло, не отказываясь, но прихлебывая и приговаривая:

— Куда голова, туда и хвост, прожив с мужем четыре десятка, так уж и пить из одной чаши!..

Вино развязало языки старикам.

Савелий пустился в рассказы о тереме, утверждая, что он более чем ровесник Москвы, что прадеду великого князя, Юрию Владимировичу Долгорукому подарил его на зубок задуманному им городу какой-то пустынный-чародей, похороненный особо от православных на Красном холме, в конце Алексеевского леса, возле ярославской дороги, что кости его будто и до сих пор так бьются о гроб и пляшут в могиле, что земля летит от нее вверх глыбами, что этот весь изрытый холм по ночам превращается в страшную разгоревшуюся рожу, у которой вместо волос вьются огненные змеиные хвосты, а вместо глаз высовываются жала и кивают проходящим, что пламя его видно издалека, и оттого он прозван «Красным». Великий князь подарил этот терем боярину Савелия за верную службу, вскоре после похода под Казань, и что с тех пор стал тут жить боярин с семейством до самой опалы великокняжеской.

Савелий проговорил бы до утра, если бы его не прервал Захарий.

— Уйми ты жернов свой, — крикнул он на него, — сказка твоя слишком тощая закуска

для меня... Эй, вы, подите обшарьте-ка тороки у моего седла, там, я за приметил, мотались давеча калачи...

— Да они, боярин, все размокли от дождя, — отвечал один из холопов.

— В самом деле, хорошо бы закусить чем-нибудь, — заметил Назарий.

— Скудна наша трапеза, боярин, а если тебе угодно, то бьем челом всем, что сыщется, — произнес Савелий. — Эй, жена, все, что есть в печи, на стол мечи!

— Что там разбирать, любя али не любя, все благословение Господне, отвечал Назарий. — Что до меня, я человек привычный ко всему, рос не на печке, не был кутан хлопком под материным шуком, а все почти в поле; одевался не полостями меховыми, а железной скорлупой и питался зачастую чем ни попало.

Агафья тем временем всунула руки и голову в печь, вытащила из нее горшок с ячменной кашицей, приправленной чесноком и свиным салом. Савелий достал с полки ковригу ржаного хлеба, толокно, и все это они поставили с поклоном перед своими гостями.

Савелий нацедил ендову квасу, подал его вместе с деревянной узорной резьбы солонкой гостям и пожелал им на здоровье откусать его хлеба-соли.

Назарий, усердно помолясь Богу, сел за стол, отломил себе добрую краюху хлеба и, зачерпнув широкой ложкой кашицы, стал аппетитно уплетать далеко не изысканные яства.

Захарий сперва морщился и делал себе поднос замечания, что на хлебе не менее плесени, чем на лице хозяйки морщин, что он жесток так, что ему не по зубам, но видя, что аппетит его товарища грозит опустошить весь горшок кашицы, начал быстро наверстывать потерянное время.

Когда оба проголодавшиеся гостя насытились, Захарий даже самодовольно разгладил рукой свое увесистое брюхо и почти дружески спросил Савелия:

— Скажи-ка нам, Тихоныч, — мы люди заезжие, — нет ли в Москве чего новенького? Порадуй нас какой-нибудь весточкой.

XVII

Рассказ Савелия

— И, боярин, откуда нам, набраться ново-
Истей, — отвечал Савелий, живем мы в
глуши, птица на хвосте не принесет ничего.
Иной раз хоть и залетит к нам заносная ве-
сточка, да Бог весть, кому придет она по нра-
ву, другой поперхнется ею, да и мне не уйти.
Вот вы, бояре, кто вас разгадает, какого удела,
не московские, так сами, чай, знаете, своя ру-
ка только к себе тянет.

— Хотя мы не московитяне, не земляки
твои, однако, такие же русские, — сказал На-
зарий, — такие же православные христиане,
ходим с вами под одним небом, поклоняемся
одному Богу, греемся почти одной кровью и
баюкает нас одна мать — Русь святая.

— Да отец-то не один, — продолжал Саве-
лий. — Мы чтим и челом бьем своему князю,
на кого он, на того и мы, за кого он, за того и
мы, а вы, чай, чувствуете своего.

— Мы, — гордо воскликнул Назарий, — все
мы одно тело! Душа наша...

Он остановился, так как Захарий толкнул
его ногой и добавил живо:

— Что-то будет...

— А бывала ли ваша милость в Москве? —

нарушил Савелий вопросом наступившее было молчание.

— Я был, но давно уже, — отвечал Захарий, — когда еще в Москве замирала жизнь и души во всех дремали. Помнишь ли, когда истекала седьмая тысяча лет от сотворения мира, что по греческим писаниям означало приближение конца света?

— Как же, родимый! То была черная година! Знать на нее взглянул Касьян немилостивый. Я жил тогда в Красном селе. Бывало, пойдешь в Кремль к боярину, да еще не доходя до посада все сердце изноется; в какую сторону ни взглянешь везде идет народ в смирном[17] платье на каждом шагу, видишь, несут одер или сани[18] с покойниками, а за ними надрываются голосатые[19]. Слухи носились, что железа[20] рыскала по всей Руси, а у нас, кажись, нахватало народу более всех. Ведь сколько его вымерло — гибель! А как стужено было, какие снега сыпались даже в весенние дни, солнышко-то Божье отвернулось от грешной земли нашей, бывало и не проглянет и не обрадует нас несчастных; а летом-то еще пущая пришла невзгода, ни дож-

дичка, ни росинки, жар обдает, а напиться нечего, вода-то вся, как выпарилась! Хлеба все опалило — и голодно и душно, хоть живым ложись в могилу. А ночи-то какие ужасы наводили на нас. Вдруг делается темень такая, что хоть глаз выколи, ни месяца, ни звезд, да еще, сам не видал, а молва разносила, озера по ночам воем выли, так что спать не давали, кто жил к ним близко. Невесть что претерпели мы тогда! И чем прогневили только Владыку Небесного, что послал Он на нас бедных напасть такую лютую.

Назарий, внимательно слушавший рассказ Савелия, задумчиво и печально произнес:

— Бедная наша отчизна! Чужие и свои враги, и гнев Господень подавляют тебя.

— Какие же это свои враги, боярин? — спросил его Савелий. — Кажись, теперь все князья живут в ладу, как дети одной матки, дружно, согласно. Наш же московский, как старший брат, властью своей прикрывает других. О прежнем времечке страшно подумать. Вот недавно сломил он, наш батюшка, разбойников...

Захарий быстро смекнул, о чем хочет заговорить Савелий, и, заметя, что в глазах Назария блеснул луч гнева, поспешно перебил старика:

— Ну, Тихоныч, что же далее-то было?

— Да что? Грянул гром и хватились за ум — начали все креститься: кто вносил богатые вклады в храмы Божии, кто строил их, кто, не в осуждение будет сказано, протоптал колени и отмахал всю голову, молившись, а с ближних своих сдирали вчетверо за хлеб насущный, несмотря, на то, что у самих были полные закрома всякой всячины, а другим и куснуть было нечего; иные же, зазорно и вымолвить, нанимали за себя молельщиков... Всяк, кто не хотел трудиться да работать, делался их попом... Их ублажали всячески, а они, прости Господи, вместо утешения да моления за православных, только соблазняли народ и бесчинствовали до того, что добрый владыко, наш пастырь и святитель Феодосий, не будучи в состоянии терпеть далее таких беззаконий, сложил с себя сан митрополичий и заключился в Чудовом монастыре. Там, сказывали, ухаживал он все за каким-то прока-

женным, омывал его раны, молился за нас грешных и творил многие богоугодные дела до конца своей жизни.

— А церковь-то Божья и вы остались без стража, отданные на добычу этим развратным искусителям? — спросил Назарий.

— Место свято пусто не живет, да и верующие в него тоже. Духовные сановники вскоре всем собором избрали на упразднившееся место в московские пастыри суздальского святителя Филиппа. Этот муж, разумный и красноречивый, силой слова разогнал во имя Божье эту челядь, а нас просветил надеждой, проповедуя об испытании и покорности рабов земных Отцу нашему небесному, чадолубивому.

— Помнится мне, москвитяне ваши собирались воевать с Казанью после этого падежа людского? — спросил Захарий.

— Не после, а в это же время, боярин, как великий князь поднял верноподданных громким кличем идти на неверцев. Как выкатили на площадь Кремлевскую не тараны стенобитные, не туры подвижные, не перевесы приступные[21], а огнеметы чугунные[22], все

это так ободрило народ, что все подняли головы, как будто грянула страшная труба и звала всех из гробового сна. Сбылись и священные слова нашего пастыря: «молитесь и дастся вам». Настала весна, проглянуло солнышко. Боже, как обрадовались ему православные. Солнышко, родное, глазок Божий, ненаглядное ты наше! вскрикивали все, рыдая, а оно-то так умильно, так светло взглянуло на нас... и заиграли его искорки на крестах соборных, и разгорелись наши сердца радостью, и... Да что и говорить, всего не вымолвишь, что было на душе! Земля отдохнула — и с тех пор уже жутко стало показываться снегам да морозам в вешние дни.

Окончив свой рассказ, Савелий утер рукавом выступившие слезы.

Прослезился и затуманившийся Назарий.

Лучина нагорела. В светлице был полумрак. Все было тихо; вдруг Захарий вывел носом такую ноту, что все оглянулись, подумав, что это прозвучала сапелка[23]. Затем он сильно всхрапнул и, тут же проснувшись, удивленно смотрел осоловелыми глазами на молчавших собеседников.

— Ох, да как славно я вздремнул! — произнес, наконец, он и, заметив, что заветная киса его высунулась наполовину из-за пазухи во время сна, поспешно спрятал ее.

Назарий встал из-за стола и помолился Богу, за ним поднялся, зевая, и Захарий.

— Ну, теперь моя очередь заснуть! — сказал первый и прилег на свой охабень.

— Старуха, покорми чем-нибудь наших холопов. Кстати, вот тебе за все тепло и добротное, — продолжал он, выкидывая на стол серебряную резань[24], а Захарий, сверх того, отложил несколько литовских грошей[25].

— Это тебе, Сидоровна, за хлопоты и услуги.

— Спасибо, господа милостивые! — сказали хозяева низко кланяясь им.

— Вот эта наша, светленькая-то, — прибавил Савелий, перевертывая резань и любуясь ею, — а эти медяшки-то Бог весть какие, те же пули, да не те, на них и грамотей не разберет всех каракулей. А что, боярин, продолжал он, обратясь к Захарию, — должно быть, издалика эти кружки?

— Нужды нет, что отсюда не видать, где их

круглят, однако, тебе за них и в Москве насыпят добрый оков[26] хлеба.

— Я не сомневаюсь, боярин; всякая деньга становится всем притяженна, — отвечал Савелий.

XVIII

Рассказ Агафьи

— Ну-ка, старина, — что-то сон не берет, — порасскажи-ка нам теперь о дворе вашего великого князя, — сказал Захарий. — О прошлых делах не так любопытно слушать, как о тех, с которыми время идет рядышком. Ты же о чем-то давеча заговорил, будто иную весть не проглотишь. Не бойся, говори смело, мы верные слуги московского князя, у нас ведь добро не в горле останавливается, а в памяти: оно дымом не рассеется и глаз не закоптит.

— Я, боярин, опять-таки говорю: мои вести короче бабьего разума, сами будете в Москве, все разузнаете и диву дадитесь, как она красива, как добры и сильны стали детки ее и как остры мечи их. Вот хоть бы взять, к примеру, мурзы татарские, эти казанцы-поганцы, со своим псом-царем Ибрагимом; уж не они

теперь на нас, а мы на них; наши дружины протоптали дорожку даже к самому гнезду этих неверцев... Да вот только привел бы Господь батюшка нашему великому князю сбить последнюю спесь с чопорных новгородцев, он бы их ошелолил, как наемни этих.

— Да знаешь ли ты, косноязычник, что погубило новгородцев? воскликнул взволнованно Назарий и даже привскочил с лавки, на которой лежал. — Если бы не измена Упадыша[27] с его единомышленниками, брызнул бы на москвитян такой огненный дождь, что сразу спалил бы их, а гордые стены Новгорода окрасились бы кровью новых врагов и еще краше заалели бы. Так-то, седая борода, — добавил он, несколько успокоенный, изумленному Савелию, — что не знаешь, о том и не болтай.

— Вот то-то, боярин, сами вы напросились на грубое слово. Я говорил, что на всякого не побережешь хорошую весть. Однако за что же ты защищаешь крамольников, — они кругом виноваты, в них, видно, и кровинки русской нет, а то бы они не променяли своих на чужих, не стали бы якшаться да совет дер-

жать с иноверной Литвой! Мы холопы, а тоже кое-что смекаем; не я один, вся Москва знает, о чем теперь помышляет князь наш.

Назарий задумался и, видимо, не найдясь, что ответить ему, глубоко вздохнул и опустил голову на шапку, заменявшую ему подушку, и закрыл глаза. Захарий же с ударением заметил:

— Полно говорить-то, мы точнее тебя знаем, какие мысли ворошатся теперь в голове вашего любовластного князя.

Савелий пристально посмотрел на него и, как бы сообразив что-то, схватил себя за голову и поспешно выбежал из светлицы. Агафья же, кормившая холопов, отвечала ему вместо мужа:

— Вестимо, боярин, но мы тоже понаслышаны кой-чего, а когда бояре наши были во времени[28], то тогда мы и более знавали.

— Кстати, Сидоровна, за что же опала-то опалила крылышки твоим боярам? Кто они такие и где находятся теперь? — спросил Захарий.

— Долга будет песня про все, боярин! — отвечала она, — вот дождь-то, кажись, унялся,

небо прояснилось и светать скоро начнет, вам будет в путь пора, а нам на покой.

— Да, что-то сон у меня как рукой сняло; расскажи-ка теперь что-нибудь ты.

— Ну, коли изволишь слушать, да это тебе на пользу — так пожалуй! Боярин наш зовется Алексеем Полуектовичем, он был в чести у великого князя, а жена его, боярыня Наталья Никоновна, у великой княгини Марьи Михайловны[29] — первой любимицей. В свадьбу великокняжескую она осыпала жениха и невесту хмелем из золотой мисы, да опахивала тридесатью дорогими соболями. И жили-поживали наши бояре при дворе в высоких теремах чинно и раздольно и едали с княжеских блюд сладко и разносольно. Соберется ли, бывало, великий князь в поход, и боярин с ними, охраняет его особу верно, а боярыня остается потешать сиротиночку княгиню великую, — и много годов прошло таким чередом. Вдруг с Марьей Михайловной что-то случилось; бывало, не заснет ни на миг, не промолвит словечка, не проглотит кусочка, — уж чем ни забавлял ее великий князь: заставлял слепого гудочника играть подле постели ее

на гудке и веселые песни и умильные песни, ластил ее и медом золотым, шипучим и всякими Закусками и гостинцами сладкими, ничем не угодишь. Знахари думали-передумали, судили-рядили и сказали в один голос, что она испорчена злыми снадобьями. На кого подумать? Стали допрашивать всех сенных и сановитых прислужниц ее, и показали все, что видели, как боярыня наша Наталья Никоновна ходила с поясом великой княгини к ворожее и что будто эта ворожея и привила ей недуг лютый. Отворили храмы святые, подняли образа чудотворные, служители Божии преклонили колена и начали упрашивать силы небесные о здоровье матушки нашей великой княгини, но, зная, Богу не угодно было ниспослать ей милостей Своих — тело ее почернело как вороново крыло и отекло так, что и рассказать невозможно. Не долго маялась она, сердечная, и отошла тихо, как заснула. Только что ударили в колокол о выносе тела ее, Наталью Никоновну как ножом по сердцу резануло, забегала она по гридням своим и занесла такую гиль, что Господи упаси всякого было слушать ее. Видно, побоявшись пра-

ведного великокняжеского гнева, вдруг пропала она, да так скрытно, что сам Алексей Полюектович не мог придумать, куда бы ей деться? Вот он и переселился из Москвы сюда, в родовой свой терем, удалил всех своих закупных рабов, только мы с Тихоным остались служить ему. И жил он здесь ни много, ни мало, шесть с половиной лет, и потребовал его князь опять вернуться, повелел ему занять прежнее его место окольникового. С тех пор запустел наш терем. Одни мы доживаем жизнь свою в нем, и о боярыне ни слуху ни духу, как ключ ко дну сгинула. Дивились мы, что за притча такая: за что бы ей посягнуть на государыню, и где она положила головушку свою, в чьей земле улеглись косточки ее? И жутко, страшно жутко становится нам, как на той половине терема кто-то по ночам словно в набат бьет, особенно в темную ночь, как зашелестит дождик проливной, да завоют ветры буйные...

— Жена, баба, дура, хозяйка! — тревожно позвал Агафью, приоткрыв дверь в светлицу, Савелий и прервал этим ее рассказ.

— Что ты, одурела, разболталась язы-

ком-то? — говорил он, когда она вышла к нему в сени. — Знаешь ли, что это лазутчики, враги наши, которые выведывают от тебя всякую всячину. Дойдет до ярыжек, так не оправдаешься ничем.

— А по мне, прах их побери! — отвечала Агафья. — Мне откуда знать, кто они такие? Ну, что ж! Я говорила, да не проговорила. Уж нелегкое дело, будто меньше тебя соображаю, ты и сам давеча...

— Нет, смертью искупим славу! Родились вольными и умрем такими же! воскликнул так громко Назарий, что Агафья с Савелием вздрогнули.

— Он бредит! — произнес тихо Захарий, наклонясь над своим сонным товарищем.

Затем он улегся снова на свою лавку.

На цыпочках прокрался Савелий в светлицу и стал выманивать шепотом холопов идти спать в клеть, но они улеглись у порога. Тогда он указал Сидоровне на печь, задул свеч, перекрестил издали своих постояльцев и, взобравшись на полати, еще долго вслушивался в окружающую его тишину, прерываемую лишь храпом спящих да бессвязным бре-

дом Назария о свободе.

XIX

На пути к Москве

Было раннее утро 29 августа 1477 года.

Из сумрачного леса на большую тверскую дорогу медленно выезжали четыре вершника[30], в которых не трудно было узнать путников, почивавших в лесном тереме.

Назарий сидел пасмурно, так низко поникнув головой, что залом его шапки, висевшей наперед, нередко касался гривы бодро выступавшего коня. Захарий же сгорбился и посвистывал, переваливаясь то в ту, то в другую сторону, мотая ногами и сидя, как туго набитый мешок на маленькой лошаденке, неохотно трусившей под ним. Холопы ехали сзади и с глупым любопытством осматривали окрестности, видимо, для них совершенно незнакомые.

— Вот и часовня! Должно быть, отсюда московский рубеж начинается! сказал Захарий.

Товарищ его поднял голову, как бы пробужденный, поспешно скинул шапку, пере-

крестился и снова погрузился в свои думы.

— Что ты, ошалел, земляк, али от Москвы-то тебя огнем обдает... Вымолви словечко, оправь шапку, будь молодцом! Смотри, какое утро, солнышко играет так ярко и весело...

— У кого на душе сумерки, так я в глазах не заря! — отвечал Назарий, тяжело вздохнув.

— Знать, твою удасть что-нибудь сковало со вчерашнего — не шевельнешься... Видно, старый колдун Савелий сильно уязвил тебя последними словами о наших.

— А ты без зазору хлопаешь глазами, когда земляков твоих поносят, называют разбойниками, помышляют о них как...

— Да, а вот ты не хлопаешь, так у тебя глаза-то и выело, как дымом.

— Знаю я, что тебя ничто не берет: ни стыд, ни дым.

— Вестимо, что кручиниться? Уж коли взялся за гуж, не говори, что не дюж.

— А понимаешь ли ты, кого ты теперь представляешь в лице своем?

— Кем был, тем и останусь: вечевым дьяком Захарием. А по-твоему как же?

— По-моему, был ты Захарием, а когда оку-

нулся в купель корысти, то вышел оттуда — Иудой.

— Гм... — крикнул Захарий. — Поэтому мы с тобой тезки...

— Как, чернильная гадина! — гневно воскликнул Назарий и даже осадил своего коня. — Недомерок человеческого рода тянется под мою статью или хочет оскорбить меня, чтобы сравняться со мною. Господи, до чего я дожил, — добавил он с неподдельным отчаянием в голосе.

— Да что ты серчаешь? Я сказал это потому, что мы целимся в одну мету!..

— В одну, да каким образом... Я действую прямо, иду на всякого лицом к лицу, а ты, за спинная шпилька, подкрадываешься медяницей, неслышною стопою.

— Пусть так, да ужалим-то мы оба одинаково.

— Отец Небесный! — вновь воскликнул Назарий, возведя пламенный взор к небу. — Перед Тобой я весь! Дума моя не темна и перед людьми, а наипаче перед Тобою. Ты видишь, способен ли я ужалить отчизну мою. Родная моя, пусть прежде рассыплюсь я в

прах, нежели помыслю что-нибудь недоброе о тебе.

Некоторое время он оставался в немом созерцании лазурного неба.

Захарий что-то ворчал сквозь зубы.

Наконец Назарий прервал молчание.

— Слава Тебе, Господи! Нашла Тебя молитва моя, молитва скорбная, глас сердца моего доступен Тебе! — произнес он, вздохнув полной грудью, как бы после тяжелого сна. — Отлило... на душе легче стало! Я не продаю отечества... Я отвожу лишь от пропасти.

— Ведь и я тоже! — добавил самодовольно Захарий.

— Если совесть твоя отшатнулась от тебя, то я вместо нее растолкую тебе разницу между нами. Слушай же меня!.. Ты знаешь, как чувствуют имя мое, имя чиновника Назария, и до ныне в Новгороде Великом, и в Пскове соседнем, и у латышей[31] с тех пор, как зарубил я на воротах Нейгаузена православный крест. Даже самой Москве ведом я, когда великий князь Иоанн припер ономясь наш город копьями да бердышами несметной своей рати, — я не последний подавал голос на ве-

че, хотя последний произнес его на казнь славного изменника Упадыша — вечная ему память... И на мне есть пятнышко черное... и на меня брызнула кровинка его!

Назарий вздохнул.

— Ты знаешь, — продолжал он, — правы ли мы были, подняв руку на потомка Ярослава Великого и на нашего государя! Чего нам хотелось, сытым, богатым? Правдива поговорка на Руси: «от жиру собаки бесятся». Накликали мы сами на себя гнев Божий и меч государев. Помнишь, чай, как мы глодали кулаки с голоду и, наконец, решились, да простит нас Господь, в пост великий есть мясо, и чье же, — палых лошадей и собак, которыми не показано питаться рабам Христовым. В это смутное время не я ли с Василием Никифоровым и прочими боярами и степенными посадниками молил князя снять осаду с города и дозволить нам, сирым, похоронить по христианскому обряду тела павших братии наших.

— Их без нас схоронил Ильмень[32], - вставил Захарий.

— Для тебя, конечно, все равно: муха ли

утонула в стопе, из которой пьянствуешь, земляк ли захлебывается собственной кровью, но дело не в том. Не раз и моя кровь смывала ржавчину с мечей новгородских, а тело зазубрило вражеские. Не пальцами на руках, а волосами на голове следует считать мои заслуги. Но, недавно, кто заглушил голос мой на вече? Жена хитрая, баба поганая, человек неумный... Марфа Борецкая. Перед кем принуждали меня преклонить выю? Перед мозгляком, литвином, бродягой, полюбовником ее. Широка рана на груди отчизны, так они еще увеличивают ее злыми изветами на законного владыку своего, всякими неистовыми поступками! Я сказал, что сам побью челом великому князю от лица Новгорода Великого, чтобы он сжал его крепкой, самодержавной мышцей своей и наложил бы на него праведную десницу. Во что бы то ни стало избавлю земляков от домашних врагов, уличу злых, покажу дерзких, а после сам скажу всем новгородцам: «Я виновник вашего счастья, покарайте меня!» И если голос мой заглохнет в криках обвинителей, пусть торговой казнью снимется с плеч голова моя дело мое уже

будет сделано. Вот для чего я согласился действовать с тобой и впервые в жизни осквернил язык свой ложью, которую мы произнесем перед великим князем на своих, навести согласился на отчизну одного врага, чтоб спасти ее от многих. Я чувствую, что в деле этом я прав и чист.

— Мы надели кафтан одного покроя, больны одним недугом, теперь едим из одного сосуда, пьем из одной братины, один топор грозит на нас, сказал Захарий.

— Ну, да... послушай, — прервал его Назарий, — всем я был доволен, на душе светло, на сердце легко, да только вот съякшался с тобой, и думаешь ты, не узнал я, что нашептывал тебе московский наместник, как одарил тебя щедро великий князь в Москве. Он наметил тебя на поклон к нему, как вечаевого дьяка, зная, что звание это почетно... Так то, хоть от рук твоих не пахнет, но я знаю, что они давно уже смазаны московским золотом.

— Стало быть, и ты знаком с нечистыми, коли все знаешь...

— Молчи лучше! Душа твоя темна, как дно чернильницы, и чернота ее пробивается ино-

гда наружу. Так уж и быть, dokonчу я наше дело, а там пойду поклониться могиле святого Савватия, если только молитвы заступника Божия спасут меня от смерти... Услыши, Господи, обет мой и помощи исполнить его.

— Вот и Москва показалась! — воскликнул Захарий.

Исполин-город, колосс России, Москва златоглавая вдруг развернулась, как на ладони, перед взорами путников и ярко заблестала на солнце своими светлыми маковками.

Золоченые кресты храмов, казалось, сотканы были из слившихся солнечных лучей.

Картина была ослепительная.

Вдруг донесся от Москвы удар церковного колокола, за ним другой, третий, и разлился торжественный благовест к обедням во всей столице.

— Кажись, ноне не воскресный день? Разве празднество какое, что так звучно гудят колокола в Москве? — сказал Захарий, снимая шапку.

— Святый угодник Божий Иоанне! Помози нам, благослови приезд наш! произнес Захарий, истово крестясь, и оборотился к Назару.

рию. — Разве ты не знаешь, что ноне день усекновения главы Иоанна Предтечи? А еще книжный человек!

— А, вот что... Так, значит, великий князь сегодня именинник. Вот кстати у нас для него готов подарок, — заметил Захарий.

XX

Москва в 1477 году

Подгородные деревушки и пригородные слободы московские тянулись длинными и грязными улицами, одна от другой в недалеком расстоянии. Промежутки между ними были менее полуверсты. Слободы отличались от деревушек тем, что были обширнее, чище, новее строениями и, вообще, красивее последних; первые принадлежали казне, что можно было заметить по будкам, которые служили тогда жилищем нижних чинов полиции и подьячих. В каждой слободе было по одной такой будке. Некоторые из слобод, прилегавших к самой Москве, составляли с ней одно целое и потому назывались пригородными.

Проехав несколько таких деревушек и слободок, наши путешественники въехали в

большую слободу, отличавшуюся более кипучей деятельностью и многолюдством. Поминутно мелькали перед ними обыватели: кто с полными ведрами на коромысле, кто с кузовами спелых ягод, и все разодетые по-праздничному: мужики в синих зипунах, охваченных разноцветными опоясками, за которыми были шапки с овчинной опушкой, на ногах желтелись лапти; некоторые из них шли ухарски, нараспашку, и под их зипунами виднелись красные рубашки и дутые, медные пуговицы, прикреплявшие их ворота; бабы же — в пестрядинных поневах, в рогатых кичках, окаймленных стеклярусовыми поднизьями — кто был зажиточнее — а сзади злато-вышитыми подзатыльниками.

Все встречавшиеся низко и приветливо кланялись нашим путешественникам.

— Путь дорога, бояре!

— Бог в помощь.

— Спасибо!

— С праздником!

— Спасибо, спасибо!

Такие восклицания слышались со всех сторон.

— Не позволите ли остановиться, бояре, да дать передохнуть животным своим и покормить их — ишь как они упарились, — слышался голос одного из выбежавших из избы мужиков.

— Да и самим бы перекусить чего-нибудь! — кричал другой мужик, подбегая к путешественникам.

Он еще издали им кланялся, горбился, вытягивал голову и тряс своими волосами.

— У меня бураки из свежей свеклы! — выкрикивал один.

— У меня щи из кочанной капусты! У меня панушки пухленькие, горяченькие, только что с пылу! У меня пышки подовые с сытой! — закричали вдруг несколько голосов из окружавших путников.

— Нет, братцы, благодарствуем на приглашении, нам привал в Москве.

— А у нас-то что? Разве другой город? — сказал один, видимо, обидевшись.

— Пусть их добираются до Загородья, аль до посада, там подороже поплатятся! — заметил другой.

— По нас, хоть за посад, только там теперь

порожного угла не найдешь, в избе и душно, да она битком набита, а за чистую светлицу отдашь полгривны на день за постой!

— Ништо... Не в Кремль же их пустят для нынешнего дня, там и без них много приезжих, так что маковой росинке, чай, негде упасть.

— Если вы хотите, добрые люди, угостить нас, — сказал Захарий, перебивая говор окружающих, — то вынесите нам по ковшу квасу.

Мигом несколько человек бросились к своим домам, принесли целый жбан и, зачерпнув ковшик, подали Захарию, а затем и остальным, уверяя, что квас прямо с ледника и такой холодный, что только глядя на него уже заноют зубы.

— Ну теперь закусите, бояре, белым калачиком. Чай, проголодались, уже обедни поздние, а ныне вы наверняка ничего еще не вкушали, заморите червячка, нам, грешным людям, еще рано, грешно, а вам, дорожным, Бог простит, — говорили разом несколько человек, насильно суя в руки путникам калачи.

Назарий кинул им несколько кун[33], и проезжие поехали далее.

— Ну, братец, уж о сию пору москвичи ска-
зываются; видно, что не промахи, умеют
деньгу нажить, а нажитую беречь. Что-то бу-
дет далее? сказал Захарий, почесывая заты-
лок.

Через несколько времени, при въезде в од-
ну улицу, показались на ней рогатки, отодви-
нутые в сторону с дороги и означавшие нача-
ло настоящего города, хотя тогда это место на-
зывалось Загородьем.

Оглядывая пристально проезжаемые им
места, Захарий продолжал говорить:

— Вот мы и в Москве! Да как она разрос-
лась, разубралась, раскинулась на все сторо-
ны — и узнать ее нельзя! Помнится мне,
прежде стояли тут избенки одна от другой на
перелет стрелы, а ноне как будто все под од-
ной крышей.

На самом деле громады деревянных по-
строек, без симметрии, без вкуса, тянулись
длинными рядами и составляли кривые уз-
кие улицы, которые вдруг раздваивались от
выстроенных посреди их теремов, церквей.
Глухие переулки оканчивались поперечными
зданиями также теремов боярских, вышек,

высоких заборов со шпильками, в угрозу во-
рам, которые бы вздумали лезть через них, и
каменных церквей с большими пустырями,
заросшими крапивой и репейником, из кото-
рых некоторые были кладбищами, и на моги-
лах мелькали выкрашенные кресты и белые,
поросшие мхом камни.

Самые здания казались нестройными по-
тому, что подле двухэтажных хором, обнесен-
ных тесовой оградой, стояли покосившиеся
низкие, вросшие в землю избы, огражденные
поломаным тонким частоколом. Не только
посреди Москвы были тенистые рощи, пруды,
озера и зеленые волнистые луга, но почти
каждый боярин и зажиточный человек имел
на своем дворе тенистый сад, по преимуще-
ству из диких яблонь. Через тын сада перева-
ливали головки свои статные подсолнечни-
ки, а в самом саду пестрели гирлянды разно-
цветного мака, ноготков и проч. В большин-
стве садов были рыбные пруды — чистые,
зеркальные, цветистые лужайки, ульи пчел.
Кроме того, на дворе были разные строения:
часовни, амбары с запасным хлебом, кладо-
вые с железными дверями, а подвалы, тем-

ные особые светлицы, вышки, мыльни, голубятни, толстые необхватные столбы с блиставшими на них медными кольцами, в которые застольные гости хозяев вдевали удила своих коней. Дворы были гладко вымощены бревнами, имели снаружи на воротах навесы, а под ними иконы. Глубокие погреба хранили крепкие меда и греческие и фряжские вина.

Богатство и роскошь бояр составляли еще: божницы, в которых находились иконы в богатых серебряных и золоточеканных окладах; драгоценная посуда, серебряные и золотые кубки, ковши, братины, блюда, тарелки, и проч., нарядная одежда из шелка и парчи с узорчатыми нашивками из золота и драгоценных камней, и, наконец, множество слуг или холопов, обельных, закабаленных и закупных[34].

Имущество же бедных огнищан[35], купцов черных сотен и слобод[36], половых[37] и прочих людей состояло из ветхих хибарок с соломенными крышами, с небольшим двором, внутри которого виднелись жердь с веревкой и бадьей для колодца, да длинные гряды с капустой, свеклой, редькой, морковью и

другими огородными овощами.

Такова была Москва в описываемое нами время, за исключением Кремля, описанию которого мы посвятим особую главу.

В настоящее время остались только некоторые храмы, на которых не изгладились еще следы глубокой древности нашей родной столицы. Другие же памятники хотя и носят название древних, но реставрированы до неузнаваемости.

Единственно, что напоминало и тогда сегодняшнюю Москву, — это неумолкаемый говор народа, особенно на торговых площадях в праздничные дни.

Этот говор поразил приезжих новгородцев сильнее вида самого города.

XXI **В Кремле**

Колокольня церкви Иоанна Лествичника была в описываемое нами время колоссальным сооружением московского Кремля и на далекое расстояние бросалась в глаза, высясь над низкими лачужками. Впрочем, чем ближе путник приближался к Кремлю, тем лучше, красивее и выше попадались хоромы,

двухэтажные терема с узенькими оконцами из мелких цветных стеклышек, вышки с припорками вместо балконов для голубей, обращенными во двор, и густые сады.

Великолепный же сад, находившийся на берегу Москвы-реки, хотя и был разбит на низменном месте, но его букетные рощицы из молодого орешника, перемешавшиеся с густым малинником, виднелись издалека. Подле великокняжеского сада, отделенного высоким тыном, были сады бояр, полные густолиственных деревьев и пестрых цветов.

Картина этих сплошных садов была особенно великолепна весной и летом.

Сады эти, конечно, не были распланированы и дорожки в них протаптывались, в большинстве случаев, самими хозяевами.

Множество балаганов, разных гостиниц, купеческого и монастырского подворьев, скученных около Кремля, не заграждали его высоких бойниц, доминировавших над всеми этими постройками. На высоких, от времени поседевших и во всех местах поросших мхом, каменных зубцах кремлевских стен вились плющ и повилка.

Весь Кремль обнесен был широким тыном, низ и бока которого были выложены кирпичами, а к воротам вели деревянные мосты с крашеными перилами.

В самом Кремле скученность построек была еще больше. Громадное пространство занимал один дворец, в котором находились разные палаты и хоромины, писцовые и приемные дворы: соколиный, кухонный, мыльный[38], ясельничий[39]; службы: кладовая, погреба, запасные подвалы и разные великокняжеские хранилища. Особенно замечателен был тайник, или подземный ход, вокруг всего Кремля, относящийся, вероятно, к XII столетию, времени владычества татар, и имевший своей целью прикрытие от набегов этих варваров.

Кроме дворца с его многочисленными пристройками, в Кремле находились соборы: Успенский, Архангельский, Спас на Бору, Чудова монастыря, Рождества Иоанна Предтечи, а подле него митрополичий дом, Думная палата[40], в которой заседали думные или советные бояре и в которой решались все важные государственные дела; ордынское подво-

рье, терема ближних бояр, ворота: Боровицкие, Тайницкие, Фроловские, Константино-Еленинские.

Среди толпы народа, валом валившей в Кремль, пробирались и наши знакомцы, Назарий и Захарий. У Боровицких ворот они слезли с лошадей и, передав их с кое-какой поклажей своим холопам, приказали им ехать в дом их знакомого и родственника Назария — князя Стрига-Оболенского, а сами, сняв шапки, перешли пешком через мост в Кремль и, смешавшись с все возраставшей толпой, стали подходить к Успенскому собору.

В это время только что кончилась обедня и раздался колокольный звон, означавший выход великого князя.

— Тише, тише! — послышался голос от церкви.

— Тс! Князь, князь! — раздалось со всех сторон, и говор народа моментально смолк.

Хотя дворец находился недалеко от собора, но во время парадного шествия, для соблюдения церемониала, великому князю подан был праздничный возок, запряженный шестью

рослыми лошадьми, ногайского привода. Шлеи у лошадей были червчатые, уздечки наборные, серебряно-кольчатые; отделан возок был посеребренным железом и обит снаружи лазуревым сафьяном, а внутри голубой полосатой камкой. Седельные подушки были малиновые шелковые с золотой бахромой. Бока возка были расписаны золотом, а колеса и дышло крашеные.

Впереди ехали вершники[41], раздвигая народ, за ними московские копейщики под предводительством статного, богато разряженного юноши, а затем уже медленно двигался возок, в котором сидел великий князь Иоанн Васильевич, милостиво кланяясь на обе стороны шумно приветствовавшему народу.

По сторонам войска шли с обнаженными головами первые сановники двора.

Вслед за ним несли на носилках, обитых алым бархатом, великую княгиню Софью Фоминичну с детьми и ее пасынком.

Она величественно сидела на парчовых подушках, унизанных жемчугом.

За носилками шли ближние бояре, околь-

ничии, стольничии, кравчие и остальной придворный штат.

Толпы народа замыкали шествие.

Когда вся процессия остановилась у дворца, дворецкий[42], по повелению великого князя, обратился к народу и провозгласил:

— Для именин своих великий князь приглашает подданных на трапезу, устроенную против его палат.

Слова эти были встречены криком восторга:

— Да здравствует отец наш, Иоанн Васильевич, с матушкой великой княгиней, с чадами и со всеми потомками своими!

Толпа хлынула к месту пиршества.

Между двух столбов, находившихся друг от друга на значительном расстоянии, были протянуты веревки, на которых висели калачи и мясные окорока; на стоявших тут же столах были нагромождены кучи пирогов, караваев, пышек, блинов, сырников и других яств. Возле столов стояли чаны с брагой и медом.

Угощенье народа началось.

Назарий заметил между сановниками, сопровождавшими возок великого князя Ива-

на князя, Стригу-Оболенского, и последний, также узнав его в толпе, протолкался к нему и, заключая его в свои объятия, изумленно спросил:

— Какими судьбами очутился ты здесь?

— И сам хорошенько не знаю, как занесло нас сюда с товарищем, отвечал Назарий, указывая на Захария, — и ответить не решусь: волей али неволей?

Захарий отвесил князю неуклюжий поклон.

Последний продолжал смотреть на них восторженно.

— Впрочем, здесь не место и не время рассказывать! — добавил Назарий.

— Так пойдёмте ко мне и отдохните у меня, а там я вас представлю нашему высокому имениннику, — сказал князь Стрига-Оболенский.

Все трое двинулись из Кремля в хоромы княжеские, находившиеся поблизости.

Быть представленными великому князю и было целью приезда новгородцев, а потому обещание Стриги-Оболенского пришлось им очень кстати.

XXII Царь

Иоанн III Васильевич, царствовавший с 1462 по 1505 год, первый из русских государей стал именовать себя царем и был одним из величайших монархов России. Он довершил труды своих предшественников в собирании русских отдельных княжеств в единое государство и своими мудрыми делами ясно указал цели и наметил тот путь, по которому и пошли потом его преемники вплоть до наших времен.

С 1425 по 1462 год в Москве был великим князем внук Дмитрия Донского, Василий Васильевич Темный. Много этот князь потерпел несчастий на своем веку, но великое удовольствие доставлял ему подраставший сын Иван. Слепой князь прозирал духом великую будущность сына, и, кроме того, эта будущность была ему предсказана, когда Иван был еще отроком.

В Москву приезжал ходатаем за буйных своих сограждан один из святых мужей новгородских, архиепископ Иона. Во время беседы его с великим князем о делах Руси внезап-

но вошел в горницу сын и наследник Васильев, Иван.

Святитель взглянул на него и сказал:

— Вот кому Бог пошлет свободу от власти ордынской.

Затем долго в молчании глядел на отрока, на его разумные очи и вдруг закрыл лицо свое руками и, заплакав, сквозь слезы произнес:

— Отрок сей приведет и мою родину, Великий Новгород, под свою руку.

Василий Темный умер в 1462 году, 17-го марта. Ему наследовал этот Иван, или Иоанн, двадцати двух лет от роду.

Двадцать лет прошло со времени взятия турками Царьграда.

В это время греки, — даже те, которые понадеялись было на папу и подписали соединение вер, — поняли, что спасение их может выйти только из самого православия, и так как из православных государств в то время, очевидно, возвышалось одно государство Московское, то на Москву и обратились с надеждой очи всего Востока.

У греков завязались теснейшие отношения

с Москвой. Патриарх греческой церкви сам не мог приехать в Москву: ему нужно было бодрствовать за свою паству в отечестве; он и благословил российскому духовенству самому, соборно, выбрать себе митрополита.

Но звание защитника церкви, — лежавшее по преемству от святого Константина Великого, на греческих царях, — греки задумали передать торжественно и по всем правам государю московскому.

Дело это они устроили таким образом.

Многие из греков проживали в Риме, но лишь по наружности признавали папу. Они, и особенно грек, кардинал Виссарион, стали внушать папе Пию II мысль, что с великим князем московским можно обделать разом два дела: обратить его в католичество и получить помощь для борьбы с турками. Для этого надо-де постараться женить его на племяннице последнего греческого императора Константина Палеолога, Софии, которая в приданое принесла бы ему свои права на престол Константинов и обратила бы самого его в католичество; он-де вдов, молод и против женской прелести и хитрости не устоит.

Папа с радостью ухватился за эту мысль и послал в Москву сватом грека же Георгия.

Это сватовство, как сказано в нашей летописи, «Иван Васильевич взял в мысль», и, поговорив с митрополитом и боярами, отправил в Рим смотреть невесту и вести переговоры своего посланца, итальянца, принявшего в Москве православие, Ивана Фрязина. Начались переписки, и дело длилось около двух лет. Наконец невесту отправили в Россию.

— Ну, дочь моя, — говорил, отпуская ее, папа, — послужи римскому престолу, и будешь ты великая из жен, если еретического царя Ивана приведешь в римскую веру.

Невесту провожал римский кардинал и хотел вступить в Москву торжественно, в своей красной мантии и чтобы впереди его несли большой латинский крест.

Он намеревался и венчать жениха с невестой по римско-католическому обряду.

Но за несколько верст от Москвы крест ему велели спрятать; невеста, как вступила в Москву, так и объявила, что никогда не изменяла православию, — и в тот же день, 12 ноября 1471 года, была обвенчана с Иоанном Васи-

льевичем в Успенском соборе митрополитом.

Кардинал начал было разговор о вере, но когда митрополит изложил ему всю римскую неправду, он замолчал, сказав, что не взял с собой нужных книг, не ожидая спора, так как Иван Фрязин говорил в Риме, что здесь все согласны на соединение вер. Ему отвечали, что вольно им было верить. Фрязин-де никаких грамот с собой о том не имел: и за ложь великий князь прогонит его с очей своих.

И точно, великий князь прогнал его, но ненадолго, — потом опять принял на службу.

Кардинал с тем и уехал.

Папа римский остался ни при чем.

Иоанн же Васильевич, женившись на греческой царевне, принял на себя права ее предков, облачение императорское и герб византийских императоров — двуглавый орел.

Митрополит на торжественных службах, обращаясь к нему, стал называть его царем: «Божиею милостию радуйся и здравствуй, преславный царь Иван, великий князь всея Руси, самодержец»[43] — «Иван III».

В грамотах своих к иностранным государям он стал именоваться царем и императо-

ром. При дворе завел царские обычаи и чины, как было у греческих царей; иностранных по слов стал принимать в порфире, в шапке древнего греческого императора Константина Мономаха, в его бармах и со скипетром в руке. Все эти царские украшения были Софьино приданое и привезены ею.

В глазах своих подданных Иоанн Васильевич уже стал монархом, требующим беспрекословного повиновения и строго карающим за ослушание, возвысился до недостижимой царственной высоты, перед которой бояре и князья одного с ним корня должны были благоговейно преклоняться наравне с последним из его подданных.

Таков был Иоанн — первый русский самодержец.

До него князья московские, начиная с Ивана Даниловича Калиты, и московский народ, словно молча, не понимая друг друга, трудились над освобождением от татар, и в этой молчаливой работе, в этой тайне, которую знали все, но и друг другу не высказывали, — чувствовали свою силу и свое превосходство над жителями прочих русских областей, кото-

рые жили сами по себе, а об общем деле не помышляли и тяготы его не несли, каковы были, например, новгородцы.

Теперь дело было сделано: от орды Русь была свободна. Народ русский, единый по крови, по вере и языку имел вместо многих князей одного государя. Удаchi победы и великий ум Иоанна III еще более возвысили мнение русских о самих себе и о величии своего государя.

Когда же пал Царьград и с ним прирожденный защитник православия, царь греческий, и Иоанн Васильевич женился на греческой царевне и на него перешло, вместе с царским венцом и царскими регалиями, высокое звание, права и обязанности великого и единого поборника истинной веры, тогда русские с гордостью стали говорить. — «Государи наши во всем свете единые браздодержатели святых Божиих престолов! Чистое православное учение только в богоспасаемом граде Москве удержалось и паче солнца светится! Два Рима пало, третий стоит, а четвертому не быть».

XXIII

Начало новгородской смуты

Прежде нежели мы последуем за Стригой-Оболенским и его неожиданными гостями в княжеские хоромы, расскажем вкратце историю новгородской смуты и причину таинственного появления двух официальных представителей Великого Новгорода в ненавистной, как мы видели ранее, ему Москве.

По новгородским хартиям значилось, что город Москва, Торжок и окружные земли издавна были под властью Великого Новгорода, но дед Иоанна III, великий князь Василий Дмитриевич, завоевал их и оставил за собой, по договорным же грамотам с сыном, великим князем Василием Васильевичем, прозванным Темным. Торжок снова обратился под власть новгородского веча, и прочие земли остались как бы затаенные за Москвой и помину об них не было. Думные и советные бояре новгородские много раз собирались на вече, чтобы решить, кому владеть ими. По праву они должны были оставаться за Иоанном Васильевичем, как приобретенные мечом, хотя и его предками. Так говорили разумные мужи, но молодость не хотела об этом и слушать.

«Подавай нам суд и правду!» — кричали они, не ведая ни силы, ни могущества московского князя. — «Наши деды и отцы были уже чересчур уступчивы ненасытным московским князьям, так почему же нам не вступить и не поправить дела. Еще подумают гордецы-москвитяне, что мы слабы, что в Новгороде выродились все храбрые и сильные, что вымерли все мужи, а остались дети, которые не могут сжать меча своей слабой рукой. Нет, восстановим древние права вольности и смелости своей, не дадим посмеяться над собой».

У новгородцев того времени текла в жилах не кровь, а кипяток: зарони искру в одного, и во всех — полымя.

Так случилось и тогда.

Думали, думали, с чего бы начать действовать? Явно напасть на владения великого князя не хотели, а может быть, и не смели, и потому начали действовать исподтишка, понемногу, захватя доходы его, воды и земли, заставляли присягать народ только именем Великого Новгорода, а о князе умалчивали, наконец, схватили великокняжеского намест-

ника и послов и властью веча заключили их под стражу.

Великий князь, узнав об этом, прислал из Москвы гонца с требованием удовлетворения, но они его отослали без ответа.

Вскоре новгородский наместник Василий Ананьин поехал в Москву с земскими делами, но ни слова не сказал об этом деле великому князю. Последний сам сделал ему по этому поводу запрос.

— Я ничего не знаю, — отвечал Ананьин, — Великий Новгород не дал мне о сем никаких повелений.

Князь промолчал, но когда стал отпускать его в обратный путь, то промолвил прощаясь:

— Скажи новгородцам, моей отчине, чтобы они исправились, заточенных освободили бы с честью, в земли мои и воды отнюдь не вступались, а имя мое держали бы честно и грозно по старине, исполняя обычай крестный, если хотят от меня милости и защиты. Прибавь им и накажи помнить, что терпению бывает конец, а мое истощается... Ступай.

После отъезда Ананьина великий князь,

послав боярина Селиванова с грамотой псковитянам, приглашая их, в случае войны, быть готовыми выступить в поход с московскими дружинами против ослушников. Наместником в Пскове был тогда Федор Юрьевич, великий воевода, храбро гонявший немчинов, как стаю трусливых зайцев, от области ему вверенной. Псковитяне прислали великому князю судное право во всех своих двенадцати пригородах, а до тех пор московские князья судили и рядили только в семи, остальные же оставались в зависимости от народной власти.

Псковитяне предложили новгородцам свое посредничество между ними и великим князем, но совет новгородский им отвечал: «Если вы добросовестны и нам не вороги, а добрые соседи, то вооружайтесь и станьте за нас против самовластия московского, а кланяться вашему владыке не хотим, потому что считаем это дело зазорным, да ходатайства вашего не желаем и не принимаем, а коли вы согласны на наше предложение, то дайте знать, тогда и мы сами будем вам всегда верны и дружественны».

Вместо ответа псковитяне сообщили обо всем великому князю.

Это не устрасило новгородцев, они надеялись на собственные свои силы и на мужество всегда могучих сынов св. Софии, как называли они себя, продолжали своевольничать и не пускали на вече никого из московских сановников. В это время король польский прислал в Новгород послом своего воеводу, князя Михаила Оленьковича, и с ним прибыло много литовских витязей и попов. Зачем было прислано это посольство, долго никто не знал, тем более что смерть новгородского владыки Ионы отвлекла внимание заезжих гостей.

Совет бояр и посадников, в числе которых был и Назарий, избрал протодьякона Феофила. Избрание произошло по жребию, взятому с престола св. Софии, куда был положен жребий протодьякона Феофила и ключника Пимена. Избрать то избрали, а постановить его надо было в Москве по древнему обычаю. Как тут ехать без согласия великого князя? Решились, однако, послать боярина Никиту с просьбой к нему, к его матери и к митрополи-

ту. Великий князь оказал милость, дал опасную грамоту[44], по приезде Феофила в Москву и, отпуская его обратно, велел передать новгородцам:

— Он вами избран и принят был мною с честью. Я готов жаловать вас, мою отчину, и всегда, если вы чистосердечно признаете вину свою и не забудете, что мои предки чествовались великими князьями Новгорода и всея Руси.

Новопоставленный владыка Феофил, тронутый приемом и милостями великого князя, начал стараться прекратить распрю между ним и новгородцами и успел бы в этом, так как народ стал поддаваться на его увещания, но вдруг открылся мятеж со стороны никем не ожидаемой.

XXIV

Польская интрига

Вопреки наставлениям дедов и отцов, вопреки древним обычаям, запрещавшим женщинам принимать участие в политических делах народа, в один прекрасный день на вече появилась гордая, честолюбивая и хвастливая женщина — Марфа Борецкая. Она

была вдова бывшего посадника, Исаака Борецкого, мать двух взрослых сыновей. Богатства ее были несметны, знатность, красноречие, гостеприимство были известны всем далеко за пределами Новгорода; благодаря этим качествам овладевала она думами людей, все подчинялись ее уму и умению излагать свои мысли. Слова ее так лились из ее уст, что ласкали слух и вместе подчиняли память до такой степени, что трудно было их изгнать из головы.

В одно из заседаний веча, где находился Назарий, вдруг в советную комнату вбежала, прорвавшись сквозь стражу стоявшую у входа, высокая, немолодая, хотя все еще красивая женщина. Вид ее был растрепан, покрывало на голове смято и отброшено с лица, волосы раскинуты, глаза же горели каким-то неестественным блеском.

Это была Марфа.

Она остановилась, обвела глазами собрание и, не дав никому опомниться от неожиданностей, заговорила:

— Кого я вижу перед собой? Здесь ли вече Великого Новгорода? Куда девались советные

мужи его? Я их не вижу! Это слабые ребята, которым пригрозили розгой, и они отступают от прав своих, отдают угнетенную родину, как агнца, в зубы хищного волка.

Она перевела дух.

— Сокройтесь отсюда, — грозно вскрикнула она. — Пустите нас, жен, на места свои: мы засядем в совете, мы будем защищать вас от врагов московских.

Долго говорила она, и что ни слово — все больше и больше лилось с ее языка яда, что ни взгляд — то упрек, презрение...

Но нахальство восторжествовало: речь ее подчинила себе новгородское вече, и с этого момента Новгород оказался в ее руках.

Подчинился ей и сравнительно молодой Назарий.

Присутствие ее стало на вече делом обыкновенным.

Прошло несколько недель.

На одном из собраний она радостно объявила, что польский король прислал новгородцам запрос: не хотят ли они его помощи?

Немногие благоразумные из новгородцев поняли тогда, что означало прибытие Миха-

ила Оленьковича с литовской дружиной, но даже и сторонники Марфы находили решение вопроса, задетого Казимиром, опасным.

— Предложение выгодно, но и в золотом кубке можно поднести яду! слышались замечания.

Вече призадумалось.

Литовцы между тем бесчинствовали и грабили в городе, позволяли себе выражать неуважение к народным представителям даже на вече, куда были призваны для выслушивания ответов.

Архиепископ Феофил первый подал голос, что непристойно соединяться с латышами. К нему примкнули бояре: Василий Никаноров, Захарий Овин, Назарий и еще несколько других.

Борецкая, присутствовавшая на вече, встала.

— Слушайте, чтобы после не раскаяться. Король польский хотел быть заступником нашим, а вы, недостойные, не хотите признать и оценить его милостей. Он требует от нас дани менее Иоанна, обещает не притеснять нас и всегда стоять крепко за будущую отчину

свою против Иоанна и всех врагов Великого Новгорода.

Многие стали было возражать ей, но наемные клеветы ее заглушили голоса возражавших криками:

— Не хотим Иоанна, хотим Казимира! Да здравствует Казимир!

Марфа снова победила.

Дело сделалось, покорились даже благоразумные, в числе которых был и Назарий. Приложили все руки и печати к роковой грамоте и послали ее с богатыми подарками к Казимиру, прося не одного заступничества, но и подданства, т. е. того, за что хотели поднять руки на своего законного правителя — Иоанна.

Вскоре от Казимира было получено подписанное им согласие.

Статья седьмая этого договора гласила:

«Если ты примиришь нас с Иоанном, князем московским, то обязуемся выплатить тебе, господину честному королю, всю народную дань, состоящую в годовом окладе».

Из этого было ясно, что легкомысленных новгородцев не особенно прельщала перспек-

тива подданства Литве и что скрытой задушевной их мыслью было примириться с Иоанном Васильевичем. Большинство рассчитывало, что он малодушно откажется от борьбы с Литвой.

Московские наместники были освобождены и жили спокойно на Городище. Им, конечно, не нравилась интрига Борецкой, но в правление новгородских посадников они не мешались и лишь отписывали обо всем великому князю. Новгородцы продолжали их чувствовать, как представителей Иоанна, и убеждали их, что от последнего зависит навсегда оставаться другом св. Софии, а между тем, в Двинскую землю был уже отправлен воевода, князь суздальский Василий Шуйский-Гребенка, охранять ее от внезапного вторжения московской рати.

Вскоре от великого князя Иоанна была получена грамота, в которой он уговаривал мятежников смириться. Митрополит в приписи увещевал их на то же самое и, соболезнуя о народе русском, писал, что вдаются они в ересь нечестивую, как в сети дьявола.

На вече снова заволновались умы, и снова

победа осталась за Марфой и ее сторонниками.

Грамоту оставили без ответа.

Терпение Иоанна истощилось, и он прислал новгородцам складную грамоту, т. е. объявление войны, исчисляя в ней все дерзости, которые они нанесли его лицу.

XXV Война

Многочисленное войско, предводимое самим великим князем, выступило против Новгорода. Иоанн убедил князя тверского Михаила действовать с ним заодно, псковитянам приказал выступить с московским воеводою Федором Юрьевичем Шуйским, по дороге к Новгороду, устюжанам же и вятчанам идти на Двинскую землю под начальством Василия Федоровича Образца и Бориса Слепого-Тютчева, а князю Даниилу Холмскому — на Рузу.

Сын князя Оболенского-Стриги, Василий, с татарской конницей спешил к берегам Мечи, с самим же великим князем отправились прочие бояре, князья, воеводы и татарский царевич Данияр, сын Касимов. Кроме того,

молодой князь Василий Михайлович Верейский, предводительствовавший своими дружинами, пошел окольными путями к новгородским границам.

Новгородцы, наскоро набрав войско из разных званий и состояний, выступили против москвитян.

Войска встретились у самого Ильменя.

Завязалось жаркое дело.

Среди новгородцев было много новобранцев, а потому войско их не выдержало натиска дружин князя Холмского и боярина Федора Давыдовича и бежало.

Москвитяне победили, бросились вслед за беглецами. Началась страшная резня. Множество пленных новгородцев были трофеями победы. Им отрубили носы, уши, губы и искалеченных отпустили в Новгород, а отнятое оружие топили в Ильмене.

«Изменническим оружием мы не нуждаемся!» — говорили москвитяне. Такой же перевес оказался везде на стороне последних. Среди пленных были посадники, начальствовавшие над войском, воевода Казимир и сын Марфы, Дмитрий Исааков Борецкий.

Боярский сын Иван Замятин представил их всех великому князю, находившемуся в Яжелбицах, и вручил ему договорную грамоту с королем польским, эту законопреступную хартию — памятник новгородской измены. Ее нашли в обозе, перехваченном еще накануне битвы.

Некоторых из пленных казнили на месте, а других, скованных, отослали в Коломну.

Оставалась одна опора Новгорода — князь Василий Шуйский-Гребенка, но вскоре пришла весть, что он, разбитый и раненый, бежал в Холмогоры. Явившись с полей битвы, обрызганные кровью и искалеченные воины произвели панику в городе — новгородцы спохватились. Им жутко стало и стыдно. Понадеялись на Литву, а литвины сами только вредили им: Михаил Оленькович бежал еще ранее битвы и по дороге разграбил Рузу. В Новгороде остался только советник Марфы, шляхтич Зверженовский, которого она скрывала в своем доме от народной ярости.

Уныло загудел, как бы застонал, вечевой колокол. Сошлись на вече сыны святой Софии с поникшими головами. Думали, гадали и, на-

конец, решили во чтобы то ни стало сопротивляться.

Повсюду наступил голод, появились недруги, продовольствия было взять неоткуда, так как все обозы перехватывали москвитяне. Воины новгородские с башен и бойниц валились мертвые грудями, да, кроме того, некто Упадыш, бывший до того времени верным слугою отечества, заколотил стенные огнеметы и этим довершил бессилие новгородцев к защите.

Упадыша отыскали, отрубили ему голову и труп бросили в ров.

В то же время пришло в Новгород известие о казни именитых посадников и в числе их Дмитрия Борецкого. До тех пор никто из великих князей не решался покуситься на жизнь первостепенных бояр новгородских.

Архиепископ Феофил вразумил своих сограждан просить у грозного Иоанна и взялся сам ходатайствовать перед лицом его о прощении.

Новгородцы дали ему свое согласие и полную свободу действий при заключении мира, и он со свитою, в которой находился Назарий,

отправился к великому князю.

Смиренно преклонило посольство перед ним свои головы и упросило смилостивиться над своим народом и побережь свою отчину.

Порешили на том, чтобы внести в его казну 50 пудов серебра[45], а затем платить ежегодно черную, или народную дань, возвратить ему прилегающие к Вологде земли, берега Пинегы, Мезени, Нелевючи, Выи, Песчальной Суры и Пильи горы. Эти места были уступлены Василию Темному, но после новгородцы снова отняли их. Архиепископов обязались ставить в Москве, у гроба св. Петра-чудотворца, в доме Богоматери, не принимать врагов великого князя: князя Можайского, сыновей Шемяки и Василия Ярославича Боровского, отменить вечевые грамоты и обещались не издавать судных прав без утверждения и печати великого князя, и многое другое, и по обычаю целовали крест в уверение в исполнении ими всего обещанного.

Великий князь помирил со своей стороны новгородцев с псковитянами, и боярин Федор Давыдович, взяв на вече присягу, тем закончил дело.

Мир был заключен.

Марфа Борецкая скрылась в свои вотчины, но про нее великий князь не обмолвился ни словом в договорной грамоте, как бы презирая слабую жену.

Простился он с новгородцами приветливо и со славой возвратился в Москву.

В Новгороде наступила тишина и спокойствие.

Хотя он много потерял, но зато приобрел сильного защитника против других хищников.

За три года до приезда Назария в Москву великий князь посетил Новгород, был встречен с почестями и в особенности среди новгородских сановников отличил Назария.

Последний, действительно, честно и искренно служил своему отечеству и рукой и головой, но почти перед самым приездом великого князя был обойден своими согражданами, — его обошли посадничеством и избрали по проискам Борецкой какого-то литвина.

Назарий, беседуя с Иоанном, высказал ему свою обиду и открыл ему свое сердце.

— Я стерпел за себя, но не могу стерпеть за

отечество, — заключил он свой рассказ, — так как чувствует мое сердце, Марфа снова завладеет новгородскими думами.

Иоанн предложил ему приехать к нему в Москву и от имени Новгорода назвать его государем, что означало бы полное подданничество.

Назарий попросил время на размышление.

Три долгих года обдумывал он этот роковой шаг — одним словом передать во власть Москвы свое отечество.

Сильно и часто за эти годы билось его сердце. Жаль было ему родины с обеих сторон, но что было делать? Лучше отдать своему, чем чужим!

Назарий решил прибыть в Москву.

XXVI

В доме князя Стриги-Оболенского

— Ну, теперь мы одни, — сказал князь Оболенский, усаживая гостей своих в светлице на широких дубовых лавках, покрытых суконными настилками. — Поведай же мне, Назарий Евстигнеевич, так как мы с тобой считаемся кровными и недальными, — ты мне внучатый брат доводишься, волею

или неволею занесла вас лихая стужа к нам, вашим врагам?

— Не знаю, брат, — отвечал Назарий, — как тебе на это ответить, тут все есть: и воля, и неволя.

— Да уразумел ли ты вопрос мой, на что он метит и о чем я речь веду?

— Как не уразуметь! А ты бы нас сперва напоил, накормил да спать уложил, а после бы и спрашивал: зачем-де вы, дальние птицы, прилетели на чужбину? Здесь не накормят вас пшеницей ярой, а с вас же последние перышки оциплют, — заметил Захарий.

— И, ведомо, так — сказал улыбнувшись Оболенский. — Вы народ хитровой, сперва надо расплавить задушевные речи винцом горячим, а там они уж сами с языка польются.

Вскоре слуги устали стол яствами и пиятиями и удалились.

— С тобой как с кровным, сердечным и старшим, — начал Назарий, машинально принимаясь за пищу, — хочу я вместе побеседовать, чтобы раздумать думу крепкую и растосковать тоску тяжелую.

— Ты знаешь, брат, — отвечал Оболенский

с дрожью в голосе, — я теперь сир и душой и телом, хозяйка давно уже покинула меня и если бы не сын одна надежда — пуще бы зарвался я к ней, да уж и так, мнится мне, скоро я разочтусь с землей. Дни каждого человека сочтены в руке Божьей, а моих уж много, так говори же смело, в самую душу приму я все, в ней и замрет все.

— Потому-то я тебя и избрал, как образец честности. Дело такого рода, — заговорил Назарий, поставив на стол кубок и отодвинувшись от стола.

— Так говори же, не мешкай, и у меня кусок колом становится в горле, — вопросительно взглянул на него князь, положив на стол ложку.

— Начну тебе издалека, как взбаламутились земляки мои. Помнишь ли, что было лет за пяток перед сим? Подробно ты не знаешь, впрочем, как и почему все случилось...

— Да, я оставался тогда править Москвой вместе с братом великого князя, Андреем меньшим, а сын мой Василий направился отсюда с татарской конницей прямехонько на берега реки Мечи, — прервал его князь Иван.

— Не забудьте меня в присловьи, — сказал насытившийся Захарий, прислонясь спиной к стене, — а я немного прикорну.

Назарий начал свой рассказ. Он подробно передал князю Стриге-Оболенскому все то, что уже известно нашим читателям из предыдущих глав, и высказал ему свой уговор с великим князем и цель своего приезда в Москву.

— Но где ты добыл себе этого чудака? Кто он таков? — вполголоса спросил Оболенский, указывая на Захария, который давно уже, сидя на лавке, раскачивался всем телом с полуразинутым ртом в приятном усыплении.

— Его подкупил наместник московский сопровождать мне, он дьяк веча, чтоб в случае надобности, приложить и его руку в доказательство новгородцам, что мы посланы от них. Происками своими он сумел достигнуть такого важного чина. С виду-то он хоть и прост, неказист, но хитер, как сатана, а богат, как хан.

Назарий замолчал и лишь после довольно продолжительного раздумья, не прерываемого деликатным хозяином, заговорил снова:

— Все готов я перенести, даже отдать под топор повинную голову, если князь ваш не исполнит обещанных условий, но чем принять казнь Упадыша. Из любви к Новгороду поступил он так, чтобы спасти его и не дать повод разгромить его. Вот что выпытали у него перед смертью. А я подал голос против него... я открыл его измену!.. Живо помню я то время... как теперь гляжу я на эти седины, вдруг обагрившиеся алою кровью... А что тяжелей всего — с тех пор пропал без вести малолетний сын его... не призренный никем сирота. Должно, умер он с голода или с холода! Эта мысль душит, терзает меня!

Наступило снова унылое молчание.

Вдруг князь Иван произнес как бы вдохновенно:

— Ты не виновен!..

Точно пудовая тяжесть скатилась с души Назария, взгляд его просветлел.

— Почему же ты считаешь меня белым между черными?

— Потому что ты был только окутан черными пеленами, но, когда ангел Господень охраняющий всякого человека, внушил тебе

оборвать таинственные сети, сплетенные рукою дьявола, ты вышел из них. И влас главы твоей не погибнет по слову Божию, без Его произволения. Сын же мученика Упадыша, если жив, то, поверь, бережется также Отцом Небесным и призрен добрыми людьми. Судьба темна и мудрена. Может быть, ты найдешь его, заменишь ему родителя, и сойдет на вас благословение Неба. Доверши же начатое. Тебе еще мало ведом князь наш, но когда сам узнаешь, кого нам послал Господь в лице его, то возрадуешься и совершенно успокоишься. Видно, молитва православных нашла его и наступили времена светлые для нас, уже не те, когда Москва светилась только заревами и раздиралась на части. Выстрадала она, сердечная, долю свою.

С сердечным умилением прислушивался Назарий ко всякому слову князя. Вдруг спящий Захарий встрепенулся и вскочил:

— А что? Пора? — бормотал он, вытаращив глаза.

Назарий невольно улыбнулся:

— Ты, видно, думаешь, что мы все еще в дороге? Эх она убаюкала тебя... Не очнешься...

Насмешливый тон Назария омрачил лицо новгородского дьяка в ту минуту, когда довольная улыбка было осветила его.

— Теперь время отправляться и в палаты великокняжеские! — заметил Оболенский.

Назарий вздрогнул.

— И там должно все решиться! — прошептал он.

— В руках у Него милостей много. Не нам судить и разбирать, к чему ведет Его святой Промысел. Нам остается верить только, что все идет к лучшему! — сказал князь Иван, указывая рукой на кроткий лик Спасителя, в ярко горящем золотом венце, глядевший на собеседников из переднего угла светлицы.

Назарий вздохнул с облегчением и, осенив себя крестным знамением, твердой походкой вышел вслед за князем и Захарием.

XXVII

В палатах великокняжеских

На широкий великокняжеский двор вела по Кремлю извилистая дорога, убранная по сторонам воткнутыми елками и березками и усыпанная белым песком с Воробьевых гор.

Народ, после только что окончившейся пи-

рушки, данной ему великим именинником, толпился по этой дороге в ожидании проезда во дворец бояр, князей и прочих сановников.

В иных местах слышалась залихватская песня, прерывавшая несмолкаемый говор толпы, — все были пьяны, довольны, веселы.

Но вот показался боярский поезд, потянулась цепь разнокалиберных возков и колымаг, и народ, заслышав стук колес и конских копыт, раздвинулся на две стороны, чтобы дать дорогу проезжающим.

Иные сторонились по собственной воле, а иные — вследствие неоднократного убеждения нагайками, которыми боярские вершники или знакомцы, в цветных платьях с большими бубнами в руках, скакавшие перед каждой повозкой, щедро наделяли всякого, медленно сворачивавшего с дороги.

— Что ты, охальный холоп, озорничаешь!

— А что ты, нетрониха, медведь, чуть поворачиваешься!

Эти возгласы слышались то и дело.

Поезд тянулся непрерывною полосой, и в нем, в одной из повозок, находился князь Стрига-Оболенский со своими гостями Наза-

рием и Захарием. Не доезжая до высоких, настежь отворенных дворцовых ворот, все поезжане вышли из колымаг и возков и отправились пешком с непокрытыми головами к воротам, около которых по обеим сторонам стояли на карауле дюжие копейщики, в светлых шишаках и крепких кольчугах, держа в руках иные бердыши, а иные — копья.

Около ворот теснилась придворная челядь, глядя на великокняжеских гостей: псаря, сокольники, кречетники, ястребники, кашевары, медовары, пивовары, ясельники[46], подьяки из писцовой и других палат и приказов, шарашничьи[47], стремянные, стольничьи и проч.

Обширный двор дворцовый разделялся на маленькие дворики. В одном месте высились терема, вышки, в другом виднелись низкие кирпичные своды погребов, где хранились вина: волжские, греческие, фряжские, венгерские, брага отличных сортов и мартовские квасы.

Около самой Красной палаты, то есть приемной залы, двор расширялся в площадь, на которой тоже теснились люди из дворцового

штата, а также юродивые и увечные нищие, разместившиеся у заднего крыльца палаты и получавшие мелкие деньги из рук дворцовых стряпчих[48], а получившие сидели по сторонам дороги, поджав ноги и кланяясь гостям, выискивая между ними себе милостивцев.

По ступеням парадного крыльца и по косому коридору палаты змеился кармазинный ковер, тянувшийся по длинным и круглым с каменным полом полутемным сеням, так как освещавшие их смежные и узкие окна были расположены в самой верхней части купола. В конце сеней были другие двери, охранявшиеся двойной стражей копейщиков, ведущие в прихожую, в которой суетились высшие придворные чины: кравчии, стольники, казначея, постельные, чайники, комнатные дворяне, степные ключники, путевые ключники, горошники, комнатные стражи, или гридни, и другие.

Все бояре, которых считалось при великом князе Иоанне III Васильевиче до двадцати, были в светлом, т. е. праздничном платье, степенно раскланивались между собою и с придворными и с удивлением, искоса, по-

смаатривали на новых лиц — на Назария и Захария.

В ожидании приема их великим князем для принесения поздравления и поднесения поклонных даров, они вполголоса беседовали друг с другом.

Вдруг кто-то произнес магические слова:

— Т-с... великий князь!

Все разом смолкло. Двери в Красную палату распахнулись.

Опишем вкратце внутреннее убранство этой палаты. В то время в России было еще мало вкуса и материалов для уборки комнат. Стены ее были обиты вызолоченными голландскими кожами, — на одной из этих стен висели две большие картины в кипарисных рамах, изображавшие притчу о блудном сыне и о трех отроцех, в печи сожженных, — вывезенных из Греции великою княгинею Софией Фоминишной и считавшихся тогда большой редкостью; на другой стене, в таких же рамах, висело несколько картин мозаической живописи с изображениями рыб и птиц. Пол был устлан широким персидским ковром с вычурными узорами. Про передний угол и находив-

шуюся в нем большую божницу и говорить нечего. Иконы горели как жар; дорогие камни и жемчужины, унизывавшие их золотые венцы переливались всеми цветами радуги.

Великий князь, одетый в богато убранный из золотой парчи фerezь, — по которой ярко блестели самоцветные каменья и зарукавья которой пристегивались застегнутыми, величиною в грецкий орех, пуговицами, — в бармы[49], убранные яхонтами, величественно сидел на троне с резным невысоким задом из слоновой кости, стоявшем на возвышении и покрытым малинового цвета бархатной полостью с серебряной бахромою; перед ним стоял серебряный стол с вызолоченными ножками, а сбоку столбец с полочками[50], на которых была расставлена столовая утварь из чистого литого серебра и золота.

Над головою великого князя висела, искусно утвержденная к потолку, богатая, украшенная драгоценными каменьями корона, из-под которой спускался балдахин из голубой парчи с серебряными звездами, поддерживаемый двумя поставленными крест-накрест копиями, увитыми цветными гирлянда-

ми.

По сторонам трона стояли оруженосцы, или телохранители, великого князя, называвшиеся рындами, в белых длинных отложных кафтанах и в высоких, опущенных соболями, шапках на головах. На правом плече они держали маленькие топорики с длинными серебряными рукоятками и стояли, потупя очи и не смея шевельнуться.

Бояре, впущенные в палату, стали низко кланяться великому князю; он в свою очередь ласково приветствовал их наклоением головы. Каждый по очереди подносил ему на больших блюдах разную хлеб-соль: караваи, сгибень, именинные пироги, и проч. На блюдах под ними лежало еще по несколько пенязей. Князь Михаил Верейский, отец Василия Верейского, давно был у него и поднес ему серебряное блюдо, полное разных дорогих камней. Великий князь, принимая от каждого боярина хлеб-соль, давал в знак милости своей целовать свою руку[51] и ставил дары перед собою на стол.

По окончании поздравлений, духовник великокняжеский стал говорить молитву, затем

поставил под иконами водоосвященные свечи, освятил воду и, обернув сосуд с нею сибирскими соболями, поднес ее великому князю, окропил его, бояр и всех находившихся в палате людей. Великий князь встал, проложился к животворящему кресту и поднятому из Успенского собора образу св. великомученика Георгия, высеченному на камне[52], а за ним стали прикладываться и другие.

По окончании богослужения великий князь снова сел на трон, а слуги стали накрывать столы: один для великого князя и князей Верейских, другой, названный окольничьим, для избранных и ближних бояр, и третий, кривой, для прочих бояр, окольничьих и думных дворян.

Князь Стрига-Оболенский, взяв за руку Назария и Захария, подвел их к великому князю и, низко поклонившись, сказал:

— Представляю тебе, государю и великому князю моему, сих двух людей... Вот этот, — указал он на Назария, — посадник новгородского веча, а сей — дьяк веча, — он указал на Захария. — Оба они прибыли к тебе, великому князю и государю своему, с делами предле-

жащими до тебя, и посланы к тебе собором всего веча.

Окончив представление, князь Оболенский отошел в сторону.

Только очень зоркий взгляд постороннего наблюдателя мог заметить изменившееся на мгновение выражение лица великого князя: взгляд его радостно заблестал. Но Иоанн, как тонкий политик своего века, тотчас овладел собою и ласково, но равнодушно ответил на низкий поклон неожиданных гостей. Он ждал их, но не так скоро.

После этого официального приветствия великий князь встал со своего трона и прошел в соседнюю храмину, подавая знак приезжим новгородцам следовать за собою.

Назарий и Захарий последовали за Иоанном.

Удивленные бояре столпились вокруг князя Стриги-Оболенского, ожидая узнать от него подробности и цель приезда новгородских представителей.

XXVIII

Пред лицом великого князя

Назарий и Захарий были одни пред лицом Иоанна.

Перед ними стоял тот, слава о чьих подвигах широкой волной разливалась по тогдашней Руси, тот, чей взгляд подкашивал колена у князей и бояр крамольных, извлекал тайны из их очерствелой совести и лишал чувств нежных женщин. Он был в полной силе мужества, ему шел тридцать седьмой год, и все в нем дышало строгим и грозным величием.

— Ну, что, созрели ли думы твои? Решился ли ты быть спасателем твоего отечества? — спросил Иоанн Назария.

— Отечество мое взывает к тебе о помощи. Избавь его от крамольников и огради силою власти твоей. Передаю тебе его неискупно... невозвратно... Государь! Накажи беззаконие, притупи жало злобы... но не притесняй, защити и награди достоительно добро, — отвечал Назарий.

— Суд и правду держу я в руках. Теперь дело сделано. С закатом нынешнего дня умчится гонец мой к новгородцам с записью, в которой воздам я им благодарность и милость за их образумление. Пусть удивятся они, но ко-

гда увидят рукоприкладство твое и вечаевого дьяка, то должны будут решиться. Иначе, дружины мои проторят дорожку, по которой еще не совсем занесло следы их, и тогда уж я вырву у них признание поневоле.

— Государь, меч твой не обсох еще, а ты уже опять думаешь о крови... не заставь меня клясться, как Иуду, и...

— Даю тебе клятву, — перебил его великий князь, — ни одна кровинка не скатится на родную землю твою, если они не будут упорствовать... И долго тогда я постараюсь сбегать ее от гибели — ведь она русская, моя...

— Понимаю: мертвить, но не умерщвлять, — возразил с ударением Назарий.

— Раб, вспомни, перед кем ты стоишь и с кем дерзаешь перекоряться!.. Рассуди, что и без кротких мер я в силах навлечь на Новгород мечом своим и повергнуть его в прах! — вскричал Иоанн, и глаза его сверкнули гневом, а щеки покрылись румянцем раздражения.

— Государь! Яви милость, прости меня, — преклонил колена Назарий. Рассуди и сам, — продолжал он, закрыв лицо руками, — что от-

даю я тебе и на кого обрушится проклятие?

— Встань, я прощаю и понимаю тебя. Если ты признаешь справедливыми слова мои и держишься того же мнения, что земляки твои мечем своим не столько защищаются, сколько роют себе гибельную пропасть, то согласишься, не должно ли отобрать у них оружие? Если же они добровольно не отдадут его, то надо вырвать насильно, иначе они, как малые дети, сами только порежуются. Просвети же душу свою спокойствием и надеждой на меня.

— Я дело свое окончил и от тебя, наконец, услышал слово ласковое... с меня довольно.

Иоанн обратился к Захарию:

— А ты доволен ли дьяк?

— Я не прочь. С моей стороны, что обещано, все исполнится, — отвечал Захарий, переминаясь с ноги на ногу.

— И с моей тоже, — сказал великий князь и, отыскав в сундуке своем, обитом железными обручами, кису, туго набитую деньгами, поднес Назарию и сказал:

— Знаю тебя давно, а потому не могу предложить принять это. Чем же наградить тебя,

говори смело!

— Вечной милостью твоею к старой отчине твоей, новоприобретенной тобою в вечное владение. Золото же твое горит, как жар, я страшусь принять его: оно прожжет руку мою; звук его будит совесть, а не усыпляет ее. Благодарность Всевышнему, она еще бодрствует во мне, благодарность и тебе, государь, что ты не обижаешь меня подношением твоего гостинца. Все сокровища московские скудны ослепить очи души моей. Разум, доблесть твоя подкупили меня, закабалили в твою полную волю. И не страх грома оружий твоих вынудил меня решиться предаться тебе. Не столько мечом, сколько речью пронзаешь ты грудь. Теперь я весь твой...

Государь милостиво взглянул на него и крепко пожал ему руку, которую Назарий с чувством поцеловал.

Направляясь назад в Красную палату, Иоанн опустил в жадно-протянутые руки Захария отвергнутую Назарием кису.

Последний принял ее с довольной улыбкой и, вероятно, тоже опасаясь, чтобы она не прожгла ему ладоней, быстро отправил ее за

пазуху.

Накрытые столы ломились от множества поставленных на них блюд, кубков, чар, стоп и бражек. Чашники, каравайники и гридни суетились около них.

Великий князь, войдя с веселым лицом в круг своих верховых[53], объявил им, что новгородцы прислали к нему этих двух имени-тых мужей, — он указал на Назария и Захария, — поклониться и назвать его государем своим от лица архиепископа, веча и всего Великого Новгорода.

— Изготовься с провоженною дружиною ехать к ним в повечерье. Я хочу обослаться с ними вестью и спросить их, что разумеют они под словом «государь»? — обратился он к боярину Федору Давыдовичу.

— Что разуместь иное, — отвечал Федор Давыдович, — как не совершенное покорение их под власть твою, государь!

Начались шумные поздравления и клики непритворной радости.

— Насилу-то хватились за ум!

— Что, видно, Литва-то не по губе при-шлась!

— Не как прежде таращились!

— Спешили мы их!

— Теперь одной грудью будем отстаивать Русь святую!

— Теперь пора ближайшую соседку, Тверь, добыть мечом! — воскликнул кто-то.

— Вестимо, — подхватили другие, — вишь, слухи носятся, будто и к ним Литва бесовская привела чуму свою.

Великий князь приказал бирючам[54] разгласить народу о прибытии послов новгородского веча и выкатить ему еще несколько бочек вина, а гостей пригласил к трапезе.

Почетный пир начался.

Когда он близился к концу, Иоанн повелел принести запись к новгородцам, и дьяк, составивший ее, прочитал ее вслух. Назарий и Захарий приложили свои руки, а боярин Федор Давыдович почтительно принял ее от великого князя, обернул тщательно в хартию, в камку, спрятал ее и, переговорив о чем-то вполголоса с Иоанном, поклонился ему и вышел поспешно из палаты.

— Быть войне! — шепотом заговорили бояре.

— Да, не миновать! — отвечали тихо другие.

— Дело сделано, полно крушиться, — заметил Стрига-Оболенский задумавшемуся Назарию.

— Да, не воротишь, — вздохнул тот. — Теперь, может, уж роковая запись мчится...

— Не только ворота моих хором, но и сердце всегда для тебя открыто, честный боярин! — сказал великий князь Назарию, прощаясь с ним.

Мы знаем, какое впечатление произвели в Новгороде полученные записи Иоанна, и знаем также ответ на нее мятежных новгородцев.

Конец первой части Часть II ПОД ВЛАСТЬ МОСКВЫ



На берегу Наровы

Остзейские провинции были некогда достоинством Великого Новгорода и полоцких князей. Незадолго до нашествия татар и вторжений литовских полчищ начали исподтишка, в малом числе, показываться монахи и рыцари на ливонских берегах и с дозволения беспечных новгородцев и полочан, строить замки и кирки. Когда две кровавые тучи, одна после другой, с востока и запада покрыли всю раздробленную Россию, тогда и наши немцы, усиленные прибытием многочисленных сподвижников, начали расширяться на севере. Татары нагрянули, вломились, немцы же воспользовались гостеприимством и засели, мечом начали крестить несчастных эстов и скоро захватили два русских города, Юрьев и Ругодив (нынешние Юрьев и Нарву), не считая селений, переименованных ими на немецкий лад; если бы не могущество республик новгородской и псковской, они бы проникнули во внутренность России.

В описываемое же нами время их самих в захваченных ими владениях часто беспокоили новгородские вольные дружины, под пред-

водительством молодцов охотников.

В борьбе с издревле ненавистными для русского человека немцами искали вольные дружинники ратной потехи, когда избыток сил молодецких не давал им спокойно оставаться на родине, когда от мирного безделья зудили богатырские плечи. Клич к набегу на «Божьих дворян», как называли новгородцы и псковитяне ливонских рыцарей, не был никогда безответным в сердцах и умах молодежи Новгорода и Пскова, недовольной своими правителями и посадниками — представителями старого Новгорода.

Немцы со своей стороны не принимали меры к ограждению себя от набегов русских и платили им за ненависть ненавистью, не разрешая вопроса о том, что самовольно сидели на земле ненавистных им хозяев. Они и в описываемую нами отдаленную эпоху мнили себя хозяевами везде, куда вползли правдою или неправдою и зацепились своими крючковатыми лапами.

С берегов реки Москвы перенесемся же и мы, читатель, в страну этих немецких пауков, на берег реки Наровы, вслед за дружиной

Новгородскою, под предводительством Чурчилы и Дмитрия, покинутых нами, если припомнит читатель, при выезде их из Новгорода.

В трех верстах от города Нарвы, близ местечка Кулы, река Нарова образует водопад, и светлые ее воды с шумом низвергаются с высоты 14 футов по острым, как бы отточенным, камням, разбиваясь об них в мельчайшие брызги, далеко по сторонам рассыпая водную пыль и разнося однообразно гудящие звуки.

Невдалеке от берега на разостланных войлоках сидели знакомые нам Чурчила и Дмитрий.

Оба молчали, погруженные в глубокую думу.

Вокруг них, вповалку, лежали товарищи, плотным кольцом окружая своих предводителей.

Царившая тишина нарушалась лишь гулом водопада, а вокруг этого стана вольных дружинников расстилались необозримые обнаженные поля и дымилось селение Кулы, накануне взятое ими на копье и выжженное дотла.

Все дружинники были в полном вооружении, что доказывало, что они не намерены были ограничиться вчерашним пожаром, а были готовы вскочить на коней и ринуться за новой добычей.

Их сильные шишаки, кроме наличников, имели назади опущенные сетки, сплетенные из железной проволоки, а наборные доспехи кольчуг, охватывающих и груди, доходили до колен, на ноги, кроме того, были надеты на бедренники.

Чурчила первый прервал молчание.

— Куда же нам теперь метнуться? Разве на крепость Ниеншанц[55]. Догромить ее? — спросил он, ни к кому особенно не обращаясь.

— Мы и так в ней не оставили камня на камне, хотя и не спалили ее, как эту, — ответил Дмитрий, указав рукою на погорелые Кулы.

— Мне, надо сознаться, не хотелось об нее и рук марать, да все ж эти железные дворяне Божьи сами стали задирать нас, когда мы ехали мимо, пробираясь к замку Гельмст, — они начали пускать в нас стрелы... У нас ведь и своих много, — заметил Чурчила.

— Вестимо, не спускать же немчинам, — вставил свое слово один из дружинников, Иван, по прозвищу Пропалый, и поправил свой меч, висевший на широком ремне через плечо.

— Не пора ли и восвояси, кажись, довольно побушевали, — сказал Дмитрий.

— Восвояси! — воскликнул с горечью Чурчила. — Да лучше в ад крошечный! Давно ли мы здесь, да и что делали? Это была не драка, а ребячья игра!..

— Выгодная присказка, особенно когда не пропадет охота мериться плечом с сильным врагом, — промолвил Пропалый.

— Да, когда разойдется рука, только помни это присловье, стыдно уж станет попятиться, — сказал Чурчила.

— Мы, кажись, так и поступаем, а ты служишь примером, я был всегда твоим однополчанином и следую давно этому правилу. Верно ли говорю я? спросил Чурчилу Дмитрий.

— Что тут говорить, конечно так. Да и к чему это? Разве мы сомневаемся в тебе, Дмитрий. Не тебе бы это говорить, не мне бы слу-

шать...

— Да так, к слову пришлось. А теперь, когда я доподлинно знаю, что слова мои не сочтешь за язык трусости, я далее поведу речь свою. Широки здесь края гарцевать молодцам, много можно набрать золота, вино льется рекой, да и в красотках нет недостатка, но в родимых теремах и солнышко ярче, и день светлее, да и милая милей. Брат Чурчила, послушайся приятеля, твоего верного собрата и закадычного друга: воротимся.

— Нет, родина теперь для меня — пустыня! Не смущай меня, не мешай мне размыкать грусть, или домывать жизнь. Поле битвы теперь для меня — и отчизна, и пища, и воздух, словом, вся потребность житейская, только там и отдыхает душа моя — в широком раздолье, где бренчат мечи булатные и баюкают ее словно младенца песней колыбельною. Не мешай же мне! Я отвыкаю от родины, от Насти.

— А сам чуть не плачешь! Вижу, что затронул твою сердечную рану, но рассуди сам, враги рыкают как звери на родину нашу, да, может, и Настя не виновата. Сдается что-то

мне, что мы с тобой сгоряча горячо поступили. Теперь же молодецкое сердце твое потешилось вдосталь, отдохнуло, так и довольно! Мы ведь здесь пятнадцатые сутки, а за это время много воды утекло, все изменилось и нас опять приголубит там счастье.

Чурчила повесил голову и задумался.

Вдруг Пропалый завидел всадника, который, заметя русский стан, торопился ускользнуть из его вида и поспешно своротил в сторону с дороги. Не вымолвив ни слова, быстро вскочил Иван на коня, вонзил в его бока шпоры, и звук копыт через мгновенье заглох вдали.

Дружинники опомнились лишь, когда Пропалый исчез из вида.

— Это какой-нибудь соглядатай, право слово, недруг нам! Семка, я помогу Ивану ссадить его с коня и допросить путем! — встал Дмитрий.

— Нет, не стыди и не обижай Пропалого, он и один заарканит его... Вишь, вон что-то чернеется вдали! Вон еще недалеко от него... Это он, кажись... догоняет, догоняет, близко... Лошадь его так и расстилается; ну, остановил-

ся. Что это? Вдали утекает кто-то, а на месте, должно, возьтятся?

Все вперили взоры свои в туманную даль, и вдруг вся дружина захлопала в ладоши в радостном восторге.

Она приветствовала победу Пропалого.

II

Пленник

Иван в самом деле быстро возвращался назад, волоча за собою на веревке сраженного им всадника, конь которого радостно мчался без седока по широкому полю.

— Бог помочь! Как у вас дело обошлось? — посыпались ему навстречу вопросы...

— Обошлось очень просто... Молодецкий конь разом стал догонять чужака... Я ему крикнул: «Стой и отдай оружие», а у него, видно, норов-то упрямя. Куда тебе! Вытащил меч из ножен и давай отмахиваться, не говоря ни слова, да шпорить коня. Я, видя, что словами не возьмешь его, послал вдогонку стрелу... Он в этот миг повернул в сторону, а стрела вонзилась в лошадь, получше чем его шпоры. Та закружилась под ним, подпруга, даром что кованая, разметалась в стороны,

седло скользнуло на бок, а он с ним. Тут-то я и зацепил его, как волка, да и айда к вам. А лошадь его с перевернутым седлом понеслась вихрем, закусив удила, — рассказывал усталый Иван, соскочив с лошади, в кругу окруживших его товарищей.

— Ты, Пропалый, нигде не пропадешь, — сказал подошедший Чурчила, осматривая пленника. — Спасибо, товарищ, от всех спасибо! Однако раскупорить бы беглеца. Долой с него шлем и латы, не таится ли чего под ним.

Пойманный лежал недвижимо. Затянутый арканом, долго волочился он по кочковатой дороге за Пропалым, лицо его было во многих местах окровавлено, а налившиеся кровью глаза полуоткрыты.

— Латы его подбиты хлопчатой бумагой, должно быть, от стрел! говорил один из дружинников, развязывая кольца и застежки вооружения пленника.

Затем он опустил руку в его котомку, вытащил кипу бумаг, бросил их по ветру и заметил:

— От этих латышей кроме пустых фляг да пробок ничего не дождешься!

— Постой, может, это нужные грамотки, — сказал Дмитрий, собирая разметанные по полю ветром бумаги и пристально вглядываясь в них. — Ишь, ведь как писали-то. Сам черт прежде ослепнет, чем разберет и поймет, что здесь написано; я малую толику знаю грамоте, а от этого отступлюсь. Этот лесной народ перенял язык у медведей, так диво ли, что по нашему редкие из них смыслят.

— Лучше допросить его на словах, подельнее, так сознается, куда и зачем ехал и что содержится в этих бумагах. Быть может, они до нас касаются, — заметил Чурчила.

— Эй, оборотень, немчин бессловесный, вымолви что-нибудь! Кто ты таков и куда тебя Бог несет? Волею или неволею? — стал допытываться Иван, теребя за полу пленника.

Тот что-то глухо пробормотал и снова замолк.

— Да из него и обухом не выбьешь слова! — слышалось чье-то замечание.

— Промычал, да и на попятную. Так нет же, я выпытаю у тебя сознание. Вот как отпую нагайкой, скажешься, нехотя весь рассыплешься в словах! сердито закричал Иван, до-

ставая нагайку, притороченную к седлу, и только хотел привести в исполнение свою угрозу, как кто-то из толпы закричал:

— Глянь-ка, братцы, назад. Видите, кто-то сидит на берегу, словно прирос к нему. Наши все здесь налицо, сорок пять человек, Чурчила, да Дмитрий, да Иван, никто из наших не отлучался с места, а этот, наверно, вынырнул из воды, окаянный.

— Ну, что же... Разом — к нему, хоть будь он нечистый: двух смертей не бывать, одной не миновать, мы же не нехристи, все с крестами.

Дружинники закричали и побежали толпой к сидящему на довольно далеком расстоянии от них.

При пленном остались Чурчила, Дмитрий, Иван и несколько дружинников.

— Это, кажется, наш русский. Эй, земляк, кто ты?.. Оглянись! кричали ему взад дружинники, не решаясь подойти к нему поближе.

Незнакомец молчал.

— Друг ты наш или враг, отвечай?

— Постойте-ка, братцы, попробуем мы, возьмет ли наш гостинец! сказал один из дру-

жинников и начал натягивать тетиву у лука, и когда стрела, нацеленная в сидящего, готова была полететь в цель, незнакомец, как бы придя в себя, нетерпеливо крикнул зычным голосом:

— Чего вы хотите от меня, разбойники придорожные? Я в чужой земле, без защиты.

— Так и есть, что наш! Но что он тут делает?.. Рыб, что ли, скликает?.. Видно, знает, как их звать по именам.

Тут таинственный незнакомец обернулся и глаза его дикой злобой сверкнули из-под черных нависших бровей.

Дружинники отступили в изумлении.

На камне, вросшем наполовину в землю и покрытом диким мхом, под огромным вязом, от которого отлетали последние поблекшие листья, сидел смуглый широкоплечий мужчина с нахлобученной на самые глаза черной шапкой и раскачивался в разные стороны. Его стекловидные, зеленоватые глаза угрюмо следили за катавшимися у ног его волнами, озаренными последними лучами заходящего солнца. Одна тень сторбленная, длинная, далеко откинувшаяся на берег, могла спугнуть

дерзких любопытных, пожелавших бы рассмотреть мрачную физиономию неизвестного путника, для которой природа, видимо, была злой мачехой.

Неизвестный не мог не слышать шума шагов приближавшейся к нему толпы, но он не обратил на это никакого внимания и, не оглядываясь и не трогаясь с места, продолжал медленно раскачиваться из стороны в сторону, и при этом движении на его боку раскачивался широкий нож с черенком из рыбьего зуба.

III

Павел-колдун

— Павел! чернокнижник! злой кудесник! — колдун!.. Как он здесь очутился? Видно, лесовик довел его на хребте своем!.. Пришибем его, братцы, — избавим землю от лихого зелья! — закричали почти в один голос дружинники.

— Земляки мои, братья! Нет, не чуждайтесь меня! — воскликнул Павел, прикинувшись радостно изумленным. — Теперь я не тот нелюдим, встретив которого вы бежали прежде, я смиренный, кающийся грешник. За

вас, мои братья, жизнь моя, молитва и руки.

— Врет, прикидывается... Погодите, еще не то заговорит, а дьявол, который в него вселился, ишь как корежится! Перехватить ему горло, да и в воду. Пусть его оттуда освобождают нечистые его собратья, а мы свое дело сделаем, благо есть случай.

— Нет, лучше привяжем его к камню, да свалим в волны, а то нож так заржавеет в крови его, что не ототрешь никакими заговорами. Страшно будет опоясаться им, как зельем.

Так рассуждали обступившие Павла дружинники.

Дико блеснул он глазами, крепко стиснул кулаки и судорожно вытянул перед собой руки, как бы защищаясь.

Дружинники между тем еще более приблизились к нему и некоторые уже схватили его и стали тормошить.

— По крайней мере, дайте мне проститься со светом Божьим! — заговорил он упавшим голосом.

— Уж ты давно отклепался от человеческого имени, и давно пора тебе туда, восвояси;

там за тебя давно уже и паек получают! — отвечали ему.

— Дайте мне хоть повидаться с Чурчилой. Ведь вы, чай, с ним?

— Что за свидание! Ты уязвил его, как змей-горыныч!.. Мы давно добирались до тебя; а теперь, знать, тебя черти выдали, что наткнули на нас. В Новгороде отец твой силен, оборонит кого захочет, а здесь мы тебя, — заговорил один дружинник и, схватив левой рукой Павла за бороду, правой занес над ним руку с ножом.

Павел весь съежился и зажмурился, чтобы не видеть опускавшегося над ним блестящего лезвия, и даже преждевременно дико воскликнул.

— Да пусть его взглянет последний раз на Чурчилу... Пожалуй, осерчает, что не допустили до него Настасьина брата, хоть любит он его, как собака палку, — сказал другой дружинник, останавливая опускавшуюся было над головой Павла руку товарища.

— Ну, так и быть, сволокем его к нему, да свяжите покрепче ему руки и ноги, а то ведь он хитер, проклятый, вывернется, — решили

остальные дружинники.

Корчившегося от бессильной злобы Павла дружинники крепко-накрепко связали по рукам и ногам и, окружив, потащили его за веревку, подгоняя сзади палками по чем ни попало.

— Что это, еще пленника, или зверя какого тащат наши? — сказал Дмитрий Чурчила, указывая на приближающуюся к ним толпу.

— Чурчила, это я, злейший враг твой! Упейся теперь моей кровью, я в твоей власти, — заговорил смело прерывающимся от ярости голосом поставленный на ноги Павел.

— Как? Павел? Лучше бы взглянул я на ехидну, чем на этого дьявола в человеческом образе! — вскрикнул Чурчила, и так ударил рукой по рукоятке своего меча, что все вооружение его зазвенело.

— Упросил, чтобы тебе его показали, — слышались голоса дружинников.

— Он знает, чем хуже наказать меня... Чего тебе нужно от меня? обратился он к Павлу.

— Жизни твоей...

— А что тебе в ней и за что ты ненавидишь меня, подкупной, заспинный враг?

— Верно слово твое, я — подкупной, но меня подкупила братская любовь, — с ударением отвечал Павел.

Чурчила вздрогнул.

— Ты спрашиваешь, за что я ненавижу тебя? Но кого же любил я? Я исчадие зла, все люди были мне противны, сам не знаю почему... Но сестра моя, эта кроткая овечка, Настасья... она давно примирила меня со всеми; она как бы нечеловеческим голосом уговаривала меня переродиться, и слова ее глубоко запали в мою черную душу. Она показалась мне ангелом, а голос ее песней серафима, и я... повиновался...

Павел зарыдал.

Чурчила зашатался и прислонился к плечу поддерживавшего его Дмитрия.

Немного погодя он спросил.

— Не этот ли ангел Божий вразумил тебя покушаться на мою жизнь?

— Погоди и дослушай, после обвиняй, — начал снова Павел. — Я повиновался ей... нет, не ей, я не знаю, кто говорил ее устами. Душа моя созналась во всех поступках. Священное родство, любовь, все чувства человека разли-

лись в душе моей, и новый свет озарил ее, я умилялся и искренно назвал братом любимого ей Чурчилу.

— Как, разве у вас шла речь обо мне?

— Никогда не переставали мы о тебе беседовать...

— Все более и более непонятны, темные слова твои.

— Мудрено ли! Душа каждого — загадка, а у этого она — совсем потемки. Пожалуй, заслушаешься его, то и несдобровать тебе. Ему надо язык выгладить полосой раскаленного железа, а на руки и на ноги надеть обручи, или принять его в дреколья!.. До каких пор ждать конца его сказки? — с сердцем воскликнул Дмитрий.

Павел скосил на него и без того косые глаза свои и сказал с упреком:

— Обшаривай душу темную, а светлая вся на виду.

— Что тут толковать, вы из одного гнезда с нечистым, одного поля ягода.

— Да не одинаковая, — возразил Павел. — Кем я был прежде — сознаюсь. А теперь, ты сам, как злой враг человеческий, перетолко-

вываешь смысл моих слов, и отказываешь мне, грешному, в возможности раскаяния, в освобождении от тяжелого гнета души моей.

— Экий краснобай! Как гладко он выстиляет словами дорогу к сердцу всякого, — прервал его Дмитрий.

— Постой, Дмитрий, твоя речь впереди, дай нам дослушать, а ему договорить, — сказал Чурчила.

— Пораспустите хотя немного мои руки, веревки больно стянули их; я честно исповедуюсь перед вами и тогда легко приму смерть, тогда и оковы телесные легки будут для меня, а если приму смерть, не буду влачить их. Господи, помилуй, поддержи меня!..

— Не богохульствуй, собака, я тебе засмолю рот, — снова не утерпел Дмитрий, и бросился на него с мечом, но Чурчила остановил его.

Павел с сожалением посмотрел на Дмитрия и с тяжелым вздохом начал:

— Настасья любила тебя меньше Бога, но больше жизни. Ты покинул ее, несчастную, и обливается теперь она день и ночь горячими слезами, и сохнет, как былинка в знойный

день. Это зажгло ретивое мое праведным гневом против тебя. «Сыщи его, — сказала она мне, — добудь, достань мне или перенеси меня к нему. Я забуду стыд девичий, упаду на грудь его, обовью его моими руками и мы умрем вместе». На эту беду присватался к ней какой-то именитый литвин. Отец обрадовался этому и приказал ей принимать подарки и называться его суженой... Где же было чувство твое к ней, когда ты покинул ее?

Чурчила дрожал, изменившись в лице, и не мог выговорить слова.

— Теперь, быть может, влекут ее к венцу с немилым женихом или заколачивают останки ее в гроб тесовый. Я как будто слышу стук молотка, и холодная дрожь пробирает меня.

Он замолк и пристально поглядел на Чурчилу.

Последний стоял как приговоренный к смерти. Лицо его исказило от внутренней невыносимой боли!

Павел продолжал:

— Потому-то я и ринулся всюду отыскивать тебя, чтобы заставить вспомнить о поки-

нутой тобой... Не утаю, я решился закатить тебе нож в самое сердце и этим отомстить за ангела-сестру, но теперь я в твоих руках, и пусть умру смертью мученической, но за меня и за нее, верь, брат Чурчила, накажет тебя Бог...

— Истину ли изрыгаешь ты? — грозно спросил его Чурчила.

— Соболезную о слепоте твоей. Что же ты медлишь... Дорезывай скорее кстати брата, а там присоединись к вольным шайкам московских бродяг и грабь с ними отчизну. Вместо того чтобы защищать, ты отрекся от нее и рыскаешь далеко...

— Нет, ты брат Настасьи! Ты — мой брат! Я освобождаю тебя!

Послышался ропот дружинников, но Чурчила обнажил меч свой и крикнул:

— Чего вам надо? Крови? Вяжите меня, режьте, если поднимется рука.

С этими словами он разрубил веревки на руках и ногах Павла.

IV Бегство

Яркие звезды засверкали на темном своде небесном, луна, изредка выплывая из-за облаков, уныло глядела на пустыню — северная ночь вступила в свои права и окутала густым мраком окрестности. Около спавшей крепким сном, вповалку, после общей попойки, по случаю примирения Павла с Чурчилой, дружины чуть виднелась движущаяся фигура сторожевого воина.

В глубокую полночь, когда и сторожевой склонил свою усталую голову на копье, что-то тихо зашевелилось в середине спавших, чья-то голова начала медленно подниматься, дико озираясь кругом, силясь прорезать взглядом окружающий мрак.

Подле этой поднявшейся головы поворачивался пленник, рейтар ливонский, лежавший навзничь и силившийся вытащить руки из веревочных пут.

— Ты что, схвачен? — шепнул, приподнявшись, Павел (это был он) пленнику.

Тот молчал.

— А, ты боишься меня, а я еще хотел помочь тебе. Не веришь, смотри, продолжал он, и перерезал двуострым ножом своим верев-

ки, скручивавшие ноги пленника.

— Спаси меня, — тоже шепотом заговорил пленник. — Я герольд бывшего гроссмейстера ливонского ордена Иоганна Вальдгуса фон Ферзена, владельца замка Гельмст. Он послал меня ко всем соседям с письмами, приглашающими на войну против...

Герольд остановился.

— Ну, договаривай смелей, на Русь, что ли, нашу? Я вам помощник.

— Ты!.. Да кто ты? Ведь ты русский? Как же?

— Не твое дело. Беги, скажи...

Он хотел было совершенно освободить его, перерезав веревки и на его руках, но вдруг остановился и спросил:

— А далеко ли Гельмст?

— Перейдя поле и лес, поворачи налево и поезжай наискосок по дорожке; к утру будешь в замке.

Павел разрезал веревки на руках пленника.

— Ступай, но коня уж оставь волкам на закуску, а то к копытам мои земляки чутки, как медведи к меду; услышат и захватят опять.

Выберись отсюда лучше на змеиных ногах, то есть ползком; расскажи своим, что русские наступают на них, поведи их проселками на наших и кроши их вдребезги! Ступай, а мне еще надо докончить свое дело.

Пленник вскочил на ноги, затем пригнулся к земле и начал медленно, озираясь, пробираться между сонными дружинниками, спавшими богатырским сном.

Чурчила, утомленный походом и взволнованный встречей с Павлом и в особенности словами последнего, лежал в каком-то тяжелом полусонном забытии и молодецкая грудь его тяжело вздымалась под гнетом удручающих сновидений. Он хотел тотчас лететь обратно на родину, чтобы избавить свою Настю от когтей иноплеменного суженого, или лечь вместе с ней под земляную крышу, его насилу уговорили дожждаться зари, и теперь сонным мечтам его рисовалось: то она в брачном венце, томная, бледная, об руку с немилым, на лице ее читал он, что жизни в ней осталось лишь на несколько вздохов, то видел он ее лежащую в гробу, со сложенными крест-накрест руками, окутанную в белый саван. Он

не узнавал ее; орбиты высохших от слез глаз впадали так глубоко, страшно; розовые ногти на руках и малиновые уста ее посинели. Холодный пот обливал его снаружи, внутри же он чувствовал жгучую боль и то стонал, то яростно скрежетал зубами и вскакивал вприсонках.

Павел крался, подползая к Чурчиле как червь; нож его блеснул во мраке, взвился с рукою над головой жениха его сестры и уже готов был опуститься прямо над горлом несчастного, как вдруг Чурчила, под влиянием тяжелых сновидений, приподнялся и попал бы прямо на нож, если бы убийца не испугался и угрожающая рука его не замерла на полувзмахе.

— Измена, — крикнул сторожевой, услышав шорох вскочившего в страхе Павла, и ударил мечом своим плашмя несколько раз по ножнам.

Дружинники, услышав эти звуки, все проснулись и в одно мгновение были на ногах, хотя в первые минуты не могли понять причины тревоги.

Сторожевой дружинник в нескольких сло-

вах рассказал, как он заметил Павла, бежавшего с ножом от Чурчилы.

Фигура беглеца, благодаря вышедшей из облаков луне, действительно, видна была мелькающей по полю.

За ним стремглав бросилась погоня.

Павел, перебежав большое пространство, свернул в прибрежные кусты и засел в них.

Ожесточенные дружинники начали шарить в них, ударяя по ним мечами, и жертва, наверное, не ускользнула бы от них, если бы Павел, видя явную опасность, не принял бы мер.

Безвыходное положение, страх всегда или рождают внезапно счастливую мысль, или же сковывают человека бездействием.

То же случилось и с Павлом.

Нащупав около себя огромный камень, он скатил его с шумом в реку, а сам притаился ничком в кустах. Вслед за камнем, который дружинники приняли за бросившегося в реку Павла, посыпались стрелы, но прошло несколько мгновений — волны катились с прежним однообразным гулом, и дружинники, думая, что Павел с отчаяния и срама, что-

бы не попасться в их руки, бросился в реку и утонул, подождали некоторое время, чутко прислушиваясь, и возвратились к товарищам, решив в один голос: «Собаке — собачья смерть!»

Чурчила, убедившись, что поддался хитрому обманщику, решил не возвращаться на родину, а продолжать поход к намеченной ранее дружинниками цели — замку Гельмст.

Под покровом ночи и Павел ползком, после ухода своих преследователей, выбравшись из прибрежных кустов, осторожно прокрался к лесу, по дороге, указанной ему рейтаром Вальдгуса фон Ферзена.

Он решил тоже направиться в замок Гельмст.

Зачем? — это была тайна его черной души.

V

Замок Гельмст

Замок Гельмст — цель дальнейшей ратной потехи наших новгородских дружинников, принадлежавший, как мы уже знаем, рыцарю Иоганну Вальдгусу фон Ферзену и сохранившийся до нашего времени, находится в Лифляндии, у истока реки Торваста, в миле рас-

стояния от Каркильского озера, в котором, по преданию, находится будто бы несколько затонувших зданий.

В описываемое нами время он представлял собой неприступную твердыню. Широкие стены его, поросшие мхом и плющом, указывали на их незапамятную древность, грозные же в них бойницы и их неприступность, глубина рва, его окружавшего, и огромные дубовые ворота, крепкие, как медь, красноречиво говорили, что он был готов всякую минуту к обороне, необходимой в те беспокойные, опасные времена.

Подъемный мост спускался лишь при звуке трубы подъезжавших путников и снова поднимался, скрипя своими ржавыми цепями, впустив в ворота ожидаемого или неожиданного гостя.

Замок Гельмст славился на всю округу гостеприимством своего хозяина. Столы этого редкого среди немцев хлебосола всегда ломились под обильными и изысканными по тому времени яствами и винами.

Рыцарь Иоганн Вальдгус фон Ферзен был богат, чем не могли похвастаться остальные

его товарищи по оружию, рыцари ордена меченосцев. Это богатство сделало то, что он был избран гроссмейстером ордена, но оно же было причиной потери им этого сана — его обвинили в сношениях с русскими и в принятии от них подарков; было ли это результатом зависти или же имело за собой долю правды — осталось в глубине души фон Ферзена души, впрочем, сильно оскорбленной потерей почетного звания. Фон Ферзен всеми силами старался вернуть его в свой род, и к общей ненависти к русским у этого бывшего гроссмейстера прибавилась ненависть личная.

Он сам в минуты откровенности, после лишнего стакана вина, хотя и не признавал себя виновным в подкупе со стороны русских варваров, но все же делал кой-какие намеки и не мог удержаться, чтобы не излить на них всю желчь своего развенчанного величия.

— С тех пор, — так обыкновенно он заканчивал свой рассказ о своем падении, — как услышу я слово: «русский», какая-то нервная дрожь охватывает меня. С тех пор поклялся я всем святым вредить этим заклятым врагам

моим, чем только могу, и твердо сдержу свое слово.

Эта ненависть к русским не помешала, впрочем, фон Ферзену дать приют в своем замке бездомному сиротке-юноше, едва вышедшему из отрочества, русскому по происхождению, но не помнившему ни рода, ни племени, по имени Григорию, искаженному среди немцев в «Гритлиха».

Приятеля не раз упрекали фон Ферзена за его пристрастие к этому «русскому щенку» и советовали переслать его на родину «на стреле», но владелец замка Гельмст настойчиво защищал своего любимца.

— Я так люблю его, — говаривал он, — да он же и выродился из всего русского, проживши столько лет у меня. Вы не знаете цены этому малому. Я нашел его полу замерзшим и полунагим на самой русской границе; ему было тогда лет десять от роду; я заметил его, накормил, взял к себе на седло. Как он прижимался ко мне, сердечный, весь дрожа от холода. Я стал спрашивать его, откуда он. Из его слов я понял, что он бежал от какого-то бунта, что все его родные были перебиты. Ку-

да же было деваться ему, сироте... Я оставил его у себя... Моя дочь была только годом моложе его... Они вместе выросли, играя между собой как родные, и даже зовут друг друга братом и сестрой. Он плел для нее корзинки из ивовых прутьев, ловил птиц силками, лазал по деревьям как белка, чтобы доставать из гнезда пташек и воспитывать их, как я их воспитывал. Когда же он возмужал, то стал держаться моего стремени — на звериной ловле усмирять диких бегунов и гарцевал на них молодецки. А как он стреляет! Сшибет шапку с головы и волоска не тронет. Но что больше всего меня привязало к нему — это то, что он не корыстолюбив: со своими не воюет, а когда других задевали мы, он не пользовался грабежом; а однажды вышиб из седла врага, который уже занес меч над моей головой... Я ему обязан жизнью... да и Эмма моя любит его, как родного брата... Я не могу расстаться с ним.

— Это-то и худо, — пробовали задеть старика фон Ферзен с этой стороны, — долго ли до беды, надо вовремя разлучить молодых людей.

— Нет, — возразил он, — моя Эмма — эта юная ветвь славного и могущественного рода Ферзен — никогда не соединит свою судьбу с каким-нибудь подкидышем. О! Прежде я изрублю тело его в крупинки.

— Чем дожидаться этого, не лучше ли теперь принять меры и теперь же отослать его в конюшню и на псарню, самое подходящее место для «русского щенка», — не унимались советчики.

— Это было бы слишком жестоко, особенно без вины, но если я что-либо замечу, то лучше выгоню его из своего замка на все четыре стороны, возразил фон Ферзен.

Эти беседы хотя и не имели грустных последствий для Гритлиха, но все же внесли в душу старика Ферзена подозрение, и он стал наблюдать за дочерью и приемышем, но не замечал ничего.

Эмма фон Ферзен и подкидыш Гритлих были еще совершенные дети, несмотря на то, что первой шел девятнадцатый, а второму двадцатый год. Они были совершенно довольны той нежностью чистой дружбы, которая связала их сердца с раннего детства; сердца

их бились ровно и спокойно и на поверхности кристального моря их чистых душ не появлялось даже ни малейшей зыби, этой предвестницы возможной бури.

Среди сокровищ ее отца Эмма фон Ферзен была самым драгоценным сокровищем, не только в глазах отца, но даже и для постороннего взгляда.

Стройная, гибкая блондинка, с той природной грацией движений, не поддающейся искусству, которая составляет удел далеко не многих представительниц прекрасного пола, с большими голубыми, глубокими, как лазуревое небо, глазами, блестящими как капли утренней росы, с правильными чертами миловидного личика, дышащими той детской наивностью, которая составляет лучшее украшение девушки-ребенка, она была кумиром своего отца и заставляет сильно биться сердца близких к ее отцу рыцарей, молодых и старых.

Друг ее детства, Григорий, или Гритлих, с годами из тщедушного мальчика обратился в стройного юношу, полного сил и здоровья, добытого физическими упражнениями и суро-

вой жизнью среди суровых рыцарей. С самых юных нежных лет на охотах, этих прообразах войны, привык он смело глядеть в глаза опасностям, а с течением времени — пренебрегать ими. Высокий ростом, с задумчивым, красивым, полным энергии лицом, матовая белизна которого оттенялась девственным пухом маленьких усиков, с темно-русыми волосами и карими глазами, порой блиставшими каким-то стальным блеском, доказывавшим, что в этом молодом теле имеется твердый характер мужа.

Таков был молодой новгородец, волею судеб нашедший себе второе отечество в Ливонии и вторую семью в лице старика фон Ферзена и его дочери.

Чтобы закончить описание обитателей замка Гельмст, нам необходимо нарисовать, хотя бы в нескольких штрихах, портрет самого владельца замка, рыцаря Иоганна Вальдгуса фон Ферзена. Это был высокий, худой старик, лет за шестьдесят, с открытым добродушным лицом, совершенно не гармонизировавшим с несколькими рубцами рассеченных ран, говорившими о военном ремесле рыца-

ря. Посвятив свою раннюю юность подвигам на пользу ордена меченосцев, он поздно встретил подругу жизни и не долго пользовался ее ласками. Молодая, хрупкая, Матильда фон Эйхшедт, ставшая Матильдой фон Ферзен, прожила с мужем год с небольшим и умерла при родах, подарив ему дочку живой портрет матери. Пораженный неожиданным горем, Иоганн фон Ферзен перенес всю нежность своего поздно проснувшегося сердца на этого ребенка и от трудов войны отдыхал сперва около ее колыбели, а затем около ее девичьей постельки, благословляя ее на сон грядущий, сон чистоты и невинности. Ее детский лепет, ее улыбка, ее игры, забавы и даже шалости, были тем живительным бальзамом, который привязывал к жизни старого рыцаря, давал этой жизни цель и значение, но, вместе с тем, не допускал жестокому ремеслу сделать его кровожадным и бессердечным, подобно многим из его сотоварищей.

И не на одного отца своего производила Эмма фон Ферзен такое чарующее впечатление; вся прислуга замка, все рейтары ее отца боготворили ее, их угрюмые суровые лица

расплывались при встрече с ней в довольную улыбку, ее ласковый взгляд был для всех их дороже неприятельской богатой добычи. Кажалось, сами поросшие мхом каменные громады замковых стен становились менее мрачными, когда Эмма фон Ферзен проходила мимо них. Был только один человек среди служителей замка, который не только не улыбался при встрече с общим кумиром, Эммой, но, видимо, избегал подобной встречи. Это был старый привратник Гримм. На него эта златокудрая ангелоподобная девушка производила действие проснувшейся совести.

VI

Весть о русских

Скорее деньги Иоганна фон Ферзена, чем еще только расцветшая красота его дочери Эммы за несколько лет до того времени, к которому относится наш рассказ, сильно затронули сердце соседа и приятеля ее отца, рыцаря Эдуарда фон Доннершварца, владельца замка Вальден, человека хотя и молодого еще, но с отталкивающими чертами опухшего от пьянства лица и торчащими в разные стороны рыжими щетинистыми усами. Только об-

щее пристрастие к флягам, в содержимом которых и сам фон Ферзен любил подчас топить скуку своего одиночества, да искусная игра Доннершварца на пикентафле[56] могли объяснить близость между этими двумя рыцарями, нравственные качества которых были более чем противоположны.

— Я привык к нему, как к моему колпаку, да, кроме того, он мне полезен, как мой кот; тот очищает мой погреб от крыс и мышей, а этот — от бутылок и бочонков; за это я люблю его.

Старик не стеснялся выражать это свое мнение и в присутствии своего частого гостя, но тот, ввиду намеченной им цели, да и по врожденной трусости, пропускал все мимо ушей и не обижался.

Он и сам не рассчитывал получить согласие отца на брак, а потому принял свои меры на случай, если придется похитить обладательницу богатого приданого.

Последнее для него было очень важно — Доннершварц был беден.

Чтобы иметь среди прислуги фон Ферзена своего человека, он пристроил одного из сво-

их рейтаров, Гримма, в привратники в замок, обещав ему хорошую награду, если при его содействии брак его с Эммой фон Ферзен состоится, будь это с согласия отца, или насильственным похищением.

Привратник Гримм на своей особе всецело оправдывал французскую пословицу: «Каков господин, таков и слуга», — он был кривой старик, с плутоватой физиономией, большим, почти беззубым ртом и вечно злым и угрюмым видом; красный нос его красноречиво свидетельствовал, что он не менее своего господина был поклонником бога Бахуса. Он стоял на службе еще у отца Эдуарда, но далеко не жаловал сына — этого пьяницу и обжору, как, конечно, за глаза, он честил бывшего своего господина, а потому с удовольствием перешел на службу в замок Гельмст, где все дышало довольством и богатством, тогда как в замке Вальден приходилось часто класть зубы на полку вместе со своим господином, с той разницей, что последний раньше уже пристроился к хлебосолу фон Ферзен.

Обещанная богатая награда тоже соблазнила старика Гримма, но за последнее время на

него начало находить сомнение, так как он все еще не получил задатка, который посулил ему Доннершварц.

— И вправду, что же ждать от разбойника? — ворчал Гримм про себя в минуту раздумья. — Что награбит, тем и богат, а ведь часто волк платится и своей шкурой. Разве — женьитьба? Да где ему! Роберт Бернгард посмышленнее, да и по молодцеватей его, да и у него что-то не вдруг ладится... А за моего она ни за что не пойдет, даром что кротка, как овечка, а силком тащить ее из замка прямо в когти к коршуну — у меня, кажись, и руки не поднимутся на такое дело... Дьявол попутал меня взяться за него...

Этим и объяснялось смущение Гримма при случайных встречах с молодой девушкой, в которой он видел обреченную жертву его гнусных интересов, гнусных до того, что он мысленно отрекся от них, подавляя в себе даже порой соблазн корысти.

Роберт Бернгард, о котором упоминал в своих рассуждениях Гримм, был более открытый претендент на руку Эммы фон Ферзен. Красивый молодой человек, отважный, храб-

рый, с честной, откровенной душой, он был любимцем Иоганна фон Ферзена, и старик часто задумывался о возможности породниться с ним, отдав ему свое сокровище — Эмму.

«Но она еще ребенок... о чем это я думаю», — ревниво отгонял он от себя все же тяжелую для него мысль о разлуке с любимой дочерью.

Таковы были взаимные отношения обитателей замка Гельмст с их близкими соседями в то время, когда до этой твердыни дошел слух о появлении неподалеку русских дружинников.

Мы застаем Иоганна фон Ферзен и Эдуарда фон Доннершварца в длинной готической, со сводами, столовой замка за обильным завтраком, которому они оба сделали достойную честь.

— Стремянный мой Вольфганг, — говорил фон Ферзен, — прослышав, что где-то недалеко бродит шайка русских, но небольшая... Давненько их не было видно у нас...

— Ничего, мы затравим их собаками и застегаем плетьюми, — хвастливо воскликнул фон-Доннершварц.

— Это несомненно, — подтвердил хозяин, — но мне пришло на мысль не только пугнуть пришельцев, но и самим прогуляться в Пермь, или в Псков, или хоть под самый Новгород... Там будет чем поживиться... Есть слух, что он опять бунтует... Это будет кстати, там все заняты, чай, своим делом, обороняться будет некому. Не правда ли?..

Гость утвердительно кивнул головой.

— На все необходимы не только отвага, но и ум... Об этом-то я и хотел посоветоваться с тобой и еще кое с кем и послал герольдов собрать на совет всех соседей... Один из моих рейтаров попался в лапы русских и лишь хитростью спасся и пришел ползком в замок... Он говорит, что они уже близко... Надо нам тоже подготовиться к встрече. Полно нам травить, пора палить! А? Какова моя мысль! Даром, что в старом парнике созрела.

— Черт возьми, превосходная... У меня так и запрыгало сердце от радости, что наконец придется потешить копыя, — воскликнул фон Доннершварц.

— А зубы не зацелкали от страху? — усмехнулся фон Ферзен.

Гость сделал вид, что не слышал этого замечания, и продолжал:

— И мне пришла в голову мысль...

— Какая?.. Взять с собой ящик вина?

— Нет, а вот что это, верно, ваш Гритлих снюхался с бродягами русскими и подманил их... Примите-ка скорей меры, велите сейчас позвать его, я из него все выпытаю, да прикажите осмотреть замок и приготовиться к обороне.

Эдуард фон Доннершварц в глубине души ненавидел Гритлиха и всеми силами старался восстановить против него фон Ферзена.

— Нет, братец, не теперь! Гритлих еще теперь на охоте. Да и что тебе дался этот Гритлих? Даже хмель спадает с тебя, как только ты заговоришь о нем. Я давно замечаю, что ты ненавидишь сироту, и, конечно, особенно с тех пор, как он перебил у тебя славу на охоте. Помнишь белого медведя, от которого ты хотел уйти ползком!

Доннершварц вспыхнул. Этой историей его дразнили уже давно.

— Сами вы белый медведь! — крикнул он вскочив со скамьи. — На другого бы я пожало-

вался своему мечу, который сорвал бы его седую голову, но на вас... смотрите, я не всегда терпелив.

Фон Ферзен захохотал.

— А что, видно, за живое задело, господин рыцарь белого медведя... Ты, верно, и от него хотел уйти, чтобы пожаловаться своему мечу, так как вместо него у тебя на боку торчала колбаса, а через плечо висела фляга. Я, признаюсь, сам этого не видел, но мне рассказывал Бернгард...

— Бернгард!.. Вот еще кого вы выбрали в свидетели!.. Он не лучше вашего Гритлиха... Если он осмелится это сказать при мне, я тотчас же брошу ему вызывную перчатку... несмотря на то, что ваша Эммхен умильно поглядывает на него...

— Смотри, Эдуард, бросишь и не разделаешься; Роберт сам горяч...

— Хоть бы он был горячее огня... Шутки в сторону, зачем вы принимаете еще этого шелкового рыцаря, у которого все достояние снаружи, а в кармане засуха?

— Да ведь и твой карман не жирен, не хватйся, брат. Карман Бернгарда еще тем пре-

восходит твой, что отворен настежь для всех. Но чего же ты нахохлился, что тебе не по нраву? Полно, Доннершварц, я знаю, что ты любишь меня и ревнуешь старика ко всем. Не бойся, я умею это ценить. Вот тебе моя рука, я хоть и люблю Роберта, этого благородного рыцаря, но будь уверен, что и ты мне также дорог...

Доннершварц почтительно схватил руку фон Ферзена и патетически произнес:

— Вы увидите при первом случае, когда вам понадобится моя рука, кто из ваших отверженных более всех вам принесет пользы. Довольно говорить, время докажет.

— Поговорим-ка лучше о русских, — снова перебил его фон Ферзен. — Как ловко они подкараулили моего рейтара. С каким наслаждением я сделал бы из них бифштекс... Да, — продолжал он задумчиво, — их рысьи глаза никого не просматривают, теперь того и гляди наскочат они на мой замок.

— Не бойтесь, Ферзен, к нему пойдет дорога только через мой труп, но необходимо поговорить о деле.

— Да этим и кончить? Только говорить о

деле — теперь мало. Я послал отряд своих рейтаров собирать вассалов и приглашать соседей. Кто меня любит, тот, верно, придет первый.

— Это я — всегда с вами и за вами, как тень ваша... Но все же я возвращусь к Гритлиху. Его необходимо выслать из замка или же вы будете дожидаться, чтобы за нами пришли его земляки с дубинами и кистенями?

— Хорошо, хорошо... Скажи ему, когда он вернется, за меня, что знаешь, и дай ему денег на дорогу из моего...

— Я ему не дам старого гвоздя из подковы лошади... Ему за вас подарит охотно фрейлейн Эмма дорогое кольцо, да пожалуй и с пальчиком... О, черт возьми, не могу думать, что золото и ржавчину вы держите вместе.

— Ну, цыц, опять за свое! — прикрикнул на него сердито фон Ферзен.

Доннершварц замолк.

Послышался шорох легкой походки, и юная Эмма резво впорхнула в комнату. При ее появлении лицо ее отца прояснилось, брови раздвинулись и глаза засияли добрым блеском. Так солнце, вспыхнув на небе, озаря-

ет своим блеском черную пучину и ярко раззолачивает ее своими лучами.

VII

Два соперника

— Эммхен, моя милая Эммхен! — воскликнул радостно старик фон Ферзен. — Наконец-то ты навестила отца!

Он открыл ей свои широкие объятия и обнял своими могучими руками ее гибкий стан.

— Здравствуйте, папахен! — нежно сказала Эмма и сделала книксен Доннершварцу, глядевшему на нее плотоядным взглядом и расшаркавшемуся перед ней, неистово гремя шпорами.

— Посмотрите, папахен, — радостно продолжала она, садясь к нему на колени и показывая маленький костяной лук с серебряной стрелой, — это подарил мне мой братец — Гритлих, чтобы стрелять птичек, которые оклевают мою любимую вишню. Он учил меня, как действовать им, но мне жаль убивать их. Они так мило щебечут и трепещут крылышками и у них такие маленькие носики, что едва ли они могут много склевать... Пусть их тешатся, и им ведь хочется есть, бед-

НЯЖКАМ...

— О, моя прелесть, — заметил отец, любуясь дочерью и трепля ее по розовой щечке.

— Да что это, милый папахен, нас совсем забыл молодой Бернгард? Он обещал мне привезти бусы.

Фон Ферзен обернулся к Доннершварцу, с открытым ртом не отрываясь смотревшему на молодую девушку и насупившемуся при имени Бернгарда.

— Ты что замолк? Куда девалась твоя храбрость? Или струсил девочки? Глядит на нее, как собака на дичь?

Старик раскатисто захохотал.

Доннершварц очнулся от немого созерцания.

— А я хочу подарить фрейлейн Эмме ожерелье из львиных зубов — большая редкость в нашей стороне. А стрел таких и луков я не имею. Есть у меня лук...

Он не успел кончить своей речи, как на дворе послышался конский топот.

Фон Ферзен ссадил Эмму с коленей и скорыми шагами подошел к окну.

— Мелькнуло чье-то белое перо, — сказал

он. — Но что это значит? Ни трубач, ни кто другой не дает знать о прибывшем. Верно, кто-нибудь из наших.

— Белое перо? Ах, папахен, это мой любимый цвет! Верно, это...

Ее голубые глазки заискрились, как незабудки.

Статный рыцарь, с длинными белыми перьями на шлеме, в щегольском того времени вооружении, быстро вошел в комнату и не дал договорить Эмме свое имя.

Его гладко отполированные латы сверкали под шелковой белой перевязью, охватывающей его стан, лосиные до локтей с раструбами перчатки и коротенький меч в хитрочеканенных и позолоченных ножнах придавали ему вид щеголя.

Он почтительно раскланялся с фон Ферзенном и приветливо с фон Доннершварцем и, видимо, с особенным чувством с Эммой, затем поднял забрало своего шлема, ловко снял его, и черные кудри рассыпались по его плечам.

— Узнали, узнали! Роберт! А мы тебя ожидали и недавно еще говорили о тебе, — сказал

фон Ферзен, протягивая ему руку.

— Мне остается только благодарить вас.

— И я говорила о вас, Роберт, — вставила свое слово молодая девушка. — Я удивлялась, что вы совсем забыли нас. Неужели вам приятнее гоняться по лесами за страшными дикими зверями?

— Чем за девчонками, — захохотал фон Ферзен и сильно закашлялся. Накажи его, Эммхен, за эту забывчивость в пример другим.

— О, сейчас! — воскликнула она, выпорхнула из комнаты и через минуту возвратилась, держа в руках белую ленту.

— Вашу руку, Роберт! — с напускной серьезностью, но с ангельской улыбкой, сказала она.

— Хоть жизнь, — отвечал рыцарь, протягивая ей руку, — но, помните, что только одна ваша безопасность, которую я оберегаю как свою честь, вынудила меня — не забыть вас, о, нет, а лишь не видеть несколько дней, и этим я сам жестоко наказал себя, так что наказание ваше, какое бы ни было, будет для меня наградой.

— Хорошо, хорошо, что там ни говорите, как ни извиняйтесь, а я свое дело сделаю, — продолжала Эмма, привязывая его за руку к своему столу.

— Браво, браво, Эммхен! Да покрепче, несмотря на то, что он так кудряво рассыпается. Нет, господа рыцари, вам уже нынче де-вушки не верят ни на золотник.

Эмма с неподдельным старанием крепко привязывала своего пленника, смотревшего на нее глазами, полными любви и восторга.

— Лентой, фрейлейн Эмма, а как привязали вы меня к себе. Теперь прошу у вас одной милости за раскаяние — не отвязывайте меня.

— И стерегите сами неотступно своего пленника... Не так ли? — спросил со смехом фон Ферзен. — О, я знаю, — продолжал он, — пленник тогда не только не уйдет, но и не тронется с места, как пригвожденный.

Фон Доннершварц, ревнивым взглядом созерцал всю эту сцену, наконец, не вытерпел:

— Нет, черт возьми! Вы все не правы. Ну, что это за наказание? Оно придает ему лишь желание еще раз провиниться, а по-моему —

отослать его к конюху и познакомить его с кнутом, а потом посмотреть: будет ли он таким приверженцем вашего дома, как говорит. Поверьте, это лучшая проба.

Выпалив эту тираду, Доннершварц глупо и самодовольно улыбнулся.

Бернгард вспыхнул, но, подавив гнев свой, с презрением взглянул на него.

— Кнут конюха пришелся бы как раз по вашей широкой спине, рыцарь! Вы, вероятно, метили в себя и лишь ошибкой попали в другого.

— Я никогда не промахиваюсь и называюсь рыцарем гораздо прежде, чем вы, а потому, кто в этом сомневается, я могу доказать на деле.

— На бойне молотом, а не в кругу благородных рыцарей.

— Черт возьми, смотри, чтобы меч мой не вырвал с корнем дерзкий язык твой...

— Прежде я заклею тебе на лбу или на крючковатом носу твоем имя подлеца и разбойника, чтобы рука искренних рыцарей не осквернилась твоей кровью...

Доннершварц задрожал от злобы и бросил

железную вызывную перчатку к ногам Роберта.

Эмма задрожала от страха и побледнела.

— Вы перешли границы, — вступился фон Ферзен. — Хотя я и сам люблю, кто меняет жизнь на честь, но властью хозяина попрошу вас теперь прекратить эту сцену... Видит Бог, это в наше время не бывало...

— Хорошо, я еще увижусь с ним и мы расквитаемся! — проворчал Доннершварц, сверкая глазами.

— Простите меня, фон Ферзен, и вы, фрейлейн Эмма, — начал Бернгард. Я так разгорячился, но, поверьте, драться бы не стал, иначе я рискнул бы получить вызов от всех благородных рыцарей за унижение нашего ордена ломать копья с каким-нибудь мясником! Если он хочет, мой оруженосец накажет его вместо меня.

— Разведите нас... я не оглох, чтобы... чтобы, — повторил Доннершварц и вдруг громко чихнул и замолк.

Эмма, между тем, по знаку отца, освободила Бернгарда и, все еще не оправившись от испуга, печально отошла к окну.

Роберт был смущен: любовь, ненависть, презрение попеременно волновали его душу. Он молча стал ходить по комнате, как бы собираясь с мыслями. Фон Доннершварц исподлобья поглядывал то на него, то на Эмму.

Ферзен что-то чертил мелом по столу.

Наступило общее молчание.

Его прервал хозяин.

— Что, любезный Роберт, нет ли чего нового?.. Знаешь ли ты цель моего вызова рыцарей?

— Я узнал ее от вашего герольда... и поспешил.

— Благодарю... Да, русским духом запахло... Знать, у меня, старика, злейшие и искреннейшие враги мои хотят вырвать последнюю искру жизни.

— Зачем печальные мысли? Мы защита вашему замку, только послушайте любви нашей, остерегайтесь... Расставьте всех рейтаров в окружных лесах и на дорогах и приготовьте отпор. Мои вассалы теперь уже галопом несутся сюда.

— Черт возьми, — прервал его Доннершварц, — не дожидаться ли нам, пока замок

займут толпы бродяг. Кто боится измять свои латы и истоптать серебряные подковы у лошади, того мы защитим встречей нашей с незваными гостями, но добычей не поделимся с ним. Так мы условились с фон Ферзенем и, черт возьми, кто помышляет нам своими ребяческими советами исполнить прямое рыцарское дело!

— Где тебе думать о прямизне, когда ты все качаешься! Не на словах показывают себя, господин бутылный рыцарь, а на деле с оружием, а оно у тебя все заржавело, — заметил Бернгард.

Доннершварц только что хотел ответить, как вдруг Эмма, стоявшая у окна, дико вскрикнула.

Все бросились к ней и стали расспрашивать ее о причине испуга.

Эмма не могла ответить, только показывала в окошко.

Все взглянули по этому направлению и увидели статного юношу, которого несла по двору бешеная лошадь. Он сидел прямо и, казалось, спокойно, натянув на руки повод того, как струны, и крепко обхватив бока сильного

животного ногами. Несмотря на это, лошадь, закусив удила, то расстилалась под ним на бегу, то вдруг останавливалась или сворачивала в сторону, или вихрем взвивалась на дыбы, стараясь сбросить с себя всадника.

Но последний был как будто бы слит с ней из одного вещества и, взмахивая сильной рукой, поминутно стегал ее по голове нагайкой.

— Это мой Гритлих объезжает дикую лошадь, которую мне прислали недавно из Нотебурга[57]. Четыре сильных конюха насилу довели ее, а он один управляет с нею. Bravo!.. Bravo...

Фон Ферзен глядел в окно и хлопал в ладоши.

— Черт возьми! Удадь же управляться с лошадьми, — проворчал Доннершварц.

— Молодец, точно привинчен к седлу, — с неподдельным восторгом воскликнул Бернгард. — Точно, рыцарь! Он достоин им быть.

Он впился глазами во всадника и следил за каждым его движением.

Эмма, между тем, схватила за руки отца своего и еще громче вскрикнула, когда лошадь, вытянув шею, взвилась на дыбы и чуть

не опрокинулась назад вместе с всадником.

Молодая девушка, видимо, не могла выносить далее этого зрелища и, быстро отскочив от окна, стремглав бросилась из комнаты.

Мужчины в недоумении переглянулись между собой.

VIII Гритлих

Гритлих, между тем, оправясь от стремительного прыжка лошади, закричал Гримму, чтобы он отпер поскорей задние ворота, и когда последний боязливо, но с коварной улыбкой исполнил его желание, он собрал все свои силы, направил лошадь прямо в ворота, выскочил в поле и вмиг исчез из виду, как дым, разнесенный порывом ветра.

Доннершварц наклонился к Ферзену.

— Видите ли вы, что Гритлих не ваш пленник, а вашей дочери? Видите ли, что я прав, — чтобы его разнесла лошадь по кускам, — а вы нет, потакая бродягам?

— Да отстань, знаю, вижу... и сегодня все решу! — отвечал вслух фон Ферзен.

Эмма вбежала опять. Ее кудри были беспорядочно разбросаны по бледному лицу.

— Папахен! Она умчала его, — воскликнула она, бросаясь на шею отца, а кругом замка ров с водой, мост не поднят. Бедный Гритлих!

Она зарыдала.

— Что ты, что ты, резвая моя козочка? Успокойся — увещевал ее отец.

Но Эмма только дико взглянула на него, как бы к чему-то прислушиваясь.

В это время загремели перекладыны подъемного моста, она встрепенулась и с силой рванулась из рук отца, несмотря на то, что он так сжал ее руку, что помял на ней золотую браслетку, и выскочила из комнаты.

— Послать за ним, за ней!.. Побежим на подзорную башню взглянуть с нее на удальца, — заговорили присутствующие...

Вошедший герольд остановил их намерение.

— А, Штейн! — воскликнул фон Ферзен. — Ну, что скажешь?

— Русские продвигаются все ближе и ближе, благородный господин. Они теперь находятся только на день езды отсюда. Их провожает дым пожариц.

— Как, неужели никто из наших соседей

не дал им еще достодожного отпора. Где же они рыскают или спят, непробудные винные исчадия? — быстро и гневно спросил Бернгард.

— Я видел их, благородный рыцарь, на перелет стрелы от нашего замка. Они сели завтракать. Их много и они вооружены крепко.

— Что же медлят они? — закричал фон Ферзен, топнув ногой. — Русские жгут земли наши, а они пьют.

— Как и мы! — вставил Доннершварц, глупо ухмыляясь.

Бернгард пожал плечами.

— Нет, видит Бог, этого в наше время не бывало! Вот распоряжения нынешнего гроссмейстера! Вот храбрость нынешних рыцарей! Свидетель Бог, не так было в наше время, — продолжал фон Ферзен.

— Не всех обижайте!.. Мой меч свернет такие головы, — заговорил было Доннершварц.

— Всем бутылкам моим, — отвечал фон Ферзен. — Что же ты ожидаешь и не едешь отыскивать наших шатунов? Или боишься встречи русских и их угощенья?

Доннершварц тупо глядел на него и не на-

ходил ответа, а Бернгард заметил оскорбленным тоном:

— Фон Ферзен! Тому порукой ничем не запятнанная честь моя: мы не выдадим вас врагам... Если вы сомневаетесь, да судит вас совесть ваша.

— Да, да, смейтесь... сколько хотите, — заговорил Доннершварц, пусть я пролью за вас не кровь, а вино, но... но...

Он не сумел договорить.

— Простите меня, — сказал старик, — я по горячности вас обидел...

В комнату снова вбежала Эмма и радостно воскликнула:

— Едет, едет!.. Мой Гритлих цел и невредим... Он справился с лошадей... посмотрите.

Она указала в окно на лошадь, покрытую пеной и возвращающуюся домой с повисшими ушами.

Фон Ферзен прервал свою дочь:

— Вот кстати. Вот кто загладит обиду мою! — заговорил он, указывая на дочь. — Рыцари, дети благородной стали! Вот вам награда. Кто более скосит русских голов с их богатырских плеч, тот наследует титул мой, зам-

ки и все владения мои и получит Эмму.

— О, для таких наград я не пожалею руки моей! — воскликнул Доннершварц.

— Последнее обещание, — заметил Бернгард, — лучший перл из всех сокровищ ваших... Я не хвалюсь, но для нее умру хоть тысячу раз несчастными смертями.

Он нежно взглянул на Эмму.

Ее щеки то покрывались ярким румянцем при взгляде на красивого Бернгарда, то смертельной бледностью, когда взор ее падал на неуклюжего Доннершварца. Она робко прижалась к отцу, и сердце ее билось, как птичка, попавшая в силок.

Наконец она выбрала минуту и быстро вышла из комнаты.

— Итак, господа, мое слово свято, зарабатывайте обещанную награду!

— Она будет моей! — прорычал Доннершварц.

Бернгард не успел выразить в свою очередь надежду, как в комнату быстро вошел Гритлих в венгерском коротком костюме, обшитом шнурами. На ногах его были зеленые сафьяновые полусапожки с красными отвороч-

тами и серебряными нашивками, на боку молчался охотничий ножик, на черенке которого была золотая насечка, в одной руке его была короткая нагайка, а в другой шапка с куньей оторочкой и мерлушьим исподом.

Он учтиво поклонился гостям и особенно почтительно фон Ферзену.

— Браво, Гритлих, — воскликнул фон Ферзен, — мы видели твою удаль. Ты достоин того, чтобы тебе носить шпоры...

Доннершварц не дал фон Ферзену договорить, оттащил его в сторону и стал что-то нашептывать.

Бернгард дружески пожал руку Гритлиху и стал восхвалять его искусство, на что тот вежливо откланивался.

Вдруг фон Ферзен жестом руки подозвал к себе юношу, пристально взглянул на него, погладил свою бороду и с усилием сказал:

— Гритлих, скоро у нас будет резня с земляками твоими.

— Очень сожалею, благородный господин мой, что соседи не живут мирно между собой, — отвечал он выразительно.

Фон Ферзен замолчал, видимо, не находя

слов, но Доннершварц продолжал за него:

— Ты русский, следовательно, должен убраться отсюда.

Гритлих с презрением взглянул на него, но не ответил ни слова.

— Слышишь ли ты, — продолжал Доннершварц, — господин твой приказывает тебе поскорее убраться из замка, пока рыцари не выбросили тебя из окна на копья.

— Как, разве вы нанялись говорить за него?.. В таком случае я останусь глух и подожду, что скажет мне благородный господин мой, твердым, ровным голосом отвечал Гритлих.

— К несчастью, это правда, — с дрожью в голосе произнес фон Ферзен, я люблю тебя, Гритлих, и ни за что бы не расстался с тобой, но все рыцари, защитники и союзники мои, требуют этого... Я отпускаю тебя.

Несчастный юноша низко опустил голову и стоял, как пораженный громом.

Все молчали.

— Неужели ты так не любишь своей родины, что возвращение печалит тебя? — спросил после некоторой паузы фон Ферзен.

— Родины! — с жаром воскликнул юноша. — Хотя я мало знаю ее и воспитан вами, но отдам за нее всю кровь мою. Я сильно привык к Ливонии и забыл мою родину, и за это Бог карает преступника.

Он остановился, но через минуту начал снова сквозь слезы:

— Нет, я прав, она отвергла меня: родители мои убиты палачами, которых я должен называть своими земляками, мы с ней квиты. Теперь для меня все равно, смерть для всех стелет одинаковую постель, хотя и в разной земле.

Он бросился в ноги фон Ферзену, обнял его колена, и стал умолять его не отпускать от себя.

Старик совершенно смутился, поднял юношу и не знал, что сказать.

Бернгард подошел к ним:

— Фон Ферзен! Я беру его к себе. Где же сироте безродному скитаться теперь по обнаженным полям нашим? Пойдем, Гритлих, не унижайся, ты не того стоишь.

— Стой, стой, одно условие! — прервал его фон Ферзен, обращаясь к Гритлиху. — Остань-

ся с нами. Я разрешаю тебе это, поклянись клятвой рыцаря, что исполнишь наше желание. Поклянись на мече...

Старик обнажил меч и протянул его лезвием к юноше.

Гритлих положил руку свою на обнаженный меч и приготовился повторить слова требуемой от него клятвы.

— Клянись же, что ты отрекаешься от русского имени и будешь воевать с нами под нашими знаменами, которые разовьют над нами поголовную смерть, начал торжественно старый рыцарь.

Пораженный Гритлих горько улыбнулся и снял свою руку с меча. Затем, гордо покачав головой, тряхнул своими кудрями и, не ответив ничего, пошел твердыми шагами из комнаты.

Вдруг он остановился и обернулся.

Фон Ферзен догадался, для чего, и открыл ему свои объятия.

Безутешный юноша бросился в них с роковыми словами:

— Простите! Это уж слишком, благородный господин! — говорил он со слезами в го-

лосе. — Я не могу совсем переродиться в ливонца. Русь мне родная — я сын ее, и будь проклят тот небом и землей, кто решится изменить ей. Небесное же проклятие не смоешь ни слезами, ни кровью...

— Милое дитя мое, Гритлих! Видит Бог, я не забуду тебя. После возвратись опять ко мне! — растроганным голосом заговорил фон Ферзен и опустил в руку юноши кошелек, полный золотом.

Почувствовав эту подачку, Гритлих быстро отошел от старика, вытряхнул из кошелька золото, а сам кошелек положил за пазуху и быстро направился к двери, но здесь встретил его Доннершварц и загородил путь.

— Остановись! Дай обещание, что ты не наведешь на нас русских, не укажешь им ближней дороги к замку, или я сделаю так, что ты не ногами, а кувыркком дойдешь до них.

— Этого еще недоставало, оскорблять меня таким гнусным, низким подозрением! — воскликнул юноша, и не успели Бернгард и фон Ферзен кинуться к нему на помощь, как он ловким движением выбил щит у Доннер-

шварца и схватил его за наличник шлема, перевернул последний на затылок, а затем быстро вышел из комнаты.

Меч, брошенный наугад ослепленным Доннершварцем, не попал в ловкого юношу, а впился в стену и задрожал.

IX Свидание

В роскошном, но запущенном парке фон Ферзена, опершись на дорожный суковатый посох, стоял Гритлих.

Поздний вечер уже спускался на землю, и яркие краски багрово закатывающегося на запад солнца гасли мало-помалу. На небе медленно выплывал месяц, ныряя в облаках.

Юноша продолжал стоять неподвижно на одном месте и даже не замечал, как вокруг него все более и более сгущался ночной сумрак, как шумели в пустынном парке пожелтевшие листья деревьев, колеблемые резким осенним ветром.

Он не отводил взгляда своего от замка, навеки прощаясь с этой второй своей родиной.

Почти все окна замка горели огнями, из-за них слышался какой-то гул, звон посуды и го-

вор. Фон Ферзен встречал все новых и новых гостей, рыцарей — своих союзников. Печальный юноша поднял взор свой к одному из верхних окон, задернутых двумя сборчатыми полами занавесок, за которыми, как ему казалось, промелькнула знакомая фигура.

На дворе замка раздался заунывный колокол. Это был сигнал, поданный привратнику, что настало время запирать ворота и опустить подъемный мост. Цепи его загрохотали, на шпице башни заблестел фонарь и все умолкло, только откуда-то раздавался вой собак да ржали рыцарские кони, продрогшие от холода, на привязи у столбов.

— Пора! — сказал самому себе Гритлих, но вдруг стал внимательно прислушиваться.

Мимо забора, за которым он стоял, кто-то как будто крался, один навстречу другому. Скоро он различил и узнал их голоса.

— Черт возьми! — заговорил один из кравшихся, фон Доннершварц, — как темно и жутко бродить по здешним ущельям. Ты ли это, Гримм? Ну, кривой сыч, говори скорей, что нового?

— Тс! Тише, — отвечал голос Гримма, — не

шумите по двум причинам: во-первых, нас могут подслушать, а во-вторых, вы можете разбудить того удавленника, который завален вон тем камнем у красного колодца. Видите, там что-то белеется. А дело наше приходит к концу. К вечеру, послезавтра, приготовьте рейтаров ваших у западной башни, а до того расположите их в Черной лощине.

— Черт возьми! Уж я это слышал. Что же дальше?

— Поперхнись ты сам нечистым, — проворчал Гримм, — я вытащу фрейлейн Эмму, — продолжал он громче, — по лестнице, которую приставлю к ее окошку, завяжу ей рот и передам вам с рук на руки.

— Прекрасно! — захохотал фон Доннершварц. — То-то я насмеюсь над глупым стариком, жеманной его дочерью и над этим жиденьким хвастуном Бернгардом.

— Ради Бога, тише, благородный рыцарь! Я сам, признаюсь вам, ненавижу их всех от души, с тех пор, как отставной наш гроссмейстер обошел меня и сделал кастеляном замка мальчишку Штейна, своего стремянного, но, право, боюсь, подслушают нас и вздернут нас

с вами на первую осину, обновив чьи-нибудь кушаки на наших шеях, — проговорил Гримм, робко озираясь.

— Как? Меня? Рыцаря, носящего шпоры и меч, повесят на веревке, как бадью на лист, и оставят болтаться ногами и головой между землей и небом?! Что ты! Образумься, старый Гримм.

— С тех пор, как вы захлебнулись было шлемом своим от рук Гритлиха, наш-то смотрит на вас не совсем милостиво и доверчиво.

— Черт возьми! Напомнил еще ты об нем, — закричал Доннершварц во все горло. — Если бы он не ускользнул, я бы вышиб из него душонку...

Зная, чем остановить своего бывшего хозяина, Гримм вдруг притворился испуганным, всплеснул руками и шепотом произнес:

— Посмотрите, камень шевелится, я как будто вижу посинелое лицо мертвеца и закатившиеся полуоткрытые глаза его! Прощайте. По чести скажу вам: мне не хочется попасть в его костяные объятия, а в особенности он не любит рыцарей. Помните условие, а за Гритлихом послал я смерть неминуемую; его под-

стерегут на дороге, лозунг наш «Форвертс!» [58].

Гримм на цыпочках и ощупью стал пробираться домой.

Перепуганный насмерть Доннершварц пустился бежать во всю рыцарскую прыть. Скоро мрак скрыл их обоих от глаз Гритлиха. С другой же стороны замка послышался новый шорох.

Юноша стоял в изумлении, как вкопанный.

Он давно замечал тайную связь между коварным Гриммом и самохвалом Доннершварцем, но зная, что первый был прежде в услужении у второго, не обращал на это внимания. Теперь же счастливый случай помог ему открыть их адские замыслы относительно его и Эммы. Гритлих невольно опустился на колени и, подняв руки и очи к невидимому, но вездесущему Существо, стал горячо молиться. Это была молитва без слов от полноты охвативших его чувств.

Чистый фимиам души доступен слуху Всевышнего.

Молитва облегчила несчастного юношу, с

души его скатилась будто тяжелая глыба...

Вдруг перед ним, как из земли, выросла белая фигура.

— Моя Эммхен, сестрица моя дорогая! — с рыданием воскликнул Гритлих.

Уста их слились в долгом поцелуе.

— Что стало с тобою?.. Ты так печален, как будто недоброе таишь в сердце? — спросила, наконец, Эмма, играя его кудрями.

— Ты сама не весела, — отвечал он, — верно зловещее предчувствие томит и твою грудь.

— Напротив, смотри, я смеюсь. Право, мне так хорошо теперь.

— А сама плачешь? Я ведь это чувствую: слезы твои на щеках моих.

— Зато на душе у меня так легко! С тобой и горевать весело. Ну, поверь же мне, в глазах моих плачет радость... Это наслаждение! Ты зачем мне назначил быть здесь?..

— Скажи мне прежде, чему ты радуешься?

— Тому, что ты любишь меня! А знаешь что, милый Гритлих, отец мой отдаст меня тому рыцарю, который отличится в битве с русскими. Бернгард уверял меня, что я буду его.

Как я рада! Он такой милый, добрый.

Гритлих побледнел. Он насилу выговорил дрожащим голосом:

— Как, ты радуешься тому, что будет стоить мне жизни?

— Почему же? Разве... Да... ты русский, я и забыла это. Бесценный мой Гритлих, за что ты любишь отечество больше нас. Ужели ты хочешь сражаться с противниками нашими и убить батюшку и Бернгарда?

— Бернгарда?.. О! Я забыл: ты не любишь меня, Эмма. Прощай же! Теперь я вижу, что я круглый сирота, для всех чужой на белом свете!

— Что ты, Гритлих, да тебя я не променяю ни на что на свете... И ты говоришь, что я не люблю тебя! Что сделалось с тобой? Разве Бернгард помешает нам любить друг друга по-прежнему? Если это случится, я отвергну его...

Так рассуждала чистая невинность.

— Как же ты любишь меня? — спросил Гритлих, жадно прислушиваясь к звуку ее речей.

— Да как, право, и сказать не умею. Вот от-

дала бы за тебя все, что имею. Мне так всегда привольно с тобой: не наговорюсь, не насмотрюсь на тебя; все бы любовалась я тобой, гладила бы кудри твои, нежила бы голову твою на груди моей. О! Не умирай, Гритлих!.. Мне будет скучно без тебя, я не перенесу этого... Я люблю тебя ненасытно, как родного моего, как брата, как...

— Только-то! — дико вскрикнул он, услышав последние слова...

Эмма вздрогнула, в ужасе отступила от него и замолчала.

Юноша, преодолев свое волнение, твердо произнес:

— Эмма, будь счастлива с Бернгардом, он стоит тебя, а обо мне забудь совершенно. Остерегайся разбойника Доннершварца и злого Гримма: они покушаются на тебя...

Он не договорил и опрометью бросился бежать от нее к калитке, выдернул засов и исчез из сада.

Эмма несколько мгновений, ошеломленная, стояла на месте и вдруг, как сноп упала на траву.

Угрюмый и печальный сидел старик фон

Ферзен в комнате Эммы, около постели своей любимой дочери.

Ее нашли без чувств в парке замка, принесли и уложили на кровать.

Около нее хлопотала старая Гертруда — ее бывшая кормилица и затем нянька. Девушка лежала нема и недвижима, правая рука ее свесилась с кровати: в ней судорожно был зажат какой-то предмет.

Гертруда прыскала на нее свежей водой.

Эмма шевельнулась, рука разжалась и что-то упало на пол.

В эту минуту в комнату вбежал Бернгард. Его черные волосы были в беспорядке и еще более оттеняли мертвенную бледность его лица. Он упал на колени перед постелью любимой девушки и неотводно устремил на нее свой взгляд.

— Гритлих, Гритлих! Ты не понял меня, — прошептала Эмма слабым голосом и, как бы очнувшись, привстала немного, обвела глазами комнату, затем горько улыбнулась оттолкнула протянутую руку Бернгарда и снова упала на подушки.

Фон Ферзен поднял упавший из руки его

дочери предмет. Это оказалась серебряная раковина. Он открыл ее и нашел русский локон — несомненно локон Гритлиха.

Бернгард взглянул и вздрогнул.

Завеса спала с глаз его, золотые сны любви рассеялись как дым, и в этом ужасном пробуждении они оба с Ферзенем поняли, кому отдано сердце Эммы.

— Где он?.. Отдайте мне его, — продолжала бредить больная. — Душно, тяжело, темно без него!.. Где я? Далеко ли он?.. Увижу ли я его?.. Что это налегло на сердце... Знать, все конечно!

С жгучею, невыразимою сердечною болью прислушивался Бернгард к этому роковому бреду молодой девушки.

Наконец он заговорил:

— Клянусь любовью моей к тебе, Эмма, я догоню его и приведу к тебе, или истрачу жизнь свою по капле подле тебя, за тебя...

Последние слова он договорил уже за дверью.

Эмма как бы пришла в себя от его слов... Она взглянула на него так нежно, так выразительно, как бы благословляя его своим взо-

ром, и этот взор пролил в его душу еще более отваги и непоколебимости в принятом им решении.

По его уходу Эмма снова закрыла глаза.

— Раздену я ее, благородный господин мой, да спать уложу, к утру все как рукой снимет, опять пташкой по замку заливаться будет, — сказала Гертруда опечаленному, сидевшему с поникшей головой, фон Ферзену.

Он посмотрел в последний раз на свою дочь, встал и медленно вышел из комнаты к гостям, которые продолжали пировать в готической столовой замка Гельмст, заранее торжествуя победу над русскими бродягами.

Не рано ли?

Х

В московской думной палате

В то время, когда в замке Гельмст рыцари Ордена меченосцев с часу на час ждали набегов новгородских дружинников; в то время, когда в самом Новгороде, как мы уже знаем, происходили смуты и междоусобия по поводу полученного от московского князя неожиданного запроса, а благоразумные мужи Великого Новгорода с трепетом за будущее своей от-

чизны ждали результата отправленного к великому князю ответа, посмотрим, что делалось тогда в самой Москве.

Было 30-е сентября 1477 года.

Роковая запись новгородская была получена накануне, и великий князь повелел для выслушания ее собраться всем ближним своим боярам в думную палату для окончательного разрешения дела относительно вольной отчины своей — Великого Новгорода.

К назначенному по обычаю того времени раннему часу думная палата великокняжеская была полна. Сам великий князь восседал на стуле из слоновой кости с резною спинкою, покрытой бархатною полостью малинового цвета с золотой бахромою.

Высокие рынды в белых одеждах стояли чинно по обе его стороны. На правую руку от великого князя стояла скамья, на которой лежала его шапка, а по левой другая с посохом и крестом.

Невдалеке сидел митрополит Геронтий, окруженный высшими духовными чинами, а затем уже на лавках, устланных суконными подушками, заседали бояре и князья.

Подьячий Родион Богомоллов с пером за ухом стоял, вытянувшись в струнку, на конце делового стола и держал под мышкой длинный столбец бумаги.

Копейщики и дети боярские с заряженными пищалями стояли на страже у дверей.

Когда известная уже читателям запись была прочтена, лицо великого князя сделалось сумрачно, бояре и князья стали переглядываться между собою, поглаживать свои бороды, приготовляясь говорить, но, видимо, никто первый не решался нарушить торжественную тишину.

Иоанн Васильевич обвел глазами собрание, остановив на несколько мгновений свой взгляд на Назарии, сидевшем с опущенной долу головой, и на митрополита, погруженно в глубокие, видимо, тяжелые думы.

— Владыко святой, — начал он, — и вы все, верные сыны, опора отчизны нашей, не сердобольно ли слушать нам, как отвечают единокровные нам смельчаки новгородские. Они торжественно и бесстыдно запираются в данном мне от них имени государя, они, строптивные, казнят позорною смертью вер-

ных людей законному государю своему, прямо намекают о намерении поддаться Литве иноплеменной и явно выставляют меня лжецом. Как грибы растут они перед стенами вражескими, мечи их хозяйничают на чужбине, как в своих кисах, а самих хозяев посылают хлебать сырую уху на самое дно. Кто их не знает, того тело свербит, как ваши же языки, на острие.

— Смотри, пожалуйста, как эти чернильные дрожжи раздулись! Отодвинься, князь Данила, а то они лопнут, так забрызгают! — сказал Сабуров.

— Долго ли до греха, — отвечал князь Данила Холмский, — он и сам-то не просох еще с давешней попойки. Разве попробовать выжать его, начать хоть с головы, а от нее уже и до ног не далеко.

Кругом раздался общий хохот.

— А земляк-то его прикусил язык.

— Видно, слова наши прямо в цель попали, — заметил Ряполовский.

Терпение Назария истоцилось, глаза его разгорелись, руки невольно сжали рукоятку меча, он вскочил с места и произнес дрожа-

щим от гнева голосом:

— Кто хочет слышать ответ мой, тот может принять его с конца копья...

Великий князь, разговаривавший все время с митрополитом, повернулся в сторону споривших и повелительно произнес, указав на Назария:

— Правда, он горожанин без отечества, но и вы люди без души, если ставите ему в укор любовь к родине. Теперь он москвитянин, стольный град наш — кровь его, рука моя — щит, а самая заступа его — честь его; кто хочет на него, пойдет через меня.

Бояре разом умолкли.

«Забылись мы! — подумал каждый про себя. — Вот что значит свое и чужое!»

XI

Увещательная грамота

— **П**иши! — обратился великий князь к подьячему Богомолу.

Тот быстро развернул столбец бумаги, обмакнул перо в медную чернильницу и стал выводить им крючковатые старинные буквы, под диктовку самого Иоанна:

«Люди новгородские! Рюрик, святой Влади-

мир и другие предки мои, память им вечная, повелевали вами, как подвластными себе во всю волю свою и вы не смели ослушаться их. Вы служили им верно и честно, и вся эта честь принадлежит вашим предкам; теперь я наследую право сие, жалую вас, ограждаю силою моею, но могу ею зло казнить дерзких ослушников. Когда вы были ведомы Литвою и платили ей поголовную дань свою, я не бременил вас своею такою же, но только требовал законной доли своей, установленной веками, дедами и отцами нашими; вы же замышляли и прежде и теперь сделаться отступниками от нее, стало быть и от меня, и хотите опять предаться Литве, несмотря на завещание предков: блюсти повиновение законное старшему удельному князю Русскому. Князь Божий над вами. Вы побили торговою казнию честных горожан, преданных мне, и, что всего позорнее, оболгали меня перед всею Русью, яко бы не называли меня Государем своим. За все сие я посылаю вам складную грамоту и вслед за ней иду со всем воинством моим, наказать вас, строптивых ослушников. Но я как чадолюбивый отец готов еще поми-

ловать вас, детей своих, если вы одумаетесь и, преклонив повинные головы, испросите у меня отпущение за все вины свои, подтвердите прежние слова свои и согласитесь на все условия, извещенные вам под стенами Новгорода Великого — там повидаемся мы!»

Митрополит собственной рукою сделал приписку на этом же столбце:

«С соболезованием душевным слышу о мятеже и расколе вашем. Бедственно и единому человеку уклониться от пути правого, но еще гибельнее вдаваться в него целому народу. Вам самим ведомо «не суть боги их яко наш Бог!» Трепещите заблудшие, страшный серп Божий, виденный пророком Захарием, да не снидет на главу сынов ослушных; вспомните реченное в Святом Писании: «беги греха, яко ратника, беги от прелести, яко лица змеина». Сия прелесть есть латинская: она уловляет вас опять легковерных. Разве пример Византии не доказал гибельного действия увещания ее? Греки славились благочестием, соединились с Римом и служат ныне туркам нечестивым. Опомнитесь же, вразумитесь силою бодрости душевной и вос-

пряньте от нечестия, омрачающего вас! Доселе вы были сохранными, целы, под прочною рукою Иоанна, но когда отвергаетесь от него и погибнете. Страшно подумать, как дерзнули вы злоязычничать на законного повелителя вашего и отступать от собственных словес и письмен, начертанных руками вашими с полюбовного согласия всего Новгорода и владыки вашего Феофила!».

«Троекратно увещаваю вас, не забывайте слов Апостола: «Бога бойтесь, а князя чтите». Состояние града вашего ныне уподобляется древнему Иерусалиму, когда Бог готовился предать его в руки Титовы. Смиритесь же, да прозрят очи души вашей, от слепоты своей — и Бог мира да будет над вами непрестанно, отныне и до века. Аминь».

Отданная на обсуждение бояр грамота и отпись к новгородцам получили всеобщее единогласное одобрение; сам Назарий согласился, что поступить иначе с ними нельзя.

— Защита новгородцев — это паутинное ткание! — сказал Федор Давыдович. — Я сам видел, как тцатся они о войне: пьют, да бьют — вот и все, что можно об них сказать.

— Тем лучше! Как мы нагреем на них, так поневоле придут к нам челом бить, как на страшное судилище, — ответил Холмский.

— Я со своей стороны давно подумывал, что пора подчинить их самосудную власть одному князю. Насмотрелся я вдоволь на их посадников. Это не блюстители правосудия, а торгаши властью и совестью; правота там продается, как залежалый товар, — заметил снова Федор Давыдович.

— Грустно об этом слышать, не только видеть подобное зло! — промолвил Стрига-Оболенский.

— И зло и язву! Этими недугами болят уже псковитяне: и к ним она прикоснулась, — произнес Ряполовский.

— Да, да, они во всем передразнивают новгородцев, — согласился Сабуров.

— Да как же! В случае задирки кого-нибудь, Новгород им подмога, а в случае утяги с битвы, он для них всегда был теплою пазушкой, — сказал князь Холмский.

— Не добрые вести расскажу вам и про Тверь, — начал боярин Ощера, недавно вошедший в Думную палату, — и в ней посели-

лась литовщина. Тверь лишь тем рознится от Новгорода, что тот бушует вслух, а эта втихомолку, про себя. Я давно примечаю тверских шатунов в Москве и давно бы пора захлестнуть их за шею, да нельзя еще явно повыхватывать из народа. Вот как мы гульнем к ним на перепутье, повысмотрим, да повыглядим их движения, да усмирим новгородцев и заметим по дороге притаившихся молодцов, чтобы так одним камнем наповал обоих!

— Уж где литовщина, там и бесовщина! — заметил Назарий.

Бояре в присутствии великого князя всегда говорили между собою не громко, но чуткое ухо его не пропускало мимо ушей их слова, несмотря на то, что он порой занимался другим делом. По его наказу Ощера переряжался в разные платья и шнырял между народом, причем его обязанностью было не говорить, а только слушать, держась его же заповеди: не выпускать, а принимать.

Дела и даже самые мысли князя Михаила были нанизаны перед ним как на ниточке. От этого он и брал все меры осторожности, оттого про него и говорили в народе:

«Князь московский думает, да замышляет: нынче — друг, завтра — враг, ты о чем только подумаешь, а он уже это сделает».

Великий князь, между тем, подписал грамоту и отпустил Богомолова.

По его уходе двери Думной палаты распахнулись и Иоанн повелел собрать полный совет народный, для выслушания воли его. Перед лицом великого князя предстали, кроме митрополита, епископов, братьев, бояр и прочих думных людей, окольникчи, стольники, стряпчие, дьяки, головы, сотники, дети боярские, гости, жильцы, торговые и другого словия люди.

Думный дьяк и печатник изложили им дело и потребовали их мнения.

Когда они замолчали в ожидании ответа, присутствующие единогласно воскликнули:

— Государь-надежа, возьми оружие. Будет тебе угодно, отцу нашему, и мы пойдем воевать Новгород. Во всем твоя воля. Повели, и пойдем искать охочих людей сберегать твою особу и наказать ослушников воли твоей.

— На начинающих Бог. Да будет война! — торжественно произнес Иоанн.

Народный совет кончился.

Через несколько дней были посланы по всем городам московского княжества гонцы, или бирючи (их называли также кличаями), с грамотами, в которых объявлялось всем и каждому, кто обязывался носить оружие, собираться в стольный город Москву, чтобы оттуда вместе выступить на врагов.

ХII

Под стяг московского князя

Полки начали собираться под стенами московскими. Из всех мест то и дело приходили в большом числе ратники: их не приневоливали — они сами шли охотно на службу Иоанна Великого.

В числе их находились жители уже присоединенных в то время московским князем тверских и новгородских земель — областей: Кашинской, Бежицкой, Новоторжской и других.

Сам Иоанн, следуя обычаю предков, раздавал перед войной милостыню бедным, делал большие вклады в храмы монастыри и молился над прахом своих предместников в соборах, которые были день и ночь открыты

для богомольцев.

Наконец настало 9 октября — день выступления соединенной московской дружины. День был тихий, ясный; солнце при восходе яркими лучами рассеяло волнистый туман и, величественно выплывши на небо, отразилось тысячами огней на куполах церквей и верхах бойниц и башен кремлевских.

Послышался звон с колокольни Иоанна Лествичника, колокола других церквей заворили ему, и разлился красный звон по всей Москве, как в Светлую Христову ночь.

Кремль уже кипел народом, но толпы его все прибывали: все спешили проститься с любимым князем, с дружиною его, отцами, сыновьями, мужьями и внуками, отправляющимися искать ратной чести на чужбине.

Звук гудящей меди не пугал москвитян. С веселыми лицами приветствовали они золотым огнем рассыпавшуюся денницу и друг друга, как бы в день Светлого Христова Воскресения, обнимались, целовались и проливали слезы умиления, созерцая великолепную и трогательную картину собиравшихся под развевающиеся знамена, как под хоругви

защиты небесной, бравых веселых ратников.

От Красного крыльца до Успенского собора народ стоял в два ряда, ожидая с нетерпением великого князя, который прощался со своей матерью, поручая юному сыну править Москвою, одевался в железные доспехи и отдавал распоряжения своей рати.

Распоряжения эти были следующие: всей дружине разделиться на пять полков: на большой, передовой, правый, левый и сторожевой или запасный; для самого же себя назначил отборный, чтобы в таком порядке выступить из Москвы впредь до дальнейших распоряжений.

Любимая, дряхлая мать Иоанна, наконец, троекратно перекрестила великого князя, повесила ему на шею охранительный крест с мощами, поцеловала его и, горько заплакав, отпустила его.

Лишь только показался великий князь на Красное крыльцо — в народе и среди войска раздался общий крик восторга:

— Властитель наш, богоизбранный государь-надежа, ты любимец неба и земли. Повелевай нами; рады умереть за тебя все до еди-

ного, рады для тебя сложить головы свои и вражеские!..

Иоанн приветливо улыбнулся и пошел далее, кланяясь во все стороны.

Бояре и стража следовали за ним.

Митрополит со всем духовенством, в праздничном облачении, с образами Всемилостивейшего Спаса, Владимирской Богоматери, писанным евангелистом Лукою, и св. Георгия Победоносца, высеченным из камня, с хоругвями, величественно колыхавшимися над обнаженными головами толпы, шел навстречу ему при пении клира: «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его».

Великий князь благоговейно приложился к святым иконам, низко-низко преклонился перед владыкою Геронтием, когда тот осенил его животворящим крестом.

— Аз воздвиг тя, царя правды, — говорил митрополит, — и приях тя за руку десную и укрепих тя, да послушают тебя языцы, и крепость царей разрушиши, и Аз пред тобою иду и горы сравню, и двери медные сокрушу, и затворы железные сломя. Тако гласит Господь.

Архиепископ Виссарион добавил, благословляя в свою очередь Иоанна:

— Да будет тако! Благословение наше на тебе и на всем христолюбивом воинстве твоём. Аминь.

На далекое пространство развернулась картина собравшегося войска перед восторженными взорами великого князя.

Знамена его, или по-тогдашнему стяги, были окроплены святою водою.

Чудную, невыразимую пером картину представлял Кремль.

День блистал лучезарный, ослепительный, несмотря на то, что на дворе стоял уже угрюмый октябрь.

Небо как будто бы праздновало вместе с землею счастливое выступление русских дружин.

Горевшие под яркими лучами солнца кресты и купола храмов, светлые кольчуги и нагрудники стройных дружин, недвижно внимавших поучения слова Господня, произнесенного митрополитом, тысячи обнаженных голов горожан и тысячи же поднимавшихся рук для совершения крестного знамения, тор-

жественный гул колоколов — все это очаровывало взгляд и наполняло души присутствовавших тем особенным священным чувством благоговения, которое редко посещает человеческие души.

Это была беседа небес с землею.

Колокольный звон постепенно стихал, на смену ему разливался другой: заиграли рога, трубы, запели зурны[59], зазвучали накры, или бубны. Кони начали ржать, ратники задвигались и стали быстро садиться на коней, бряцая оружием.

Надобно заметить, что в описываемое нами время было больше конницы, нежели пехоты, а оружие русских воинов состояло уже не из самострелов, подкатных туров, приступных перевесов, быков, баранов или огнестрельных пороков, или зелий, и прочих орудий, употреблявшихся ранее при осадах, но из пушек и завесных пицалей.[60]

Ножи бывали также не у всех воинов, но мечи и копья — у каждого.

XIII

Выступление и поход

Великому князю подвели богато убранного вороного коня, покрытого алой бархатной попоной, унизанной жемчугом и самоцветными камнями. Уздечка на нем была наборная из среброчеканенных колец.

Князь Василий Верейский, сжимая острогами крутые бока своего скакуна, уже гарцевал перед теремом княжны Марии, племянницы великой княгини Софьи Фоминишны. Наличник шлема его был поднят, на шишаке развевались перья, а молодецкая грудь была закована в блестящую кольчугу.

Княжна Мария, любуясь в косящатое окно на своего суженого, роняла на грудь блески слезинок... но роман их не служит нам темою: об их будущем браке говорит история.

Бояре и воеводы плотно окружили своего князя.

Все еще раз истово перекрестились на храмы, поглядели на кремль, вообще, каждый на свой терем — в особенности и, поклонясь народу на все четыре стороны, двинулись.

Скоро густые облака пыли, поднятые конницей, скрыли из виду удаляющиеся дружины; только изредка мелькали вдали кольчу-

ги, подковы лошадей да брызгающие из-под них искры.

Все оставшиеся, поникнув головами, начали расходиться.

Столица осиротела.

Предки Иоанновы, воевавшие с новгородцами, бывали иногда побеждаемы неудобством перехода по топким дорогам, пролегающим к Новгороду, болотистым местам и озерам, окружавшим его, но, несмотря на это, ни на позднюю осень, дружины Иоанна бодро пролагали себе путь, где прямо, где околицею. Порой снег заметал следы их, хрустел под копытами лошадей, а порой, при наступлении оттепели, трясины и болота давали себя знать, но неутомимые воины преодолевали препятствия и шли далее форсированным маршем.

Москвитяне, раздосадованные изменой новгородцев, остервенились и, казалось, считали их хуже татар.

Все встречавшееся им трепетало перед ними, как перед лютейшими врагами; по лесам, до тех пор непроходимым, гнали они отнятый скот, везли продовольствие и были весе-

лы и сыты.

От востока и запада неслись они ураганом к озеру Ильмену.

Сам великий князь с отборным полком шел впереди, направляясь через Торжок на дорогу, находящуюся между дорогами Яжелбицкою и Мстою.

Татарский царевич Данияр, сын Касимов, и Василий Образец назначены были идти в сторону от него по Замте.

Князь Даниил Холмский шел за Иоанном с детьми боярскими, владимирцами, переяславцами и костромитянами, за ним два боярина с дмитровцами и коломенцами.

С правой стороны — князь Симеон Рязанский с суздальцами и юрьевцами, а с левой — брат великого князя Андрей Меньшой и Василий Сабуров с ростовцами, ярославцами, угличанами и бежичанами; с ними шел воевода матери великого князя[61] Семен Пешков с ее двором.

Между дорогами Яжелбицкою и Демонскою шли князья Александр Васильевич и Борис Михайлович Оболенские; первый с калужанами, радонежцами, новоторжцами, а вто-

рой с можайцами, волочанами, звенигородцами и ружанами (жителями города Рузы).

По самой дороге Яжелбицкой шел боярин Федор Давыдович с детьми боярскими двора великокняжеского и коломенцами, а также князь Иван Васильевич Оболенский со всеми его братьями и детьми боярскими.

Передовой отряд великого князя достигал уже Торжка, и за ним шел сам Иоанн Васильевич.

В Торжке народ встретил московского князя искренними восторженными криками — жители Торжка любили более москвитян, как своих одноплеменников, чем литовцев, которых они звали голыми челядинцами.

Князь Михаил Микулинский — любимец князя тверского Михаила — сделал Иоанну торжественную встречу.

Он сошел перед ним со своего коня, низко поклонился и приветствовал от имени своего князя, приглашал от его лица в Тверь откушать хлеба и соли.

— Не время угощаться мне, — отвечал Иоанн. — Не за тем поднялся я в поход дальний, чтобы пировать пиры по дороге, если же

хотите доказать приязнь свою, то приготовьте мне воинов, чтобы вместе наказать нам непокорных новгородцев. Хочу я так поступать отныне со всеми открытыми и застенными врагами...

Микулинский понял намек и, запинаясь, отвечал:

— Мы всегда готовы покорствоваться тебе, князю князей: повели представим тебе потребное число воинов. Мы не ослушники твоей воли...

— Знаю и тех, кто одной рукой обнимает, а другой замахивается. Я жду воинов ваших к делу, которое скоро начнется, — с ударением заметил великий князь.

Князь Микулинский молча поклонился и отошел в сторону.

За ним представились Иоанну новгородские послы — опасчики, прибывшие просить у великого князя опасных грамот для архиепископа Феофила и посадников, намеревавшихся отправиться к нему для переговоров. Их было трое: староста Даниславской улицы, Федор Калитин, гражданин Житов и гражданин Марков.

— Низменно бьем челом тебе, государю нашему! — говорили они. — Желаем благоденствовать многие века и просим униженно милосердия твоего: повели дать свободный пропуск...

Иоанн почти не взглянул на них и, прервав их просьбу, сказал:

— Вы сами ниже земли поступками своими, лицемерные люди! В глаза признаете меня государем, а заглазно не только не держите имя мое грозно, но еще всячески его поносите. Я переговорю с вами выстрелами...

Он сделал знак рукою, послов схватили и увели, а великий князь поехал обедать к брату своему Борису Васильевичу в Волок со всею свитою и князем Микулинским.

Во время шумной и роскошной трапезы разговор, конечно, вертелся на цели похода — Новгороде.

Московские бояре по очереди выходили, по обычаю того времени, из-за стола на середину обширной гридницы и кричали:

— Пьем за здоровье великого князя, всего двора его, воинства и союзников!

Князь Микулинский закричал:

— Я пью за здоровье будущего победителя новгородцев!

«И тверитян», — подумали многие про себя, осушая большие кубки.

— Будущее таится в руке Божией, — скромно произнес Иоанн, — а лучше выпьем за бывших победителей их, подивимся храбрости доблестных мужей и произнесем им в тайне души вечную память.

Хмель вскипятит кровь молодости и разогрел холод старости — языки развязались, бояре стали разговорчивее, смелее.

— Правду-матку сказать, государь, — воскликнул Ряполовский, — ты победил их пятью лет тому назад. Честь тебе и слава! Но сами они тоже часто натыкались на смерть, купленную ими междоусобною сварою: она на них из-за каждого угла целила стрелы свои и на твое оружие натыкались они, как слепые мухи на свечку. Стало быть, следует пить и за их здоровье: они и сами много помогли победить себя.

— Непременно, — подхватил Сабуров, — дух междоусобий был для них меч обоюдоострый; памятен этот нашим предкам.

— Но вы забыли прибавить к числу собственных их язв острые языки литвин, — сказал Федор Давыдович. — Они, как ножи, втыкались в уши новгородцев и вели их короткою дорогою на погибель.

— Кому здоровье, а им анафема, двоедушникам!..

Клянусь всей роднею моею, покинутой в Москве, не щадить до конца жизни это проклятое племя, если встретятся они с нами в битве за новгородцев, хотя бы они налетели на нас на огненных драконах! — вскричал князь Даниил Холмский.

— В Новгороде, говорят, конский падеж, а так как они не завелись еще воздушными конями, то, наверно, выедут против нас на коровах, — пошутил боярин Ощера.

На шутку его, однако, никто не откликнулся.

— Храбрым воинам здоровье, литвинам анафема! — резюмировал бывший при особе великого князя Назарий.

Я заколочу тем рот до самой рукоятки меча моего, кто осмелится тайно или явно доброжелательствовать им и поминать их не ли-

хом! — воскликнул князь Василий Верейский.

Трапеза, между тем, окончилась.

Иоанн дал знак к походу.

С московскою дружиною отправился и брат великого князя Борис Васильевич.

XIV

Новгородские перебежчики

Четвертого ноября к соединенным московским дружинникам присоединились тверские, под предводительством князя Микулинского, и привезли с собой немалое количество съестных припасов.

Но воины тверские были плохо одеты для ненастного времени и были, видимо, с расчетом не завидны ни для своих, ни грозны для неприятеля, ни по виду, ни по летам, ни по вооружению.

Московитяне смеялись над ними:

— Да они, видно, у смерти напрокат выпрошены, — говорили они, — и грозны столько же для нас, сколько и для врагов, и тех, и нас станут морить не от меча-кладенца, а от смеха.

Иоанн заметил эту хитрость тверского

князя, но молчал и был милостив к пришедшим воинам и приветлив с их предводителем.

Через несколько времени великий князь потребовал к себе задержанных опасчиков новгородских, укорял их в неверности и, наконец, велел дать им охранные и опасные грамоты для послов и отпустил восвояси.

Между тем в стан его стали прибывать многие знатные новгородцы и молили принять их в службу; иные из них предвидели неминуемую гибель своего отечества, другие же, опасаясь злобы своих сограждан, которые немилосердно гнали всех подозреваемых в тайных связях с московским князем, ускользнули от меча отечества и оградилась московским от явно грозившей им смерти.

В числе прибывших новгородских вельмож был к удивлению всех посадник Кирилл — отец Чурчилы.

Все знали в нем верного приверженца новгородской вольницы и ревностного защитника ее прав.

— Какой ветер вынес тебя из дома отцов твоих и занес сюда? Добрый или злой? —

спросил его великий князь.

— Там потянул на меня злой ветер, государь, а к тебе занес добрый, отвечал Кирилл. — Обида невыносимая, личная, сгибает теперь главу мою пред тобою. Прикажи, я поведаю ее.

— Что мне до того? Тебя и всех старейших Новгорода можно назвать детьми, потому что вы играете опасностью, страшитесь безделицы. Ты был один из злейших врагов моих, и я наказую тебя милостию моего прощения, ласково положил руку Иоанн на плечо Кирилла.

— Истинно наказуешь, — воскликнул последний со слезами в голосе, целуя руку великого князя. — Раскаяние гложет, совесть душист меня. Позволь хоть умереть за тебя.

— Хорошо, старик, — отвечал Иоанн, — скоро я пошлю тебя опять домой с ратью моею. Если ты верно сослужишь мне эту службу, то сам в себе успокоишь совесть, а если — ты понимаешь меня — хотя ты скроешься в недра земли, не забудь, есть Бог между нами!

— И с нами, государь! Везде присутствует Дух Его. Посылку твою приму я, как драгоценную награду: она зажжет в старике пыл моло-

дости и укрепит мою руку. Первая голова вражеская падет от нее за Москву, вторая — за детей и братьев твоих, а моя — сюда скатится, за самого тебя!..

— Ну, что ваш Новгород? — спросил великий князь других, — думает ли он обороняться?

— Смотрит-то он богатырем, государь, — отвечали они, — силится, тянется кверху, да ноги-то его слабеньки. Помоги немного, упадет он сперва на колени, а там скоро совсем склонится, чокнется самой головой о землю, рассыплется весь от меча твоего и разнесется чуть видимою пылью, так и следа его не останется, кроме помину молвы далекой, многолетней...

Эта льстивая речь оказалась пророчеством.

Всех новгородских перебежчиков великий князь принял в свою службу и милостиво одарил.

Достигнув Палины, Иоанн вновь устроил войска уже для начатия неприятельских действий, вверив передовой отряд брату своему Андрею Меньшому и трем опытнейшим и

храбрейшим воеводам, Холмскому, Федору Давыдовичу и князю Ивану Оболенскому-Стриге.

Распорядясь таким образом, он послал своего дьяка Григория Волина с записью в Псков, требуя себе подмоги и продовольствия от псковитян.

Московский дьяк, прибывши в Псков, увидел в нем почти одни головни, торчащие обгорелые столбы, да закоптелые стены, оставшиеся от недавно бывшего в городе пожара.

— Вот, ты сам видишь, — говорили псковитяне Волину, — какую мы помощь можем оказать великому князю, когда сами нуждаемся в ней.

— Вижу, — отвечал дьяк, — что не стены ваши целы, а сами вы, да нам они и не нужны, а вы сами. Что вам тут осталось делать, не жар загребать, или начинать работать топором! Лучше действовать мечом.

— Да мы еще льем слезы на пепел наших жилищ, — говорили они уклончиво.

— Уж теперь поздно заливать ими пожарами, — отвечал он, и настойчиво продолжал требовать от них людей и оружие.

Псковитяне уже перешепнулись с новгородцами, которые соблазняли их соединением с собою и разными заманчивыми выгодами, но благоразумие взяло верх.

Псковитяне, поняв, что от всякого выигрыша, полученного ими от новгородцев, они будут в проигрыше, собрались на вече.

— Если мы передадимся Новгороду и он падет, — говорили они между собою, — то придавит и нас. Лучше не раздраживать московского князя, а поскорее услужить ему всячески, чтобы самим дорого не пришлось расплачиваться.

К тому же псковский наместник, князь Василий Васильевич Шуйский, настаивал на скорейшем исполнении великокняжеской воли, и они, хотя со вздохом, но выдвинули свои пушки и самострелы и, набрав сильную рать с семью посадниками, выставили ее Шуйскому, который и поспешил с нею к берегам Ильменя, к устью Шелони, как назначил ему великий князь.

XV

Новгородское посольство

23-го ноября великий князь находился уже в Сытине.

Рано утром, когда солнце на востоке, застланное зимним туманом, только что появилось бледным шаром без лучей, и стан московский, издали едва заметный, так как белые его палатки сливались с белоснежной равниной, только что пробудился, со стороны Новгорода показался большой поезд.

Это было посольство, с владыкою Феофилом во главе.

Подъехав к великокняжеской палатке, отличавшейся от других своим размером и золотым шаром наверху, прибывшие сняли шапки и подошли.

Остановленные стражею, они передали ей свое желание видеть великого князя и говорить с ним.

Десятник стражи доложил об этом ближним боярам великокняжеским, а последние ему самому.

Но он уже слышал голоса прибывших и вышел к ним.

Посольство состояло из многих людей всякого чина в богатых собольих шубах нара-

пашку, из-за которых виднелись кожухи, покрытые золотой парчой.

Архиепископ Феофил смиренно стоял впереди и низко поклонился великому князю.

Его примеру последовали и другие.

— Государь и великий князь! — начал Феофил, — я, богомолец твой, со священными семи соборов и с другими людьми, молим тебя утушить гнев, который ты возложил на отчину твою. Огонь и меч ходят по земле нашей, не попусти гибнуть рабам твоим под зельем их.

Другие обратились к нему с просьбою о даровании свободы закованным в московские цепи новгородским боярам.

— Они сами сковали их на себя! — сурово отвечал Иоанн и, не продолжая с ними разговора, пригласил их, однако, к себе на трапезу.

Во время последней великий князь посылал боярам кушанье в рассылку, а новгородцам особенно и, кроме того, хлеб, в знак милости, по обычаю того времени, а Феофилу — соль, в знак любви.

Ендовы переварного меда возвышались на столе для всех, а владыку новгородского

Иоанн угощал из собственного поставца.

Все были обворожены его обхождением и не знали, как изъявить ему свою преданность.

— Если бы зависело от одного меня отдать тебе город, государь, сказал Феофил, — я бы устроил это скорее, чем подумал.

— Верю, — отвечал Иоанн. — Но мне желательно знать, как приняли новгородцы мою записку, отправленную к ним еще из Москвы? Что придумали и что присудили думные головы отвечать на нее? За мир или за меч взялись они?..

Феофил молчал, уныло опустив голову.

Великий князь понял и тоже замолчал.

Разговор сделался общий между боярами.

— Скоро, чай, вы будете постничать: город ваш со всех сторон обложим ратью нашей так, что и птица без спроса не посмеет пролететь в него, говорил один из московских бояр новгородскому сановнику.

— Если не птицы, так стрелы наши станут летать к ним рассыпным дождем! — заметил другой.

— Что ж, в таком случае вам придется

взять город порожний! — спокойно отвечал новгородец.

— Это значит, вы все хотите помереть голодную смертью?

— Нам некогда будет думать об яствах, сидя на стенах и на бойницах!

— Им голодным-то еще легче будет перескакать через стены, чтобы отбивать нас от них! — слышалось замечание.

— А я думаю, напротив: тощие-то они не перешагнут и через подворотню домов своих, не только что через стены... Да и для нас будет лучше, так как не ловко метиться в те-ни, — возразил другой боярин.

— Зато мы не будем промахиваться в смельчаков московских; наши огнеметы добрые, только подходите погреться к ним; как шаркнут, на всех достанет, — заметил новгородец.

— Не так ли, как лет пяток тому назад, когда огнеметы ваши сами прохлаждались в озере? — спросил его Ряполовский.

— Тогда были изменники среди нас; их высыпали золотом, а теперь они засыпаны землей, — с торжественною язвительностью от-

вечал новгородец.

— И теперь они есть, только, хвала Создателю, не между нами, заметил другой, и обвел взглядом обширный стол, но Назария и Захария не было в палатке великокняжеской.

Трапеза кончилась.

Иоанн, выходя из палатки, подозвал к себе князя Ивана Юрьевича и поручил ему говорить за себя с посольством.

— Чего вы хотите от государя моего, чтимые мужи новгородские? спросил он их.

— Князь! Одна наша просьба до него и вас: уймите мечи свои. За что ссориться нам и что делить единокровным сынам Руси православной? — отвечал один из них.

— Челобитье наше перед государем! — заговорил другой. — Прими от нас милость свою, мужей вольных, а там пусть будет то, что Бог положит ему на сердце; воля его, терпенье наше, а претерпевший до конца спасен будет.

— Милость и казнь в его власти, — отвечал им князь Иван, — ни то, ни другое не обойдет вас. Покоритесь и примите его в врата градские, как единственного законодателя вашей

го.

— Мы дозволим ему делить власть с в чем, — заявили новгородцы, только оставь он нам чтимое место, завещанное нам и всем потомкам нашим от дедов и отцов...

— Пожалуй, обратите ваш колокол в трон, и воссядет на нем князь наш, и начнет править вами мудро и законно, и хотя не попустит ни чьей вины пред собою, зато и не даст в обиду врагам. Скажите это землякам вашим — и меч наш в ножнах, а кубок в руках, — сказал князь Иван.

— За что гнев его поднялся над главами нашими, как гроза небесная? Разве мы не чествовали имя его грозно? Разве не ломились под нашими богатыми дарами золотые блюда, когда мы подносили их его чести? Разве не низко клонили мы головы свои и самому ему, и вам, господам честным? Примите нас в милости свои. Попутал нас прежде враждебный дух Литвы; но ныне не поддадимся ему! На вас вся надежда наша: не обойдите нас заступлениями своими: замолвите за нас словцо у князя великого, и благодарность наша к вам будет не малая, — упрашивали князя

Ивана новгородцы.

В разговор вмешался боярин Федор Давыдович.

— Однако, Литва-то оставила в вас недобрые семена свои, — семена лжи и непризнательности. Не вы ли прислали сановника Назария и вечаевого дьяка Захария назвать князя нашего государем своим и после отреклись от собственных слов своих? Не вы ли окропили площади своего города кровью мужей знаменитых, которых чтит сам Иоанн Васильевич? Не вы ли думали снова предаться литвинам... Теперь разделяйтесь же с оружием нашим, или сложите под него добровольно свои выи, одно это спасет вас.

Князь Иван добавил в заключение:

— Долго терпел князь наш нестерпимое, но теперь обнажил меч свой по слову Господню: «Аще согрешит к тебе брат твой, обличи его наедине, аще не послушает, — пойми с собой два или три свидетеля, аще же тех не послушает, повеждь церкви, аще же церкви не радеть станет, будет тебе яко язычник и мытарь». «Уймитесь и буду вас жаловать», писал вам великий князь, — но вы не правым ухом

слушали слово его, и милость его прекратилась к вам. Заключенных горожан также не освободит великий князь, так как вы сами прежде жаловались на них, как на незаконных грабителей отчизны вашей. Ты сам, Лука Исаков, находился в числе истцов, и ты, Григорий Киприянов, от лица Никитиной улицы, — продолжал князь Иван, обращаясь то к тому, то к другому. — Мои уста произносят слова великого князя. Будете хотеть образумиться, вам условия ведомы, а то меч помирит нас, хотя и не он поссорил.

С поникшими головами слушали новгородцы увещания московских воевод и, сказав, что они сами ничего решить не могут, вышли из палатки и немедленно отправились восвояси, под охраной великокняжеского пристава от далеко не мирно настроенных против них московских дружин.

Вскоре после их отъезда двинулись и московские дружины к Городищу для занятия монастырей, чтобы новгородцы не выжгли их.

Воины смело вступили на лед озера Ильменя.

— Настало время послужить государю! За нас правда и Бог Вседержитель! — говорили они.

XVI Перед осадой

Возвратимся на время в Новгород, дорогой читатель, и посмотрим, что делалось там во время похода Иоаннова.

Вечевой колокол гудел чуть не ежедневно, и на дворнице Ярославовом собирались посадники и старосты всех улиц в ожидании ответа Иоанна на запись их.

Архиепископ Феофил был неусыпным блюстителем тишины и спокойствия, несмотря на то, что Марфа с тысяцким Есиповым и с литовскою челядью всегда успевала перекричать даже вечевой колокол.

Ворота чудного дома Борецкой были широко отворены не только для клеветов ее, но даже для нищей братии, для всех, кто желал утолить свой голод и жажду.

Служители Марфы, кроме того, щедрою рукою рассыпали монету толпившемуся на дворе народу, и последний, под влиянием хмеля, оглашал воздух восторженными в честь щед-

рой хозяйки криками.

Борецкая, окруженная всегда толпой своих приверженцев, осушавших бесчисленные кубки, с восторгом прислушивалась к этим крикам.

Она владела несметными, непрожитными богатствами и, лишившись своих сыновей, видя свою темную одинокую будущность, не знала, кому передать свои сокровища, а потому, всецело отдавшись честолюбию, решилась купить ими историческую славу.

Она достигла этого, хотя слава ее печальна.

Наконец ожидание посадников и старост окончилось. Радион Богомоллов прибыл в Новгород с ответной грамотой от московского князя и проехал прямо на вече.

Народ повалил туда со всех сторон, столпился на дворнице Ярославовом и стал неистовыми криками требовать скорейшего прочтения грамоты.

Новоизбранный дьяк веча, испросив благословения у владыки Феофила, поклонился во все стороны, поднял вверх руку и замахал бумагой над шумевшей толпой.

Чтобы показать собою пример уважения к московскому князю, Феофил снял свой клобук и, наклонив голову, почтительно и внимательно слушал запись, но когда дело дошло до складной грамоты, лицо его побледнело, как саван, посадники невольно вздрогнули, а народ, объятый немым ужасом, не вдруг пришел в себя.

Марфа Борецкая, значительно переглянувшись со своими, первая вскочила со своего места:

— Ну, что скажете вы теперь, советные мужи Новгорода Великого? Прячьтесь скорей в подпольные норы домов своих, или несите Иоанну на золотом блюде серебряные головы чтимых старцев, защитников родины. Исполнились слова мои: опустились ваши руки. Кто же из вас будет Иудой-предателем? Спешите, пока все не задохлись еще совестью, пока гнев Божий не разразился над вами смертными стрелами.

— Напрасно ты нас упрекаешь, боярыня, в таких зазорливых делах. Пусть вражеский меч выточит жизнь мою, а я все-таки останусь сыном, а не пасынком моего отече-

ства! — возразил ей тысяцкий Есипов.

— Честь тебе и слава! — отвечала Марфа. — Все равно умереть: со стены ли родной скатится голова твоя и отлетит рука, поднимающая меч на врага, или смерть застанет притаившегося... Имя твое останется незапятнанным черным пятном позора на скрижалях вечности... А посадники наши, уж я вижу, робко озираются, как будто бы ищут безопасного места, где бы скрыть себя и похоронить свою честь...

— Боярыня! — воскликнул гневно посадник Кирилл, предупредив своих товарищей, — честь такая монета, которая не при тебе чеканилась, стало быть, не тебе и говорить о ней. Теперь одним мужам пристало держать совет о делах отчизны, а словоохотливые языки жен — тупые мечи для нее...

Борецкая вздрогнула, но не вдруг ответила, стараясь подавить свое волнение:

— Давно замечала я, но теперь ясно вижу, в кого метят стрелы твои, Кирилл. Черный язык твой хочет закоптить и меня, чтобы унижением моим лишить Новгород всякой опоры. Ты давнишний наветник Иоанна мос-

ковского, ты достоин наград изменников Упадыша, Василия Никифорова и других злоумышленников против отчизны нашей... Кто из вас сохраняет еще любовь к бедной родине нашей, — обратилась она ко всему собранию, возвышая голос и окидывая всех вызывающим взглядом. — Допытайте этого неверного раба острием вашим и вышвырните им из него змею — душу его, а то яд ее привьется и к вам.

Кирилл вспыхнул.

— Славь Бога, — крикнул он ей, скрежеща зубами от ярости, — что ты далеко каркаешь от меня и руки мои не достигнут тебя, гордись и тем, что позволяет честное собрание наше осквернять тебе это священное место, с которого справедливая судьба скоро закинет тебя прямо на костер. Товарищи и братья мои, взгляните на эту гордую бабу. Кто окружает ее?.. Пришельцы, иноземцы, еретики... Кто внимает ей? Подкупные шатуны, сор нашего отечества.

— Заклепайте его в кандалы и швырните на разщипку копий и мечей! кричала в свою очередь Марфа, задыхаясь от злобы, своим че-

лядинцам.

Ее крик был бы исполнен, если бы народ не уважал этого посадника, не раз доказывавшего ревностную приверженность отечеству.

Марфа, увидя, что слова ее не оказывают действия, умолкла.

Замолчал и Кирилл.

— Что нам теперь делать и с чего начать? — спросил тысяцкий Есипов.

Феофил, сидевший до сих пор с поникшей головой, поднял ее и проговорил:

— Сами виноваты вы; великий князь вправе обрушить на головы ваши мстящую десницу свою; смиритесь и дастся вам отпущение вины.

— Нет, владыко, твое дело молиться о нас, а не останавливать оружие наше! — возразили ему. — Иоанн ненасытен и меч его голоден, да мсковитяне зачванились уж больно: мы ли не мы ли! Кто устоит против нас? Посмотри: чья возьмет. Мы сами охотники до вражеской крови! Если не станем долго драться, то отвыкнем и мечом владеть.

Более благоразумные и рассудительные говорили:

— Словами и комара не убьете! Где нам взять народа против сплошной московской рати? Разве из снега накопаем его? У московского князя больше людей, чем у нас стрел. На него нам идти все равно, что безногому лезть за гнездом орлиным. Лучше поклониться ему пониже.

— Да он и сожнет наши головы, как снопья снимет! Кланяться ему все равно, что вкладывать в волчью пасть пальцы! Лучше же с него шубку скинуть! — кричал народ, подстрекаемый клеветами Марфы, и перекричать разумных.

Запись московскую истоптали ногами.

По сборе голосов большинство оказалось за войну.

Тотчас начались быстрые приготовления.

Марфа торжествовала.

Народ вооружался, поголовные дружины набирались из разночинщины: плотников, гончаров, и других ремесленников одевали в доспехи волей и неволей и выставляли на стены.

Чужеземцам, промышляющим торговлею в городе, дозволяли выехать. И потянулись

обозы во все ворота городские с товарами в Псков; но многие остались на старых гнездах, надеясь на милосердие Иоанна.

Река Волхов запрудилась многочисленными судами, с развевающимися цветными флагами, — ими хотели загородить реку, — и по берегам ее выдвинулись две высокие деревянные стены, за которыми и на которых делали укрепления.

Весь город день и ночь был на ногах: рыли рвы и проводили валы около крепостей и острожек, расставляли по ним бдительные караулы; пробовали острия своих мечей на головах подозрительных граждан и, наконец, выбрав главным воеводой князя Гребенку-Шуйского, клали руки на окровавленные мечи и крестились на соборную церковь св. Софии, произнося страшные клятвы быть единодушными защитниками своей отчизны.

В списке жертв, обреченных на смерть, имя посадника Кирилла стояло первым, а потому друзья его упростили разобитого и несговорчивого старика, соединясь с другими, недовольными правлением, выбраться из

Новгорода и явиться к Иоанну, что, как мы видели, он и сделал.

Архиепископ Феофил со священниками семи церквей и с прочими сановными мужами поехали на поклон и просьбу к великому князю по общему приговору народа, но когда посольство это вернулось назад без успеха, волнения в городе еще более усилились.

XVII

Ворон ворону глаз не выклюет

Вокружавших замок Гельмст лесах разъезжали рейтары фон Ферзена, наблюдая за появлением русских дружинников.

Вечерело.

Рейтары, перед возвращением своим в замок, расположились отдохнуть на поляне, граничащей с небольшой, но глубокой, уже начинающей замерзать рекой.

Начальствовал над рейтарами знакомый нам кривой Гримм.

Невдалеке от прочих сел он на голую скалу, глядевшую в воду.

На скале противоположной горы все более и более сгущались вечерние краски. Наступила та невозмутимая тишина природы, спут-

ница ночи, которая на таких негодяев, как Гримм, производит гнетущее впечатление, давая мир и отраду людям лишь с чистым сердцем и спокойной совестью.

Черные думы витали надо головой привратника замка Гельмст: надо было скоро приводить, так или иначе, в исполнение свои гнусные замыслы.

Вдруг до его ушей донесся подозрительный шорох.

Гримм оглянулся пугливо, как оглядываются только преступники. Какая-то черная тень кралась между ним и отдохавшими рейтарами; вот она ближе, это человек, он крадется и вдруг останавливается против него.

— Кто идет? — крикнул среди тишины сторожевой рейтар и прицелился в пришельца.

Этот окрик освободил душу Гримма от обуявшего было его панического страха — как все негодяи, он был трусом.

Он быстро вскочил и пустился к незнакомцу. Глаза последнего блестели зеленым огнем среди ночного мрака.

Гримм невольно отступил.

— Кто идет?.. Стой! Ни с места! — разда-

лись крики, и несколько человек с угрожающим видом бросились на пришельца.

— Русский, но не враг ваш! — отвечал незнакомец.

— А! Вот кстати... это соглядатай... Видно, шея у него соскучилась по петле, коли сам сунулся в наши руки, — закричали рейтары.

— Нет, прежде допросим, выпытаем, вымучим у него признание: далеко ли земляки его, сколько их, на кого они думают напасть, — прервал Гримм.

— Ну, говори же все начистоту, русский барон, а то сразу душу вышибем, — продолжал он, схватив незнакомца за грудь и трясая изо всей силы.

— Кто бы вы ни были, дворяне Божьи: благородные рыцари ливонские или верные слуги, выслушайте меня терпеливо. Я сам пришел отдаться вам в руки, что же вы озорничаете?

— Вон еще кто-то скачет? Загородите дорогу, снимите его с лошади копьем. Двое в ряд протянитесь цепью! Сам попадетсЯ в силки! Только этот, кажется, не хочет сам отдаться в наши руки, — распорядился Гримм.

Не успел он договорить последних слов, как ловкий всадник успел уже увернуться от брошенного в него метательного копья и так сильно ударил напавшего на него рейтара тупым концом своего копья, что тот упал навзничь и лежал неподвижно, так как железные доспехи мешали ему подняться.

— Стой! Стой! Разве вы не видите, что это наш? — закричал торопливо Гримм на своих, которые, прикрывшись щитами, начали было наступать на отважного всадника.

— Кой черт, наяву или во сне я вижу вас, благородный рыцарь? Поднимите забрало, чтобы я более уверился. По осанке, вооружению и сильной руке я узнал вас: еще одна минута — и не досчитались бы многих из защитников моего господина.

— Не тебе, кривому сычу, с подобными тебе бродягами мочить разбойничьи мечи рыцарской кровью! — сказал гордо всадник, поднимая налечник своего шлема, и луч луны, выглянувший из-за облака, отразился на его блестящих латах и мужественном лице.

Рейтары узнали Бернгарда.

— Не гневайтесь, благородный рыцарь,

что кривой сыч узнал прямого, язвительно заметил Гримм.

— Не прогневайся и ты, если кстати будешь немой. Жаль только, что язык твой еще надобен мне. Не видал ли Гритлиха?

— Когда?

— Конечно, не вчера... Тогда еще ты был недалеко от него и твое ядовитое дыхание жгло благородного юношу, но теперь, недавно, не нагоняли ли вы его в окрестностях замка? Смотри, продажная душа, говори прямо. Не сложили ли вы труп его уже в ближайший овраг, или мой меч допросит тебя лучше меня.

Властный голос рассерженного рыцаря невольно подействовал на трусливого, но хитрого Гримма.

Он было оробел, но тотчас же сообразил, как искуснее отделаться от допроса. Он понял, что Бернгард разыскивает Гритлиха, чтобы под своей охраной препроводить его назад в замок. Это не входило в расчеты подлого слуги не менее подлого господина.

— Ни теперь, ни недавно не видал, но утром, когда мы только что выехали дозорить

русских, он попался мне навстречу, и, когда я спросил его о причине его удаления из замка, он сказал, что это делается им по приказанию нашего господина, поэтому я и не посмел остановить его, — без запинки соврал Гримм. — Однако, — продолжал он, понизив голос до шепота, он признался мне, что идет разыскивать своих земляков. Какими запорами ни замыкай коня, он все рвется на свободу, а только пусти его разыграться — и хозяина не пощадит: копыт своих не пожалеет на него... Поверьте, благородный рыцарь, теперь его не догонишь, да и не стоит он вашего беспокойства.

Бернгард молчал, пристально глядя на Гримма, как бы взвешивая каждое его слово.

— Воротитесь-ка, — с ударением добавил последний, — вы уже помыкались, довольно порыскали день-деньской, а моя молодая госпожа, чай, соскучилась без вас... Поезжайте-ка утешить ее.

При этих словах несчастный отвергнутый юноша вздрогнул, судорожно стиснув рукоять своего меча, и тихо произнес:

— Ты кривишь своими устами!

Гримм уже готов был разразиться страшными клятвами, как вдруг пойманный незнакомец, смекнув, что ему надо поддержать начальника рейтаров, заговорил:

— Точно, я сам видел нового пришельца в нашу дружину из замка Гельмст...

— Это кто? — прервал его Бернгард.

— Это пленник русский, мы допрашиваем его, — отвечал Гримм.

— Ты сам — пленник золота, и, я думаю, нашел уже выкуп его жизни в его же карманах. Допроси-ка его при мне, теперь же! — повелительно сказал рыцарь.

— Я уже слышал, что вам нужно! — отвечал захваченный. — Если не верите, что я охотно предаюсь вам, то обезоружьте меня: вот мой меч, говорил он, срывая его с цепи и бросая под ноги лошади Бернгарда. — А вот еще и нож, — продолжал он, вытаскивая из-под полы своего распахнутого кожуха длинный двуострый нож с четверосторонним клинком. — Им не давал я никогда промаха и сколько жизней повыхватил у врагов своих — не перечтешь. Теперь я весь наголо.

— А что это мотается у тебя? — спросил

один рейтар, показывая на грудь.

— Это ладанка с зельем, — ответил пленник. — А почему теперь я весь отдаюсь вам, когда узнаете, то еще более уверитесь во мне. Собирайтесь большой дружиной, я поведу вас на земляков. Теперь у них дело в самом разгаре, берут они наповал замки ваши, кормят ими русский огонь; а замок Гельмст у них всегда как бельмо на глазу, только и речей, что про него. Спешите, разговаривать некогда. Собирайтесь скорей, да приударим... Я говорю, что поведу вас прямо на них, или же срубите мне с плеч голову.

— А где русские? — спросил его Бернгард.

— За рекой, влево, недалеко от леса...

— Знаю, знаю... Все ли ты кончил?

— Все, как перед Богом, все... Ничего не утаил...

— Довольно. Теперь ты более не нужен. Прицепите его к осине, или к нему самому привесьте камень потяжелее: ходчее пойдет в воду, не запнется... Повторяю, теперь он более ни на что не нужен, как лук без тетивы. Кто изменил своим, тому ничего не стоит продать и нас за что ни попало...

Сказав это, Бернгард поворотил коня своего, пришпорил его и быстро помчался обратно, по направлению к замку.

— Снимай-ка ладанку свою. Вот это будет повыгоднее: дольше не износится, — сказал рейтар Штейн пленнику, подходя к нему с узловатой веревкой, на которой был прицеплен огромный тяжелый камень.

Незнакомец дико и злобно сверкнул глазами.

Гримм попробовал было вступить за него, помня его услугу перед рыцарем, но рейтары не соглашались оставить в живых пленника, и только случай неожиданно избавил его от смерти.

Вдруг ближний лес и вся поляна осветились ярким заревом.

— Это наши работают, сами на себя накликают, — проговорил незнакомец...

Зарево озарило его лицо.

— Ах, это ты, Павел, — вдруг вскричал Штейн. — Узнаешь ли ты меня, которого проворством своим и сметливостью избавил от русских у реки... Товарищи, а мы хотели убить его! Да я бы отсек себе руку, если бы

она поднялась на него!

Вместо смерти пленнику предложили принять участие в общей попойке, во время которой он особенно сошелся с Гриммом.

Затем все потянулись к замку.

Их путь освещало все увеличивающееся зарево.

XVIII

Спасение Гритлиха

Зарево мало-помалу потухало. Небо очистилось от облаков. Ночь вступила в свои права. Луна и звезда ярко заблистали на темно-синем небосклоне.

По вьющейся змеей лесной дорожке шел усталый Гритлих. Уже более суток бродил он по лесу без пищи и питья, измученный, изнуренный, но не голод, не жажда томили его, а разлука с Эммой. Он был одинок: только луна провожала его да верхушки деревьев, мерно качаясь, как бы приветствовали его при встрече.

Кругом царствовала томительная тишина, нарушаемая лишь однообразным журчанием горного ручья, пробиравшегося между скал, и гулом ветра.

Наконец Гритлих остановился, видимо, не будучи в состоянии идти далее, выбрал себе отлогое место, окутался суровым плащом своим и заснул, убаюканный однообразными звуками природы.

Вскоре в лесу послышался топот копыт скачущих лошадей и смешанный людской говор, но крепко заснувший Гритлих, к счастью, не слышал ничего.

Луна, между тем, скрылась за надвинувшуюся на нее тучу, и пушистый снег хлопьями повалил на землю. Быстро засыпал он спавшего Гритлиха, так что его едва можно было заметить на земле.

Прибывшие всадники, плутовавшие долго по лесу, расположились отдохнуть невдалеке от того места, где сном непорочной юности покоился преследуемый ими юноша.

Они сняли с голов своих грузные шлемы, покрытые снегом, стряхнули свои латы и оружие и, собравшись в кучу, принялись опоражнивать свои дорожные фляги, ругая на чем свет стоит своего господина.

— Куда этот черт спрятал русского бродягу? — заметил один из рейтаров Доннершвар-

ца.

— Туда, — отвечал другой, — где нам не найти его. Да и зачем искать, назад не воротили бы. Прихлопнуть бы его на месте, как комара, вот и все тут! И руки не обмочили бы в крови...

— Фриц никогда не промахнется. Он и иглу уколёт и ножны зарежет, промолвил третий.

— Да ты и сам живая петля! — возразил Фриц. — Для тебя убить человека все равно, что орех щелкнуть.

— Что тут считаться, — сказал четвертый. — Никто из нашей братии, ливонцев, сколько ни колотил врагов, оскомины на руках не набил. Но меня что-то все сильнее и сильнее пробирает дрожь. Разведем-ка огонь, веселее пить будет.

— Ах, ты, зяблик! — заметил, смеясь, Фриц. — Завернись хорошенько в волчью шкуру да глотни еще из фляги. Душа мера: пей сколько хочешь! Ведь мы сегодня не мало отбили вина, которое везли в замок гроссмейстера для угощения его гостей.

— Нет, пить вино в потемках, что проку, —

сказал прозябший и чиркнул по острию своего меча кремнем; искры посыпались на подставленный трут.

Прочие побрели отрывать из-под снега хворост.

Костер вскоре запылал.

— Карл правду сказал, — слышалось замечание, — при огне пить поваднее. Ведь как душа-то разгорелась, теперь бы и рука словно бы расходилась...

— Подбавьте-ка, подбавьте! — слышались возгласы.

— Чего: вина из фляги или хвороста в огонь?

— И того и другого...

Огонь на самом деле стал было потухать, и мокрый хворост только потрескивал и дымился.

Хворосту кое-как нашли и подбросили.

Попойка продолжалась.

— Товарищи, хотите я разниму эту колоду на дрова! — воскликнул заплетающимся языком Фриц и указал рукой на спавшего, засыпанного снегом Гритлиха.

— Сам ты колода, — заметил Карл. — Это,

должно быть, зарезанный человек...

— Врете, вы оба пьяны, стало быть, не разглядите, — заметил один из рейтаров, сам на силу держась на ногах. — Это не колода и не зарезанный человек, а зверь. Дайте-ка, я попробую его копьём: коли подаст голос, мы узнаем, что это такое.

Копье сверкнуло, но владевший им, когда стал направлять свой удар, потерял равновесие и упал, при громком хохоте товарищей.

— Дайте-ка попробую я, — воскликнул Карл и пошел с поднятым мечом на Гритлиха.

«И волос с головы твоей не погибнет без Его произволения», — говорит святое писание.

Это исполнилось над беззащитным юношей.

По лесу вдруг раздались призывные возгласы.

— Сюда, сюда, братцы! Сметайте в них головы мечами, как вениками!

Пьяные рейтары были застигнуты врасплох.

Русские, тоже дозорившие своих врагов,

заметя огонь и отправившись на него, добрались до пирующих, рассмотрели их число, медленно подкрались к ним, захватили почти все покинутое ими оружие и, быстро окруживши их со всех сторон, начали кровавую сечу, заглушая шумом ударов вопли умирающих о пощаде.

В те суровые времена битвы были жестоки — брать в плен не было в обычае.

Скоро снег, орошенный кровью, заалел и земля покрылась трупами.

— Четверо наших и все десять немчинов пали! — сказал один русский воин Ивану Пропалому, рассматривая тела убитых.

— А вот еще живой! — добавил подошедший другой воин, таща за собой полуживого рейтара. — Он хотел было улизнуть, да я зашиб его.

С этими словами он приставил меч к груди рейтара.

Иван остановил его.

— Оставь его, надо его допросить, а то мы и так сгоряча всех перебили, надо хоть двоих оставить в живых для допроса порознь.

— Дело, дело! Ладно, ладно! — поддержали

Ивана остальные дружинники. — Ну, немчин проклятый, рассказывай же, куда вы путь держали и откуда? Тогда мы тебя отпустим, а не то пришибем живо.

Несмотря на угрозы, они насилу могли попытаться у ослабевшего от ран пленника, что он послан был владетельным рыцарем Доннершварцем в погоню за бежавшим из замка Гельмст русским; что старый гроссмейстер фон Ферзен готов уже напасть на них и отомстить им за соседей; что он уже соединился со всеми вассалами своими и соседями и что число их велико.

— А много ли их? — спросил один дружинник.

— Стыдись спрашивать, много ли числом врагов! — возразил Иван. — Мы не привыкли считать их. Узнай только, где они! Теперь не трогайте же, отпустите его, — продолжал он. — Сохраните новгородское слово свято. Ведь он далеко не уйдет. Прощай, приятель, — обратился он к пленнику. — Если увидишь своих, то кланяйся и скажи, что мы рады гостям и что у нас есть чем угостить их; да не прогневались бы тогда, когда мы незваны-

ми гостями нагреем к ним. В угоду или не в угоду, а рассчитывайся, чем попало.

Пропалый отошел.

— Однако огонь-то надобно погасить, а то мы можем преждевременно накликасть на себя кого-нибудь, — заметили оставшиеся дружинники и кинули на догоравший костер раненого.

Через несколько минут он умер в судорожных корчах.

Захватив оружие и одежды вражеские и погнав перед собой коней их, веселой толпой тронулись русские в свой лагерь делить добычу.

Месяц уже побледнел при наступлении утра и, тусклый, отразившись в воде, колыхался в ней, как одинокая лодочка. Снежные хлопья налипли на ветвях деревьев, и широкое серебряное поле сквозь чащу леса открывалось взору обширной панорамой. Заря играла уже на востоке бледно-розовыми облаками и снежинки еще кое-где порхали и кружились в воздухе белыми мотыльками.

Гритлих, или лучше отныне будем называть его настоящим русским именем — Гри-

горий наконец проснулся и открыл глаза. Он не слышал почти ничего происходившего вокруг него в эту ночь. Усталый до крайнего истощения сил, он спал, как убитый. Звуки голосов и оружия, правда, отдавались в его ушах, но как бы сквозь какую-то неясную, тяжелую дремоту, и не могли нарушить его крепкий сон.

Открыв глаза, он огляделся кругом и с удивлением увидел груды мертвых тел, обломки оружия и вившийся к небесам дым потухшего костра и, наконец, свою одежду, всю опущенную снегом.

Он вскоре прозяб, поспешно встал, отряхнулся и не сразу вспомнил, где он и что означает все его окружавшее.

Мысль об Эмме снова появилась в его уме и снова отуманила его. Он понял, впрочем, что каким-то чудом избежал опасности, и благоговейно опустился на колени, забывшись на несколько минут в теплой благодарственной молитве Всеблагодарному Творцу.

Окончив молитву, он пошел далее и, выбравшись из лесу, вскоре оставил его далеко за собой.

XIX

Среди земляков

Зима соткала одежду природы из снега, как из белой кисеи; хлопья его легли на землю тонкими кружевами, солнце увенчивало небо, алмазные блески снежинок сверкали то белыми, то рубиновыми искорками. Лило-вые облака окаймляли небо, а на западе свивались шатром.

Картина полной зимы впервые в этом году развертывалась перед взором: огненные деревья, подернутые серебристым инеем, блистали своей печальной красотой. Особенно сосны и рогатые ели, так величаво и гордо раскинувшие свои густые ветви, выделялись среди белизны снега своим черно-сизым цветом и, не шевелясь, казалось, дремали вместе со всей природой.

Кругом царила тишина, Григорию на пути попадались только белогрудые сороки, да вороны, привольно разгуливавшие по первой пороше, но спугнутые его приближением, они с диким карканьем взвивались на воздух и, уносясь, рябели вдали, мелькая своими крыльями.

Случайно Григорий пошел прямо на русский лагерь.

Чурчила с Дмитрием, услыхав от Пропалого о намерении ливонцев напасть на них, заторопили дружинников идти в поход и, таким образом, предупредить врагов.

Усиленная работа кипела в лагере.

Иван Пропалый первый заметил приближающегося Григория и с изумлением воскликнул:

— Это кто еще выступает прямо на меня?

— На ловца и зверь бежит! — сказал Чурчила, подходя к нему с Дмитрием.

Несколько дружинников бросились было на незваного гостя, но твердая его поступь, смелый добродушный вид, а главное, наказ Чурчилены не трогаться с места остановили их.

Григорий все приближался.

Каким трепетом забилося его сердце, когда он разглядел своих земляков, узнав их по одежде и вооружению, которые еще со времени раннего детства запечатлелись в его памяти. Шишаки, кольчуги, узловатые кистени, в кружок обстриженные волосы, русский язык, еще памятный ему, — все это было перед ним.

Он не мог дойти до Чурчилы, Ивана и Дмитрия, молча ожидавших его. Чувство сладкое, невыразимое, никогда им неизведанное наполнило его сердце, ноги его подкосились, он упал на колени, протянул руки по направлению к лагерю и зарыдал.

«Вот кого искали ливонцы, — подумали про себя Чурчила, Иван и Дмитрий. — Под щитом неба прошел он невредимо сквозь тысячу смертей! Это «русский, это «брат, это «земляк наш!»

Они подошли к нему и, не спрашивая его о роде и племени, открыли ему свои объятия.

Вся дружина приняла его с выражением радостного восторга.

Когда желанный гость отдохнул, утолил свой голод и жажду в кругу близких его сердцу людей, при звуках чоканья заздравных чар и братин, все сдвинулись вокруг него и он рассказал им, насколько мог, о житье-бытье своем в чужой ливонской земле, упомянул об Эмме и умолял спасти ее от злых ухищрений Доннершварца и его сообщников.

Чурчила и многие другие тотчас догадались, кто был этот бесприютный юноша, но

не сказали ему ничего, чтобы не прибавить к свежим ранам новых.

Они обещали ему во что бы то ни стало добыть мечом головы заклятых врагов его и Эммы.

— Куда же ты денешь свою возлюбленную, когда мы выхватим ее из замка, как самую ценную добычу? — спросил его Чурчила.

— Куда?.. Отвернусь от нее и отдам ее возлюбленному! — отвечал Григорий.

— Как бы не так! — возразил Иван. — Это не по-моему. По-моему, так не доставайся никому: расколлот бы ей череп, да и отдал бы ему.

— Вестимо, на что же и добывать ее?

— Кровь да золото, вот что тянет нас на битву, — слышалось замечание.

Григорий молчал, но взгляд его был красноречивее слов.

— Хочешь ли ты идти туда вместе с нами? — вдруг спросил его Чурчила после некоторого раздумья.

— Жизнь и смерть готов я делить с тобой... Но я изгнанник...

— Что же? Ведь мы не в гости пойдем. Ты

будешь только охранять девицу и отражать удары, направленные на нее... Тебе жизнь постыла, мне также, выразительно добавил Чурчила. — А кто за чем пойдет, тот то и найдет. Понимаешь ты меня?

— Да что его спрашивать? Он наш, на Руси родился, стало быть, должен любить с малолетства меч и копье, а не бабье веретено. Разве иная земля охладила его ретивое, — с видимым неудовольствием заметил Дмитрий.

— Братцы! — отвечал Григорий, схватив их за руки, — если бы я был ливонцем и вы бы пришли за мной вести расчет оружием, любо бы было мне потешиться молодецкой забавою. И тогда, Бог весть, чья сторона перетянула бы! Или, к примеру сказать, когда бы я с вами давно был однополчанином и мы пришли бы вместе сюда на врагов, — не хвастаюсь, а увидали бы вы сами, пойду ли я на попятную.

Глаза его, воодушевившись мужеством, загорелись.

— Гляньте-ка, братцы! — воскликнул радостно Прошлый, указывая на Григория, — так и пышет весь отвагой! Я готов спорить на

что угодно, что не кровь, а огонь льется в его жилах...

— Я не договорил еще, — продолжал Григорий. — Чужая земля воспитала круглого сироту и была его родиной, чужие люди были ему своими, и подумайте сами, должен ли он окропить эту землю и кормильцев своих собственной их кровью? Не лучше ли мне на нее пролить свою, неблагодарную? Разве вы, новгородцы, выродились из человечества, что не слушаете голоса сердца?

Многие были тронуты его речью и молчали, внутренне соглашаясь с ним, но со стороны некоторых послышался громкий ропот.

— Брат Григорий, — начал Чурчила после продолжительной паузы. Всякий, кто чувствует в себе искру чего-то... небесного... как бы это пояснить... я красноглаголить не умею, а прямо скажу: кто называется человеком, у того и тут должно быть человеческое.

Он указал на сердце.

— Мы понимаем тебя! — продолжил он. — У нас тут кроется и любовь, и отвага, и жалость, и сердоболие, а кто не чувствует в себе того, тот пусть идет шататься по диким де-

брям и лесам со злыми зверьми. Ты наш! Мы освобождаем тебя от битвы с твоими кормильцами и даже запрещаем тебе мощным заклятием. Пойдем с нами, но обнажай меч только тогда, когда твою девицу обидит кто словом или делом.

Он крепко сжал руку Григория.

— Я ваш! — вскричал последний, обнимая Чурчилу.

— Ну, живо! Радуйтесь, товарищи! Пойдем на коней! Настало времечко на смертное раздолье, — отдал приказ Чурчила.

Не прошло и минуты, как все уже были на конях.

— Не лучше ли напасть ночью, — заметил Дмитрий, — а днем подождать в засаде?

— Нет, не утаим и не схороним славы своей под мраком ночи. Пока дойдем, пока что еще будет, сумерки и спустятся, — возразил ему Чурчила.

— А где же Пропалый? — спросил он, — да еще кое-кто из наших дружинников пропали Бог весть куда?..

Все были уже в сборе, но Ивана и еще некоторых из дружинников не было. Никто

не мог придумать, куда они могли отшатнуться от своих.

Вдруг увидали они небольшую толпу, скакавшую прямо на них.

Сначала они подумали, что это был Пропалый с товарищами, но, взглядевшись, увидали, что это были ливонские рейтары, неприязненно направлявшие на них свои копья.

Русские бросились им навстречу, но вдруг услышали громкий хохот.

Враги подняли свои наличники и русские отступили.

Это был Иван с дружинниками, перенаряженные в платье и доспехи ливонские, отбитые у них в ночную схватку.

— Причудник... ишь что придумал... Теперь ты нам чужак.

— Что, не узнали... это я и хотел узнать. Теперь смело пойду прежде вас в замок Гельмст... Там привольно будет.

— Зачем же ты хочешь идти прежде нас?... Смотри, подстрелят!

— Пойдем к живым на поминки... а вам до этого дела нет... Дождитесь, когда я посвечу вам с башен замка и неситесь скорей докан-

чивать... да помните еще слово «булат».

Сказав это, Пропалый с товарищами повернули коней и ускакали.

— Вперед и мы, товарищи! — крикнул Чурчила, вонзая шпоры в крутые бока своего коня.

Было уже раннее утро. Солнце рассыпало свои яркие, но холодные лучи и играло ими в граненых копьях русских дружинников.

Дружина сомкнулась и тронулась...

XX

Ряженные в замке

Слова Чурчилы сбылись. Уже смеркалось, когда отважные русские дружинники, переряженные рыцарями, приблизились к замку Гельмст.

Близ замка господствовало необычайное оживление; около подъемного моста несколько рыцарских отрядов ожидало спуска.

— Люблю поля вражеские! — воскликнул Иван Пропалый. — Ну, братцы, чур, теперь слушать чутко, глядеть зорко... Если нас не узнают, то мы в одно ухо влезем, а в другое вылезем из замка, а если дело пойдет наоборот, зададут нам передрагу, хорошо, если

убьют, а то засадят живых в холодильник.

Он указал рукой на проруби окрестных озер.

— Что делать?.. На то пошли! Сами вызвались, — слышались ответы.

— Авось, живые в руки не дадимся! — продолжал Иван. — Нас здесь одиннадцать, стоим часок стеной непробивною.

— Вестимо! Однако у них, собак, стены-то несокрушимы: ни меч, ни огонь не возьмет их! — заметил один из дружинников.

— И соседей собралось на подмогу им число не малое... Вишь, каким гоголем разъезжает один! Должно, их набольший! — заметил другой, указывая на одного плечистого рыцаря, который осматривал стены, галопируя около них на статном иноходце.

— Ну, с Богом! Мать Пресвятая Богородица и заступница наша святая София, помогите нам, многогрешным! — с благоговением произнес Иван Пропалый, въезжая в толпу ожидавших рейтаров.

— Здорово, ребята! — приветствовали последние новоприбывших. — Не видали ли вы русских? Говорят, будто они бежали из нашей

земли. Знать, солоно, или вьюжно пришлось им. А впрочем, кто их знает, где они разбойничают.

— Как не видеть! — отвечал Иван. — Мы не мало гнались за ними и общипали у них кое-что из награбленной добычи.

При этих словах Пропалый вынул из-за рукавника серебряную опояску с крупными алмазами, которую он еще ранее отнял у одного рыцаря при нападении на его замок, показал ее своему собеседнику и спрятал снова.

— Хоть и темно, но я и впотьмах всегда увижу хорошую вещь, — произнес рейтар с блеснувшими от зависти глазами.

— А ты от кого же слышал, что русские бежали? — спросил Иван.

— Мы захватили их прежде, да не добились до сих пор никакого толка, а вчера сам пришел к нам какой-то Павел, бывший при их начальнике телохранителем, начальник-то его, видишь, чем-то обидел, ну, он и бежал к нам и взялся навести нас на русское гнездо. Объяснил по приметам, да по зарубкам деревьев, где оно находится. Наши смельчаки ездили разузнавать, правда ли это, и

недавно возвратились и сказывали, что и впрямь там были русские. Они видели на том месте изломанное оружие, а от большого ко-стра вился еще дымок, так что надо полагать, что они недавно покинули это место! — отвечал рейтар. — Видно, трусили, узнали, прой-дохи, что мы на них поднялись, да и всполо-шились.

— А Павла этого, что же вы, чай, притяну-ли за шею...

— Нет, за что же? Он в чести теперь у нас. Завтра, чуть свет, выступят отыскивать бегле-цов... Слышишь, какой говор в замке? Все уже в сборе. Ныне последнюю ночь проведем по-веселее, да и в поход.

Раздался звук рога, возвещавший спуск мо-ста. Цепи благополучно въехали со спущен-ными забралами в широко отворенные воро-та замка Гельмст.

На дворе замка стоял несмолкаемый говор, рейтары ходили толпами: кто держал лоша-диную узду и побрякивал ею, кто вел поить лошадь или уже упившегося своего товарища на успокоение.

Ржание коней, бряцание оружия, расска-

зы, окрики, споры, хохот и брань — все сливалось в странный своеобразный гул.

Иван Пропалый с товарищами поставили своих лошадей в общие стойла и, незаподозренные никем, пошли осматривать замок.

На задней его части, выдававшейся острым утесом в глубокий овраг, огибавший стену, из которой камни от действия времени часто отрывались и падали в глубину, находилось отверстие, из которого дружинники заметили вышедшего человека, окутанного с ног до головы широким плащом, несшего что-то под мышкой; за ним вскоре вышли еще несколько человек, которые вместе с первым прокрались, как тати, вдоль стены.

Иван ощупал это отверстие и нашел в нем железное замерзлое кольцо, вбитое в медную доску. Он насилу приподнял ее и ощупал чугунные ступени, ведущие вниз, хотел только что спуститься, но остановился, услышав сзади голоса, и захлопнул доску.

Притаившись вместе с товарищами в расщелине стены, они стали наблюдать...

Черные тени возвращались, что-то бережно неся на руках, передний поднял доску, и

все они вместе с ношей на глазах дружинников спустились вниз и захлопнули за собой творило.

«Что за дьявольщина?» — подумали с недоумением дружинники.

— Это дело надо разузнать, тут что-то неладно, — решил Пропалый.

* * *

В обширной приемной комнате или рыцарской зале фон Ферзена происходило, между тем, многочисленное собрание.

Стены комнаты были увешаны дорогими козылбатскими коврами, на них висели огромные рыцарские доспехи в полном наборе, производившие на первый взгляд впечатление повешенных рыцарей.

В одном углу стоял стол, покрытый медвежьей шкурой, на которой лежал большой гроссмейстерский жезл, обвитый широкой золотой тесьмой.

В другом углу навалены были горой шлемы, а в противоположном от него углу пылал огромный камин, один освещавший обширную комнату и сидевших за большим стоявшим посередине столом рыцарей.

Стол был весь уставлен вином и грубой закуской, соленой рыбой, копчеными окороками свинины и черствым хлебом.

Попойка была в полном разгаре и шла уже к концу, что было заметно по опустевшим флягам и блюдам, а также по раскрасневшимся лицам рыцарей.

Фон Ферзен сидел среди своих гостей и союзников, молча, с опущенной вниз головой; невдалеке от него находился тоже не принимавший участия в пиршестве, печальный Бернгард.

— Ну, славно попиروвали, так что не осталось теперь чем мух накормить! — сказал один рыцарь и встал из-за стола.

За ним последовали и другие.

— Да что это гроссмейстер повесил голову, как дохлая лошадь? Неужели он так сильно запуган кольчужниками, что и нас, своих защитников, ни во что не ставит, — спросил один рыцарь другого.

— Нет, видишь, он тоскует о пропаже дочери, которая, как рассказывает Доннершварц, бежала с его приемышем-русским на его отчизну.

Спрашивающий рыцарь замолчал, как бы делая вид, что это его не касается, а третий, вмешавшись в разговор, заметил:

— Только-то? А я думал, что уже не ограбили ли его русские?

— Муншенк! — слышался пьяный голос из-за стола. — Подайте мне еще выпить за долголетнее существование храбрых меченосцев во все грядущие века.

На этот призыв откликнулись многие. На столе появились принесенные слугами новые фляги и даже бочонки: пьянство началось с новой силой, и вскоре многие из храбрых меченосцев позорно валялись под столом.

Другие, более крепкие, шатаясь из стороны в сторону, бродили по зале, изрыгая проклятия на русских и угрожая им неминуемой гибелью от славных рыцарских мечей.

Убитые горем фон Ферзен и Бернгард не могли удержаться, чтобы порою не бросить презрительных взглядов на этих, окружавших их, бесстрашных победителей фляг и бочонков.

XXI

За славу, за Эмму!

В столовую вошел Доннершварц и, окинув своими посоловелыми глазами присутствующих, подошел к фон Ферзену.

— Я всем распорядился, — заговорил он сильным басом. — Не бойтесь, мы настигнем их завтра и вдоволь насытим наши мечи русской кровью. О, только попадись мне Гритлих, я истопчу его конем и живого вобью в землю. Дайте руку вашу, Ферзен! Эмма будет моей, или же пусть сам черт сгребет меня в свои лапы.

При этих словах Бернгард вздрогнул и, вскочив с места, схватился было за меч, чтобы наказать хвастуна, но, как бы одумавшись, презрительно смерил его с головы до ног и сел снова.

Фон Ферзен, как бы пробужденный надеждой на отмщение, воскликнул, сверкая глазами:

— О, только попадись он мне: я сам собственными руками разорву его на части. Друзья, верные союзники мои, — обратился он к присутствующим, — я разделяю между вами все свои владения и богатства, добудьте мне Эмму, мою дочь, или проклятого Гритлиха...

О, если бы обоих вместе! Я даже не знаю, что лучше!.. Эмму я люблю всем сердцем и без нее не утешусь... но его... его мне хочется посмотреть умирающим в предсмертных корчах, когда я сам буду по капле выпускать его подлую кровь... О, какое наслаждение! Эмму, повторяю, получит храбрейший! Отомстите же за славу, за Эмму, за меня...

— За славу, за Эмму, за гроссмейстера! — раздались крики, и все повскакали со своих мест, неистово махая обнаженными мечами.

Доннершварц со злобной, язвительной улыбкой посмотрел на Бернгарда. Последний вспыхнул, подошел к фон Ферзену и сказал, обращаясь ко всем:

— Выслушайте меня! Они любят друг друга, разлучить их, значит, убить обоих... Мое мнение: настичь русских, дать битву, захватить Эмму и Гритлиха и...

Бернгард остановился, ему, видимо, тяжело было окончить начатую фразу.

— И что же с ними делать? — слышался вопрос.

— И соединить их! — твердо произнес благородный юноша.

Взгляд фон Ферзена дико блеснул.

Остальные даже отступили от Бернгарда в изумлении...

— И соединить их! — повторил тот, как бы наслаждаясь тем сердечным мучением, которое доставляла эта фраза.

— Замолчи, или я сочту тебя злейшим врагом моим, — сдавленным голосом сказал ему фон Ферзен. — Он всего меня лишил, а ты что предлагаешь мне...

— Бернгард насмехается над фон Ферзеном, — перешептывались рыцари между собой.

— Я бы вырвал с корнем язык его, чтобы он не оскорблял благородного рыцарства! О, я бы сумел научить его уважать и седины, — заговорил было вслух Доннершварц.

Бернгард не дал ему окончить угроз, бросился на него с мечом но, вдруг одумавшись, откинул меч в сторону и, выхватив из камина полено, искусно увернулся от удара противника, вышиб меч из рук его и уже был готов нанести ему удар поленом по голове, но фон Ферзен бросился между ним и Доннершварцем, да и прочие рыцари их разняли и разве-

ли по углам.

После обоюдных угроз поссорившихся и громкого хохота рыцарей над Доннершварцем на тему, что его бьют поленом, как барана, ссора утихла и мир водворился.

Фон Ферзен, ободренный перспективой мести, стал веселее и начал усиленно заливать свое горе вином.

Последнее развязало ему язык. Он начал мечтать вслух, как они завтра настигнут русских и потешат свои мечи и копья над вражескими телами.

— Пленник Павел рассказывал нам, что эти новгородцы — народ вольный, вечевой... Их щадить нечего. Они хоть и богаты, а выкуп от них не жди... разве только нового набега, — заметил один из рыцарей.

— Да, кстати, я вспомнил о пленниках — где они? — произнес фон Ферзен. — Петерс, — обратился он к своему слуге, — вели их ввести сюда, сделаем последний допрос и пора с ними разделаться.

Петерс вышел.

— А что нас остановит пуститься и далее? Мы соберемся еще большим числом и нагря-

нем прямо на Новгород. Государь Московии, поговаривают, сам хочет напасть на него. Тем лучше для нас: мы будем отгонять скот от города, отбивать обозы у москвитян, а если ворвемся в самый город, то сорвем колокол с веча, а вместо него повесим опорожненную флягу или старую туфлю гроссмейстера, пограбим, что только попадетя под руки, и вернемся домой запивать свою храбрость и делить добычу, — хвастался совершенно пьяный рыцарь, еле ворочая языком.

Его речь приветствовали аплодисментами, но один Бернгард усмехнулся и возразил:

— Что-то давно мы собираемся напасть на русских, но, к нашему стыду, до сих пор только беззаботно смотрим на зарево, которым они то и дело освещают наши земли... Уж куда нам пускаться в даль... Государь Московии не любит шутить, он потрезвее нас, все говорят...

— Не верь, не верь, что говорят... Мы сами тебе не верим! — прервали его пьяные крики.

Бернгард обвел присутствующих презрительным взглядом и замолк.

Через несколько минут раздался звон це-

пей, и сторожа ввели в залу изнуренных русских пленников.

Их было шестеро, они были крепко скованы по рукам и ногам и, видимо, с трудом влачили свои тяжелые цепи.

Их выстроили в ряд перед сидевшим за столом фон Ферзенем.

— Вы новгородцы? — спросил их последний.

— Новгородцы.

— А зачем пришли вы к нам?

— Умереть или убить вас.

— Черт возьми, что тут выпрашивать? Скорей уничтожить это русское отребье! Неужели и этих откармливать на свою шею, — громко проговорил Доннершварц.

— Да, пора бы, мы вам не нужны! — отвечали хладнокровно пленники.

Фон Ферзен, которому намек Доннершварца напомнил о Гритлихе и мести, яростно воскликнул:

— Да, конечно, затравим их нашими медведями, потешимся напоследок кровавым зрелищем.

— Не рыцарское это дело, фон Ферзен, —

громко запротестовал Бернгард, — я, по крайней мере, до последней капли крови буду защищать беззащитных.

Фон Ферзен почти с ненавистью посмотрел на говорившего. В зале раздался недовольный ропот, но к чести рыцарей надо все-таки сказать, некоторые, хоть и немногие, присоединились к мнению Бернгарда.

Не желая начинать раздора, фон Ферзен сделал незаметный знак Доннершварцу.

Тот понял его, и на губах его заиграла злобная улыбка.

Пленников увели по приказанию хозяина, а за ними вышел из залы и Доннершварц.

Через несколько минут со двора замка донесся глухой короткий стон другой, третий, до шести раз.

Все догадались, что это значило.

Бернгард в ужасе пожал плечами.

Вздрогнул и сам фон Ферзен.

С самодовольной улыбкой вернулся вскоре в залу Доннершварц, весь обрызганный кровью, и спокойно осушил кубок, словно забыв, какое страшное поручение он исполнил.

Раздался звон колокола, жалобным звуком

раскатившийся по всему замку, означавший полночь.

Камин погасал.

Немногие рыцари, еще державшиеся на ногах, собрались в кучу и стали обсуждать последние подробности предстоящей экспедиции и, чокнувшись, выпили еще и опрокинули свои кубки в знак окончания пира и заседания.

— За славу, за Эмму, за гроссмейстера! — раздавались крики.

— Куда же?.. На лошадей? — спросил фон Ферзен, увидя, что многие расходятся.

— Нет, сперва в постели. Рог разбудит нас, — отвечали ему...

— Так до завтра.

— До утра...

Все разошлись. Фон Ферзен ушел в свою спальню вместе с Доннершварцем.

Бернгард вышел из замка и прошел в парк.

Он сам не мог понять волновавших его чувств... но ему хотелось и плакать и молиться, а главное — быть одному...

XXII

В подземелье

Пока рыцари с усердием и отвагой, достойными лучшей цели, опустошали содержимое погребов фон Ферзена, русские молодцы в рыцарских шкурах тоже не дремали.

— Братцы, — говорил товарищам Пропалый, стоя над загадочным творилом, куда на их глазах скрылась таинственная процессия, — мы взбирались на подоблачные горы и на зубчатые башни, но не платились жизнью за свое молодечество, почему бы теперь не попробовать нам счастья и не опуститься вниз, хотя бы в тартарары? Я, по крайней мере, думаю, что нам не найти удобнее места, где бы мы могли погреться вокруг разложенного огня, да кроме того, мы разузнаем, кто эти полуночники. Лукавый их ведает, что у них на уме? Может, они для нас же готовят гибель!

— Мы готовы, идем хоть на край света! Веди нас хоть туда, куда и орел не нашивал добычи, где конец странствия облаков, мы за тобой всюду, отвечали ему дружинники.

Осторожно подняли они чугунную доску, и ощупью один за другим начали они спускаться в подземелье.

Чутко прислушиваясь на каждом шагу, они медленно спускались все ниже и ниже.

Кругом внизу царила гробовая тишина.

Страшная сырость и спертый воздух затрудняли дыхание.

Наконец они почувствовали под ногами вместо камней сырую землю лестница кончилась. В подземелье было совершенно темно. Вытянув перед собой руки и ощупывая мечами впереди себя, храбрецы двинулись среди окружавшего их могильного мрака.

Мечи рассекали только воздух.

Вскоре, впрочем, один из дружинников встретил своим мечом стену. Шедшие повернули вправо и увидали вдали слабое мерцание огонька.

Дружинники пошли на огонек, и скоро до них стали доноситься голоса людей.

При слабом освещении смоляного факела, который держал один из четырех находившихся в подземелье людей, наши храбрецы, приблизившись к ним, рассмотрели тяжелые своды стен и толстые столбы, подпиравшие закопченный потолок.

За последними скрылись они, чтобы быть

незамеченными до времени и стали прислушиваться к разговору неизвестных. Одного из них, впрочем, они вскоре узнали по голосу.

Это был — Павел.

— Ну, Гримм, теперь все кончено! — говорил он. — Девушка в наших руках... Что же медлит и не идет рыцарь?

— Ты молодец хоть куда, парень не промах, — отвечал Гримм. — Только доделывай начатое, тогда рыцарь наградит тебя...

— Удавкой, как бешеную собаку; знаю я вас... но вот, кажется шпоры... Это он...

На самом деле, другой факел еще более осветил присутствующих в подземелье.

Его нес оруженосец Доннершварца.

За ним шел и сам он, пошатываясь на каждом шагу.

— Ну, что... добыли ли? — рявкнул он, обращаясь к Павлу.

— Наше слово свято, — отвечал тот, указывая рукой на дверь, видневшуюся в глубине, и повел его к ней.

— Ну, Гримм, черт возьми, — ворчал, следуя за ним, Доннершварц, нашел же ты местечко, куда спрятать ее. Видно, ты заранее

привыкаешь к аду...

— Привыкнешь! — лаконически и лукаво отвечал Гримм.

Пропалый подал знак своим, и дружинники погнались за ушедшими.

Павел с шумом отодвинул железный засов. Чугунная дверь, скрипя на ржавых петлях, отворилась.

В низкой, тоже со сводом комнате, отделенной от подземелья полуразрушенной стеной, висела лампада и тускло освещала убогую деревянную кровать, на которой, казалось, покоилась сладким сном прелестная, но бледная, как смерть, девушка.

Шелковый пух ее волос густыми локонами скатывался с бледно-лилейного лица на жесткую из грубого холста подушку, сквозь длинные ресницы полуоткрытых глаз проглядывали крупные слезинки...

Увы! Это был не сладкий сон, а глубокий обморок.

Доннершварц бросил на нее плотоядный взгляд, но приблизившись воскликнул:

— Черт возьми, да это не. Эмма! Это какой-то обглодыш. Жива ли она?

На самом деле Эмма — это была она — исхудала до неузнаваемости. Павел наклонился над лежащей.

— Еще дышит этот живой остов... Она не скоро умрет и здесь, а на свежем воздухе и по-давно... Бабы живучи, а это только с их бабьего придурья...

— Но что с ней сделалось...

— Что?.. Испугал я, как, выманивши ее голосом Григория и схватив в охапку, потащил с собой... Сперва она завопила: — Гритлих, Гритлих, где ты?

— Подожди, с того света он придет за тобой, — сказал я ей. — С тех пор она и не двинулась.

Но Эмма шевельнулась, или, скорей, вздрогнула от холода и сырости воздуха, которым было пропитано подземелье.

Доннершварц, стоявший немного поодаль от кровати и пожиравший свою жертву жадными взглядами, сделал уже шаг вперед с распростертыми, как бы для объятий, руками.

— Не терпится более! — шепнул Пропальный и хотел уже кинуться на него, но у несчастной девушки нашелся другой невидимый

хранитель.

С потолка оторвался тяжелый камень и упал между ней и Доннершварцем.

Негодяй испугался и отступил.

— Перестаньте, благородный рыцарь, — начал Гримм с чуть заметной иронией в слове «благородный», — развеживаться теперь над полумертвой... Что тратить время по пустякам. Она от вас не уйдет. Идите-ка лучше собирать в поход своих товарищей и когда они все выберутся из замка, мы с Павлом перенесем ее отсюда к вам. Вы, проводив рыцарей, не захотите марать благородных рук своих в драке с русскими и вернетесь домой... Там вас будет ожидать Эмма и мы с нашими услугами.

— Да, да, пусть сам черт заступает за нее, но она будет моей, воскликнул Доннершварц. — А теперь я на самом деле пойду, — добавил он, уже дрожа от страха.

Предшествуемый оруженосцем с факелом, он ушел. Гримм с Павлом и двумя подкупленными злодеями остались одни.

— Ну, а мы что?.. Улепетнем тоже отсюда, — заговорил Гримм, когда звуки шпор

умолкли вдали.

— Скоро утро... несподручно... Да еще вот что мне сомнительно: куда девались мои земляки? Я знаю Чурчилу, как самого себя: он не убежит, разве что в другом месте рыскает за добычей, — отвечал Павел.

— А нам что до них? Этого чугунного рыцаря Доннершварца заведем мы в глушь, а там...

Гримм сделал выразительный жест рукой.

— Нет, пусть они уберутся завтра, а мы разгромим кладовые и отправимся в надежное местечко... Ведь мы с тобой одной шерсти, небось, уживемся везде...

— А эту полуживую девчонку похороним здесь! Я не намерен делать угодное Доннершварцу.

— И теперь же! Неужели же дожидаться ее смерти? Может, она еще и за горами...

— А у вас за плечами! — крикнул Иван Пропалый, и бросился на них.

Дружинники последовали за ним.

Павел ускользнул, воспользовавшись суматохой.

Гримм пырнул ножом одного русского, но

сам пал под узловатым кистенем Пропалого. Двое других тоже были убиты.

Побоище кончилось и все умыслы злодеев рассеялись прахом.

— Куда же девался этот искарлотский Павел? — спросил один из дружинников, отирая свой окровавленный меч.

— Поищем и его, но прежде надобно сделать расправу с этой падалью! отвечал Пропалый, указывая на мертвых и шевелившегося посреди них Гримма.

— А, прикинулся! А, кажись, удар был верен, без промаха!.. Чу, отдыхает, силится сказать что-то! — промолвил другой дружинник, наблюдая за Гриммом.

— Возьмите вот тут... у меня за поясом все, что найдете, прерывистым голосом заговорил последний, — только не добивайте меня!

— Эк, что сморозил! Да мы и без того оберем тебя, — заметил Иван, обыскивая его, и, нащупав в указанном месте большую кису, вытащил ее и радостно воскликнул. — Правда, эта собака стоит того, чтобы задать ему светлую смерть!

В эту минуту Эмма очнулась, приподня-

лась и смотрела на всех мутными, но не испуганными глазами.

Иван Пропалый подошел к ней и помог ей встать.

Она продолжала обводить всех диким взглядом.

— Наконец, я умерла! — заговорила она слабым голосом. — Гритлих, ты взял меня к себе!.. Как я рада!.. Как мне хорошо теперь!.. Что жить без жизни!.. Да, где же ты... О, дай мне полюбоваться на тебя...

Она протягивала руки в пространство.

— Нет, ты не умерла, ты жива, красная девица... Мы вырвали тебя у смерти... Вот твои вороги, — сказал Пропалый.

Эмма взглянула бессмысленным взглядом на трупы.

— А они давно уже умерли? Вместе со мной?.. Это вы, батюшка?.. Теперь мы не расстанемся с Гритлихом!

— Да она полоумная, брось ее, что проку возиться с ней! — закричали Ивану товарищи.

— Нет, возьмем ее с собой из этой преисподней. Тут побыть, так и мы заблажим... Да-

вайте-ка на ее место этого старого Кащея! — сказал Иван.

Гримма потащили на кровать.

Он всеми силами выбивался из рук несших его, но, видя, что усилия тщетны, закричал, что есть силы, зовя кого-нибудь на помощь.

— Захмелел, горлопятина! погоди, скоро не так запоешь! — говорил Пропалый, укладывая его и связывая своим кушаком.

Дружинники натаскали обломки скамеек, древков от валявшихся в подземелье копий и, навалив их кучей под постель, зажгли факелом.

Гримм продолжал изрыгать ругательства, но скоро затих, охваченный дымом и пламенем.

— Собаке — собачья смерть! Но куда девался окаянный Павел! — заметил Иван.

— Черт в зубах унес! — отвечали ему товарищи, освещая впереди и около себя все места и неся на руках слабую, безмолвную Эмму.

Они обыскали все обширное подземелье и, бросив поиски, поднялись через другую лест-

ницу в необитаемую часть замка.

XXIII Пожар

В этой необитаемой части замка Гельмстены обвивали полуувядшие плющи, высовывались наружу из полуразрушенных окон; совы и филины летали на просторе и, натыкаясь на огонь факела, который принесли с собой из подземелья русские дружинники, чуть не гасили его и в испуге шлепались на землю.

Эмму положили на пол. Воздух освежил ее. Она стала дышать ровнее и свободнее.

Иван Пропалый, невзирая на сильный холод, окутал ее своим зипуном и, сам не зная, что с ней делать, куда ее девать и куда самим деться, согласился с прочими, что пора действовать.

Они начали подставлять факел к рваным обоям; последние быстро вспыхивали, но вскоре гасли, шипя от сырости.

Видя, что это не действует, дружинники стали собирать горючий материал и, наконец, достигли того, что пламя охватило всю комнату.

— Пора! Чу! Петухи перекликаются. Чай, теперь давно за полночь? Наши продрогнут от холода и заждутся. Пожалуй, еще за упокой поминать начнут, подумав, что мы погрязли в этой западне по самые уши, — заметил Иван, подпаливая последнюю стену.

Все работали усердно, кто шапкой, кто чем попало, раздувая огонь, и скоро пламя широкими языками начало выбивать из окон.

— Авось, теперь не погаснет огонь. Он прожорлив: как разбежится, так не уймешь, начнет метаться во все стороны: любо-дорого смотреть, слышались замечания дружинников.

— Однако, братцы, горячо оставаться в этой жаровне. Выберемся-ка лучше на приволье...

— Братцы, что мучить девицу-то? Кинемте ее лучше в серединку. Не успеет и пикнуть, как уж ни одной косточки в ней не останется, — предложил один из дружинников, указывая на лежащую в полузабытьи Эмму.

— Нет, не тронь, она и так обижена! — сказал Иван. — Душа безвинная восплачется на нас, так Бог накажет.

Еще раз посмотрели они на всепожирающее пламя, длинными языками лезшее вверх по стенам, вышли на волю другим выходом и вскоре по уцелевшей полуразвалившейся лестнице спустились вниз.

Эмма, после их ухода, от действия свежего воздуха ожила, и, как была, в зипуне Пропалого, быстро убежала по стене замка, видимо, сама не зная куда.

Спустившись на двор замка, дружинники натолкнулись на груду изувеченных тел. По одежде и оружию они узнали в мертвецах своих земляков.

«Так вот они, пленники, захваченные ими, о которых говорил вчера рейтар, при въезде в ворота замка!» — подумали русские молодцы.

Распаленные гневом и жаждой мщениия, они начали со своей стороны дикую расправу над встречными-поперечными: как звери, зарыскали они по двору и по замку и рубили сонных служителей.

Задумчиво всю ночь расхаживал Бернгард по стенам замка. В его душе боролись между собой противоположные чувства: то он хотел покинуть зверский замок, где ни мало не ува-

жается рыцарское достоинство, то жадно стремился мыслью скорее сесть на коня и мчаться на русских, чтобы кровью их залить и погасить пламя своего сердца и отомстить за своих.

Вдруг стены и весь замок мгновенно осветились. Огонь, пробившись сквозь ветхую западную башню, засверкал на зубцах ее и далеко отбросил от себя яркое зарево.

Бернгард испугался за Ферзена и бросился скорей будить служителей, но нашел их всех перерезанными, между тем, как из всех соседних комнат до него доносился беспечный храп и носовой свист спящих рыцарей.

— Пожар, пожар! — закричал он изо всей силы.

— Измена! Русские в замке! — крикнул в ответ ему неизвестный, бежавший прямо на него.

Бернгард узнал в нем того русского пленника, которого накануне велел повесить Гримму.

— Я вижу кто! — грозно встретил его Бернгард, одной рукой схватив его за шиворот, а другой приставив меч к его груди. — Кайся,

сколько вас здесь и где твои сообщники, тогда я одним ударом покончу с тобой, а иначе — ты умрешь мучительной смертью...

— Заклинаю вас, благородный рыцарь, увериться в моей преданности к вам! Не теряйте времени, спешите на ту сторону замка, к воротам, там русские в одежде рейтаров Доннершварца. Я узнал их, они как-то прокрались в замок, перебили многих, сбили замки с конюшен, разогнали лошадей ваших и...

— Верны ли слова твои?..

— Да возьмите меня с собой!..

Оба они растолкали кого могли из спящих, стремглав побежали в указанное Павлом место, хлопая дверьми, звуча оружием и неистово крича:

— Пожар, пожар!.. Русские!

«Пожар!.. Русские», — грозным эхо пронеслось по замку.

Проснувшиеся и оставшиеся в живых рейтары и служители бросились во внутренние апартаменты замка, где сладким сном покоились непобедимые рыцари.

— Вставайте!.. Пожар! — кричали они

всем.

— Где? — спрашивали, лениво потягиваясь, рыцари.

— На западной части башни!

— О, до нас еще далеко, — беспечно решили они и перевернулись на другой бок.

— Да ведь русские в замке!..

— В чьем?

— В нашем, в нашем! Уж там дерутся — чу, какой гам!

— Как! — воскликнули они испуганно, и полусонные начали метаться по комнатам.

— Благородный рыцарь, господин повелитель мой, владетельный рыцарь Роберт Бернгард послал меня успокоить вас. Русские вчера обманули стражу нашу и вошли в замок в нашей одежде. Их немного, всего одиннадцать человек. Господин мой с рейтарами уже окружил их гораздо большим числом и просит вас не препятствовать ему в битве, хотя они упорно защищаются, но он один надеется управиться с ними — сказал рыцарям вошедший оруженосец.

— Пусть за ним будет это слово, — вскричали обрадованные рыцари.

— Да мы с малым числом и драться не захотим! — добавил другой, зевая во весь рот.

Доннершварц, как короткий приятель дома фон Ферзен, находился с ним вместе в отдаленной от пожара и битвы комнате замка.

Старик, опечаленный, усталый от нескольких проведенных без сна ночей, выпивший накануне лишнее, спал как убитый, не ведая, что около него спит самый злейший его враг — похититель его дочери.

Ввиду известия, принесенного оруженосцами Бернгарда, что русских немного, что рыцарь Бернгард окружил их, хозяина не стали беспокоить, чтобы он запас более сил к утру, на храбрость же Доннершварца плохо наделись.

Бернгард между тем со своими рейтарами, среди общей паники, наступившей в замке при вести о нахождении в нем русских, среди воплей отчаяния и мольбы о помощи, руководимый Павлом, настиг русских дружинников, убивавших по одиночке наповал каждого из попадавшихся им рейтаров.

Русские пробирались к стене, искали какого-нибудь выхода из замка, чтобы соединить-

ся со своими, когда на них было совершено нападение. Они сомкнулись друг с другом крепко-накрепко, уперлись спинами к стене и, оградившись щитами, устроили стену, решившись, видимо, дорого продать свою жизнь.

Заметнее всех среди сражающихся мелькали меч Бернгарда да узловатый кистень Пропалого.

Но бой был не равен.

Русские падали без подкрепления, тогда как редевшие ряды воинов Бернгарда заменялись новыми.

— Булат! Булат! — кричали русские, в надежде, что их услышат товарищи, но тщетно...

Скоро расходившееся все более и более пламя зажженного ими замка осветило их трупы.

XXIV Гибель Эммы

Огненный флаг, обещанный Иваном Пропалым, был выкинут им с башни замка Гельмст.

Его скоро заметили находившиеся в засаде

в лесу, невдалеке от замка, русские дружинники, предводительствуемые Чурчилой и Дмитрием.

— Сдержал свое слово Пропалый. Вот уж прямо по-молодецки! Славно светит он нам дорогу к замку! Ну, братцы, разом! Промните коней, да и у самих, чай, кровь застоялась, — разнеслись по встрепенувшейся дружине восклицания.

Все было забыто — сон, усталость, самая родина.

Мигом вскочили все на коней и пустились туда, где виднелось громадное зарево. Через рвы и канавы началась скачка; приманками служили слава, золото, раны и смерть.

Подъемный мост был поднят, но русские даже не взглянули на него. Они спешили, спустились в ров и туда же свели своих лошадей. Вода во рве замерзла.

Если бы рыцари заметили движение русских и захотели воспрепятствовать им в переправе, то могли бы очень легко это сделать, так как соскочить в ров было делом нетрудным, а подняться на крутизну его сопряжено было с большим трудом.

Но из замка их не заметил никто и они все благополучно выбрались на ровное место.

— Братцы! — воскликнул Чурчила, — рубите и жгите мост! Во-первых, мы ответим Пропалому на его же языке, на языке огня, а во-вторых, без моста никто из нас не подумает возвратиться назад.

Сказано — сделано. Мост запылал, русская дружина мчалась между двух огней.

— Кто это там на стенах? Переговоры, что ли, вести с нами хочет? сказал один из дружинников, показывая рукой на стены замка.

Все поглядели по указанному направлению и, подъехавши ближе и всмотревшись, увидели ужасное зрелище: Иван Пропалый и его товарищи висели мертвыми на зубцах стен. Головы их были раздроблены, тела изуродованы, свежая кровь шла из ран их.

Насилу узнали их земляки.

Месть закипела в сердцах и взорах их.

Прикрывшись щитами, с гиком ярости бросились они на замок, откуда слышались им смешанные громкие голоса, галоп лошадей и звук оружия.

Задрожали тяжелые ворота под первым

натиском русских.

Рыцари повыглянули на осаждающих из окон и говорили себе в утешение, что врагов малая кучка, что муха крылом покроеет всю шайку, — так ободряли они своих рейтаров, но сами не трогались с места.

Русские кричали им, осыпая окна градом стрел:

— Ну-ка, выходите сюда, железные люди! Что вы головы-то высовываете, как лягушки из воды! Выходите смелей, мы раскупорим вашу скорлупу!

Бернгард, раненный в схватке с дружиной Пропалого, отдыхал в замке, фон Ферзен бросался во все стороны, отдавал приказания одно нелепее другого, так что никто не понимал его и слушавшие только пожимали плечами, глядя на помутившегося умом старика. Доннершварц, празднуя победу над Пропалым и помянув его полной чарой, расхрабрился и выехал на двор, но когда ропот ужаса при новом нападении русских достиг до него, он совершенно обезумел от страха и кричал, что в замке есть надежное убежище в подземелье, куда он и советовал ретироваться. Страх вы-

шиб у него всю память, он забыл об Эмме, Павле и Grimme. Весь замок кружился в глазах его. В эту минуту фон Ферзен схватил за поводья коня его и потащил за собой.

Мимо них пронесся в битву не усидевший в стенах замка Бернгард. Рейтары понеслись за ним, многие спешили и полезли на стены замка защищаться.

Смертный час несчастной Эммы был близок. Это нежное, слабое создание, напуганное столькими ужасами, убитое столькими горестями, лишилось совершенно ума и в отчаянии бегало по саду, призывая своего Гритлиха. Только шум битвы вызвал ее оттуда. Не чувствуя холода, побежала она через двор с слабым остатком памяти и начала искать свою комнату, но огонь охватил уже большую часть замка; хотя она и не нашла ее, но не страшась пламени, полезла с непомерной силой и ловкостью между рыцарями на стены. Легкое покрывало окутывало ее голову, рыцари не узнали ее, да им и не до нее было.

— Кто за мной! — слышался голос Бернгарда, с отвагой кидавшегося отражать русских от разбитых уже ворот, но число его рейтаров

редело, и один оглушительный удар русского меча сшиб с него шлем и оторвал половину уха; рассыпавшиеся волосы его оросились кровью.

Бледный месяц выплыл из-за облаков и уныло глядел на кровавое зрелище...

Волны огня бушевали все сильнее и сильнее и ярко освещали битву, отбрасывая от себя далеко зарево. Со стен замка сыпалась смерть.

Невзирая на это, русские приставляли к ним лестницы и, отражая удары, смело лезли по ним, весело перекликаясь друг с другом.

— Чмокайся, братище, со смертью!.. Лезь прямо на нее!.. Ну, лицом к лицу... Вот так!..

И действительно, иной, пораженный на верхней ступеньке, летел мертвым на землю.

Осажденные обливали своих противников горячей смолой, пускали в них кучи стрел, обламывали сами стены и скатывали их на русских. В дружинников летели горящие головни, град стрел, но они не отступали ни на шаг.

Эмма стояла на стене, недалеко от клоко-чущего пламени, машинально распростерши

руки и обводя всех диким взглядом, наблюдая за каждым взмахом меча, как бы ожидая, что один из них, наконец, поразит и ее.

Григорий, заметивший на щитах некоторых рейтаров девиз Доннершварца, до того времени не участвовавшего в битве, ринулся на них, и скоро меч его прочистил ему дорогу к их начальнику.

Доннершварц, весь залитый железом, подобно другим рыцарям, стоял среди своих телохранителей.

Григорий, наехав на него, поднял наличник своего шишака.

— А, ты захотел проститься со мной, щенок! — заревел Доннершварц. Прощай, кланяйся чертям!

Он поднял свое тяжелое копьё.

— Прощай, вот тебе посылка на тот свет! — возразил Григорий и, предупредив удар, нанес свой.

Копье его вонзилось в бок железного рыцаря; Григорий, переломив копьё, оставил острие его в ране. Доннершварц зашатался, тихо вымолвил свою любимую поговорку и, свалившись с лошади, рухнул на землю.

Григорий тихо отъехал от сраженного им врага, поднял взор свой к небу, и вдруг сердце его наполнилось неописанной радостью.

Его Эмма стояла на стене, молча, сложа руки, и глядела на него пристально, но холодным безжизненным взглядом.

Он, поняв этот взгляд и молчание за ненависть к себе, горько улыбнулся и тихо и нежно назвал ее по имени.

Она встрепенулась, быстро и внимательно посмотрела на него и, вскрикнув, покатилась со стены.

Григорий обмер.

В это время русские проложили себе путь и через стену. Он первый вошел в двери замка и только тогда очнулся.

Первое, что бросилось ему в глаза, был обезображенный, еще теплый труп любимой им девушки.

Григорий упал на него с диким стоном и зарыдал.

Слезы облегчили его, но страшная мысль осенила его и он почувствовал, что отныне укору совести не оставят его до самой смерти.

— Ее поразила моя измена своим кормильцам, она покончила с собой, не вынеся ни злости любимого человека... Что ж, мне остается... умереть.

Он бросился в битву искать смерти.

Вдруг он услышал знакомый голос.

Он взглянул назад и заметил старика, который, прислонясь к стене, один защищал вход через нее в замок. Дмитрий, нападавая на него, вышиб меч из рук его, нанес удар и, перешедши через его труп, соединился со своими.

Григорий узнал этого старца. Это был фон Ферзен. Он подбежал к нему и принял последнее проклятие от умирающего. Это было последней каплей, переполнившей чашу нравственных страданий несчастного юноши. Он как сноп повалился без чувств около трупа своего благодетеля и был вынесен своими на плечах из этого кладбища не погребенных трупов.

Все еще свирепствовавшее пламя освещало уже русские шишаки на стенах замка. Решил победу Чурчила, поразивший насмерть единственного храброго защитника замка,

Бернгарда.

Начался грабеж добычи, а затем попойка победителей, ликовавших весь остаток ночи на дворе догоравшего замка.

XXV

Под Новгородом

— Слава тебе Господи! Вот и Аркадьевский монастырь, вот и Никола на Мостицах, вот Лисья горка, вот Городище, а вот и храм нашей матушки-заступницы святой Софии! — радостно восклицали русские дружинники, возвращавшиеся из Ливонии с богатой добычей и увидевшие издали купола и крыши родных церквей, позолоченные лучами зимнего солнца.

— Господи, благослови наше прибытие, — благоговейно сказал Чурчила, истово перекрестившись. — Сильно бьется ретивое, что-то знаменует это.

— Как жаль Григория, пропал без вести, лилась своей возлюбленной! Где-то мыкается теперь сердечный? Нигде не отыскали мы его! — заметил Дмитрий.

— А больше всего поразило его другое горе, — промолвил Чурчила, когда он узнал, что

отца его, Упадыша, прокляли во всех новгородских соборах. Куда же ему деться, его бедной головушке? Где теперь найдется ему отчизна? Жаль его, жаль!

Скоро многие из воинов могли уже различить крыши своих домов и в восторге спешили окончить путь, погоняя лошадей.

Великий, богатый Новгород развернулся перед их глазами безграничной панорамой, кипел своим многолюдством, и звуки разных голосов достигали уже их ушей, сливаясь с разносимым ветром благовестом к вечерням.

В это время великий князь быстрыми шагами подступал к Новгороду, а передовой отряд его спешил занять Городище.

Чурчила с товарищами уже подъезжал к городу. Вблизи уже показались кресты многочисленных церквей новгородских. Дружинники скинули шапки и набожно перекрестились.

— Стойте, братцы! — сказал Чурчила, осеня себя троекратным знаменем. — Прежде, чем мы придем домой, подумаем, где он у нас будет: на воле или в ратном поле?

Дружинники остановились.

— Вон, прямо-то, по косогору, что-то желтеется на снегу, — заметил Дмитрий. — Я думаю, что это не городки ли уж поделаны для защиты.

— Да, должно быть, что мы с битвы спешаем прямо в битву, — добавил один из воинов.

— Кажись, война у наших закипает с москвитянами; но куда нам деваться, чью сторону держать, куда лететь, на вече или на сечу? задумчиво произнес Чурчила.

— Мы с тобой всюду поспеем, — отвечал Дмитрий. — Пусть голос наш заглушают на дворище Ярославовом — мы и не взглянем на этот муравейник. Нас много, молодец к молодцу, так наши мечи везде проложат себе дорожку; усыпем ее телами врагов наших и хотя тем потешим сердце, что это для отчины. А широкобородые правители наши пусть толкуют про что знают, лишь бы нам не мешали.

— Для земли родной забываю я обиды и для земляков готов всегда держать меч наголо! Однако сделаем привал, чтобы свежими и бодрыми вернуться домой, — сказал Чурчила,

слезая с лошади.

Все спешились.

Кто начал кормить из полы кафтана свою лошадь, кто стал распивать круговую чашу запасного вина.

Вдруг невдалеке от них показались длинные обозы, тянувшиеся из Новгорода и пробиравшиеся на псковскую дорогу.

Дружинники долго недоумевающим взором следили за ними.

— Однако надобно узнать, кто это прокатывает свое имущество? Видно, залежалось оно в сундуках, так хотят его проветрить, — сказал Дмитрий.

— А может быть, везут его припрятать в надежное место от зорких глаз москвитян. Только едва ли удастся что спрятать от них: говорят, они сквозь землю видят, как сквозь стекло, да и чутье у них остро к золу и серебру, — заметил Чурчила.

— Эй, вы, куда едете? На теплые моря, что ли? — крикнули дружинники провожавшим обоз людям.

Те сперва испугались и хотели даже повернуть лошадей, но затем, взглядевшись в кри-

чавших, доверчиво приблизились к ним.

Это были иноземные купцы, ехавшие с товарами в Псков, спасаясь от хищничества москвитян.

Начались спросы-переспросы.

Купцы рассказали дружинникам о новгородских событиях последних дней и о начавшейся войне Великого Новгорода с великим князем Иоанном и добавили в заключение, что до них донеслась весть, что псковские дружины сошлись с дружинами великого князя, а съестные припасы и другое продовольствие подвигаются также к москвитянам и отстоят уже недалеко от них. Новгородские ратные люди покушались было подстеречь их, так как охранных воинов не много, но все еще перекорялись, кому вести их туда.

— Братцы! Метнемся на псковитян пере-
межных, захватим, что можем! Веселей будет
домой въезжать! — воскликнул весело Чур-
чила и тотчас вскочил на лошадь.

Все последовали его примеру.

Обозы тянулись своей дорогой.

Окольным путем, тайком от глаз и ушей, пробиралась неутомонная дружина. Почти на

каждом шагу их стерегла опасность; в виду их разъезжали московские воины, сторожившие вылазки новгородцев.

Это был передовой отряд, посланный занять Городище.

Новгородские удальцы, доехав до известного им оврага, влево от большой дороги, пролежавшей через лес, поскакали по сугробам снега, и, наконец, один из них, приостановясь, слез с лошади, приник ухом к земле и быстро сказал:

— Едут, полозья скрипят по снегу, и не далеко.

Большую дорогу окружили со всех сторон и, выждав псковитян, мигом налетели на них с обоих боков повозок.

Начался грабеж.

Из охранной дружины многие разбежались, а остальные полегли на месте.

— Что, небось, тяжело вам везти поклажи-то свои? Вот мы облегчим их немного, — приговаривали новгородцы, разгружая повозки.

Но вскоре им надоело это, и они, схватив за уздцы лошадей, повели их за собой.

Вскоре они выбрались благополучно из леса на пролеску, под покровом уже нависшего над землей мрака. Опять перед ними расстился Новгород, блестящий огнями.

Ночь уже вступила в свои права.

Дружинники ехали тихо, путеводимые городскими огнями, и скоро окрик сторожевого «слушай», у городских ворот, коснулся их ушей.

Быстро разнеслась молва по Новгороду о возвращении Чурчилы с удалцами.

Толпа молодежи бросилась встречать его; сколько задано было ему вопросов, сколько посыпалось на него рассказов.

Чурчила узнал о бегстве своего отца, но от него скрыли истинную причину и место, где он находится, и старались поселить к москвитянам жестокую ненависть.

Он боялся спросить о своей Насте, но догадливые предупредили его и рассказали, что она никуда не показывается и все проливает горькие слезы от разлуки с ним, а что отец ее, посадник Фома, принуждает ее выйти замуж за одного вельможного ляха, который для нее переменял даже веру.

— Нет, — сказал Чурчила, сверкнув глазами, — венец или гроб сулит мне моя судьба, но при жизни своей злу такому не попустию я совершиться!

XXVI

Единоборство сына с отцом

Ночь спустилась над Новгородом и его окрестностями.

Подобрав в руки свои висячие мечи и чуть шевеля наборными уздами, приближался отряд московской дружины к Городищу. Темнота скрывала следы его, и он скоро достиг места, которое было назначено пунктом атаки, и остановился под прикрытием оврага выжидать глухого времени ночи.

Огоньки мелькали еще перед ними чуть видимыми точками; снег порошил и ложился на доспехи воинов белой тканью.

Воеводы сидели в кружке. Один только из них, маститый старец, отделившись от прочих, стоял, скрестив руки на груди, против Новгорода и, казалось, силился своими взорами пробить ночную темноту.

— И куда этот старик движет столетние ноги свои! — говорил, указывая на него один

из сидевших воевод. — Если и мыши нападут на него, то прежде огложут его, как кусок сыра, чем он поворотит руку свою для защиты. Уж он и так скоро кончит расчет с жизнью. Один удар рассыплет его в песчинки, а он все лезет вперед, как за жалованьем.

— А почему знаешь, чего не ведаешь. Быть может, он первый вышибет победу у врага. Вишь, как идет вперед, а по проторенной-то дорожке за ним всякому идти охотнее.

— Да мы и без него пойдем на Городище, как домой, — возразил третий.

— Вот и последние огоньки зажмурились в Новгороде. Теперь ударим-ка!

— Смелей! — проговорил быстро старик, подходя к ним, и бодро и легко вспрыгнул на коня.

— На коней! Вперед! — крикнули воеводы, и во весь карьер пустились вверх на Городище.

— Ступайте на тот свет, дорога всем просторна! — встретили их голоса, и передние воины, осыпаемые градом стрел, покатались вместе с конями под гору.

— А! Подстерегли, злодеи! — воскликнул

старик и, оправясь от первого отпора новгородцев, разжег нагайкой своего коня и пустил его в самую середину врагов.

Битва сделалась повсеместной.

Москвитян было больше числом, но Чурчила, предводительствуя новгородцами, сохранял равновесие сил, сражаясь в центре.

Меч его сверкал над головами врагов, щит его был перерублен, и он откинул его.

Старик, со стороны москвитян, с ловкостью юноши управлял своим оружием, меч его только вместе со смертью опускался на головы противников, расщемлял и мял крепкие шишаки их.

Чурчила в свою очередь не делал ни одного промаха.

Все воины дрались с остервенением.

Новгородцы не уступали.

Главные бойцы-противники наскочили один на другого.

— Сдавайся! — воскликнул Чурчила, закидывая на спину другого щит свой и направляя на старика меткий удар.

— Я никогда не сдавался и не поддамся никому, — гордо отвечал старик и ловко отбил

удар Чурчилы.

— Так я научу тебя ползать не только передо мной, но еще под ногами моего коня! — с бешенством крикнул новгородский богатырь, и одним взмахом меча своего вышиб меч противника.

— Сдавайся же! — приставил он острие меча к его груди, — а то я проткну тебя насквозь, как воздух.

— Как удастся, повалимся хоть вместе, — отвечал старик, и пустил в него копье, мотавшееся за его спиной.

Копье вонзилось в шею лошади, задрожало в ней, и она, пронзенная, зашатавшись, упала со всадником.

Быстро вскочил Чурчила на землю.

— О, ты не стоишь железа!

Он перевернул свое копье тупым концом и готов был вышибить из седла своего противника, как вдруг раздавшийся вблизи выстрел осветил лица обоих.

Они с содроганием отступили друг от друга.

— Батюшка! — упавшим голосом прошептал Чурчила и выронил из рук меч.

— Сын! — воскликнул не менее пораженный Кирилл. — Это мы с тобой ищем жизни друг у друга?.. Вот до чего нас довела лихая судьба!

Старик всплеснул руками.

Чурчила молчал.

— И ты останешься другом врагов моих? Прежде отрекись от меня! продолжал Кирилл.

— Что же делать, батюшка! Я целовал крест служить Великому Новгороду.

— И быть так! — сквозь слезы проговорил старик.

Вокруг них раздались крики и вопли, кипела битва, но отец, не взирая ни на что, слез с лошади и, возложив крестообразно руки на голову коленопреклоненного сына, благословил его.

— Быть может, мы не увидимся! И я целовал крест Иоанну. Проклятие небес поразит того, кто не исполнит клятвы! Прощай, кланяйся Фоме. Если он одумается, то я охотно готов назвать его дочь моей.

Чурчила плакал навзрыд.

Кирилл тоже.

— Еще прощай!

— А если мы в другой раз встретимся? — спросил Кирилл.

— Тогда уж, конечно, я отклоню меч свой от тебя! — отвечал сын.

Они обнялись и расстались.

Московитяне, между тем, стали брать видимый перевес численностью.

Дмитрий один не в силах был отражать их напора. К тому же какой-то лях, вмешавшийся в число сражающихся, вскоре бежал и расстроил своих.

Смятение в рядах сделалось всеобщим.

Чурчила, расставшись с отцом, бросился на помощь к товарищам, но поздно: он успел только поднять меч, брошенный ляхом во время бегства, и поспешил с ним на помощь к новгородскому воеводе, недавно принявшему участие в битве, и, будучи сам пеший, стал защищать его от конника, меч которого уже был готов опуститься на голову воеводы... Чурчила сделал взмах мечом, и конь всадника опустился на колени, а сам всадник повалился через его голову и меч воткнулся в землю.

— Кто бы ты ни был, храбрый витязь! — радостно произнес воевода, спасенный от смерти, — прими от меня этот перстень вместо талисмана и действуй на меня им по твоему соизволению: все что только не идет против чести и совести, все сделаю я для тебя. Клянусь в том смертным часом своим!

Он сунул в руку Чурчилы перстень.

Последний обомлел: он узнал по голосу спасенного им: это был посадник Фома, отец Насти.

Нравственное потрясение в связи с обилием потерянной крови обессилили его.

Он упал.

На двух щитах понесли его в Новгород.

Новгородцы отступили.

Таким образом Городище было занято московитянами за одну ночь.

Вечером 27-го ноября великий князь подступил к Новгороду с братом своим Андреем Меньшим и с племянником, князем Верейским, и расположился ставками у Троицы на Озерской, на берегу Волхова, в трех верстах от города, в селе Лошанском. Брату своему велел он стать в Благовещенском монастыре, князю

Ивану Юрьевичу — в Юрьевском, Холмскому — в Аркадьевском, Александру Оболенскому — у Николы на Мостицах, Борису Оболенскому — в местечке Соков, у Благовещенья, князю Василию Вере́йскому — на Лисьей горке, а боярину Федору Давыдовичу и князю Ивану Стриге-Оболенскому — на Городище.

Город, таким образом, был окружен со всех сторон, великий князь решил заставить сдаться новгородцев, истомив их голодом.

Псковитяне подвозили к нему, кроме огнестрельного оружия, хлеб пшеничный, калачи, муку, рыбу, медь, и стан его имел вид постоянного шумного пира.

Новгородцы же были лишены всякого продовольствия и голодали.

Только порой смельчаки, предводимые Чурчилой, внезапно делали вылазки из города, врасплох нападали на москвитян и отбивали у них кое-что из продовольствия.

Великий князь знал Чурчилу, знал, чей он сын, и назначил в награду за поимку его столько золота, сколько потянет сам пойманный.

Но сделать это было не легко.

Прерванное обручение

Прошло несколько дней. Был поздний зимний вечер.

Терем степенного посадника Фомы весь горел огнями, пробивавшимися наружу лишь сквозь узкие щели железных ставень.

Ворота были раскрыты настежь. На дворе, под навесом, слышалось фыркание лошадей, лай цепных псов, звон их цепей, беготня прислуги и скрип то и дело въезжающих во двор саней, пошевней, роспусков.

Из экипажей выходили гости и, поднявшись на несколько ступеней крыльца, отряхивались в сенях от снега и входили в приемную светлицу, истово крестясь в передний угол и кланяясь хозяину и гостям.

Приемная светлица, ярко освещенная огнями, была полна разряженными женщинами.

В красном углу, под образом Пречистой Богородицы, были поставлены две небольшие скамьи, обитые голубой камкой.

Они были пусты.

Посредине светлицы стоял длинный стол,

покрытый белой скатертью и буквально лопившийся от разных сладких закусок, оловянных крепкого меда и других яств и пий.

В заднем углу, за толстым обрубок дерева, недвижимо сидел немолодых уже лет мужчина, с широкой бородой, закрывавшей половину его лица. Длинные волосы, широкими прядями спадавшие также на лицо этого человека, закрывали его совершенно, только глаза, черные как уголь, быстрые, блестящие, пристально глядели на поверхность стоявшего перед ним сосуда, наполненного водой.

Это был запах, или кудесник, приглашенный Фомой в его терем, по обычаю того времени, так как без него не мог состояться ни один брак, а вечер этот был назначен для благословения образом и обручения невесты и жениха — дочери посадника Фомы, Настасьи и польского пана.

Кудесник гадал о будущей судьбе их.

Все гости затаили дыхание, смотря на его занятия, глядели на него с суеверным страхом и лишь изредка переглядывались между

собой, покачивая головами, и шептали про себя молитву, считая его действия сношением с нечистой силой.

Вдруг среди невозмутимой тишины кудесник поднял голову, окинул всех своим стальным взглядом и глухо проговорил:

— Кровь на дне!

Лица всех побледнели от ужаса.

— По окончании обряда благословения, вспрысни жениха с невестой водой и от них отлегают всякое зло, и сила нечистая ожжет крылья свои при прикосновении к ним.

Все оживились, воспрянули, точно гора свалилась с плеч у каждого.

Гости изъявили желание скорей видеть невесту, и Настасья Фоминична, по зову своего отца, тихо вышла из боковой светлицы.

Ее мать, сгорбленная старушка, вела свою дочь, сама опираясь на костяной костыль.

Мать с дочерью, войдя в приемную, раскланялись и прошли в красный угол под икону Пречистой, где невеста заняла приготовленное для нее место, продолжая, как и при входе, плакать почти навзрыд.

В это же время в сенях раздались быстрые

шаги, бряцанье мечей и голоса:

— Жених, жених приехал.

Настасья Фоминична так и замерла на своей скамье.

— А, пан Зайцевский! — радостно приветствовал его Фома. — Где же твой дружок?

Зайцевский молча указал на дверь, в которую с надменным видом входил пан Зверже-новский.

Он был одет так же, как и его товарищ.

Невеста сидела неподвижно. Казалось, она жила и дышала как-то машинально.

Началась беседа о новгородских делах, но ее вскоре прервал кудесник.

— Пора! — провозгласил он. — Прежде чем закатится вечерняя звезда, вам должно уже совершить начатое, а то горе, горе послушавшимся.

Сказав это, он окинул всех своим пылающим взором.

Его тотчас подхватили под руки и повели в красный угол, где и усадили рядом с женихом и невестой, чтобы он силой своих заклинаний отгонял от обручающихся вражеское наваждение и охранял их от всякого зла и напа-

стей.

Все по очереди подносили ему сладкие яства и питья, а хозяин — и пенязи на блюде.

Обручение с минуты на минуту должно было начаться, как вдруг в запертые ворота раздался такой сильный стук, что дрогнули стены и окна дома.

Послышался голос со двора и, по-видимому, начались переговоры. Затем все смолкло, но скоро раздался вторичный удар в ворота, и они, пронзительно заскрипев петлями, растворились. Послышались тяжелые шаги, сперва по двору, затем по сениям, а наконец, и у самой двери.

— Кто это так смело и, кажется, насильно ворвался в мой терем? Дорога же ему будет расплата со мной! — сердито заговорил Фома.

Страшно перепуганные гости жались друг к другу, а кто был посмелей, схватились за рукоятки своих мечей.

Быстро распахнулась дверь, и в светлицу вошел атлетического сложения богатырь. Он был весь залит железом, тяжелый меч тащился с боку, другой, обнаженный, он держал под мышкой, на левом локте был поднят шлем,

наличник шишака был опущен.

— Чур нас! Чур нас! — заговорили вполголоса гости, сочтя явление это за сверхъестественное.

— Аминь, рассыпья! — произнес громким голосом кудесник, устремив на вошедшего свои странные глаза.

— Я не дух, а человек, а потому ты сам рассыпешься у меня от этого аминя в пшено, — обратился богатырь к кудеснику, встряхнув в руке свой огромный палашище.

— Что же ты за наглец, — сказал ободрившись Фома, — что незваный ворвался в мои ворота, как медведь в свою берлогу? В светлицу вошел, не скинув шишака своего, и даже не перекрестился ни разу на святые иконы. За это ты стоишь, чтобы сшибить тебе шишак вместе с головой.

— Очнись, Фома! Я больше тебя помню Бога и чаще славлю всех Его угодников, — возразил незнакомец. — С тобой расчет буду вести после, а теперь хочу поговорить с этим паном.

Он указал на Зайцевского.

Последний попятился спиной к стене.

— Я не помню, не знаю, не слыхал и не видел тебя никогда, проговорил он с дрожью в голосе.

— Порази тебя гнев небесный и оружие земное. По крайней мере узнаешь ли ты этот меч, который был покинут тобой в ночь битвы на Городище. Ты первый показал хвост коня своего москвитянам и расстроил новгородские дружины. Этот меч, я сам узнал недавно, принадлежит тебе.

— Если бы ты сказал это мне не здесь, я бы скорее умер, а не снес этого и зажал бы рот твой саблей, я бы изломал в груди твоей этот меч, лжец бесстыдный! — с бешенством заговорил Зайцевский.

Он понимал, что это обвинение для него страшно, так как все проклинали ляха, расстроившего стройные ряды новгородцев и погубившего все дело.

— Лжец, я лжец?! — заревел богатырь. — Смотри, изувер, чье имя вычеканено на клинке?

С этими словами он схватил его за шиворот и потащил на середину светлицы.

— Прими же твое от твоих!

Он взмахнул над Зайцевским его собственным мечом.

— Пощади! — взмолился он задыхающимся голосом.

— С условием, сознайся, что тебе принадлежит этот меч...

— Сознаюсь, только отпусти меня!..

— Еще одно слово, отступишь от Настасьи...

Зайцевский молчал.

— Умри же!..

— Отступаюсь!..

Богатырь выпустил пана, который быстро улепетнул в открытую дверь, куда уже ранее, воспользовавшись переполохом, успел улизнуть Зверженовский.

Фома, услышав признание Зайцевского и увидав его позорное бегство, подошел к неизвестному.

— Я благодарен тебе, храбрый витязь! — сказал он, протягивая свою руку. — Ты вырвал с корнем худую траву из моего поля.

Витязь опустил в руку его перстень.

Фома вздрогнул.

— Больше чем друг — брат! Требуй, по условию от меня что хочешь.

— Добавь к этим названиям имя сына...

Неизвестный открыл наличник.

— Желанный мой, ты жив! — воскликнула радостно Настасья и, забыв стыд девичий, бросилась ему на шею.

— Сокол ты мой ясный! Золотые твои перышки! — заговорила старуха и начала также обнимать его.

Фома соединил руки своей дочери и... Чурчилы.

Нужно ли говорить, что это был он?

XXVIII

Признание посольства Назария

Павел косой, возвратившись из Ливонии, успел только навестить свое любимое Чертово ущелье и перешел соглядатаем к московскому воинству.

Через Павла великий князь узнал о голоде в Новгороде и спокойно ожидал его сдачи, зная, что недостаток в съестных припасах переупрямит новгородцев.

Со стороны осаждавших не было ни одного неприятного действия, они наблюдали только, чтобы ни один воз с провиантом не проехал в город, и, таким образом, осажден-

ные, кроме наступившего голода, не терпели никаких беспокойств, расхаживали по своим стенам, изредка стреляли из пищалей и, сменясь с караула, возвращались к своим домашним работам.

Наконец, 4-го декабря, прибыл в ставку великого князя владыко Феофил с той же свитой, но получив тот же ответ, печально возвратился домой.

В тот же день подступил к Новгороду царевич Данияр с воеводой Василием Образцем, Андреем старшим и тверским воеводой.

Они расположились в монастырях: Кириллове, Андрееве, Ковалевском, на Дерявенице и у Николы на Островке.

Город сжали еще более.

Услыхав о прибытии новой рати, Феофил на другой день прибыл опять к великому князю бить усердно челом.

Иоанн, которому надоела уж нерешительность новгородцев, принял его холодно и сурово спросил:

— Долго ли ты, отец святой, будешь разгуживать из стороны в сторону: я опасюсь, что твоя излишняя приверженность к отчизне не

была бы сродни вреду.

Феофил вздохнул и ответил:

— Государь! Мы признаем истину посольства Назария с Захарием.

Он не в силах был договорить. Его голос оборвался, и он замолк.

— Тем лучше для вас! — сказал улыбнувшись Иоанн.

— Что же ты хочешь от нас теперь, государь? — робко спросил Феофил. Сними осаду и дай нам передохнуть.

— Я хочу властвовать в Новгороде, как в Москве! — лаконически отвечал Иоанн.

— Дай нам прежде поразмыслить об этом. Новгородцы решились пожертвовать своей жизнью за свободу, трудно заставить их повиноваться...

— Ослепленные глупцы! — воскликнул князь. — Да разве они теперь свободны? Разве они не в моих руках!

Феофил удалился, получив три дня на размышление.

Между тем, по наказу Иоанна, прибыло псковское войско и расположилось в селе Федотине и в Троицком монастыре на Варяже.

Затем он приказал своему художнику Аристотелю начать постройку моста под Городищем, как бы для приступа, и скоро мост этот, устроенный на судах, обогнул собой непроходимое место.

Все содействовало успеху Иоанна.

При виде новгородцев его воины приложились к образам под знаменами и, заиграв в зурны, двинулись. Подковы коней их и колеса загремели по мосту.

Все имело вид приступа.

Но вот открылись городские ворота и из них вышел архиепископ Феофил со свитой.

— Возьми, государь, с нас такую дань, какую мы будем в силах заплатить тебе, только не требуй новгородцев к себе на службу и не поручай им оберегать северо-западные пределы России. Молим тебя об этом униженно.

— Когда вы признали меня государем своим, — отвечал Иоанн, — то не можете указывать, как править вами.

— Как же? — сказал Феофил. — Мы не спознали еще московского обыкновения.

— Знайте же, — отвечал великий князь, — вечевой колокол ваш замолкнет навеки, и бу-

дет одна власть судная государева. Я буду иметь здесь волости и села но, склоняясь на мольбы народа, обещаю не выводить людей из Новгорода, не вступаться в вотчины бояр и еще кое-что оставить по-старому.

Феофил опять вышел из ставки и еще потребовал времени на размышление.

Ему дали срок, но заявили, что это в последний раз.

Сама Марфа соглашалась на сдачу города, с условием, чтобы суд оставался по-старому. Это условие служило залогом ее безопасности, но, узнав непреклонность великого князя, снова стала восстанавливать против него народ. Голос ее, впрочем, потерял большую часть своей силы ввиду вражды ее с Чурчилой, боготворимым народом, который называл его «кормильцем Новгорода».

Однажды, под вечер, Дмитрий, шедший к Чурчиле, столкнулся с ним у его ворот.

Последний был одет по-дорожному с на-двинутой шапкой и суковатой палкой в руках.

— Это ты, Чурчила? — сказал Дмитрий. — Куда это?.. На богомолье, что ли, к соловец-

ким отправляешься?

— Как-то зазорно сказать тебе правду-матку, а надобно сознаться, отвечал Чурчила. — Я иду не близко, к тому кудеснику, который нанялся быть у нас на свадьбе. Он говорил мне, что у него есть старший брат, который может показать мне всю мою судьбу, как на ладони, а мне давно больно хочется узнать ее.

— Чуден ты! — улыбнулся Дмитрий. — Люди гадают, сидя в беде, да в несчастье кругом по горло, а ты выплелся из того и другого. О чем тебе-то гадать приспичило?

— Мало ли дум в голове? Слышишь ли, как гудит выстрел в ущелье, как он на чью-нибудь жизнь послан?.. Новгород должен пасть. Если мы решимся умереть за него, на кого покинем женщин и детей? Эта мысль глохнет мое сердце.

— Но не опасно ли тебе одному идти в неизвестное тебе место, к незнакомым людям? Может, они замышляют какие-нибудь козни против тебя?

— Я не зову тебя с собой! — надменно произнес Чурчила и пошел своей дорогой.

— Постой, дай еще словцо вымолвить! —

остановил его Дмитрий. — Что-то сердце мое вещует не к добру. Послушайся совета брата своего названного, останься, или я пойду с тобой.

— Нет, не мешай мне; со мной меч. Так велено, — сказал Чурчила.

Выстрелы издали слышались громче и отдавались звучным эхом, можно было даже различать звуки голосов сражающихся.

Чурчила смело шел далее, миновал луговину, прошел лес.

Перед ним уже виднелась изба, казавшаяся черной кучей на отливе белого снега. Сквозь щели этого полуразрушенного жилища виднелся мерцающий огонек.

Чурчила подошел ближе. Кругом все было тихо, только за избушкой, показалось ему, что кто-то роет землю.

«Уж не мне ли готовят могилу?» — мелькнуло в его голове.

Его внимание привлекло открытое окно: вместо болта мотались у ставня кости человеческих рук.

Он поглядел в окно.

В переднем углу, где обыкновенно у всех

христиан висит лик какого-нибудь святого, что-то было завешено белым полотенцем, запачканным кровью.

«Что бы ни было, что бы ни случилось со мной, — подумал Чурчила — а надобно же войти в избушку».

И лишь только хотел он схватиться за скобку двери, — она сама распахнулась перед ним с жалобным визгом ржавых железных петель.

Послышался стон, словно от лопнувшей струны или от тетивы после спущенной стрелы; огонь в избушке, вспыхнув, погас.

Кругом стало непроглядно темно, но Чурчила, обнажив меч и оцупав им перед собой, двинулся дальше. Вдруг что-то, фыркнув под его ногами, бросилось к нему на грудь, устремив на него зеленоватые, блестящие глаза.

Чурчила ткнул его острием меча; животное издало пронзительный, отвратительный звук и исчезло с хрипением.

В этот же момент около него раздалось шипение и чья-то холодная как лед рука коснулась его шеи, как бы стараясь задушить его.

Чурчила, оторопев было сначала, схватил

эту руку своей так сильно, что та отпала, будто оторванная. Почувствовав нечто около себя, он с силой отпихнул это в сторону, и услышал, как неведомое существо ударилось об пол и что-то посыпалось из-за стены.

— Слава храброму Чурчиле! Раз уж ты выдержал испытание, развеял силу вражескую, теперь тебе опасаться нечего — ты гость мой!

В избушке снова заблестал огонь.

У ее порога стоял старик с льняной бородой и такими же волосами, падавшими на лицо.

— Садись же, дорогой гость! Я давно знаю тебя и давно ожидал к себе. Выпей-ка моего составца: он с дорожки укрепит тебя, — заговорил старик, подавая Чурчиле какую-то влагу в человеческом черепе и вперив в него свои быстрые насмешливые глаза.

— Да это кровь! — отвечал Чурчила, рассмотрев поданное питье, и отстранил от себя сосуд.

— Меньшой брат мой, Семен, сказывал мне про тебя, что ты отважен, а ты, я вижу, что баба трусливая, не решаешься отведать этого составца. Он для тебя нарочно приго-

товлен. Это не кровь, а молоко бешеной волчицы с корнем той осины, на которой удавился Иуда, — заметил старик, снова подавая Чурчиле сосуд.

— Что это, еще, что ли, испытание? — воскликнул Чурчила. — Только я его не хочу выдерживать, — и опять отпихнул сосуд так, что часть жидкости пролилась на пол.

— Выпей же! — произнес грозно старик и подал сосуд прямо под нос Чурчилы.

Чурчила вспыхнул и, выхватив сосуд, бросил его на пол. Часть жидкости попала на одежду хозяина, зашипела и прожгла ее. Одежда задымилась.

— А! Ты хотел меня зельем опоить, прислужник сатаны! — крикнул Чурчила. — Я разгадал твое гаданье, разгадай ты теперь мое: долго ли тебе осталось жить?

Он схватился за меч.

Старик молча погрозил ему и таинственно указал видневшиеся в избе полати, на которых что-то копошилось.

Чурчила взглянул пристальнее и увидел петуха, вытягивавшего шею и машущего крыльями. Петух издал истошный крик.

— Не более двух раз могу я слышать его пение, — проговорил старик. Держи, я дам тебе клык черного быка с красным ухом. Он выдержан в крови летучей мыши, и им можно заклясть любого врага, а самому спастись от притязаний нечистой силы; держи его при себе, а мне дай меч свой. Только остер ли он и гладко ли лезвие его?

— Если хочешь, подставь шею, я попробую на ней, но иначе я не отдам своего меча...

— Я вылощу его еще острее и глаже, и ты на нем прочтешь все, что желаешь знать...

Старик замолчал, пытливо глядя на Чурчилу.

Тот тоже молчал.

Петух пропел в другой раз.

— Чу, второй раз! Третьего крика я не перенесу и прощусь с тобой, отшатнулся от Чурчилы старик. — А я бы мог поведать тебе многое о переменах в Новгороде... о Настасье.

Старик остановился, взглянув на Чурчилу исподлобья.

— Говори, говори, старичок, возьми меч мой, — стал вдруг упрашивать его тот и отдал меч.

Жадно схватил его старик и вдруг крикнул далеко не старческим голосом:

— А, ненавистный человек, наконец-то, ты в моих руках!.. Теперь-то я досыта, нет, — ненасытно начну пить кровь твою!

Он бросился на Чурчилу.

Юноша не растерялся и схватил его за бороду. Борода осталась в его руках. Меч просек ему плечо, но разгоряченный юноша только встряхнулся и схватил своего соперника за горло.

Старик яростно крикнул. На полатах посплышались возня, и четыре рослых, плечистых мужика с кистенями в руках прыгнули на пол и бросились на Чурчилу.

Последний, прижавшись в угол, отбивался от них стариком, которого продолжал держать за горло.

Минуты Чурчилены были сочтены, но в этот миг дверь избышки от сильного удара распахнулась и соскочила с петель. В избу вбежал Дмитрий с ватагой и, взглянув на старика, крикнул ему:

— Павел, полно жить!

Чурчила от этого восклицания вздрогнул,

но не разглядел его, так как голова его противника, снесенная с плеч мечом Дмитрия, подпрыгнула, прокатилась по полу и укатилась в темный угол. Тело через минуту тоже рухнуло.

Петух пропел третий раз — предсказание убитого сбылось.

Семен с остальными злодеями лежали на полу избы в предсмертных корчах.

Дмитрий вывел Чурчилу из избы.

Названные братья обнялись.

XXIX

Свадьба среди боя

Наступил вечер 14-го января 1478 года.

На вече было решено на другой день сдать город Иоанну, если в эту ночь не прекратятся с его стороны неприятельские действия.

Темная ночь спустилась над Новгородом. Московские огнеметы не умолкали и то и дело делали бреши в стенах. Бойницы, строившиеся под надзором Аристотеля, росли с каждым днем все выше и выше перед новгородцами.

Городские стены трещали и распадались.

Чурчила был печален.

Узнав о решении народа сдать город, он напрягал все свои силы, чтобы защитить его: сам наводил стволы огнеметов на москвитян, устраивал крепкие засеки или рогатки, ободрял своих, но тщетно...

Главная, противоположная бойницам москвитян, стена, на которую опирались все надежды новгородцев, осветилась выстрелом, и часть ее, окутанная сизой пеленой сгустившегося дыма, с треском взлетела на воздух.

Для приступа открылась широкая дорога. Как пораженный молнией, остановился Чурчила невдалеке от разрушенной стены.

«Все ли кончено теперь? — мысленно спросил он самого себя, очнувшись. — Для Новгорода — все, но для меня еще только начинается».

Как бы что вспомнив, он ударил себя по лбу и побежал по направлению ближайшей церкви, в дверях которой и скрылся.

К утру 15-го января все готовилось к встрече Иоанна. Весь Новгород был в движении.

В это самое время Чурчила вихрем летел к светлице Настасьи Фоминичны, расталкивая

всех, попадавшихся ему навстречу челядинцев.

Посадник Фома отправился прощаться с вечем. Лукерья Савишна молилась в своей обрванной; везде в доме было пусто и тихо. Девушка была одна.

— Милая, бесценная! Все готово, свечи горят, как наши сердца, перед иконами, налой освещен, едем, едем... Венцы блистают!.. Там, на чужбине, сошьем мы себе гнездышко!.. Здесь, в Новгороде, нет нам родины, нет тебе весны, моей ласточке милой, нежной...

С этими словами Чурчила взял ее в охапку и понес к выходу...

Лукерья Савишна выбежала из своей горницы и, поняв, в чем дело, поспешила за ними.

— Что вы, дети, что вы затеяли? Да слыхано ли, да видано ли венчаться так! Не сказали мне ни слова и помчались. Что-то добрые люди скажут, что единственное детище степенного посадника Фомы Ивановича, Настасья Фоминишна, поскакала венчаться с молодец в одних санях, в одну шубу закутавшись!..

Молодые люди не слыхали ее. Они уже катились в пошевнях далеко от ворот родительского дома.

Оружие московитян гремело почти около той церкви, в которой венчали Чурчилу с Настасьей, но они не дрожали от этих воинственных звуков, а рука об руку, в золотых венцах, обошли троекратно налой, и священник благословил молодых супругов. С чувством неизъяснимого благоговения, с неммым восторгом, наполнявшим их души, упали они на колени и долго молились. Вдруг Чурчила в ужасе вскочил. Раздался звон — мерный, унылый. Точно хоронили кого-то... И, действительно, хоронили... Это были похороны Новгорода, но, вместе с тем, это был радостный звон, благовест русского самодержавия...

Чурчила крепко обнял жену свою и воскликнул голосом полным отчаяния:

— Радость, тоска, солнце, молния, цветы, яд — все это вместе. Отец святой! — продолжал он со слезами в голосе, обращаясь к священнику. — Вот тебе все мое сокровище. Он опустил на руку старца бесчувственную Настасью. — Сохрани ее только для меня. Я вы-

рвал ее из когтей судьбы для себя. С самой судьбой ратовал я и хотел хоть перед концом жизни назвать ее моею. Она моя теперь! Кто говорит, что нет?.. Я сейчас бегу к Иоанну. Если возвращусь с добрыми вестями — поставлю с себя ростом свечку угоднику Божию Николе, а если нет — не дамся в руки живой, да и Настасью живую не отдам. Если же совсем не возвращусь, то отслужи по мне панихиду вслед за благодарственным послебрачным молебном.

Чурчила дико захохотал и стремглав выбежал из церкви.

Московитяне, тщетно ожидавшие покорности новгородской, сомкнулись и пошли на приступ, но в это время городские ворота растворились настежь и в них показалась процессия: архиепископ Феофил с обнаженной головой и с животворящим крестом в руках шел впереди тихим ровным шагом, за ним прочее знатное духовенство со святыми иконами и колыхающимися хоругвями. За духовенством шли именитые граждане и воины. Простого народа, впрочем, было не много — он от страха перед вступающими в город вра-

гами попрятался. Несмотря на движение процессии, тишина была невозмутимая.

Лицо победителя Иоанна было радостно... его окружали довольные лица московских бояр. Новгородцы, не ожидавшие себе прощения, приняты им были милостиво.

Не успел он ответить на слова Феофила о подчинении под державную руку Великого Новгорода, как полы палатки распахнулись, в нее вбежал молодой красивый юноша и бросился к ногам Иоанна.

— Надежда-государь! — сказал он. — Ты доискивался головы моей, снеси ее с плеч, — вот она. Я — Чурчила, тот самый, что надо едал тебе, а более воинам твоим. Но знай, государь, мои удалыцы уже готовы сделать мне такие поминки, что останутся они на вечную память сынам Новгорода. Весть о смерти моей, как огонь, по пятам доберется до них, и вспыхнет весь город до неба, а свой терем я уже запалил сам со всех четырех углов. Суди же меня за все, а если простишь, — я слуга тебе верный до смерти!

Молча выслушал его великий князь.

— Не посмотрел бы я ни на что, — отвечал

ему Иоанн, — сам бы сжег ваш город и закалил бы в нем праведный гнев мой смертью непокорных, а после залил бы пепел их кровью, но не хочу знаменовать начало владения моего над вами наказанием. Встань, храбрый молодец. Если ты так же смело будешь защищать нынешнего государя своего, как разбойничал по окрестностям и заслонял мечом свою отчизну, то я добрую стену найду в плечах твоих. Встань, я всех вас прощаю!

После этого счастливый Чурчила очутился в объятиях отца, с которым тотчас же и помчался за молодой женой.

Феофил от лица новгородцев начал просить великого князя, чтобы он соблаговолил изустно и громко объявить им свое милосердие.

Иоанн встал со своего места и сказал:

— Прощаю и буду отныне жаловать тебя, своего богомольца и нашу отчизну — Великий Новгород.

Пятнадцатого января рушилось древнее вече. Знатные новгородцы целовали крест Иоанну в доме архиерейском и приводили народ к присяге на вечное верное подданство

великому князю московскому.

XXX

Арест вечевого колокола и Марфы Посадницы

Через несколько дней множество московских полков в полном вооружении вступили один за другим в Новгород и окружили вече.

Толпы народа появились около Дворища Ярославова и с удивлением наблюдали за таинственными действиями москвитян.

Ворота Дворища скоро растворились настежь и в них показались пошевни с какой-то высокой поклажей, тщательно скрытой рогожами от любопытных взоров.

Пошевни везло двенадцать лошадей. Их со всех сторон окружали московские воины с обнаженными мечами. Процессия ехала тихо, молчаливо, как бы эскортируя важного преступника.

Но народ догадался, что было скрыто под рогожами.

— Батюшка ты наш! — слышались возгласы толпы: — Не стало, тебя, судии, голоса, вождя, души нашей! Хоть бы дали простить-

ся, наглядеться на тебя напоследок, послушать хоть еще разочек голоса твоего громкого, заливистого, что мирил и судил нас, вливал мужество в сердца и славил Новгород великий, сильный и могучий во все концы земли русской и иноземной. Еще бы раз затрепетало сердце, слушая тебя, и замерло бы, онемело, как и ты теперь.

Вывезя вечевой колокол за городские ворота, один отряд воинов, сопровождавших его, отделился от прочих и снова поскакал в город.

Проехав несколько улиц, всадники остановились у дома Марфы Борецкой, у ворот которого уже стояла московская стража.

Спешившись, воины вошли в огромный двор и нашли его совершенно пустым.

Пройдя двор и несколько запустелых светлиц, достигли они, наконец, наглухо запертой двери.

На стук их никто не откликнулся.

Дружно приложились они богатырскими плечами. Дверь дрогнула и слетела с петель.

Что-то тяжелое, грузное упало на пол.

Это был труп повесившегося на крючке,

вбитом в притолоку двери. Воины узнали в нем пана Зверженовского.

Тело еще не совсем остыло.

Что побудило хитрого ляха на самоубийство, какая драма произошла перед этим в доме Борецкой — осталось тайной.

Воины, оттолкнув ногами труп, пошли далее на слабый свет лившийся из окон горницы.

В ней и нашли Марфу.

Она стояла задом к ним, на коленях перед образом, покрытая черным покрывалом...

Трудно было определить, молилась ли она, раскаиваясь, или же призывала гром небесный на свою грешную голову, прося смерти.

Лампада колеблющимся светом озаряла золотые оклады икон и бледное лицо молящейся женщины. Воинов не смутила эта молитва.

— А, голубушка, полно проводить Бога, как людей обводила бесовским языком своим.

Без слова, без малейшего сопротивления отдалась она в их руки, только глаза ее дико сверкали из-под нависших бровей. Под тяжестью упавших на нее невзгод она лишилась

рассудка.

Господин Великий Новгород склонил свою гордую, увенчанную славой главу под ярмо новорожденной Москвы, под мощную десницу Великого Иоанна.

Ранним утром того же 17-го февраля 1478 года, в монастыре Соловецком, недалеко от церкви, стоял у могильного холма коленапреклоненный юноша, в одежде чернеца и усердно молился.

В нескольких шагах от него беседовали два старца, вышедшие по окончании утрени подышать чистым воздухом зимнего утра.

— Святые отцы, благословите пришествие в мирную обитель вашу бесприютного странника! — прервал говорившего старца раздавшийся за ним голос.

Они оглянулись и увидели перед собой скромно одетого мужчину, с дорожным посохом в руках...

— Да будет благословен приход твой в тихую, безмятежную пустыню нашу, и да обретет душа твоя пристань вечную в недрах святыни и созерцании творений Зиждителя. Да приобретет она себе житием праведным

богатство духовное — успокоение, какое внушает этот юноша, — проговорил отец Авраамий, благословляя пришельца и указывая ему на молящегося. — Но кто ты сам? — спросил он. — Почему покидаешь свет?

— Я бывший гражданин падшего Новгорода Великого, а называюсь Назарием, — отвечал пришедший.

— Как, пал Великий Новгород? Боже праведный, чудны дела твои! воскликнули оба чернеца и, скинув клобуки свои, благоговеино перекрестились!

Назарий рассказал им, как это случилось.

— Кто же этот молящийся юноша? — спросил он, окончив рассказ.

— Это тоже земляк твой. Он, после искуса нашего удостоился пострижения и назван братом Геннадием.

— А прежде как, звали его?

Голос Назария дрожал.

— Григорием...

— Довольно, это он... Я узнал его, — воскликнул Назарий и бросился к Геннадию.

Тот, уже привлеченный рассказом о Новгородской битве был недалеко от него и рас-

крыл ему свои объятия.

— Будь мне новым братом; отчизны я лишился по воле Божьей, а свет покинул сам, но теперь душа моя наливается небесным огнем. Я вымолил себе награду: она уже явилась ко мне и звала меня к себе. Награда моя близко. О, будь и ты счастлив, молись о сладком утешении, которое я уже чувствую в себе, молись о нем одном.

Он крепко сжимал руку Назария.

— Где же обрету я это утешение? Дай услышать мне его, — взмолился Назарий.

Геннадий молча указал ему на слова, высеченные на могильной плите, лежавшей над холмом, у которого он молился.

Назарий наклонился и прочел:

«Приидите ко Мне вси обремененнии и труждающиеся и Аз упокою вас».

XXXI

Послесловие

Наше незатейливое правдивое повествование окончено.

Бросим же общий взгляд на дальнейшую судьбу России под скипетром Иоанна III, справедливо прозванного современниками «Вели-

ким», а нашим известным историографом Н. М. Карамзиным — «первым русским самодержцем».

Новгород пал. За ним последовали остатки и других уделов, присоединенных к Москве.

До Иоанна III Россия около трех веков находилась вне круга европейской политики, не участвуя в важных изменениях гражданской жизни народов.

Орда с Литвой как две ужасные тени заслоняли мир от России и были ее единственным политическим горизонтом. Россия была слаба, так как не ведала сил, в ней сокрытых.

Иоанн III, рожденный и воспитанный данником степной орды, подобно нынешним киргизским, сделался одним из знаменитейших европейских государей и был почитаем от Рима до Царьграда, Вены и Копенгагена, не уступая первенства ни императорам, ни гордым султанам.

Во благо государства он не только учредил единоначалие, ограничив до времени права владетельных князей, чтобы не дать им повода к измене, но был и истинным самодерж-

цем России, заставлял благоговеть перед собой вельмож и народ, восхищая милостью, ужасая гневом, отменив частные права, несогласные с полновластием венценосцу.

Председательствуя на церковных соборах, он всенародно являл себя главой духовенства; гордый в сношениях с царями, величавый в приеме их послов, он любил пышную торжественность, установил обряд целования монаршей руки в знак особой милости, стремился внешне всеми способами возвыситься перед людьми, чтобы сильнее действовать на их воображение, одним словом, разгадав тайны самодержавия, сделался как бы земным богом для россиян, которые с того времени начали удивлять все иные народы своей беспредельной покорностью монаршей воле.

Иоанн III принадлежит к числу весьма немногих государей, избираемых Провидением надолго решать судьбу народов.

Он герой не только русской, но и всемирной истории.

Он явился на политическом театре в то время, когда новая государственная система вместе с новым могуществом государей воз-

никла в целой Европе на развалинах системы феодальной или поместной.

Иоанн разрушил у нас систему удельную.

Тяжелый труд государя сравнительно рано сломил его духовные и физические силы.

Подобно своему великому деду, герою Донскому, он хотел умереть государем, а не иноком.

Склоняясь от престола к могиле, он давал еще повеления для блага России и тихо скончался 27 октября 1505 года, в первом часу ночи, имея от роду 66 лет, 9 месяцев и провластвовав 43 года и 7 месяцев.

Тело его погребли в новой церкви Архистратига Михаила.

Летописцы не говорят о скорби и слезах народа — славят единственно дела умершего, благодаря небо за такого самодержца!



СУДНЫЕ ДНИ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА (Повесть)



*Сие неисповедимое колебание, падение, разрушение великого Новгорода продолжалось около шести недель.
Из Новгородской летописи*

I

На Волховском мосту

Раннее, яркое, уже с живительной теплотой близкой весны, февральское солнце осветило как бы запустелый Новгород.

На улицах, с месяц тому назад еще полных оживления и кипучей деятельности, не было ни одной живой души.

Было 12 февраля 1570 года, понедельник второй недели великого поста.

Второй месяц уже «отчина св. Софии», как звали в то время Новгород, переживала тяжелые дни.

Весь город обвинялся в страшном «государственном деле», измене державному царю.

Царь Иоанн Васильевич тайным походом прибыл 2 января 1570 года в Новгород чинить расправу с крамольниками.

Неумолима была расправа царя, — запустел Великий Новгород.

В описываемое нами раннее февральское утро только на Волховском мосту и близ него по берегу Волхова господствовало необычайное оживление. Но увы, как повсеместно в то время в России, жизнь лишь кипела там, где царила смерть.

Это был исторически-кровавый парадокс действительности.

И на самом деле, со льда реки слышались раздирающие душу стоны и мольбы о помощи, но толпа, стоявшая на мосту и по берегу, безмолвствовала.

Большинство из этой толпы состояло из

опричников, с не менее зверскими лицами, чем те собачьи головы, которые, как знаки их должности, вместе с метлами были привязаны к седлам их коней.

На середине моста был устроен род эшафота, с которого несчастных жертв бросали в полыньи Волхова, в тот год очень большие и частые. Самая большая полынья была как раз под средними городнями Волховского моста.

Чтобы вернее бросать в нее осужденных, и устроили эшафот.

Взводили на него связанных по ступенькам, с навязанными на шею камнями, и стаскивали с высоты.

Вода со льдом расхлестывалась высоко, принимая в лоно свою жертву, опускавшуюся прямо на дно. Случалось, впрочем, что жертвы, в виду неминуемой гибели, боролись, выказывая сверхъестественную силу и, разумеется, только длили свою агонию, делая верную смерть лишь более мучительной.

Иногда, в борьбе за жизнь, жертве удавалось сбросить с шеи камень, и обреченный на гибель выплывал на поверхность, и, держась на воде, хватался за край ледяной коры полы-

нии.

Рассказывали даже про почти невероятное спасение некоторых.

Изобретательность расвирепевших опричников не уставала, впрочем, придумать средства пресечь и для таких героев средства к спасению.

Кому-то из кромешников, при виде выплывающих и вылезавших на лед, пришла адская мысль: сесть в лодку с баграми и рогаatinaми да и доканчивать последнюю борьбу с топимыми.

Сказано-сделано, и вскоре полыньи волховские окрасились алой человеческой кровью.

В кровавых волнах захлебывались жертвы дьявольской изобретательности палачей.

По мосту, меж тем, гнали связанные толпы все новых и новых жертв «царского суда», как громко именовали кромешники свое кровавое своеволие.

Среди этих толп были и женщины, старые и молодые, иные с грудными детьми, плохо прикрытыми лохмотьями своих матерей, боконогие и растрепанные.

С одной такой толпой повстречался, казалось, только что въехавший на Волховский мост всадник.

Это был статный, красивый юноша, в дорогом, хотя и помятом, видимо, от длинной дороги, костюме опричника.

Из-под надетой набекрень шапки выбивались русые кудри шелковистых волос, яркий румянец горел на нежной коже щек, а белизну лица оттеняли маленькие темно-русые усики и шелковистый пух небольшой бородки.

По удивленному взгляду его светло-голубых глаз, бросаемому им на окружавшую его толпу, на высившийся на мосту эшафот, можно было предположить, что он не был участником кровавой расправы своих товарищей с народом, что он только что появился в злополучном городе, где поразившие его сцены уже стали заурядными.

Это первое впечатление было совершенно верно.

Семен Иванов Карасев, по прозвищу «Карась», так звали появившегося на мосту всадника, был отличен царской милостью среди

своих сотоварищей опричников-ратников, он был стремянной царский, чем и объясняется богатство его костюма.

Посланный царем Иоанном в Литву с письмом к изменнику князю Курбскому, он всего несколько дней тому назад вернулся в Александровскую слободу, и, узнав, что царь в Новгороде, с радостью поскакал туда, не зная происходивших там ужасов.

Имелись причины тому, что сердце юноши, где бы ни находился он, оставалось в Новгороде.

Пораженный непонятным ему зрелищем, Семен Карасев ехал почти вровень с густой толпою жертв варварства царских палачей, как вдруг взгляд его упал на одну из связанных молодых женщин, бледную, растрепанную, истерзанную. Черные, как смоль косы прядями рассыпались по полуобнаженной груди. Черты красивого лица были искажены страданиями.

Семен круто повернул коня.

— Аленушка!.. — крикнул он каким-то подавленным от внутренней боли голосом.

В нотах этого голоса, казалось, звучала сла-

бая надежда на ошибку.

Увы, он не ошибся.

Молодая женщина, услышав произнесенным свое имя, вскинула на всадника свои большие черные глаза.

— Сеня, Сенечка!.. — каким-то стоном вырвалось из ее груди.

— Что с тобой? Как ты здесь?.. — подъехал к ней ближе Карасев.

— Оставь... пусть топят... один конец...

— Как топят?.. Кого топят?.. Когда?.. — переспросил он, не веря своим ушам, схватив уже за руку молодую женщину.

— Нас ведут топить... теперь...

— Как?.. Разве душегубство дозволено?.. Что вы сделали?..

— Мы — ничего... а топить ведут нас, как вчера утопили сотни других, как нынче... как и завтра будут топить...

— Да где же я?.. Где все мы?.. Что это, сон, что ли?

— Нет, не сон... в Новгороде мы... на мосту... и с мосту здесь... по грехам людским, безвинных топят, бьют, рубят...

— Татарва, что ли, здесь... где же наши?!

— Не татарва... свои рубят и топят... по цареву, бают, повелению...

— Не может быть!.. Ты с ума сошла!..

— Дал бы Бог, легче бы было!..

— Что говорит она?.. Куда ведут их?.. — грозно спросил он у одного из опричников, гнавших толпу.

Последний хотел огрызнуться, но видя метлу и собачью голову, только оглядел Карасева с головы до ног и отрывисто произнес:

— Не наше с тобой дело спрашивать... Больно любопытен не кстати!..

— Отвечай! — не владея собой и обнажив меч, крикнул Семен дерзкому, и тот, по богатой одежде оценивая значение его в опричнине, неохотно, но ответил:

— Топить... известно! Да ты кто?

— Я царский стремянной Семен Карасев, и таких разбойников как ты, наряженных опричниками, угомонить еще могу...

С этими словами он рубанул его со всего молодецкого плеча.

Как сноп повалился ратник, подскакал другой, но и его уложил меч Карасева.

Гнавшие женщин побежали с криком:

— Измена! Измена!

Крик этот достиг до ушей распорядившегося этой дикой расправой любимца царя Григория Лукьяновича Малюты-Скуратова-Бельского. Он считался грозой даже среди опричников, и, в силу своего влияния на Иоанна, имел громадное значение не только в опричнине, но, к сожалению, и во всем русском государстве.

Григорий Лукьянович пришпорил своего вороного коня, сбруя которого отличалась необычайной роскошью, и поскакал по направлению, откуда раздавались крики.

Одновременно с ним, с другой стороны, скакали на внезапного врага еще пятеро опричников. Семен Карасев с одного удара успел свалить по одиночке троих; удар четвертому был неудачнее, он попал вскользь, однако ранил руку, а пятый не успел поднять меча, как споткнулся с конем и потерял под ударом меча свою буйную голову.

В это мгновение сзади наскочил на Карасева Малюта и кнутовищем ударил по голове храбреца.

Ошеломленной неожиданностью, Семен

быстро обернулся и уже занес тяжелый меч, чтобы перерубить на двое напавшего на него, как Григорий Лукьянович, мгновенно отскочив в сторону, окликнул его.

— Карась!

Сиплый голос Малюты, его скуластая, отвратительная наружность, его космы жестких рыжих волос и, наконец, его глаза, горевшие огнем дикой злобы, слишком хорошо были известны Карасеву, чтобы он тотчас же не узнал грозного опричника и не опустил меч.

— Ты что тут затеял?.. Своих бить? — крикнул Малюта.

— Я бью не своих, а разбойников...

— Я тебе покажу рассуждать... Как смел ты поднять руку на царевых слуг!

— Царь не атаман разбойников... Суди меня Бог и государь, коли в чем повинен я, а невинных бить не дам, пока жив...

— Какие такие невинные?.. Каких тут невинных бьют... Ты не в своем уме, парень... Бьют изменников...

— Нет, Григорий Лукьянович, хорошо слышал я слова этой девушки...

Голос Семена дрогнул, и он рукой указал

на как бы инстинктивно прижавшуюся к его коню, почти лишавшуюся чувств девушку.

— Да и злодей тот, которого уложил я первым, подтвердил, что этих женщин топить вели... В чем повинны они?.. — продолжал Карасев.

Малюта взглянул на девушку, и в глазах его сверкнул какой-то адский огонек.

— Краля-то, кажись, знакомая... Кабы по добру обратился ко мне, наградил бы я тебя, царского слугу, этим сокровищем... Отец ее, Афанасий Горбач, в изменном деле уличен и на правеже сдох под палками, а молодая, видно, сгубила нашим молодцам...

При этих словах Григория Лукьяновича несчастная девушка как-то дико застонала и окончательно лишилась чувств.

Если бы Семен Карасев ловко не подхватил ее и не положил поперек седла, она бы упала на землю.

Занятый этим, он не успел даже ответить что-либо Малюте, но бросил на него лишь взгляд, полный непримиримой ненависти.

Тот же, между тем, продолжал с усмешкой: — А теперь... невинность-то ее разберут

после... Брось бабу, да и меч, оскверненный убийством своих и... следуй за мной. Бери его! — крикнул Малюта подоспевшим трем, четверем опричникам.

— Ну, это погодишь... ее я не отдам, да и меча не брошу... Коли своих бил этим мечом — пусть судит меня царь! Если скажет он, что губят народ по его указу — поверю... А тебе, Григорий Лукьянович, не верю! Погиб я тогда, не спорю и защищаться не хочу... Да и не жизнь мне, коли в словах твоих хоть доля правды.

Размахивая мечом, Карасев не давал к себе подступиться, отваги же броситься под шальной удар при виде убитых уже неожиданным врагом у опричников не хватало.

— Вишь, он рехнулся, Григорий Лукьянович! — отозвался один из опричников. — Пусть идет к царю! — лукаво подмигнул он Малюте.

— Добро, пусть судит тебя царь, любимца своего... — поддакнул Малюта, не думая, что бы горячему Карасеву удалось проникнуть к державному.

Сам он мысленно решил все-таки преду-

предить его и доложить Иоанну Васильевичу все дело предварительно, дабы колючая правда не представилась царю во всем неприкосновенном своем виде.

Озаренный этой мыслью, он повернул коня по направлению к Городищу, где были царские палаты.

Семен Иванов, все с поднятым высоко мечом, тоже выехал из толпы со своей драгоценной ношей.

Окружившие его опричники, казалось, застыли в неподвижности, как бы загипнотизированные видом твердо держимого меча, покрытого кровью, на лезвие которого весело играло яркое февральское солнце.

Съехав с моста, Семен тихо двинулся по пустынным улицам города, думая свою горькую думу и неотводно глядя на лежавшую недвижимо, поперек седла, свою невесту, дочь именитого новгородского купца, Елену Афанасьевну Горбачеву.

II

Начало судных дней

Описанные нами в предыдущей главе душу потрясающие сцены, имевшие место у

Волховского моста, явились как бы финальными картинами той кровавой драмы новгородского погрома, разыгравшейся в течение января и февраля месяца 1570 года в «отчине Святой Софии».

Но еще месяца за два до наступления «судных дней» люди новгородские уже чувствовали сгустившуюся атмосферу, уже ожидали надвигающуюся грозу.

В начале ноября 1569 года в Новгород прибыл посланец царя — опричник, имя которого уже было заклеяно в России презрением и ужасом, Григорий Лукьянович Малюта-Скуратов.

Именем царским новгородский воевода был потребован ко владыке, где уже сидел Малюта со своими приближенными опричниками.

Воевода явился вместе с представителями города.

Вслед за ним собрались конецкие старосты и бояре владычные.

Григорий Лукьянович встал и сказал:

— Господа власти, идемте к святой Софии. Там я доложу волю государя нашего, великого

князя Ивана Васильевича.

Слова эти всех озадачили. Что бы это значило? Какие новости в храме святой Софии поведает грозный посланец царский.

— Глянько-те, идем мы, а за нами кибитка едет с опричными людьми и со стрельцами, — говорили друг другу новгородцы, идя в собор.

Перекрестившись, вступили все они в святое место. У многих сильно почему-то забилося сердце. Не даром молвит пословица: «ротивое-вещун».

— Все ли здесь? — зычным голосом окликнул Малюта, когда толпа сановников остановилась под куполом храма.

— Все!

— Андрей и Семен, делайте свое дело! — крикнул Григорий Лукьянович, и двое стрельцов, выступив вперед, пошли на солею перед царскими воротами.

Один из стрельцов влез по приставленной к иконостасу лесенке и стал отдергивать гвоздики у ризы на иконе Богоматери.

Во храме все стихло, затаило дыхание.

— Готово, государь Григорий Лукьянович!

Повели взымать кому ни на есть! — крикнул стрелец, отогнув край иконной визы и спустившись на землю.

— Господа власти и лучшие люди новгородские, — обратился Малюта к представителям города, — Государь и великий князь Иван Васильевич повелел избрать между вами мужа, кому вы доверяете, для одного дела... Назовите мне этого избранника вашего!..

Поднялся шепот и после непродолжительных пререканий выдвинули старосту Плотницкого конца, мужа именитого, пользовавшегося общим почетом в городе — купца Афанасия Афанасьевича Горбачева, по народному прозвищу Горбача, седого, благообразного старца.

— Изволь-ка ты, почтенный, влезть по лесенке к иконе Богородицы, к Знаменью, — обратился к выборному Малюта.

Тот повиновался.

Остановясь наравне с иконою, он вопросительно посмотрел на Малюту.

— Заложил руку под ризу, где отогнуто, и поищи: нет ли между иконой и ризой чего ни на есть, а буде ущупаешь, вынь и давай сюда.

Слова эти прозвучали в никем не нарушаемой тишине. Казалось, никто не смел дохнуть в напряженном ожидании. Взоры всех были устремлены на икону и на выборного.

Последний запустил руку за ризу и вынул оттуда бумажный столбец! Это было дело одного мгновения.

Степенно, со столбцом в руке, сошел он с лесенки и, подошедши к Малюте, подал ему.

Григорий Лукьянович развернул свиток и, возвратив доставшему, велел читать громко вслух.

Удивление слушателей росло с каждым новым словом никому неведомых условий, заключенных будто бы с королем польским Жигмонтом о предании ему Великого Новгорода и о призвании на княжество под его королевской рукой князя Владимира Андреевича.

— Совсем это неподобное дело... — прошептал про себя Афанасий Афанасьевич и бросил свиток.

— Читай! — крикнул с яростью в голосе Малюта. — Не кончил еще... не все...

Горбачев стал читать снова. Начался длин-

ный перечень подписавших. При произнесении своего имени каждый из присутствовавших невольно вздрагивал.

— Слышите?.. Что скажите? — зарычал Малюта, когда чтец кончил.

В церкви все безмолвствовало.

— Посмотрите поближе подписи, похожи ли на ваши? — спросил Григорий Лукьянович.

— Я не писал, а подпись свою по сходству отрицать не могу и не смею... — отозвался первый Горбачев.

То же сказали и остальные.

— Воровски это сделано, милостивец, воровски!.. — объяснили все хором.

— Воровски?.. — повторил Малюта. — Стало быть, подлог подозреваете?.. Изрядно... Представим государю, что здесь было... и воровство укажем... несомненное, да получим приказ, что дальше делать. Перед вами все было, мы тут не причем...

Малюта направился вон из собора, унося с собой найденный столбец.

Вечером в этот же день он увез с собою связанного софийского ключаря, ничего не су-

мевшего ответить на вопрос, как очутился за иконой столбец.

Наступила для новгородцев пора томительного ожидания, чем разрешится вопрос о найденном и какими-то неисповедимыми судьбами попавшем за соборную икону приговоре, доказательстве огульной измены целого города.

Никому и не приходило в голову, что это дело рук любимца царя, Малюты Скуратова, и его клеветы, бродяги Петра Волынца.

Со дня на день паника ожидания возрастала. Из Александровской слободы стали, между тем, доходить далеко не утешительные вести. Пришло известие о смерти князя Владимира Андреевича и его супруги, княгини Евдокии, родом княжны Одоевской.

Готовящаяся гроза стала несомненна.

Наконец 2 января передовая многочисленная дружина государева вошла в Новгород, окружив его со всех сторон крепкими заставами, дабы ни один человек не мог спастись бегством. Опечатали церкви, монастыри в городе и окрестностях, связали иноков и священников, взыскивали с каждого из них по

двадцати рублей, а кто не мог заплатить сей цены, того ставили на правеж: всенародно били, секли с утра до вечера. Опечатали и дворы всех граждан богатых; купцов, приказных людей оковали цепями, жен и детей стерегли в домах.

Царствовала тишина ужасная.

Никто не знал ни вины, ни предлога сей опалы.

Ждали прибытия государева.

Ужас горожан, увеличивавшийся с каждым новым распоряжением, предвещавшим незаслуженную, а потому и неведомую грозу, достиг полного развития со вступлением в слободы еще тысячи опричников, когда царь остановился на Городище.

Чуть брезжился дневной свет в праздник Богоявления, когда владыка Пимен со всем духовенством пошел крестным ходом на встречу самодержцу, при звоне всех колоколов в городе.

На Волховском мосту приблизившийся к государю владыка остановился служить соборно молебен о благополучном государевом прибытии. Чинно совершено было богослуже-

ние. Смиренно подступил владыка со святым крестом к Иоанну, как вдруг, отстраняя от себя крест, царь грозно крикнул архиепископу:

— Злочестивец, в руке твоей не крест животворящий, а оружие убийственное, которое ты хочешь вонзить нам в сердце. Знаю умысел твой и всех гнусных новгородцев; знаю, что вы готовитесь предаться Сигизмунду-Августу. Отселе ты уже не пастырь, а враг церкви и святой Софии, хищный волк, губитель, ненавистник венца Мономахова. Ступай в храм!

От ярости царь не мог более говорить и лишь рукой указал по направлению к собору.

Как тени, беззвучно двинулись туда ряды духовных, с архиепископом во главе.

Много горячих слез было пролито у искренно молящихся в соборе во время литургии; не дошла, видно, только до Создателя молитва о миновании чаши гнева царского.

Звук грозных слов царя архиепископу успел несколько затихнуть в ушах и умах трепетавших служителей церкви к концу мирно совершенного богослужения.

Начали уже надеяться, авось этой вспыш-

кой на мосту и пройдет зло софийского доноса.

Государь из собора пошел в архиерейский дом к обеду.

Гости сели за стол.

Владыка робко, но внятно, прочел молитву.

Стали обносить блюда по рядам столовавших, по чину.

Отведали крепкого меда софийского бояре московские, и, поглядывая издали на государя, стали перекидываться словами, как вдруг опять мрачнее грозовой тучи поднялся с места Иоанн.

Он увидел, что владыке подали чашу и он собирается ударить челом государю на отложение гнева царского.

— Бери его, — крикнул державный крошеникам, и через мгновение лютые исполнители умчали из палаты преосвященного.

Тут же были схвачены бояре и дворяне, софийские духовные власти и вся прислуга владычная.

Царь с царевичем Иваном уехали на Городище.

Одни бояре московские остались доканчивать обед.

Опричники-ратники только и ожидали окончания трапезы. Едва разъехались бояре, как начался грабеж палат архиепископских и даже монашеских келий.

Из софийской церкви взяли ризничью казну, сосуды, иконы, колокола.

Обнажили и другие храмы в богатых монастырях.

Жители Новгорода в паническом страхе попрятались в дома свои, а иные даже покинули жилища и бежали в ближайшие леса. Последние, как мы видим, избрали благую долю.

Совершившиеся насилия были только началом конца.

III

Царский суд

Через несколько дней открылся невиданный в истории суд.

На Городище, на улице, наскоро было устроено возвышение, с престолом для царя и креслом для царевича Ивана.

Возвышение это было обито сукном цвета

пурпура. Вокруг этой эстрады разместились густыми рядами московские бояре и опричники, оставив широкое пространство для приближения к возвышению.

У его ступенек стояли столы приказных и дьяков, на обязанности которых лежало записывать показания приводимых к допросу новгородских обывателей и обывательниц, якобы прикосновенных к делу.

Григорий Лукьянович, стоявший во главе новгородских розысков, только что оправившийся и хотя все еще сильно страдавший от ран, полученных им от крымцев при Торжке, проявил в этом деле всю свою адскую энергию и, нахватав тысячи народа, что называется «с бору по сосенке», захотел окончательно убедить и без того мнительного и больного царя в существовавшем будто бы заговоре на него целого города, скопом, раздув из пустяков «страшное изменное дело».

Розыски, впрочем, не привели ни к чему, никто на допросах, несмотря на пытки и истязания, не сознался в преступлении, которого и не существовало.

Следователь Малюта был поставлен в за-

труднение, но недолгое для его хитрого ума.

Он стал убеждать Иоанна, не чуждого, несмотря на свой высокий ум, предрассудков своего времени, в существовании в деле колдовства, которое осветило души новгородцев нечистой силой.

— Удалось мне, державный, захватить до десятка баб ведуний, докладывал он царю, — всячески склонял я их к признанию, священников заставлял их отчитывать, святою водою кропить... не поддаются чары дьявольские... упорствуют проклятые, слова не добьешься от них... А может, духовные тоже осенены, так молитва их и не действует... Разве только лично ты, государь, поборешь словом да светлым взглядом твоим силу дьявольскую... — заключил хитрый доносчик.

Царю, видимо, понравилась эта уверенность в его победе над врагом человеческим.

— Так ты ведуний этих поставь мне на суд с первоначалу! — решил Иоанн, поддавшись лести и уверенный, что царское слово разрушит чары и заставит говорить правду.

Дело Малюты было сделано, царь придет в исступление от молчания захваченных баб, а

молчать они будут поневоле, так как отрезанны у них по приказанию Григория Лукьяновича языки — не вырастут.

Суд царский, значит, состоится, достойный его кровавого инициатора.

На этом и был построен весь план страшной трагедии, данной в Новгороде 8 января 1570 года.

Мрачно начался этот роковой день.

Уже совсем рассвело, когда духовник Иоанна вошел в божницу государеву, прервав чуткий сон царя, только под утро забывшегося в легкой дремоте.

Всю ночь не сомкнул глаз державный повелитель земли русской; думы, одна другой мрачнее, неслись в царственной голове и терзали сердце, вызывая в душе ряд кипучих сомнений.

С одной стороны, ум Иоанна не допускал возможности поголовного отрицания чего бы то ни было, даже вины, а между тем Малюта говорил ему именно это. Рождался таким образом вопрос: «была ли вина»?

С другой, суеверие царя наполняло его мозг страшными картинами дьявольского на-

важдения, колдовства; картинами, навеянными на него хитрым любимцем.

Являлось решение: «побороть силу дьявольскую».

В этой-то борьбе с самим собою провел государь мучительную ночь накануне назначенного утра «царского суда».

Была минута, когда государь совсем уже решил бросить новгородский розыск, положить на совесть обвиняемым смутное сплетение мнимых ветвей заговора, выпустить Пимена и всех заключенных, да и ускакать, не оглядываясь, в Александровскую слободу.

Отравление брата, вина которого представлялась порой измученной совестью царя далеко не доказанной, сильно повлияло на такое направление его мыслей.

Это было на рассвете, и с этим решением Иоанн забылся чутким утренним сном.

Прерванный приходом духовника, он не укрепил царя, а напротив, привел в еще более раздражительное состояние нравственно убитого венценосца.

Вслед за духовником вошел в опочивальню царя Григорий Лукьянович и, воспользо-

вавшись царским настроением, стал снова возводить гору обвинений на попов, монахов и властей новгородских. По его словам, они покрывали знахарей и ведуний, которые, под видом юродивых, беспрепятственно расхаживали по городу и предсказывали народу, что под правлением князя Владимира Андреевича и под покровительною сенью ляшского господства окончатся все беды новгородские, что всюду будет довольство и обилие, вместо теперешнего упадка и скудости, вызванных рядом неурожайных лет.

Попы, монахи и власти, по словам Малюты, внушали своим пасомым и подначальным верить этим предсказаниям.

Мысли царя, под влиянием речей Малюты, снова поколебались; это окончательно лишило сил болезненно возбужденный организм Грозного.

Ум его в таком состоянии делался способен на одни лихорадочные скачки и легко приходил к самым нелогичным выводам, поддаваясь попеременно паническому страху и гневному раздражению.

Бледный, с горящими дикой яростью гла-

зами, выехал Иоанн на место «царского суда», конь-о-конь с царевичем Иваном, сопровождаемый блестящей свитой московских бояр и опричников.

Сойдя с коня, государь, опираясь на руку сына, поднялся по ступеням и, подойдя к своему престолу, остановился, обернулся к народу, несметными толпами окружавшему место «суда», и сказал:

— Новгородцы! Приступаю к суду над крамольниками... не кладу опалы на невинных... Горе тем, кто вздумает запирачься и не отвечать по совести, о чем спросят его... Я сам выслушаю все... Не допущу крамолы; казню нечестие... Не обманет меня упорное отрицание или молчание!.. Толикое зло вызовет злейшую кару...

Голос царя дрожал от волнения, но был звучен и полон гнева.

Кругом у подножия царского престола царила мертвая тишина.

Народ в толпе инстинктивно жался друг к другу. Многие любовались зрелищем царского величия, не понимая рокового значения происходившего.

Царь воссел на престол. По правую руку его сел в кресло царевич. По левую встал Григорий Лукьянович Малюта-Скуратов.

Лицо последнего было страшнее обыкновенного от игравшей на его толстых чувственных губах улыбки злобной радости.

Взглядом какого-то дьявольского торжества обвел он кучки связанных мужчин и женщин, стоявшие невдалеке от столов приказных, и взгляд этот сверкнул еще более, встретив в одной из этих кучек благообразного, видимо, измученного пыткой и поддерживаемого своими товарищами по несчастью, старика с седою, как лунь, бородою и кротким выражением голубых глаз, окруженных мелкими морщинками, но почти не потерявших свежести юности.

Эти две пары глаз, дышавших совершенно противоположными качествами, встретились, но взгляд старика не выразил гнева, а в нем скорее появился немой укор человеку, радующемуся его несчастью.

Этот старик был уже знакомый нам староста Плотницкого конца Великого Новгорода, Афанасий Афанасьевич Горбачев.

Связанный в одной кучке с остальными старостами, он ждал «царского суда», готовясь излить перед державным судьей всю боль своей измученной души, но с ужасом чувствуя, что физические силы его от перенесенных пыток все более и более слабеют.

Между тем, к столам дьяков и приказных подвели толпу связанных баб, числом более двадцати.

— Вот они, ведуньи-то, государь! — шепнул царю Малюта.

Иоанн бросил на них гневный взгляд, но тотчас же отвернулся. Царевич Иван в ужасе отвернулся еще ранее.

На самом деле, бледные, почти посинелые лица, дикое выражение глаз, свороченные в сторону, как бы в судороге, рты, включенные, выбившиеся из-под повойников седые волосы, смоченные кровью, вывернутые в пытке руки, скрученные сзади, — в общем представляли ужасную, неподдающуюся описанию картину.

Подведенные к возвышению, несчастные бросились на колени всей толпой.

Их подняли за веревки.

Один из дьяков зычным голосом сделал перекличку по именам связанных женщин и задал общий вопрос:

— Как вы, забыв страх Божий, предались духу злобы и колдовством возбуждали народ к отложению от державного, законного царя...

Женщины закачали в ответ головами и замахали руками.

Григорий Лукьянович снова наклонился к государю:

— Вот и все так... машут руками, а слова не проронят ни единого.

Иоанн встал и гневно крикнул.

— Отвечайте!.. За упорство и заpiresательство — смерть!.. Говорю напоследок...

Женщины снова замахал руками и издали какой-то дикий стон, похожий на животный вой.

— Ишь как нечистый-то в них воет! — заметил на ухо царю Малюта.

Нервная дрожь пробежала по телу присутствовавших, даже «поседелых в приказах» дьяков, а у многих бояр дыбом поднялись волосы.

Среди наступившей гробовой тишины раздался сильный голос Малюты, одного с кровавым восторгом созерцавшего эту сцену:

— Отвечайте или готовьтесь к смерти!

Еще более дикий вой был ответом на слова изверга.

Иоанн нетерпеливо махнул рукой.

Толпу женщин увели и на их место выдвинули другую, состоявшую из связанных священников и монахов.

Вновь началась перекличка.

— Аз! — слышалось из толпы при произнесении каждого имени.

Допрос и этой толпы не привел ни к чему.

Все священники и монахи упорно отрицали, что покровительствовали колдовству и науцали баб предсказывать лучшие времена при перемене правления.

— Николи мы ничего не знали и не ведали... — хором отвечали они на расспросы дьяков.

— Вишь, государь, как осатанились они, упорствуют да и на поди, даже перед твоими царскими очами... — заметил Малюта.

Царь, удрученный результатом допроса ве-

дуний, воочию разрушившим его горделивую мечту о том, что он, представитель власти от Бога, в торжественные минуты праведного суда, могучим словом своим, как глаголом божества, разрушающим чары, может дать силу воле разорвать узы языка, связанные нечистым, теперь пришел в уме своем к другому роковому для него решению, что «царь тоже человек и смертный», и эта мысль погрузила его душу в состояние тяжелого нравственного страдания.

Его совесть раскрыла перед ним длинный ряд поступков, несогласных с идеей правосудия, но допущенных им в минуты слабости.

Он тяжело дышал, глаза его налились кровью.

— Кайтесь!.. — громовым голосом воскликнул он.

— Помилосердуй, государь, ни в чем неповинны мы, холопы твои! отвечали связанные, упавши на колени.

— Упорство... на правож... — простонал уже Иоанн с пеной у рта...

— Всех на правож?.. — полувопросительным, полурешающим тоном крикнул Григо-

рий Лукьянович.

Царь встал с престола и зашатался.

Его поддержал с одной стороны царевич, а с другой Борис Годунов, стоявший рядом с креслом последнего.

У Иоанна в эту эпоху проявление ярости всегда влекло за собой ослабление, сопровождавшееся зачастую припадками, перед началами которых изверг Малюта искусно успевал испрашивать у царя самые жестокие приказания.

— Всех!.. — выкрикнул Иоанн, повторяя первые слова своего любимца и смолк, почти лишившись чувств, на руках бояр и опричников.

— Не изволишь ли, государь-родитель, мало-мальски отдохнуть... освежиться?.. — спросил отца царевич.

Царь не прекословил.

Шатаясь, поддерживаемый сыном и приближенными, он направился к саням.

— Всех на правож! — уже властным тоном повторения царева приказания снова крикнул Малюта, один оставшийся на возвышении после отъезда Иоанна.

Так ли истолковал он повторенное лишившимся чувств царем его слово?

Из сотен грудей связанных жертв вырвался тяжелый стонущий вздох, от которого не только дрогнули все присутствующие, но и сама земля и камни, казалось, повторили этот вздох, поднявшийся высоко к небесам, так как кругом никого не было, кроме мучителей.

Народ в ужасе разбежался.

Царь тоже не слышал этого вздоха, он уже входил в свои палаты.

Та же мысль о человеческой немощи, пришедшей и царям, пришедшая ему во время суда, тяжелым гнетом давила мозг Иоанна.

— Может ли устоять воля, даже укрепленная верою, перед началом зла, когда злу этому и я, помазанник Божий, против воли поддаюсь в мгновенья слабости? — продолжал он развивать эту мысль.

Он прошел прямо в свою опочивальню.

— Укрепить и просветить этот мрак может лишь благодать... Испросим ее в молитве...

Самодержец в умилении повергся ниц пред иконами и стал горячо молиться.

Окончив продолжительную молитву, он

раскрыл лежавшую на аналое божественную книгу, и взгляд его упал на слова: «Всякую шатающаяся языцы и люди научишася тщетным!»!

Иоанн глубоко задумался.

Что могли значить эти слова в применении к настоящим обстоятельствам? Смысл оказывался двояким.

Между тем на Городище, по отъезде царя, вместо суда началась поголовная расправа.

Григорий Лукьянович, страдавший от боли в перевязанной левой руке, прихрамывая на правую ногу, на которой тоже еще на зажили полученные при Торжке раны, и, опираясь на кнут с толстым кнутовищем, как лютый зверь рыскал по улице, подстрекая палачей исполнять их гнусное дело...

Свист палок, перемешанный с неистовыми криками жертв, висел в воздухе среди невозмутимой тишины мертвого города.

Таково было начало страшного новгородского правежа над будто бы осужденными царским решением.

Одним из первых, по приказанию Малюты и в его присутствии, схватили Афанасия

Афанасьевича Горбачева.

— Не довольно еще тебя учили, старый пес, — обратился к нему царский любимец. — Все равно околеешь за изменное дело... Говори перед смертью, где сын мой?..

— Не ведаю, государь мой, не ведаю, и невдомек мне слова твои странные... Очами не видал никогда сына твоего и каков он с лица не ведаю, — слабым голосом отвечал страдалец.

— Не ведаешь... — злобно прошипел Григорий Лукьянович. — А зачем подсылал дочь свою окаянную в Александровскую слободу, к брату своему, такому же, как ты крамольнику... Не сносить и ему головы, я в том тебе порукою... И дочь твою, подлую прелестницу, на позор отдам людишкам своим, коли не скажешь мне истины, куда вы с злочестивцем Пименом, попом треклятым, Максимку моего запрятали...

Голос Малюты порвался от ярости.

Удивленно глядел на него Афанасий Афанасьевич своими кроткими, уже потухающими глазами.

— Невдомек мне, милостивец, хоть убей в

разум слов твоих взять не сумею, причем тут брат мой и дочь моя, смекнуть не могу, вот те Христос, боярин... В какой уж раз говорю тебе, сына твоего в глаза не видал и, есть ли такой на свете молодец, — не ведаю... А погубишь дочь мою, голубицу чистую, неповинную, грех тебе будет, незамолимый, а ей на небесах обитель Христова светлая...

— Ну так и дожидайся ее в этой светлой обители... не долго и поджидать придется... — злобно захохотал Григорий Лукьянович и сделал знак ратникам, вооруженным палками.

— Подновите-ка память этому старику, псу смердящему. Может, вспомнит он, что его дочь непутевая к братцу его гостить ездила да Максима моего привораживала, тоже, чай, не без его и дяди согласия и ведома; со мной, первым слугой царским, холоп подлый, породниться захотел, ну-ка, породнись с кнутом моим.

Григорий Лукьянович со всего размаха ударил Горбачева по лицу кнутовищем.

— Получай!.. Сват непрощенный!

Афанасий Афанасьевич, ошеломленный ударом, обливаясь кровью, брызнувшей из

рассеченной губы и носа, упал навзничь на землю.

— За дело, да живей доканчивайте! — крикнул Малюта опричникам. Дочка его, что в невестки ко мне попасть норовила, коли кому из нас полюбится, так и быть, за работу наградой будет.

Григорий Лукьянович отошел. Палачи начали свою дикую расправу с почти уже и так бездыханным стариком.

Горбачев не издал ни малейшего стога. Он, казалось, от нравственной боли, не чувствовал физической. Мысли о роковой, предстоящей судьбе его дочери и брата жгли ему мозг гораздо сильнее, нежели палки, на которые рвавшие ему тело.

С такими мыслями он вскоре отдал Богу душу.

Мы видели, что Малюта исполнил относительно его дочери свою угрозу, и если бы Елена Афанасьевна не встретила случайно на Волховском мосту с Семеном Карасевым, то была бы утоплена вместе с сотнями других несчастных в кровавых, ледяных волнах Волхова.

На радость ли, впрочем, было ему и ей это спасение?

IV

Афанасий «Горбач»

Умерший смертью мученика под палками жестоких исполнителей воли изверга Малюты староста Плотницкого конца Великого Новгорода Афанасий Афанасьевич Горбачев, по народному прозвищу «Горбач», принадлежал, как мы уже имели случай заметить, к числу именитых и уважаемых граждан города и чуть не второй десяток лет служил «старостой».

Это выдающееся положение и это уважение были добыты не родовым торговым прошлым и не несметным богатством Горбачева: а исключительно его личными качествами, умом и приветливостью в обращении.

Древностью торгового рода он похвастаться не мог — его дед еще и не помышлял сделаться купцом, перебиваясь в Новгороде с хлеба на квас, как пришлый землекоп, — он был родом из Твери, прозванный в насмешку товарищами Горбачем, за свое прилежание к работе и постоянно сгорбленное положение

над киркой или лопатой.

Отсюда пошло фамильное прозвище «Горбам», обратившееся впоследствии, с переменной обстоятельностью, в Горбачева.

Одному из подрядчиков полюбился молодой, прилежный и сметливый парень, и он, не долго думая, выдал за него свою единственную дочь и взял в свои помощники.

— Ишь, Терентий-то, — так звали молодого землекопа — докопался-таки до счастья! — говорили товарищи про своего молодого хозяина, иные со злобной, завистливой насмешкой, а другие лишь с присущим русскому человеку добродушным юмором.

Отец жены Терентия прожил после свадьбы дочери лет пять, и умер, оставив подрядное дело в руках опытного зятя, с прибавкой еще изрядного капиталца.

Терентия Бог не благословил детьми: двое сыновей да дочь умерли в младенчестве, остался в живых лишь меньшенький сын Афоня, ставший с годами Афанасием Терентьевичем Горбачевым.

Уже отец его стал официально именовать-ся этим измененным прозвищем.

Афоня рос шустрым мальчиком, весь в отца, но, видимо, не имел склонности к отцовскому делу.

— Кем ты, Афоня, будешь? — спрашивали его, когда ему было года три-четыре, в шутку родные и знакомые.

— Купцом, торговать буду, — картавил мальчуган.

С годами эта склонность к торговле стала возрастать, и отец, видя призвание сына, отдал его на выучку к одному из своих приятелей новгородских купцов, ведших торговлю хлебом, солью, кожами.

Скоро постиг сметливый мальчик не мудрую торговую науку того времени, самоучкой выучился грамоте и шестнадцати лет уже стал ходить в приказчиках.

Купец-хозяин был одинокий вдовец и жил с племянницей, дочерью его умершей любимой сестры, девушкой некрасивой, не первой молодости, но с доброй душой и нежным сердцем.

Последнее забило вскоре тревогу по молодом, статном приказчике, русом красавце, с лица, как поется в песнях, «кровь с молоком».

Афанасий Терентьев, в силу ли практической сметки или же в силу отзывчивости сердца, не остался глух к исканиям переревшей девы, купеческой племянницы, единственной наследницы своего дяди, Елены Карповны.

В те времена женщины боярских родов жили замкнуто, среди купечества вообще, и особенно в Новгороде, стоявшем особняком среди городов русских по своим постоянным сношениям с «иноземщиной», нравы были много свободнее и девиц новгородских не прятали по теремам и под фатою.

Молодые люди и девицы встречались друг с другом и вели разговоры у ворот на заваленках, на улице и в домах, на «вечерках» и «беседах», как назывались в Новгороде такие сборища.

Молодые люди сталкивались, и Афанасий Терентьев обратился к своему отцу с просьбой заслать сватов к Федосею Иванову, как звали дядю Елены Карповой.

Сваты были посланы. Сватовство принято, и между отцом жениха и дядей невесты произошло рукобитье.

Невесту, как водится, пропили.

Вскоре сыграли и свадьбу, а через несколько лет отошел к праотцам и Федосей Иванов, оставив все свое обширное торговое дело своему зятю, Афанасию Терентьеву.

Видимо под одной «счастливой планидой» родились и отец, и сын Горбачевы — так одинакова была их счастливая судьба.

Умер вскоре и Терентий, ранее года за два потеряв свою жену, и Афанасий Терентьев, получив отцовское наследство, расширил еще более торговые обороты.

Дело Горбачева стало приобретать немалое значение и вес в новгородском торговом мире.

Годы шли. Афанасий Терентьев старился, но на подмогу ему и на поддержание торговли подросли двое сыновей: Афанасий, названный в честь отца, и Федосей, в честь дяди матери.

Жена Афанасия Терентьева не дождалась возмужания сыновей и умерла, когда Афоне шел одиннадцатый, а Федосею девятый год.

Отец стал приучать их с измальства к торговле, а когда они вошли в года и Афанасию

пошел двадцать первый, а Федосею девятнадцатый год стал поручать им действовать самостоятельно. Старший пристрастился к делу отца, а младший пожелал заняться другой торговлей, и отец открыл ему лавку с красным товаром.

По смерти отца братья разделили отцовский капитал по божески, и каждый занялся своим делом, сохранив друг к другу братскую привязанность, очень нередкую в ту далекую от нас эпоху, эпоху патриархального семейного быта.

Время последних дней видимо еще было далеко, и брат не восставал на брата и не таскал его по судам.

Такова несложная история братьев Горбачевых, — «крамольников», как назвал их Григорий Лукьянович.

Добавим, что Федосей Афанасьевич еще при жизни отца женился на красивой новгородской купеческой дочке Наталье Кузминой Роговой, и Бог благословил его большим потомством: пять дочерей и четыре сына мал мала меньше, почти все погодки, составляли семью Федосея Афанасьевича.

Вскоре после смерти отца он со всей семьей перебрался на жительство в Александровскую слободу, оставив свою новгородскую лавку под зорким глазом старшего брата, так расширившего по своей части торговые обороты, что имя его гремело на всех иноземных рынках, а в Новгороде он стал «излюбленным гражданином».

Афанасий Афанасьевич оставался холостым, несмотря на то, что ему уже стукнуло сорок.

Отец не неволил сына в юности к женитьбе, не желая отвлекать его от дела, а в зрелом возрасте, видимо, он не сыскал себе по душе девушку, несмотря на то, что много новгородских маменек и дочек мечтали о таком завидном женихе и множество свاخ новгородских обивало пороги дома Афанасия Афанасьевича.

Да все приходили, видимо, невпопад «сороки долгохвостые», строгий хозяин им от ворот поворот честью делал.

Отстали длиннохвостые, но начали о нем по городу «сплетки» пуцать, как о женихе.

— Обасурманился, матушка, совсем, — бол-

тали они в купеческих домах, в немецкой земле, бают, трех жен держит и все разномастных, к ним все за море и шастает.

Афанасий Афанасьевич действительно по своим торговым делам не раз ездил в иностранные земли.

Уверились и маменьки и дочки в «басурманстве» Афанасия Афанасьевича, да и как не увериться, когда мужчина, в самой поре, новгородских красавиц белоснежных да пышных как чумы избегает.

На отцов, впрочем, пущенные свахами «сплетки» не действовали, они по-прежнему продолжали уважать Горбачева за честность, опытность, богатство и поддержку кредитом, всегда находимым ими у Афанасия Афанасьевича. Породниться с ним, конечно, никто бы из них не отказался, а из-за баб ссориться с всегда нужным человеком им было далеко не с руки.

— Не охоч он до баб, человек степенный, силком не окрутишь, а что про него бабы галдят, так их только послушай, и не такую сплетут околесицу, долгогривые; известно, у бабы волос долог, а ум с полвершка...

Так решили вопрос о женитьбе Афанасия Афанасьевича заинтересованные также в этом вопросе купцы новгородские.

— Бобылем умрет, племянникам на радость... Эдакое золотое дело да уйму деньжищ оставит...

— Говорят, и любит же он брата Федосея, может, для племянников и не законится... — рассуждали купцы, сидя за шашками у притворов своих лавок.

Но Афанасию Афанасьевичу не суждено было умереть бобылем. Он женился, но женился при таких обстоятельствах, что эта женитьба не только не примирила его с новгородскими представителями прекрасного пола, но напротив, озлобила их до крайности. По крайней мере, несколько месяцев жены и дочери новгородских купцов только и толковали о женитьбе Горбачева на подкидыше.

Он действительно женился на подкидыше. Дело произошло следующим образом.

В 1543 году в Новгороде стояла лютая зима. Однажды Афанасий Афанасьевич, которому шел уже сороковой год, возвращаясь из своего лабаза под вечер домой, увидел сидевшую

на пороге крыльца его дома совершенно закончившую от холода худенькую девочку лет одиннадцати, одетую в невозможные цветные лохмотья. По смуглому лицу и черным как смоль волосам безошибочно можно было сказать, что девочка — цыганка, отбившаяся от табора и заблудившаяся в городе.

При приближении к ней Горбачева девочка не шелохнулась.

— Что ты тут делаешь и как сюда попала? — задал он ей вопрос, который остался без ответа.

Он повторил его громче.

Девочка молчала.

Он тронул ее рукою за плечо. Она слабо качнулась в сторону. Видимо, она спала тем страшным сном замерзающего человека, от которого обыкновенно не просыпаются.

Афанасий Афанасьевич схватил ее на руки и внес в горницу.

Кликнув свою стряпуху Агафью, он отдал на ее попечение свою страшную находку.

Стряпуха Агафья Тихоновна была молодая тридцатилетняя женщина, жена одного из приказчиков Горбачева.

Увидев замерзшую девочку, она так и ахнула.

— Ишь, сердечная, ознобилась, совсем ознобилась, уж жива ли?.. Кажись, цыганка! — взяла она на руки окоченевшего ребенка.

— Выходи ее, Агафьюшка, ведь душа-то человеческая! — заметил Афанасий Афанасьевич, поняв восклицание: «кажись цыганка» в смысле пренебрежения к этому племени.

— Знамо дело человечья... Я говорю цыганка, потому такая черная, а то ведь и они крест носят, — отвечала добрая женщина.

— Перво-наперво ее я теперь в сенцах снегом ототру от испарины, а там в теплую горницу внесу, а то она сразу в тепле-то не отойдет, беспременно снегом растереть надо...

Агафья вопросительно посмотрела на Афанасия Афанасьевича.

— Делай как знаешь, только от смерти ее вызволь... Отец и мать, чай, есть, убиваются, искать будут.

Горбачев прошел в свою опочивальню.

На утро первый вопрос его, обращенный к Агафье, был о найденной им девочке.

— Отдохла, как снегом ее я вечер потеряла, да в тепло внесла, глазки открыла, на постели, на моей, а потом опять заснула, родненькая, и вся в испарине, в рубаху я ее в свою завернула, так ночью меняла, хоть выжми. А теперича, на рассвете, встала, сбитню попила, лопочет. Сказала, что зовут ее Аленой, на шее крестик деревянный висит, махонький...

Афанасий Афанасьевич вышел в кухню.

— Поди к дяде, ручку поцелуй, без него бы ты давно уже на том свете была, — наставительно сказала Агафья.

Девочка, не торопясь, слезла с лавки, на которой сидела, и, не робея, подошла к Горбачеву и поцеловала ему руку.

— Как зовут? — спросил последний, целуя девочку в лоб.

— Алена!

— А по отцу?

— Отца Афанасием кликали... только его телегой зашибло, — отвечала девочка.

— Помер?

— Помер, летошный год еще помер.

— Из табора?

— Стояли мы табором здесь под городом,

да вечер ушли.

— А мамка?

— И мамка ушла... Посадила меня на крыльцо и говорит, сиди здесь... мне тебя кормить нечем... и ушла.

— Ну, может, мамка так малость ненароком тебя попугала... вернется, утешил девочку Афанасий Афанасьевич.

— Нет... не вернется... она меня все била, — проговорила девочка. — И Иван Климов все бил...

— Кто же это Иван Климов?..

— А мамкин муж.

Из этих несложных ответов одиннадцатилетней девочки для каждого становилась ясна страшная драма, разыгравшаяся в жизни ее матери, решившейся для любимого человека бросить на произвол судьбы свое родное детище, и что еще хуже, решившей озлобить это детище против себя.

— А не придет, так и здесь проживешь, в другорядь не замерзнешь! успокоил Горбачев девочку, с немою мольбою смотревшую на своего спасителя.

Аленушка бросилась снова целовать руку

Афанасия Афанасьевича.

Он почувствовал, что на его руку закапало что-то горячее.

Это были слезы благодарного ребенка.

Агафью Тихоновну тоже в слезы ударило от этой сцены, и она стала обтирать рукавом сорочки глаза.

Горбачев тоже смигнул с ресницы непрошеную слезу и, погладив девочку по головке, быстро вышел из дома.

Прошел год. Предчувствия девочки оправдались, мать не вернулась за нею, и она осталась жить в доме Афанасия Афанасьевича Горбачева. Агафья Тихоновна привязалась к ней, как родная мать, особенно после смерти своего мужа, случившейся через несколько месяцев после появления в доме Горбачева Аленушки.

Муж Агафьи, надорвавшись при переноске кулей, умер «от живота».

Афанасий Афанасьевич заявил ей, что она может быть покойна за свою дальнейшую будущность, так как он не отпустит ее до самой своей смерти и не забудет в своей последней воле.

— Береги только Аленушку! — заключил он.

— И, батюшка, да я ее за родное детище свое почитаю и без слова твоего пуще глаза берегу... — ответила растроганная Агафья.

Горбачев сам не на шутку привязался к девочке, внесшей оживление в его скучную, одинокую жизнь.

Аленушка тоже почти боготворила его.

Он сам стал исподволь шутя учить ее грамоте, и она вскоре сделала такие успехи, что превзошла своего учителя.

Годы шли.

Угловатое сложение развивающейся девушки скоро сменилось пышными формами красавицы, высокой, стройной, с роскошной косой, с густыми дугообразными бровями, жгучим взглядом черных глаз и нежным пушком, пробивающимся сквозь румянец смуглых щек.

Афанасий Афанасьевич не сразу заметил эту перемену в своей питомице, как это всегда бывает относительно тех, кого мы видим ежедневно.

Но раз заметивши, он вдруг почувствовал

в своем сердце нечто совсем иное, чем то, что называется отцовской любовью.

Первое время это только ужаснуло его. Он — старик, загубит молодую жизнь. Разве Аленушка может любить его иною любовью, как только любовью дочери? На этот вопрос он с болью сердца отвечал сам себе отрицательно.

Он стал отдаляться от девушки. Последняя, видимо, заметила это и удвоила свои ласки, думая, что чем-нибудь огорчила дорого дядю.

Эти ласки ножами резали бедное сердце Горбачева.

Он начал входить сам с собою в некоторое соглашение. Да какой он еще старик! Ему всего сорок седьмой год. Он свеж и здоров, ни на голове, ни в бороде еще нет ни одного седого волоса. Чем я не муж Аленушке?

Наконец он решился высказать Агафье свою затаенную мысль.

— Да неужели, родимый, и впрямь осчастливить Аленушку захотел? радостно воскликнула последняя.

Горбачев понял, что нашел в Агафье союзницу.

— Осчастливить! — улыбнулся он. — Да сочтет ли она это за счастье? Тоже неволя идти за старого.

— За старого? — даже всплеснула руками Агафья. — Это ты-то, батюшка, старый!.. Не грехи, родимый, десять молодых за пояс заткнешь... вот ты какой старый. Да уж и любит она тебя, как отца родного...

— То-то же, как отца... — грустно молвил Афанасий Афанасьевич.

Агафья спохватилась.

— И как мужа полюбит... как Бог свят полюбит... Да дозвожь я ее попрошаю...

— Попрошай...

Агафья Тихоновна «побпрошала», и сватовство ее оказалось вполне удачным.

Это было в декабре 1549 года, а в январе 1550 состоялась свадьба Аленушки с ее приемным отцом Афанасием Горбачевым, свадьба, наделавшая, как мы уже заметили, переполох среди новгородских кумушек.

— Связался черт с младенцем... — судили и рядили они. — Цыганское отродье узаконил... девчонку... Уж рубил бы дерево по себе, взял бы вдовицу какую честную... а то наподи, с

приемной дочерью обвенчался. Басурман, уж подлинно басурман... Не даст ему Бог счастья!..

В силу роковой случайности, последнее предсказание злобных женских языков оправдалось на деле.

V

Без матери

Слишком полно, но, увы, и слишком коротко было счастье новобрачных.

Прошел год с небольшим жизни, полной того нежащего и тело, и душу семейного покоя, жизни, которая редко выпадала для супружеских пар и того, более чем на три столетия отдаленного от нас времени, и с которой уже почти совершенно незнакомы современные супружеские пары.

Этот покой дается лишь чистой, освященной церковью взаимной любовью, прямой и открытой, без трепета тайны, без страха огласки и людского суда это тот покой, который так образно, так кратко и вместе так красноречиво выражен апостольскими правилами: «Жены, повинуйтесь мужьям своим», «мужья, любите своих жен, как собствен-

ное тело, так как никто не возненавидит свое тело, но питает и греет его».

Только под солнцем согревающей любви мужа может возрасти тот пышный, редкий и роскошный цветок, который называется любящей и покорной женою.

Такою именно женою и стала Елена Афанасьевна, вышедши замуж за своего приемного отца, Афанасия Афанасьевича Горбачева.

Но, повторяем, не долго владел счастливым муж таким сокровищем. Она предупредила правду слов какого-то старинного, давно забытого поэта:

«Прекрасное все гибнет в дивном цвете, Нет ничего прекрасного на свете!».

Елена Афанасьевна действительно погибла «в дивном цвете».

С открывшегося горизонта счастья Горбачева вдруг раздался грозный громовой удар именно тогда, когда на этом горизонте, казалось, не могло зародиться ни одного облачка, а напротив, сияла заря чудной надежды.

Он готовился быть отцом.

Эта надежда осуществилась, но вместе с криком ребенка — девочки, криком, возве-

стившим о новой зажегшейся жизни, раздался болезненный, стонущий вздох матери — вестник жизни угасшей.

Это был последний вздох.

Елены Афанасьевны Горбачевой не стало.

У постели умершей матери и колыбели новорожденного младенца рыдал неутешный вдовец.

Казалось, укор небесам готов был сорваться с его уст среди этих рыданий, так неожиданно, так, казалось, безжалостно было разбито его счастье, была разбита его жизнь. Как контраст, в эту горькую минуту почти нечеловеческой скорби припомнился Афанасию Афанасьевичу еще тот недавний вечер — всего несколько месяцев тому назад — когда он, вернувшись из лабаза домой, остался наедине со своей ненаглядной Аленушкой, той самой Аленушкой, которая теперь бездыханным трупом лежит перед ним, а тогда сияла красотой, здоровьем и счастьем.

Как живо помнит он это, как вишня раскрасневшееся, прекрасное лицо, эти полузакрытые длинными ресницами жгучие глаза, с блестящей на них радостной слезой, и эти

коралловые губки, прошептавшие ему отрадные, теперь ставшие роковыми слова о своем материнстве.

Он помнит, как сильно забилося тогда его сердце, как нежно прижал он к своей груди трепещущую, сконфуженную признанием жену.

Мелькают в его памяти незабвенные дни ожидания этого самого существа, спящего сном невинности в колыбели, которому суждено было своей жизнью отнять жизнь матери, и снова чуть было слова упрека судьбе не сорвались с языка Горбачева и чуть не окинул он взглядом ненависти и вражды это маленькое, красненькое, сморщенное существо, причинившее ему такое великое горе.

Но взгляд упал на колыбель и как бы чудом изменился — это был взгляд отца. Что-то теплое и сладостное зашевелилось в душе Афанасия Афанасьевича, и он в тихой горячей молитве опустился перед божницей.

В ней и в проснувшемся отцовском чувстве нашел он силу перенести страшную утрату.

Укор небесам замер на его устах и заме-

нился словами полной покорности Провидению.

С пышностью, соответствующей любви и богатству мужа, совершены были похороны жены, так безвременно покинувшей этот мир юдоли и слез.

На кладбище одного из богатых монастырей новгородских до сих пор есть, близь церкви, вросшая уже в землю и покрытая мохом каменная плита с надписью о почивающей под ней возлюбленной жены новгородского купца, Елены Афанасьевны Горбачевой. Надпись еще уцелела, но находившийся над ней текст из священного писания стерла всеограшающая рука времени.

В несколько дней после смерти жены Горбачев так страшно изменился, что знакомые с трудом узнавали его. Из бодрого, крепкого мужчины он обратился вдруг в какого-то ослабленного старика, с помутившимся взглядом и поседевшими волосами.

В течение нескольких месяцев он почти не занимался делами и ни с кем не разговаривал.

Но время взяло свое. Острая боль поражен-

ного сердца притупилась.

Первая улыбка трехмесячной Аленушки, — девочку окрестили в честь матери Еленой, — вызвала улыбку и на исхудалое лицо несчастного Афанасия Афанасьевича.

С этого дня он заметно оживился и стал поправляться физически; сознательность ребенка породила у отца гордое сознание того, что он не одинок, что у него есть для кого жить, для кого трудиться.

Время шло, Аленушка подрастала на руках у Агафьи Тихоновны.

Добрая женщина, горько оплакивавшая свою первую питомицу Аленушку, перенесла, подобно отцу, всю свою горячую, почти материнскую любовь к умершей матери на полусиротевшую дочь. Она берегла ее пуще глаза и, казалось, жила и дышала только ею.

И для Горбачева настали сравнительно красные дни. Первый лепет ребенка чудной гармонией врывается в его душу и как бы лил в его тело живительный бальзам. Первые слабые шаги дочери укрепили, казалось, совершенно силы отца для дальнейшего жизненного пути.

Таков неисповедимый закон природы, такова благая воля Господня, дающая маленьким, слабым существам великую силу врачевать скорбные раны взрослых и сильных.

Аленушке шел уже седьмой год, когда отец первый раз повел ее на могилу ее матери.

До тех пор ходила она туда с Агафьей, которая скорее голосом сердца, нежели языка, сумела внушить ребенку любовь к покойной матери, и благоговение перед ее памятью.

Афанасий Афанасьевич, еженедельно посещая могилу своей жены, любил быть там в полном одиночестве; даже присутствие дочери, казалось ему, нарушило бы ту душевную гармонию молитвы об упокоении души дорогой для него женщины в селениях праведных.

Он и не догадывался, что под влиянием Агафьи Тихоновны, в сердце его дочери уже давно и глубоко укрепилось чувство любви к покойной, и что на могиле ее он может смешать свои горькие слезы мужа с чистыми слезами любящей дочери.

В одно из воскресений, после обедни в том самом монастыре, где была похоронена Елена Афанасьевна и куда неукоснительно ездили

Афанасий Афанасьевич и Агафья с Аленушкой, последняя, видя, что отец направляется из церкви не к ожидавшей их за оградой повозке, куда ведет ее няня, вдруг стремительно схватила его за рукав и тоном мольбы сказала:

— К маме!

Горбачев остановился в недоумении.

— К маме... ты хочешь к маме?.. — переспросил он дрожащим от внутреннего волнения голосом.

— Хочу к маме... — прошептала девочка.

— Пойдем... милая дочка... пойдем... веди меня к... маме... — взял он Аленушку за руку.

Девочка твердой, уверенной поступью пошла по направлению к кладбищу, крепко держа за руку своего отца. Агафья Тихоновна с неммым восторгом и со слезами радости на глазах созерцала удалявшуюся от нее парочку, и, когда они скрылись на повороте дорожки за палисадниками, вознесла очи к безоблачному июльскому небу, на котором, как бы сочувствуя ее радости, весело играло полуденное солнышко.

Аленушка привела Афанасия Афанасьевича

ча прямо к надгробной плите своей матери и, оставив его руку, набожно опустилась на колени.

Отец пал ниц рядом с дочерью.

Горяча была его молитва. Окончив ее, он взглянул на Аленушку, и из глаз его ручьями брызнули слезы, это были слезы восторженного обожания, появившегося в его сердце к молящейся дочери.

Да и на самом деле, надо было видеть эту шепчущую молитву девочку со сложенными на груди руками, чтобы воочию узреть ангела, молящегося перед престолом Бога.

И странное дело, только теперь, при взгляде на дочь, Горбачев почувствовал и понял, что она живой портрет ее матери, что милосердный Господь возвратил ему то, что было для него, казалось, потеряно навсегда, возвратил ту Аленушку, которую он нашел замерзшей пятнадцать лет тому назад на крыльце своего дома.

С немой, невыразимой словами благодарностью возвел он очи к ликующим словно по поводу его счастья небесам.

Этот день для него стал началом новой

счастливой жизни. Он вернулся домой совершенно обновленный и с юношеской энергией принялся на другой день за дела.

Все свое свободное время он с этих пор стал посвящать своей дочери; шутя, учил ее грамоте, в которой она делала быстрые успехи, а между занятиями беседовал, как с большой, о ее покойной матери.

Девочка любила эти беседы и по целым часам не спускала глаз с боготворимого ею отца.

В то время семьи жили замкнутой жизнью.

Афанасий Афанасьевич и его дочь видались часто и запросто лишь с семьей его брата, Федосея Афанасьевича, где младшая дочь Настя, старше, однако, Аленушки года на два, была подругой детских игр последней.

Обеих девочек, впрочем, редко можно было видеть играющими. Они по часам сидели, прижавшись друг к другу в уголку детской, и о чем-то шептались.

В чем состояла их беседа, над чем работали их детские умы — как знать?

Кто может прямо взглянуть на солнце, кто может проникнуть в чистую детскую душу

ребенку?

Время шло.

Наступил 1565 год. До Новгорода донеслась роковая весть, облетевшая с быстротою молнии все русское государство: царь оставил Москву на произвол судьбы и удалился в Александровскую слободу. Пришло известие об учреждении неведомой еще опричнины, а затем из уст в уста стало переходить грозное имя Малюты, уже окруженное ореолом крови и стонов.

Матери новгородские стали пугать им своих детей, и последние делались тихи при произнесении рокового имени.

Аленушке, ставшей теперь уже Еленой Афанасьевной, исполнилось шестнадцать лет.

Она вышла из детства, но имя Малюты почему-то вызывало в ней нервный трепет.

Не было ли это инстинктивной чуткостью, инстинктивным предвидением будущего?

Прошел еще год. Царь основал свою постоянную резиденцию в Александровской слободе, которая в короткое время обратилась в город с бойкой торговлей, и туда стали стекать-

ся со всех сторон земли русской купцы со своими товарами, строить дома и открывать лавки.

Предприимчивый Федосей Афанасьевич Горбачев был тоже увлечен возникшим течением, и, даже вопреки советам своего старшего брата, переселился, как мы уже знаем, в Александровскую слободу, оставив новгородские лавки на попечение Афанасия Афанасьевича и своего старшего сына.

Всю остальную семью он забрал с собою.

— Чует мое сердце, что задумал ты покидать Новгород не в добрый час, не наживи, смотри, беды неминучей; тоже надо ой с какой опаской быть близ грозного царя... И с чего тебе прыгать с места на место приспичило?.. Знаешь пословицу, «от добра добра не ищут», — говорил брату Афанасий Афанасьевич, когда тот высказал ему свою мысль о переезде.

— Ну, это ты, брат, оставь, я тебе тоже отвечу пословицей: «под лежащий камень и вода не бежит»... Сам знаешь, какие ноне здесь барыши с красного товара, тебе ништо... у тебя хлеб... животы подведет, к тебе придут спер-

воначалу, а не ко мне...

— Это-то ты правильно, — согласился старший брат, — только возле царя-то там как будто боязно; слышал, чай, ни весть что рассказывают... и Малюта там, слышь, правою царскою рукою...

— Я не пужлив... Да и сплетки, чай, больше плетут людские языки... Людская молва, что снежный ком, с кулак начнется, до нас докатится гора горой, — ответил Федосей Афанасьевич.

— Нет дыма без огня, — задумчиво заметил Афанасий Афанасьевич.

— Чего огня, я разве говорю, что огня нет... Есть... Царь казнит бояр-своевольников... и ништо... так им и надо. Слышь, выше царя стать захотели, ему, батюшке, указывать начали... раздор да разлад по земле сеять вздумали, с врагами, басурманами заяшкались, так ништо, говорю им, окаянным... А купечеству и народу люб его грозный царь... Знает он, родимый, что только кликни он клич, своеручно посечем его супротивников, бояр-крамольников... и посечем не хуже опричников, не хуже Малюты Скуратова, — горячо

возразил младший брат.

— Известно посечем... Это ты доподлинно, — согласился старший.

— Так с чего же нам его, государя нашего, державного, бояться?..

— Вестимо нечего.

— А к солнцу ближе — теплее!.. Он наше солнышко...

Афанасий Афанасьевич не нашелся что возразить брату.

Отъезд последнего был решен и состоялся.

Расставание семей было трогательно, но сильнее всех рыдала Аленушка на груди своей двоюродной сестры и задушевной единственной подруги Насти.

Это было первое жизненное горе молодой девушки.

Беседы с отцом по вечерам, чтение священных книг, да молитва стали задушевной отрадой вновь осиротевшей девушки.

Ей шел уже восемнадцатый год. Она была, что называется, в самой поре, но сердце ее билось ровно при виде добрых молодцев, хотя ее жгучие, черные глаза ясно говорили, что рано или поздно в этом сердце вспыхнет

страсть неугасимым огнем.

Красивая, статная, вся в свою покойную мать, она зажгла желанием не одно сердце среди новгородских молодцов.

Женихам только бы кликнуть клич, слетелись бы как мухи на мед, но отец не неволил боготворимую им дочку; даже при мысли о ее замужестве какое-то горькое чувство отцовской ревности закипало в его сердце.

Со дня отъезда брата прошло с полгода. От него получилась грамотка. В ней он в радужных красках описывал свое житье-бытье на новом месте. Торговля, по его словам, шла очень ходко, к дочерям женихи наклевываются от тамошнего купечества, словом, Федосей Афанасьевич был доволен. Далее он описывал построенный им дом, писал о своем здоровье и о своих домашних. «Настасья все скучает и убивается по Аленушке; говорит, хоть бы одним глазком поглядеть на родненькую, так не отпустишь ли, любезный брат, погостить ее к нам, сбережем пуще родной дочери», — говорилось, между прочим, в присланной грамотке.

Афанасий Афанасьевич прочел письмо

Аленушке.

При чтении того места, где говорилось о Насте, он взглянул на дочь.

На ее глазах блестели слезы.

— Аль отпустить на месяц, другой... поспу-
чать мне, старику, — уронил как бы про себя
Горбачев, окончив чтение.

Огнем вспыхнуло лицо Аленушки, и умо-
ляющий взгляд ее прекрасных глаз говорил
красноречивее всяких слов о ее желании.

Отец сдался на эту немую просьбу.

Сборы были не долги. Аленушка с Агафьей
и с провожатыми из рабочих Горбачева уеха-
ли в Александровскую слободу.

Посещение слободы оказалось роковым
для молодой девушки.

Там ей было суждено встретиться с Семеном
Ивановичем Карасевым, сумевшим зарони-
ть в сердце красавицы ту искру неведомого
ей доселе чувства, от которого это сердце за-
горелось неугасимым пламенем любви.

VI

В Александровской слободе

Александровская слобода отстояла от Моск-
вы в восемнадцать и от Троицкой лавры в

двадцати верстах.

Эта тогдашняя столица грозного царя была окружена со всех сторон заставами с воинской стражей, состоявшей из рядовых опричников, а самый внешний вид жилища Иоанна, с окружавшими его постройками, по дошедшим до нас показаниям очевидцев, был великолепен, особенно при солнечном освещении.

Мы можем описывать это место кровавых исторических драм только по оставшимся описаниям современников, так как в наши дни от Александровской слободы не осталось и следа. По народному преданию, в одну суровую зиму над ней взошла черная туча, спустилась над самым дворцом и разразилась громовым ударом, от которого загорелись терема, а за ними и вся слобода сделалась жертвою всепожирающего пламени.

Поднявшийся через несколько дней сильный ветер разнес по сторонам даже пепел, оставшийся от сгоревших дотла построек.

Опишем, хотя бы вкратце, со слов современников, это, к сожалению, до нас не сохранившееся чудо зодчества того времени.

Дворец, или «монастырь», как именуют его летописцы, был огромным зданием причудливой архитектуры; ни одно окно, ни одна колонна не походили друг на друга ни формой, ни узором, ни цветом. Великое множество теремов и башенок с разнообразными главами венчали здание, пестревшее в глазах всеми цветами радуги.

Крыши и купола, или главы теремов и башенок, были из разноцветных изразцов или золотой и серебряной чешуи, а ярко размалеванные стены довершали своеобразие внешнего вида этого оригинального жилища не менее оригинального царя-монаха.

На «монастырском дворе», который был окружен высокой стеной, с многочисленными отверстиями разной формы и величины, понаделанными в ней «для красоты ради», помещались три избы, мыльня, погреб и ледник.

Стена была окружена «заметом», то есть валом и глубоким рвом.

В самой слободе находилось стоявшее невдалеке от дворца здание печатного двора со словолитней и избами для мастеров-печат-

НИКОВ.

Затем тянулись дворцовые службы, где жили ключники, подключники, хлебники, сытники, псары, сокольничьи и другие дворцовые люди.

Слободские церкви с ярко горевшими крестами высились вблизи дворца. Стены их были тоже расписаны яркими красками.

Особенным великолепием и богатством отличался храм Богоматери, на каждом кирпиче которого блестел золотой крест, что придавало ему вид громадной золотой клетки.

В слободе в описываемое нами время было уже множество каменных домов, лавок и лавазов с русскими и заморскими товарами — словом, в два года пребывания в ней государя она необычайно разрослась, обстроилась и стала оживленным городком.

Придворные, государственные и воинские чины жили в особенных домах, опричники имели свою улицу вблизи дворца, купцы тоже.

На последней один из лучших двухэтажных домов, с помещавшимися в нижнем эта-

же обширными лавками, с панским и красным товаром, принадлежал новгородскому купцу Федосею Афанасьевичу Горбачеву.

Сюда-то и прибыла гостить его племянница Елена Афанасьевна.

Но прежде нежели мы проникнем в это временное жилище нашей героини, перенесемся с тобой, дорогой читатель, во дворец, внутренняя жизнь которого была так же своеобразна, как и его внешность.

Вот так, по свидетельству чужеземцев-современников, описывает ее наш великий историк Карамзин:

«В сем грозно-увеселительном жилище Иоанн посвящал большую часть времени церковной службе, чтобы непрестанной деятельностью успокоить душу. Он хотел даже обратить дворец в монастырь, а любимцев своих в иноков: выбрал из опричников триста человек, самых злейших, назвал их братьями, себя игуменом, князя Афанасия Вяземского келарем, Малюту Скуратова параклисиархом; дал им тафьи, или скуфейки, и черные рясы, под коими носили они богатые, золотые, блестящие кафтаны; сочинил для них

устав монашеский и служил примером в исполнении одного. Так описывают сию монастырскую жизнь Иоаннову: в четвертом часу утра он ходил на колокольню с царевичами и Малютой Скуратовым благовестить к заутрене; братия спешила в церковь: кто не являлся, того наказывали восьмидневным заключением. Служба продолжалась до шести или семи часов. Царь пел, читал, молился столь ревностно, что на лбу всегда оставались у него знаки крепких земных поклонов. В восемь часов опять собирались к обедне, а в десять садились за братскую трапезу все, кроме Иоанна, который, стоя, читал вслух душеспасительные наставления. Между тем, братия ела и пила до сыта; всякий день казался праздником: не жалели ни вина, ни меду; остатки трапезы выносили из дворца на площадь для бедных. Игумен, то есть царь, обедал после, беседовал с любимцами о законе, дремал или ехал в темницу пытаться какого-нибудь несчастного. В восемь часов шли к вечерне, в десятом обыкновенно царь уходил в спальню, где трое слепых рассказывали ему сказки; он засыпал, но ненадолго: в полночь

вставал и день его начинался молитвою».

Был десятый час чудесного июльского вечера 1568 года. Царь уже вошел в свою опочивальню, молодые опричники разбрелись по обширному дворцовому двору.

Большинство из них начали играть в свайку, иные собрались отдельными кучками, и лишь два из них ходили, обнявшись, в стороне, видимо намеренно держась в отдалении от своих товарищей.

Эти два еще совершенно юных опричника были — Максим Григорьевич Скуратов и уже знакомый нам царский стремянной Семен Иванович Карасев.

Наружность последнего нами уже описана, а потому не будем повторяться.

Первый же был одинаков с ним по росту, фигуре и сложению, и лишь волосы на голове, на маленькой бородке и усах были немного темнее, и в правильных чертах лица было более женственности. Глаза у Максима Григорьевича были светло-карие, с честным, почти детски невинным взглядом.

Он совершенно не казался сыном своего отца, с отталкивающей наружностью которо-

го мы тоже уже познакомили читателя, он был весь в мать, забитую, болезненную, преждевременно состарившуюся женщину, с коротким выражением худенького, сморщенного лица, в чертах которого сохранились следы былой красоты.

Он был любимцем не только матери и сестер — их у него было две, — но и всей двора. Любил его и отец, на него возлагал он все свои самолюбивые надежды на продолжение рода Скуратовых, не нынче-завтра бояр.

Мечта о боярстве не оставляла Малюту.

Сан боярский был издавна высокою степенью в государстве. Григорий Лукьянович был честолюбив и страстно добивался его, но Иоанн не возводил своего любимца в эту степень, как бы уважая древний обычай и не считая его достойным носить этот верховный сан.

Получение боярства было, таким образом, заветной, но пока недостижимой мечтой Малюты Скуратова.

Царь тоже любил Максима, часто по-детски дававшего прямые ответы, и жаловал его по-царски.

Семен Иванович тоже был любимец царя, но этим он был обязан не родству между опричниками, а своим личным качествам.

Карасев был сиротою и служил за Рязанью в Зашатском острожке, когда в Переяславль явился московский воевода за сбором опричников.

Жизнь и служба в острожках, как именовались крепостцы того времени, окруженные рвом и валом и служившие оплотом против нашествия кочующих орд, были тяжелы и скучны, и Карасев, не долго думая, записался в опричники, чтобы только попасть в Москву, хорошенько и не зная род и обязанности этой кровавой службы.

Узнавши ближе своих товарищей, он, по своей честной и прямой натуре, отшатнулся от них и сблизился с Максимом Скуратовым, тоже отдалявшимся от своих буйных и неразборчивых в средствах к достижению желаний товарищей.

Сближение между сынов любимца государя и простым опричником-ратником произошло, впрочем, после случайного повышения последнего по службе и назначения его в цар-

ские стремянные.

Случилось это повышение следующим образом.

Семен Карасев отличался необычайной смелостью и отвагой и страстью к охоте за дикими зверями.

Царь тоже любил охоту и звериные потехи, для которых около главного царского крыльца было даже отведено место, огороженное надолбами и обтянутое канатом.

На крыльцо выносилось кресло для царя и начиналась потешная травля, для которой зачастую брали медведей от вожаков, в то время сотнями водивших ученых медведей по городам и селам.

Травили зверей между собой; но раз донесли царю, что опричник Семен Карась вызывается один потешиться со зверями.

Царь, соскучившись однообразием слободских удовольствий, радостно ухватился за эту мысль, и назначил новую потеху на Покров.

Это было в начале сентября 1566 года.

Праздник Покрова удался в этот год на славу. Лето и осень в том году были замечательно теплы, и легкая прохолодь в воздухе к по-

лудню стала менее заметною при наступлении полного затишья.

Обычный полуденный сон прервали в слободе на этот раз в два часа звоном колокола. Государь не замедлил выйти из палат и сел на свое место на крыльце. Зурны и накры[62] грянули в лад, и звери, спущенные жожаками, пустились в пляс.

Мгновение — и, размахивая шелковой золотошвейной ширинкой, выскочил в красном кафтане весь бледный Карась и принялся вертеться и заигрывать со зверями под усиленный гул зурн и гудков.

Вот он, оживившись и пришедши в дикое исступление, начал крутить и повертывать зверей, рык которых, казалось, производил на него подстрекающее действие, умножая беззаветную отвагу.

Движения в поднятой зверьми пыли и подскоки человека, крутящегося в общей пляске, обратились наконец в какое-то наваждение, приковывая неотводно глаза зрителей к кругу, откуда раздавались дикие звуки и виднелось мелькание то красных, то бурых пятен.

Зурны и накры дули в перемежку, а из круга зверей раздавался бросающий в дрожь не то шип змеиный, не то свист соловьиный, то усиливаясь, то дробясь и исчезая, как бы теряясь в пространстве.

Время как будто бы остановилось. Оно казалось одной минутой и вместе с тем целой вечностью от полноты ощущения, не выразимого словами.

Удар колокола к вечерне был как бы громовым ударом, рассеявшим чары.

Царь встал, улыбающийся, довольный.

Лица опричников тоже сияли отчасти от полученного удовольствия, отчасти в угоду царю.

Царь подозвал к себе Семена Карасева.

— Исполать тебе, детинушка!.. Показал ты нам этакую хитрость-досужество, каких с роду люди не видывали, опричь твоего дела... Жалую тебе моей царской милостью, отныне будешь ты стремянным моим.

Царь протянул руку Карасеву.

Тот трепетно прикоснулся губами к царевой руке.

Среди опричников пронесся завистливый

гул.

Так произошло повышение Семена Карасева.

Вскоре так случайно возвысившийся опричник сошелся с сыном Малюты.

Вернемся ж, читатель, к этим друзьям, расхаживавшим, обнявшись по дворцовому двору в июльский вечер 1568 года.

— Так ты говоришь очень она хороша? — спрашивал шепотом Семен Иванович Михайла Григорьевича.

— И не говори; так хороша, как ясный день; косы русые до колен, бела как сахар, щеки румянцем горят... глаза небесно-голубые, за взгляд один можно жизнь отдать... Да уж-ли же ты не встречал ее на Купеческой улице...

— Может, и встречал... — небрежно уронил Семен Иванович, — да ты знаешь, не охоч я до девок, да до баб...

— Знаю, знаю, ты у нас красная девушка, но погоди, придет и твой черед... Я тоже самое не охоч был... да сгубила меня теперь красная девица... и днем наяву, и ночью во сне... все передо мной стоит она, ненагляд-

ная...

— Да кто она, ты не сказал, да и мне невдомек спросить было...

— Разве не сказал я тебе... Федосея Афанасьевича Горбачева дочь... Настя... Настасья Федосеевна... — поправился Максим Григорьевич.

— Тебе-то как довелось с ней познакомиться?.. — спросил Карасев.

— Я с ней не знаком, со стариком отцом сошелся, полюбил он меня, а ее так мельком видал, поклонами обмениваемся... — со вздохом произнес Скуратов.

— Что же зеваешь... сватай... а то как раз за какого-нибудь купчину сиволапого замуж выйдет.

— Хорошо тебе говорить сватай... Во-первых, отец на дыбы встанет, ведь он все боярством бредит... да на него бы не посмотрел я... но не отдадут за меня, да и сама не пойдет...

— Это за тебя-то? — даже воззрился на него Семен Иванович.

— Да, за меня... за сына Малюты... — с горечью произнес Максим Григорьевич.

Карасев посмотрел на друга, но не ответил

ничего.

Наступило минутное неловкое молчание.

Первый прервал его Карасев.

— Покажи мне все же твою красавицу-то...

— Изволь, не потаю... мне все равно не видать ее как своих ушей...

— Да ты что это... я отбивать не стану... не бойся...

— Не прогневайся, это я так, к слову... Слышал я, что к Федосею Афанасьевичу племянница из Новгорода гостить прикатила, подруга задушевная моей-то зазнобушки, то вот, бают, красавица-то писанная... Смотри, как увидишь, как раз до баб охоч станешь.

— Ну, это навряд... Меня-то скоро не пробе-решь... — усмехнулся Семен Иванович.

— Смотри, не зарекайся... я тоже, брат, так думал, да вот...

Максим Григорьевич не закончил и пере-менил разговор.

— Так завтра и пойдем к Горбачеву... благо воскресенье... после обедни к нему и нагреем... Ладно?

— Ладно!

— А теперь и поздниться стало... по домам

пора.

Друзья расстались.

Летние сумерки стали сгущаться.

Расставшись со своим другом, Семен Иванович долго ходил по опустелому двору.

Рой тревожных мыслей теснился в его голове.

Он чувствовал, что был не искренен с Максимом и покривил душой сказавши, что равнодушен к женщинам вообще.

Еще третьего дня он имел полное право сказать это, но вчера, прогуливаясь по Слободе, он встретил кибитку, в которой видал такое женское личико, что остановился как вкопанный, и сердце его усиленно забилося...

Это и была племянница Горбачева.

Когда Максим упомянул о ней, Семен Иванович почувствовал, что сердце его томительно сжалось...

Он понял всем своим существом, что это была она. Завтра он снова увидит ее?

VII

Первая любовь

Обедня в соборе Богоматери окончилась.

В Александровской слободе господство-

вали воскресное оживление, исключая Купеческую улицу, которая казалась сравнительно пустынной.

Купеческие лавки и лабазы, все без исключения были заперты.

В то время на Руси казалось дико даже возбуждать вопрос о праздничном отдыхе; праздничный день в ту далекую от нас эпоху был на самом деле праздником, то есть днем, посвященным Богу, а не людям.

Даже иностранные купцы, «басурмане», как их называл народ, подчинялись этой силе народной набожности, да и не осмеливались, боясь взрыва негодования народа, заняться торговлей в воскресенье или в праздник.

Сила веры была крепка на Руси.

Был первый час после полудня.

В доме Федосея Афанасьевича Горбачева трапезовали.

За столом, уставленным всевозможными праздничными яствами и питьями, начиная с пирогов и кончая квасами и крепкими медами, восседала вся многочисленная семья Горбачева: сам с самой, пять дочерей и три сына; старший, как мы знаем, остался в Нов-

городе.

В описываемое же нами воскресенье семья эта увеличилась еще прибывшей за два дня перед тем из Новгорода племянницей Федосея Афанасьевича, хорошо знакомой нам Аленушкой.

Последняя сидела рядом с младшей дочерью Горбачева Настей и кушала, заметно, очень лениво.

Вообще, она чувствовала себя с самого дня своего приезда в слободу не по себе.

Что случилось с ней, она не ведала сама.

И случилось-то так невзначай, неожиданно.

С какою радостью, с какими веселыми мыслями ехала она в Александровскую слободу, — эта радость немного омрачилась разлукой с отцом, — сколько надо было ей порассказать Насте о происшедшем за время отсутствия последней из Новгорода, какой короб новгородских новостей везла она для дяди и тетки, а приехала и сделалась вдруг грустной, сосредоточенной, почти немой.

Какая же тому была причина?

Елена Афанасьевна и сама не знала ее, хо-

тя с каким-то испугом о ней догадывалась.

Не ускользнуло это расположение духа Аленушки от старших, не ускользнуло оно и от ее подруги — Настасьи Федосеевны.

На расспросы первых и даже на расспросы своей любимой няньки, Агафьи Тихоновны, Елена Афанасьевна отвечала уклончиво, ссылаясь на нездоровье, и лишь допытыванье Насти сломило упорство, и Аленушка, упав на грудь подруги, сквозь слезы прошептала:

— Сглазил, видно, меня... он...

— Кто он? — удивленно спросила Настасья Федосеевна.

Это было в субботу. Молодые девушки сидели вечером в комнате Насти.

— А ввечер, как въехала я в слободу, на грех из кибитки выглянула, а по дороге навстречу парень идет в чудном, расписном кафтане...

— Опричник? — вспыхнула Настя.

— Должно быть, из них... Глянула я на него и индо похолодела вся, никогда допрежь такого красавца не видывала; русые кудри, из лица кровь с молоком, высокий, статный, а глазищи голубые так в душу мне и вперились... Зарделась я, чую, как кумач, и почуяла

тоже, что посмотрела на него я тем взглядом, что доселе на добрых молодцов не глядывала... Да и он остановился как вкопанный и смотрит на меня, глаз не спускаючи...

— Кто же это был? — раздумчиво заметила Настя.

В ее голове мелькнула ревнивая мысль, что это Максим Григорьевич, красноречивые взгляды которого по ее адресу не остались ею не замеченными, и хотя она была к нему почти равнодушна, но все же предпочтение, оказанное им другой, заставило в ее сердце шевельнуться горькому чувству.

Ей даже показалось, что она сама любит Максима.

Такова от веки веков логика женского сердца.

Описанный Аленушкой портрет, впрочем, не совсем походил на оригинал, и молодая девушка успокоилась и даже почти радостно воскликнула:

— А!..

Она догадалась, кто был попавшийся на встречу ее подруге опричник.

Елена Афанасьевна не слыхала этого «а!»

Она сидела, задумавшись, и после довольно большой паузы отвечала:

— Мне почему знать, кто это, но только вот уже третий день, как стоит он предо мной, как живой, и не могу я выгнать образ его из моей памяти девичьей... Сглазил он меня, говорю, сглазил...

— Не глаз это, Аленушка... а любовь... — вдумчиво, серьезным тоном объявила Настя.

— Любовь... — машинально, с недоумением повторила Елена Афанасьевна.

— Да... Может, это Бог тебе у нас суженого на дорогу выслал...

— Это опричника-то? — с каким-то почти священным ужасом воскликнула Аленушка.

— Что ж, что опричник... Такой же человек, слуга царев... есть между ними охальники, разбойники, да не все... Отец многих из них очень жалует, да и все здешнее купечество... Поведаю уж я тебе тайну мою, я ведь знаю, кто это с тобою встретился...

— Знаешь! Кто? — встрепенулась Елена Афанасьевна, охотно согласившаяся с подругой в мнении об опричниках.

«Что же, на самом деле, не все же душегуб-

цы и кровопийцы, больше, чай, сплетни об них плетут», — пронеслась в ее голове.

— Это царский стремянной, Семен Карасев.

— Царский стремянной?.. А ты почему это знаешь? — воззрилась на нее Алenuшка.

— Это-то и тайна моя, которую я тебе поведаю... К тятеньке ходит тут опричник один и тоже таково ласково на меня поглаживает...

— Ну...

— Да... из себя тоже красивый парень... на твоего похож, а твой-то его приятель... тоже, как мы с тобой, водой не разольешь... Не раз я его с ним видывала из окна горницы... как ты рассказываешь, так вылитый...

— Что ж ты его, твоего-то... любишь?.. — с расстановкой спросила подругу Елена Афанасьевна.

— Не знаю я, как и поведать тебе о том, — подперевши рукой свою пухленькую щечку, отвечала, не торопясь, Настасья Федосеевна. — Любить-то, кажись, по-настоящему не люблю, а частенько на него взглядываю, люб он мне, не спорю, а полюбить-то его берегусь... проку из того мало будет... отец не от-

даст, да и самой идти замуж за него боязно...

— Ведь я же и говорю, как можно... за опричника... — торопливо заметила Аленушка.

— Не то, а сын-то он... Малюты...

— Малюты!..

Елена Афанасьевна вздрогнула и даже отшатнулась от своей двоюродной сестры.

— Да, Малюты; не в отца пошел, такой тихий, хороший да ласковый, все говорят это, и тятенька, только в семью-то Малютину кто волей пойдет... кто возьмет себе такого свеко-ра... — заметила не по летам рассудительная девушка.

— И ты с ним выдаешься?

— Заходит к тятеньке, так кланяемся... но не часто, на улице иной раз встретишься...

— И только?.. — порывисто спросила взволнованная признанием подруги Елена Афанасьевна.

Хладнокровная Настасья Федосеевна удивленно посмотрела на нее.

— А с тем... с другим-то... не знакома?.. — вся зардевшись от смущения, с трудом спросила Аленушка.

— Нет... того так только мельком несколько раз видала... А что, аль тебе в другорядь повидать захотелось?.. — с улыбкой спросила Настя.

— Что же, не потаю от тебя, хотела бы, да и не только видеть, а и словцом с ним перекинуться; я не в тебя... коли любовь это, так чую я, что первая и последняя... не забыть мне его, добра молодца, сердце, как пташка, к нему из груди рвется, полетела бы я и сама за ним за тридевять земель, помани он меня только пальчиком... Слыхала я про любовь, да не ведала, что такой грозой на людей она надвигается...

— Что с тобой?.. — испуганно залепетала Настя, увидав, что глаза ее двоюродной сестры мечут молнии, а щеки горят красным пылом. — И впрямь, кажись, сглазил он тебя, от того и говоришь ты речи странные...

— Нет, не сглазил, поняла я теперь, ты же мне глаза открыла, люблю я его, люблю, хоть может никогда и не увижу его, добра молодца...

Елена Афанасьевна замолкла и низко-низко опустила на грудь свое горевшее пожаром

лицо.

— Ишь ты какая!.. Не даром в тебе цыганская кровь!.. — полушутя, полусерьезно заметила Настасья Федосеевна.

На это раз разговор подруг окончился.

Он не успокоил Елену Афанасьевну, почему она на другой день и за обедом была задумчива и рассеянна.

Трапеза оканчивалась, ели уже клюквенный кисель с молоком, когда дверь отворилась и в горницу вошли два опричника.

— Максиму Григорьевичу... милости просим, — встал с места Федосей Афанасьевич, обтирая ручником бороду и обратился к первому из вошедших.

За Максимом, немного позади, стоял Семен Иванович.

— Хлеб да соль... — произнес Скуратов, делая всем поясной поклон и успев окинуть восторженным взглядом Настасью Федосеевну.

— Не побрезгуйте! — отвечала хозяйка, Наталья Кузьминична, высокая, полная, дородная женщина, совершенно под пару своему мужу, Федосею Афанасьевичу.

Глаза Семена Ивановича тоже на мгновение встретились с глазами Аленушки, и этот взгляд решил все, она поняла без слов, что они любят друг друга.

Девушки тотчас вышли из-за стола и пошли в свои светлицы, а в горнице остались, кроме гостей, лишь старик Горбачев с сыновьями да Наталья Кузьминична, на обязанности которой лежало угостить гостей почетными кубками.

— Вот уже ты и свиделась... подлинно, что суженого, конем, говорят, не объедешь! — шепнула Настя Аленушке, выходя из горницы.

— Не обессудь, Федосей Афанасьевич, — начал снова Максим Григорьевич, — я к тебе пожаловал с приятелем, друг мой закадычный и единственный... Наслышался он от меня о тебе, о доме твоём гостеприимном... захотел знакомство с тобою повести. Такой же он точно по мыслям, как и я, так коли я тебе, как ты мне не раз баял, по нраву пришелся, то и его прошу любить да жаловать...

Федосей Афанасьевич подошел сперва к Скуратову, обнял и троекратно облобызал, а

затем обнял и поцеловал Семена Ивановича.

— Милости просим к столу, гости дорогие!
Жена, наливай полней вина искрометного.

Гости сели за стол.

Хозяйка, поднеся кубки с поясными поклонами, вышла из горницы, оставив мужчин вести беседу.

Беседа эта затянулась надолго.

Семен Иванович не принимал, впрочем, в ней большого участия. Ему было не до того. Он чувствовал, что его бросало то в холод, то в жар от только что пережитого им взаимного взгляда; он ощущал, как трепетало в его груди сердце, и с сладостным страхом понимал, что это сердце более не принадлежит ему.

В сумерках только выбрались друзья из гостеприимного дома Горбачева.

— Ну что, какова моя-то зазнобушка?.. — спросил Максим Григорьевич.

— Ничего, краля видная, только перед приезжей не выстоит...

— Аль тебя тоже зазнобило?..

— Каюсь, сам не свой... да и не с нынешнего.

Семен Иванович откровенно рассказал своему другу про первую его встречу с Еленой Афанасьевной.

— С Богом, засылай сватов, тебе можно, ты не отверженный... печально произнес Скуратов.

— Сватов... — усмехнулся Карасев... — Кого же мне сватами засылать... Я, как ты знаешь, один как перст... ни вокруг, ни около...

— Так сам сватай... Федосей Афанасьевич человек разумный, поймет.

— Да что ты, брат, ошалел, что ли? Кажись, всерьез гутаришь... Два раза девушку видел... уж и сватай...

— А что ж, старые люди бают, коли первый раз хорошо взглянется, на долго тянется.

Друзья вошли на дворцовый двор, в одной из изб которого жил Семен Иванович.

Прошло несколько недель.

Роман Семена Иванова и Аленушки сделал необычайно быстрые успехи.

Мы не будем описывать в подробности его перепитии. Это может занять много места, а между тем у человеческого пера едва ли хватит силы выразить галопирующее чувство,

охватившее сердца влюбленных. Клены и вяза сада при доме Горбачевых одни были свидетелями и первого признания, и последующих любовных сцен между Семеном Ивановым и Еленой Афанасьевной.

В девушке, — Настасья Федосеевна была права — в самом деле, заговорила цыганская кровь ее матери: после второй встречи Семен Иванов не даром стал бродить у изгороди сада Горбачева, на третий или четвертый день он увидал свою зазнобушку около этой изгороди и отвесил почтительный поклон; ему ответили ласковой улыбкой; на следующий день он завязал разговор, ему отвечали. Аленушку не смутило и то, что ее двоюродная сестра, испугавшись этой дерзости «шальной цыганки», как мысленно называла ее Настя, убежала без оглядки из сада; она спокойно говорила с Карасевым...

Так и началось...

— Отец любит меня, я у него одна... приезжай туда сватать меня, а теперь и навсегда знай, я твоя невеста или ничья... За тебя или в гроб, так и отцу скажу... Не бойся, благословит... увидит, что без тебя мне не жисть... Лю-

бит он меня, говорю тебе... Знаю, что любит... И я его люблю, но для тебя, ясный сокол мой, и с ним малость повздорить решуся... говорила Елена Афанасьевна за день до отъезда своего обратно в Новгород.

— А не поклониться ли наперед дяде Федосею Афанасьевичу... чтобы замолвил он словечко в грамотке брату своему, твоему батюшке, а то мне все боязно, как не будешь ты моей, моя касаточка, кралечка моя ясная... говорил Карасев, нежно обнимая Аленушку.

— Поклонись, пожалуй, — не сопротивлялась та, — не мешает и его помощь, но только, хоть я и тятенькина, но и своя, и, как сказала тебе, так и будет, или твоей буду, или ничьей...

Тяжело было для них это последнее свиданье — свиданье разлуки.

Грустный, с поникшею головою, хотя и с радужными надеждами в сердце, ушел от сада Горбачевых в этот вечер Семен Иванов.

Печальнее его, впрочем, был в последние дни его друг, Максим Григорьев Скуратов.

Его последние надежды на обладание Настасьей Федосеевной были разрушены окон-

чательно и безвозвратно.

К чести Семена Иванова, надо заметить, что он среди более чем пятинедельного упоения разделяемой любовью не забыл о своем друге, и через Аленушку выпросил Настю, может ли Максим питать какие-либо надежды на удачу своего сватовства. Ответ, полученный им для друга, был роковой:

— И люб он ей, да пусть лучше и не сватает... он сын Малюты, сказала ему Елена Афанасьевна.

Конечно, не в этой форме передал этот ответ своему другу Карасев, но первый понял то, что не договорил его товарищ.

— Мне не видать счастья в этом мире, — грустно заметил Скуратов, — я сын Малюты.

На его лицо набежала мрачная тень, да так и не сходила с него.

Прошла неделя. Однажды вечером Максим Григорьев пришел к Карасеву...

— Побратаемся, — сказал он ему, — снимая с шеи золотой тельник, ты мой единственный задушевный друг, тебя одного жаль мне оставлять в этом мире...

— С охотой побратаемся, — снял в свою

очередь деревянный тельник Семен Иванов... — Но как это оставлять, ты это куда же собрался? — добавил он, видя Скуратова в дорожном платье.

— Погоди, потом расскажу... — грустно отвечал тот, надевая свой крест на шею друга.

Последний благоговейно сделал то же самое.

Новые братья облобызались.

Обряд побратимства совершился...

— Так куда же ты... что задумал? — после некоторой паузы спросил Карасев.

— Вон из мира... В нем нет места сыну Машуты... Пойду замаливать грехи отца... Может, милосердный Господь внемлет моим молитвам и остановит окровавленную руку отца в ее адской работе... А я пойду куда-нибудь под монастырскую сень... повторяю, в мире нет места сыну палача... Да простит меня Бог и отец за резкое слово.

Он снова бросился на шею Семену Иванову и горячо на прощанье обнял его.

Карасев ничего не нашелся сказать, чтобы утешить или остановить несчастного.

Да и что мог сказать он?

И Максим ушел.

На другой же день весть о бегстве сына Григория Лукьяновича облетела всю Александровскую слободу.

Малюта был вне себя от гнева и разослал гонцов во все концы земли русской.

Но погоня была безуспешной.

Максим Григорьевич, что называется, как в воду канул.

Малюта заподозрил, что его сына приютил и скрывает новгородский архиепископ Пимен, и задумал, а с помощью Петра Волынца, составившего и тайком положившего за икону Богоматери в Софийском храме подложную изменную грамоту, исполнил тот новгородский погром, кровавыми картинами которого мы начали наше правдивое повествование.

Кроме того, Григорию Лукьяновичу доложили досужие языки, что видели Максима Григорьевича у изгороди сада Горбачевых, в беседе с приезжей из Новгорода красавицей — племянницей Федосея Афанасьевича. За Максима, видимо, приняли Семена Иванова, похожего на него по фигуре.

Подозрительный Малюта и это намотал себе на ус, и этим объясняются его загадочные речи к Афанасию Афанасьевичу Горбачеву перед мученической смертью последнего на Городище.

Семен Иванов, конечно, ничего не ведавший о замыслах первого советника грозного царя, поклонился, как и говорил Аленушке, ее дяде Федосею Горбачеву.

— Сирота я круглый... некому за меня сватов заслать к отцу твоей племянницы, так будь отец родной, отпиши от себя брату, да и за меня, в память друга моего Максима, замолви словечко ласковое.

Он откровенно признался старику в их взаимной любви с Аленушкой.

— Хорошо, — ответил старик, — ты парень хоть куда, женишься, из опричнины выйдешь, ума тебе не занимать стать, тестю помогать станешь по торговле, а брату для дочери человек надобен, а не богатство, его у него и так хоть отбавляй, и то в пору... Да коли она тебе любя и ты ей... так мой совет брату будет, чтобы и за свадебку.

Не ожидавший такого быстрого согласия

Карасев повалился в ноги Федосею Афанасьевичу.

Тот поднял его и облобызал.

— Не торопись благодарить, то мой ум раскинул, а у брата, чай, другой... А отпишу, сегодня же отпишу...

И Федосей Афанасьевич отписал.

Томительно шли недели. Наконец получился ответ из Новгорода, просят-де зятюшку нареченного побывать, потому девка дурит наподи и сладу нету, вынь ей да положи жениха слободского, так хоть посмотреть, каков он из себя, и если хороший человек, то и по рукам ударить, волей-неволей, придется, дочка-то ведь одна.

Так писал Афанасий Афанасьевич.

Ликованию Семена Иванова не было конца.

Задумал он сейчас же отправиться на побывку в Новгород, да царь сам кликнул его да и услал в Литву, с письмом к князю Курбскому.

Произошла, таким образом, неожиданная отсрочка свидания с невестой, он уже мог называть ее так, — на несколько месяцев.

Отписал Федосей Афанасьевич и об этом брату и племяннице.

Семен Карасев уехал.

Мы видели, что застал он, когда наконец попал в этот дорогой его сердцу Новгород: замученного до смерти будущего тестя и опозоренную товарищами невесту.

VIII

В родительском доме

Тихо ехал Семен Иванов со своей роковой ношей по пустынным улицам Новгорода и думал свои горькие думы.

Как посмеялась над ним злодейка-судьба! Какими радужными мечтами тешила она его за последнее время, и вдруг... В один день, в один час почти отняла буквально все, чем красна была его жизнь.

Перед ним лежит почти бездыханный труп безумно любимой им девушки, впереди грозный суд царя и лезвие катского топора уже почти касается его шеи. Он чувствует холодное прикосновение железа, но он не своей головы жалеет... «Что станется с ней, с Аленушкой, когда она очнется... да и как привести ее в чувство... Где?.. Какому надежному

человеку поручить ее... и умереть спокойно... А если царь смилуется над своим верным слугой и не велит казнить... тоже в какой час попадешь, к нему... тогда... еще возможно счастье... если Аленушка да отдохнет... Опозоренная... так что же, не по своей воле... любя она ему и такая... любя еще более... мученица»... мелькают в голове его отрывочные, беспорядочные мысли.

Он въехал на Рогатицу. Тут жили богатые посадские люди новгородские. Тут же он знал, что находился и дом Афанасия Афанасьевича Горбачева.

Но где он? На улице ни души.

Вот, на его счастье, из калитки одного дома вышел, озираючись, какой-то мужичонко.

— Дядюшка, а дядюшка!.. — окликнул его Карасев.

Тот взглянул и чуть было не дал тягу, но Семен Иванов предупредил его, обскакав наперерез.

— Родимый, не погуби, не повинен в изменном деле, — упал тот перед ним на колени.

— Какое тут изменное дело!.. Где тут дом

купца Горбачева?

Мужичонко даже ошалел от такого неожиданного вопроса. Семену Иванову пришлось повторить его.

— Горбача-то... А вон насупротив!.. — поднялся с колен успокоенный мужичонко. — Только его самого надясь прикончили, — добавил он, сделав выразительный жест рукою.

Карасев направился к воротам указанного дома, а мужичонко все-таки тотчас же дал тягу и скрылся в тех же воротах, откуда вышел.

Ворота указанного Семену Иванову дома были отворены настежь.

Он въехал во двор, осторожно слез с седла и, положив на левую руку бесчувственную Аленушку, правой привязал коня к столбу находившегося во дворе навеса.

Бережно понес он свою драгоценную ношу в дом.

Дверь в доме тоже была открыта настежь.

Он вошел в первую горницу.

С первых же шагов было видно, что дом разграблен дочиста.

Семен Иванов положил Аленушку на лавку. Она не подавала никаких признаков жизни.

ни.

Он вышел снова во двор, добыл в полу каф-
тана чистого снегу и начал смачивать ей ли-
цо, виски.

Холодная влага подействовала. Несчастливая
глубоко вздохнула.

— Аленушка! — тихо окликнул он ее.

Она с трудом открыла, видимо, от слез по-
тяжелевшие глаза.

— Сеня... Сенечка!..

Она сделала движение встать, но не могла.

— Лежи, лежи, родимая!

— Где отец?

— Жив, здоров, не тревожься...

— Неправда... Тот сказал... палками... —
еле слышно простонала она.

— Брешет он, рыжий пес, брешет... Не тре-
вожь себя, родная... для меня...

— Для тебя... а по что я-то нужна тебе та-
кая... сегодняшняя...

— Дорога ты мне была и есть... невеста моя
ненаглядная, — наклонился он к ней и поце-
ловал ее в лоб.

— Не тронь! — вскинула она на него свои
чудные, истомленные страданьем глаза. — Не

стою я тебя... Я погибшая...

— Что ты, что ты, родная, не гони меня от себя, твой я, по гроб жизни твой!

Он начал горячими поцелуями покрывать ее холодные руки.

В это время в соседней горнице раздались чьи-то слабые шаги.

Карасев торопливо обернулся, положив руку на кинжал. Он, видимо, ожидал врага и готов был до последней капли крови защищать свою ненаглядную, пришедшую в себя невесту.

Дверь скрипнула и отворилась. На ее пороге появилась одетая в лохмотья, исхудалая старуха: космы совершенно седых волос выбивались из-под сбившегося на бок повойника.

Пересохшие губы были искажены как бы от невыносимого внутреннего страдания, глаза дико горели каким-то неестественным блеском.

Женщина протянула вперед свои почти голые, костлявые руки.

Семен Иванов снял руку с кинжала и как-то невольно отступил назад перед этим

страшным видением.

— Ты здесь, душегубец... опять! — прохрипела старуха.

— Кто это? — почти в паническом страхе произнес Карасев.

Елена Афанасьевна сделала усилие и присела на лавке.

— Агафьюшка! — тихо проговорила она.

Старуха действительно была Агафья Тихоновна. Семен Иванов не узнал ее, хотя несколько раз видел ее в Александровской слободе. До того изменили ее последние пережитые дни, во время которых она была свидетельницей наглого надругания над ее дитяtkом — Аленушкой, которую она не считала уже в живых, и мученической смерти ее хозяина и благодетеля, Афанасия Афанасьевича, там, на Городище, где была и она.

Ум старухи не выдержал — он помутился.

Услыхав возглас Аленушки, Карасев пришел в себя и сделал шаг на встречу старухе.

— Какой же я душегуб, Агафья Тихоновна, я жених Елены Афанасьевны... Разве вы меня запомнили?.. В слободе еще встречались.

— Жених!.. — своим перекошенным ртом

засмеялась старуха... — У ней один теперь жених... Христос...

Костлявой рукой своей она указала сперва на Аленушку, а затем на небо.

Елена Афанасьевна, прислонившись к стене, неподвижно сидела и с каким-то инстинктивным испугом переводила свои полузакрытые от слабости глаза с няньки на Карасева и обратно.

— Что вы, Агафья Тихоновна, заживо-то ее хороните, лучше проводите в опочивальню, да в постель уложите, ей отдохнуть, а мне к царю спешить надо, дело есть важное, — заметил Семен Иванов.

— Иди, иди к царю, он такой же, как ты, душегуб и кровопийца! вскрикнула старуха, и, быстро бросившись вперед, встала между ним и Еленой Афанасьевной.

Он было сделал шаг, чтобы устранить ее, но она приняла угрожающую позу.

— Не подходи, не подпущу к моему дитятке! Прочь... без тебя управимся, не мужское это дело!..

Карасев колебался. Ему вдруг почему-то стало страшно оставить Аленушку в этом по-

луразоренном дом, с глазу на глаз со страшной старухой, говорящей какие-то нескладные речи.

Агафья Тихоновна, казалось, поняла его колебания.

— Иди же, говорю тебе, дай отдохнуть ей, я ее в постель уложу, не в опочивальню же ее мне пустить тебя прикажешь, не раздевать же мне ее при тебе, и так уж она много сраму натерпелася! — начала она уж более спокойным голосом и глаза ее потускнели и глядели на Карасева простым, добрым взглядом.

Это его успокоило, а намек на то, что, быть может, он считает теперь возможным относиться к Аленушке с неуважением, до боли уязвил его сердце.

— Так я пойду, а ты, Агафья Тихоновна, не расстраивай ее речами вздорными, может, я скоро удосужусь назад, мигом оборочусь, а если, неровен час, задержусь, то успокой меня, что скроешь ее от врагов...

— Будь покоен, добрый молодец, скрою так, что никому не найти ее, сызмальства ее выходила, чай, она мне все равно, что родная... Иди, иди себе с Богом, по делу али по до-

сужеству, тебе об этом лучше знать...

— Какой там по досужеству, матушка Агафья Тихоновна, иду я на суд грозного царя, за то, что побил его опричников-охальников; не стерпело сердце молодецкое, видя их безобразия... Велит ли мне государь голову рубить али помилует, все в руке Божией, все в сердце царевом... как знать... Коли помилует, мигом оберну сюда; нонешний день уж здесь подождите меня... А завтра с Богом, в слободу, к Федосею Афанасьевичу... авось как-нибудь стороной из города выберетесь... сбереги ее и сохрани мне ее душу ангельскую, — низко, почти в ноги поклонился старухе Семен Иванов.

— Иди, иди, будь спокоен, сберегу... ее душеньку... ах, сберегу! загадочным тоном произнесла старуха.

Взволнованный Карасев не заметил этого тона и, взглянув в последний раз на Алену Афанасьевну, ласково смотревшую на него, и поклонившись в пояс обеим женщинам, вышел.

Отвязав во дворе своего коня, он вскочил на седло и быстро выехал за ворота, но вдруг

остановился, снова соскочил наземь и, держа коня за повод, бережно притворил ворота, и только тогда снова вскочил в седло и поехал тихо по той же дороге, по какой ехал сюда, стараясь заметить местность и дома.

Тихая езда, впрочем, была ему необходима и по другим причинам: он хотел собраться с мыслями, хотел успокоиться от пережитых, такой массой нахлынувших на него страданий, чтобы со светлым умом предстать пред царские очи и держать прямой ответ царю за свои поступки на Волховском мосту.

Он хорошо знал, что Малюта уже давно опередил его, забежал к Иоанну и успел непременно представить поступок его, Карасева, в нужном ему свете.

Семен Иванов, зная, что Григорий Лукьянович недолюбливает его с момента его случайного повышения самим царем, что он не раз нашептывал на него самому Иоанну, что де «Карась колдовством взял, а не удалью, медведям глаза отводил и живой из лап их выскользнул единственно чарами дьявола», а не искусством и беззаветной храбростью, но, к счастью для Карасева, Малюта со своим по-

клепом не попадал к царю в благоприятную минуту.

Со времени же бегства Максима Григорьева, Григорий Лукьянович, зная о дружбе сына с Карасем, положительно стал ненавидеть последнего, подозревая его в пособничестве побегу сына.

Все это хорошо сознавал молодой стремянной царский, и все это ничего не предвещало ему доброго. Думалось ему, что хоть и любимец он Иоанна, а несдобровать ему за своевольную расправу с опричниками, не сносить ему своей буйной головушки.

А тут еще думы об ответе царю, ответе, от которого зависела буквально его жизнь, то и дело путались с мыслями об оставленной им любимой девушке, как-то за ней присмотрит старуха, даст ли ей покой она, чтобы могла подкрепиться сном живительным да расправить на постели мягкой свои усталые косточки?

«Только бы ей поправиться, да в слободу пробраться, дядя в обиду не даст... царь его, старика, жалует», — думал Карасев не будучи в состоянии подумать о себе, даже перед ли-

цом почти неминуемой смерти.

— Будь что будет! — решил он, осаживая коня у крыльца царского дома.

IX

Пред лицом царя

Слух о происшествии на Волховском мосту достиг уже давно царского дома и вызвал на крыльцо толпу любопытных, с нетерпением ожидавших смельчака, решившегося заступить за казненных по царскому повелению новгородцев.

Ожидание продолжалось уже очень долго, и иные стали сомневаться, сдержит ли дерзкий храбрец свое слово и явится ли сам перед ясные очи грозного царя.

— Задал, верно, тягу, подобру-поздорову... — замечали некоторые.

— Вестимо, не дурак, самому на плаху голову класть!.. — соглашались другие.

В числе ожидавших был и молодой Борис Годунов.

В момент, когда напряжение ожидания достигло своего апогея, на улице, где находился царский дом, показался всадник, осадивший своего коня у самого крыльца.

Это был Семен Иванов Карасев.

Годунов с первого взгляда узнал стремянного, медвежьего плясуна, и любопытство, в связи с расчетом, заставило царского любимца-политика заговорить с учинившим побоище.

Хитрый Борис выслушал дело и пошел в хоромы, тут же решив помочь виноватому, который не думал заператься и просить пощады. Это было выгодно для цели, у него уже обдуманной: низвергнуть Малюту, открыв глаза царю на злодеяния, совершаемые его именем.

Воротиться к царевичу, настроить его явиться к отцу-государю с предложением выслушать лично преступника, было для Бориса Федоровича делом не трудным и не долгим.

Григорий Лукьянович, хотя, как и думал Семен Иванов, заранее забежал к царю, но не вдруг решился прямо сказать ему о бое опричников на Волховском мосту, подготавливая издалека царя и намекнув ему о сумасшествии стремянного Карася, который будто бы не помнил, за что поколол заигравших с ним товарищей, поддразнивших его медвежьей

пляскою.

Все шло как по маслу...

Иоанн Васильевич сочувственно принял известие о болезни своего верного слуги, лишь по свойственной ему подозрительности заметив:

— Разыскать, не было ли зла тут, не опоили ли его понасердку!

— Разузнаем, государь... Все разузнаем, а теперь нужно убрать малого в надежное место... не то бы дурного чего не учинил над собою...

Вдруг в царскую опочивальню вошел сильно взволнованный царевич Иван и прямо заговорил:

— Государь-батюшка, на Волховском мосту смута... Стремянной твой, Карась, побил опричников, обнажив меч, и напав на товарищей...

— Это дело, Ваня, Малюта не так докладывает... Карась-то с ума сбред... Не помнит ничего и понятия не имеет совсем... Поколел зубоскалов... Смеяться, вишь, да дразнить его вздумали...

— Малюта, государь, ошибается... Карась в

полной памяти и в учиненном художестве не запирается... приносит полное покаяние.

— Просветление, что ли, на малого нашло?.. Повидать бы нам его надо постараться...

— Не просветление, государь-батюшка, а полное осознание... Карась сам приехал к тебе с повинною, у крыльца стоит, дожидается... Говорит все ясно и отчетливо, сам изволишь убедиться, коли повелишь ввести его.

— Коли здесь он и может все понимать, ввести...

— Ввести Карася, Борис! — крикнул поспешно царевич, чтобы предупредить Малюту, потерявшегося от раскрытия его лжи.

Через несколько минут растворились двери и Семен Иванов вошел с поникнутою головою.

— Виноват, великий государь! — начал он, преклонив колена. — Побил я грабителей и разбойников, не признав в них слуг твоих, когда сказали они, что доподлинно губить вели безвинных женщин, вместе с невестой моей Еленой Горбачевой. Вины за этими женщинами быть не может, а слуги твои — не иродовы

избиватели младенцев. Меча, которым убил я извергов, не отдал я без твоей державной воли. Казни меня виноватого, защити только остальных безвинных... На защиту невесты, которую любил я больше жизни, поднял я меч свой. Виновен ли я, рассудить правота твоя. Пощады не прошу, прошу справедливости... но тебе только, великий государь, поверю, коли сам скажешь мне, что с ведома твоего топят народ что ни день, с детьми...

— Поднявшие меч мечом и погибнуть должны!.. — отозвался царь, выслушав признание Карасева. — Ты бы должен помнить это и не быть мстителем, — добавил он грустно.

— Голова моя перед тобою, государь; повели казнить, но сперва выслушай...

— Говори!..

Семен Иванов подробно рассказал свое знакомство с Еленой, свою встречу с ней на мосту и свое впечатление от новгородского погрома.

— Знаю я, государь, одно, — заметил он, — неведомо, за что бьют и топят здесь в Новгороде сотнями слуги твои!..

Карасев умолк.

— Карать государь должен за крамолу! — отвечал Грозный, но в голове его слышались теперь не ярость и гнев, а глубокая скорбь и неуверенность. — Губить невинных мне, царю, и в мысль не приходило... Казнить без суда я не приказывал... Ведуний каких-то упорных, не хотевших отвечать, только я велел, за нераскаянность при дознанной виновности, покарать по судебнику за злые дела их...

— Государь, — ответил Семен Иванов, — всех женщин и мужчин губили, и не спрашивали, за что... Коли нечего отвечать на вопрос о деле, которого не знаешь, поневоле скажешь: нет! Это ли не раскаянность и слушание? Это ли причина губить огулом без разбору?

При этих словах на лице Иоанна выразился величайший ужас.

На всех присутствовавших, исключая царевича да Бориса Годунова, слова Карасева произвели самые разнообразные действия, с общим ощущением трепета и неотразимости готового разразиться удара. Всегда дерзкий и находчивый, Григорий Лукьянович в это

мгновение не мог совладать с собою и обратиться мысли.

Взгляд, брошенный на него Грозным, заставил затрепетать злодея, и в сердце царя трепет его был самым неопровержимым доказательством страшного дела.

Иоанн Васильевич заметался и тяжело опустился на свое кресло, схватясь за голову, как бы стараясь удержать ее на плечах.

Действительно, голова у него закружилась и все окружающие завертелись вокруг него в какой-то бешеной пляске.

В горнице царица такая тишина, что слышно было усиленное биение сердца в груди присутствующих. Какая-то невыносимая тяжесть мешала вылетать воздуху из легких, хотя под напором его многие готовы были задохнуться.

Осилил первый эту бурю ужаса Иоанн и движением руки подозвал к себе Семена Иванова:

— А сослужил ты мне службу в Литве? Грамотку мою передал крамольнику? — почти ровным голосом спросил он.

— Исполнил, государь великий, в руки от-

дал твою грамотку подлому изменнику... С докладом о том и спешил к тебе в Новгород, да вот стряслась надо мной беда неминуемая...

— Исполать тебе, добрый молодец, что сослужил ты мне службу последнюю, не служить тебе больше в опричниках, коли поднял ты меч на братьев своих, но и не отдам тебя в руки катские... Иди на все четыре стороны... Коли жив будешь, твоя доля, но и за убийство твое не положу кары на виновного... Тебе судья один Бог, а не я — грешный судья земной... И виноват ты в пролитии крови человеческой, и прав, не признав душегубцев слугами моими царскими... Как же мне судить тебя... Я, быть может, тебя виновнее... хоть и по неведению... Иди, говорю, от нас на все четыре стороны.

Царь привстал с кресла и даже поклонился Семену Иванову.

Последний стоял, низко опустив голову.

Мрачные мысли проносились в его мозгу, неожиданность царского помилования поразила его.

«Не хуже ли смерти такое помилование?» — неотвязно вертелся в голове его во-

прос. Но он вспомнил об оставленной им Аленушке, и какое-то сладкое, теплое чувство стало подниматься из глубины его сердца...

Он поднял свой взгляд на царя, поклонился ему до земли и тихо вышел среди расступившихся присутствовавших.

Царь молчал, продолжая задумчиво сидеть в кресле.

Вдруг он воскликнул:

— Идите вон... все!

И снова гневный взгляд его упал на Малюту.

Этот взгляд не ускользнул от последнего и от Бориса Годунова.

— Уезжай тотчас же к войску, если жизнь дорога тебе... — шепнул тот Григорию Лукьяновичу по выходе из царской опочивальни.

Гордый Малюта, как известно, тотчас послушался этого «молокососа», как он называл Годунова.

Царь остался один.

Ум страждущего монарха получил, казалось ему, доселе неведомую пронизательность, усиливающую лишь теперь его душевную боль.

Сознание того, что он сам, всею душою ставшийся об улучшении народного быта, служил игрушкой врагов народа, попускавших его гнев и милость на кого хотелось этим извергам, — было самым язвительным терзанием среди накипевшей боли. Уверенность, теперь несомненная, что напуская на него страх придуманными восстаниями и заговорами, коварные клики злодеев набросили на самодержавного государя тень множества черных дел, самый намек на которые отвергнут был бы его совестью, умом и волею, представляла царю его положение безвыходным. «Тиран, мучитель безвинных, руками таких же зверей, как он сам»... — вот что скажут потомки, не будучи в состоянии понять всей неотвратимости обмана, которым опутали умного правителя те, которых поставил он взамен адашевцев.

«Кто же поверит, — продолжал свои томительные думы Грозный, — что выбирая в свои наперсники зверей, носивших только человеческий образ, я не удовлетворял этим личным побуждениям своего злого сердца?»

Иоанн Васильевич горько зарыдал.

«И будут правы мои обвинители... по-своему совершенно правы... Не нравились ему, скажут они, не за то адашевцы, что всем ворочали и все забрали в свои руки, скрывая от царя правду и показывая, что им было нужно, — набрал он на смену таких же правителей. Значит, нужна была ему эта шайка полновластных хозяев, заправляющих его именем? Адашевцы оказались недостаточно жестокими! Ему нужна была человеческая кровь... Пить и лить ее — выискалась шайка кромешников... От них уже, говорят, никому не было пощады... А я... опустил руки... Вижу и слышу только там, где мне указывают, и то, что мне говорят... натолковывают... Где была моя прозорливость, когда сомнение щемило сердце, а ухо склонялось к лепету коварного сплетения лжи и обмана на гибель сотням и тысячам... невинных»...

Царь в неистовстве бил себя в грудь.

«Ну, казнь я своих злодеев, — продолжал он мыслить далее, — очистит ли меня осуждение и кара их от обвинения в потворстве с моей стороны сперва, а потом взваливания на них моей же вины? Их гибель, скажут,

нужна была ему, чтобы себя обелить! Вот мое положение. Кому я, самодержец, скажу, что эти изверги так меня опутали, что я делал все им угодное и нужное и не подумал проверить да разузнать, подлинно ли мне представляют? Как царю не поверить донесению Слуг своих, когда он постоянно все и узнает только из этих донесений?! Сам собою я не имею и возможности открыть подлог и ложь, если захотят меня морочить»!

Иоанн встал с кресла и неровными шагами заходил по комнате, опираясь на костыль.

«Сознаться в невозможности видеть истину, самому заявить, что я не способен к управлению? А другие, если ты откажешься, способнее, что ли, его выполнить? Сесть на престол многие поохотятся — пусти только. Выполнить царские обязанности если не сможет привычный кормчий, по человечеству не свободный от промахов, где смочь повести их непривычному, неопытному?.. Меня — наследственного владыку — могли окружать прихлебатели, искатели милостей, первые враги государства... Не больше ли зла причинят они при случайно возвысившемся»?..

Царь подошел к аналою и тихо опустился на колени.

— Сердцеведец... — начал молиться он. — Ты зришь глубину души моей! Впал я в сети коварства... и перед судом Твоим не обвинюсь за зло, учиненное моим именем, понести заслуженную мною кару. Верую в святость и неисповедимость судеб Твоих! Если же перед Тобою не хочу оправдываться неведением, какая польза перед людьми сваливать мне, самодержец, вину на презренных слуг! Карай меня, Господи, за зло, ими учиненное! Сознаю в этом Твое правосудие, но просвети... пока не настанет час кары! просвети мои умственные очи, да вторично не сделаюсь орудием людской злобы... Невознаградима кровь, пролитая злодеями при моем ослеплении... по крайней мере, нужно вознаградить кого можно и кто не предстал еще моим обвинителем перед Тобою, Судьею праведным[63].

Иоанн упал ниц перед иконами, и долго глухие рыдания колыхали его худое, изможденное страшным недугом, распростертое на полу тело.

В то время, когда несчастный венценосец

горячо молился царю царей, помилованный им его верный слуга Семен Карасев во весь опор скакал по направлению к Рогатице, к заветному дому, где он оставил более чем полжизни.

Что ему было до того, что он теперь по слову царя отверженный между людьми, что каждый безнаказанно может убить его. За себя постоит он против всякого, постоит и защитит теперь и свою ненаглядную Аленушку.

«Что с ней? Жива ли она? Не напали ли опять без него кромешники... Да нет, старуха нянька чай как зеницу ока сбережет ее, сохранит, не найти никакому врагу... сама сказала мне...» — мелькают в голове его то тревожные, то успокоительные мысли.

Вот и заветный дом. Соскочил с коня Семен Иванов, отворил ворота, ввел коня и, привязав его к навесу, поспешил в дом.

«Здесь ли она? Жива ли?»

Он даже остановился от волнения, прежде нежели отворить дверь.

Х

Христова невеста

По выходе из горницы Семена Иванова Агафья Тихоновна несколько секунд молча смотрела на сидевшую на лавке, откинувшись к стене, Елену Афанасьевну, и вдруг дико, неистово захохотала.

Аленушка вздрогнула и с видимым усилием широко открыла на свою старую няньку удивленные глаза.

— Что с тобой, Агафьюшка?

— Агафьюшка... Какая же я тебе, девушка, Агафьюшка... — удивилась в свою очередь старуха. — Ты сама-то кто, девушка, будешь?

— Как кто я? Да разве ты не признала меня?.. Я... Аленушка...

Какой-то инстинктивный страх, вдруг ни с того, ни с сего обуявший Елену Афанасьевну, придал силы ослабевшему организму и она даже всем туловищем отделилась от стены.

— Аленушка... какая же это такая Аленушка... невдомек мне что-то девушка!

— Как какая? Да твоя же питомица, Афанасия Афанасьевича Горбачева дочь... али не признала, так изменилась я... с того дня как тятеньку на правеж взяли... к царю...

— Ишь ты какая, девушка прыткая... Толь-

ко меня, старуху, не морочь... глаз мне не отводи, потому без нужды это... не обманешь...

— Да что ты, Агафьюшка, опомнись, что мне тебя обманывать... я... я... Аленушка...

Елена Афанасьевна протянула к ней свои руки...

Старуха отступила.

— Говорю, девушка, не морочь... не обморочишь... Какая же можешь ты быть Аленушкой, когда у меня она одна была кралечка... как налетели вороги, взяли ее силком от меня и стали, как злые вороны, клевать тело ее белое... Сама я своими глазами видела, как они, надругавшись над моим ненаглядным дитятком, повели ее топить к мосту Волховскому... В небесах теперь витает ее душенька... Христовой невестой соделалась... Меня в горней обители ждет, чай, не дождетя душа ее ангельская... Скоро, скоро мы с ней свидимся, не жилища я на свете белом, не казнили меня злодеи кровожадные, загубили лишь ее, молодушку, сама себя казнь рукой старческой, довольно нажилась, навиделась... Вот и петля уже приготовлена... да помешала ты мне с твоим любовником.

— Опомнись, Агафьюшка, что ты несешь за окоlesiцу, с каким таким полюбовником... это жених мой нареченный... Сеня... Семен Иванов... а я... я Аленушка, дочка Горбачева Афанасия Афанасьевича... А он, говорю, жених мой из слободы Александровской... спас он меня из рук моих надругателей...

— Жених, говоришь, девушка... Доброе дело, доброе дело... У моей касаточки, у Аленушки, тоже был жених нареченный, ждали мы его со дня на день... да дождались вместо него лютых врагов.

— Это он и есть, Агафьюшка, он, кого ждали мы с тятенькой.

— С тятенькой, а у тебя, девушка, есть и тятенька?..

— Да что ты, Агафьюшка, — уже совершенно взволнованным голосом заговорила Елена Афанасьевна, — битый час я говорю тебе, что я та самая Аленушка, твоя питомица, что жила в этом доме вместе с тятенькой, али ты совсем с перепугу лишилась памяти...

Агафья Тихоновна обвела Аленушку совершенно бессознательным взглядом.

— Значит есть у тебя, девушка, тятенька...

У моей касаточки тоже был тятенька, да сгубили его злодеи-кровопивцы... Ох, девушка, как они палками его дубасили, инда по всей по мне мураши забегали, отдал он душу свою честную Богу под ударами кромешников... Набольшой-то их, Малюта, перед казнью таково с сердцем с ним разговаривал, да и велел бить его до смерти.

— Как умер... тятенька?.. — вскочила даже с лавки Елена Афанасьевна и тут же как сноп грянулась на пол.

Агафья Тихоновна равнодушно посмотрела на упавшую.

— Ишь, что девка придумала, Аленушка-де я, да и весь сказ... Нянька-де — старуха полоумная, поверит мне и отдаст мне имение... Ловко она с полюбовником придумала, — заговорила уже сама с собой Агафья Тихоновна.

Наклонившись к лежавшей навзничь Елене Афанасьевне, старуха стала ее рассматривать.

— Такая же чернявая, как и Аленушка, только та была кровь с молоком, а эта, вишь, какая худющая... Ишь, что выдумала, она... Аленушка... обманщица!..

Сумасшедшая старуха погрозилась ей своим костлявым кулаком.

— А этот, душегуб, кровопивец, что здесь был, — вспомнила она о Семене Иванове, — сохрани, говорит, Агафья Тихоновна! Лисит, злодей, тоже добрым прикидывается... Погоди, лисий хвост, сохраню я тебе твою любовницу, так сохраню, что и сам наищешься... Кажись, и он был, как тащили Аленушку, будто бы я его видела... Так и есть, видела... Как пить дать он и есть... Семь-ко я отомщу за Аленушку... Надругались над ней, ненаглядной, сгубили во цвете лет касаточку... Надругаюсь и я над любовницей изверга... Умерла моя кралечка... пусть и эта околет, проклятая!..

В глазах старухи сверкнул какой-то адский огонь. С протянутыми вперед костлявыми руками бросилась она на лежавшую Елену Афанасьевну и правой рукою с такой невероятною силою сжала ей горло, что глаза несчастной широко раскрылись в предсмертной агонии, а язык высунулся на половину изо рта.

Раздался предсмертный крик, и Аленушки не стало.

Агафья Тихоновна как бы окаменела над трупом задушенной ею женщины, и, сидя на полу, все сильнее и сильнее сжимала ей горло.

Она, казалось, с наслаждением впивалась глазами в искаженное лицо лежавшей и вдруг... в ужасе отняв руку, отскочила от мертвой.

— А кажись, это и впрямь... Аленушка! — диким голосом вскрикнула Агафья и остановясь посреди комнаты, стала снова тихо подходить к лежавшей, пристально рассматривая ее. — Да... да... вестимо, Аленушка...

Она подскочила к трупу и стала срывать с нее платье и рубашку.

На груди умершей блеснул золотой крест с четырьмя изумрудами.

— Она... она... Ах я окаянная! — простонала старуха, к которой на минуту явилось полное сознание.

Эта минута показалась ей страшно продолжительной. Весь ужас совершенного ею преступления восстал перед ней. Своими руками она убила ту, которая ей была дороже и милее всего на свете... убила свою... Аленушку.

Светлый промежуток миновал, но сознание, что перед ней ее питомица Елена Афанасьевна, осталось.

Она стала тормошить труп.

— Аленушка, касаточка, встань, очнись, ненаглядная... это я, твоя здесь нянюшка, Агафья... встань ты, дитяtko, проснись... Что ж ты глядишь на меня, словно испугалась... язык-то спрячь... красавица...

Труп действительно глядел на нее во все глаза, в которых отразился весь ужас неожиданной смерти.

— Встань же, родимая... пойдём, милушка, в твою горенку, положу я тебя на постель пуховую, расправишь ты свои косточки усталые. Встань же... очнись!

Агафья Тихоновна то приподнимала труп в своих объятиях, то снова опускала его на пол, трясла за руки, а слезы ручьем текли из ее старческих глаз.

Снова наступил момент сознания.

— Умерла, умерла Аленушка, убила я ее, проклятая...

Она упала на труп, обливая его горячими слезами и огласила комнату дикими вопля-

ми.

Вдруг она остановилась, и какая-то блаженная улыбка появилась на ее губах.

— Это хорошо... кровопивцу она не достанется... она... Христова невеста... теперь у Него, Батюшки, в обители, а я с ней сейчас свяжусь...

Над лавкой, около которой лежал труп, на стене была перекладина, видимо оставшаяся от полки, на которой стояла серебряная посуда, украденная опричниками, сломавшими и самую полку. С быстротой молодой девушки вскочила старуха на лавку, привязала бывшую у ней в руках веревку с петлей, просунула в последнюю голову и быстрым движением опрокинув лавку, повисла на веревке.

Тяжелая дубовая лавка с такою силою упала на труп Аленушки, что рассекла ей лоб. Кровь не брызнула.

Среди невозмутимой тишины горницы раздался лишь протяжный крик удавленницы, и затем все смолкло.

Глаза старухи тоже широко открылись и как бы впились в глаза лежавшей под опрокинутой лавкой мертвой Аленушки.

Вид мертвой Агафьи Тихоновны с прикушенным до половины языком был страшен.

Не прошло и десяти минут после совершившейся ужасной катастрофы, как дверь в горницу дома Горбачева отворилась и на ее пороге с улыбкой радостного ожидания на губах появился Семен Иванов Карасев.

Взглядом, полным неподдающегося описанию ужаса, окинул он эти два обезображенных трупа и как подкошенный без чувств повалился у порога того дома, куда еще так недавно мечтал войти счастливым женихом.

Послесловие

Судные дни Великого Новгорода окончились.

Слова Семена Иванова Карасева запали глубоко в душу Иоанна. Он приказал прекратить следствие по изменному делу. Опричники были собраны и усажены в слободах, назначенных для их постоя. Царь на другой же день призвал к себе Бориса Годунова.

— Что в несчастном городе? — спросил он его.

— Боятся, государь, верить покуда минованию ужасов...

— О, Господи! Что мне делать преступнику!? — воскликнул царь, и крупные слезы покатались из его глаз.

— Во-первых, государь, благоволишь ободрить завтра уцелевших... Во-вторых, разошлем помянники по обителям о поминовении страдальцев и страдалиц от Малютиной злобы... и коварства.

— Моление о душах их наша обязанность, но не сильны они смыть с души моей злодеяствия рабов моих.

— Государь, жертвы не встают... но за то грабителей, притеснителей, ради корысти пустившихся на доносы, да не пощадит твое правосудие.

— Делай с ними что знаешь... и с Малютой.

— Ты не увидишь его более, государь... разве что доведется ему честно сложить голову в бою.

— О нем не напоминай... Приготовь все к выезду нашему... да собрать людей новгородских... хочу уверить их в безопасности.

Наступило утро, в полном смысле великопостное, сырое, промозглое, туманное. Небольшими и редкими кучками удалось

расставить горожан, унылых, робких, загнанных, уцелевших от казней. Как живые тени, стояли эти остатки недавно еще густого и бодрого населения.

— Едет! Едет! — торопливо закричали десятники стрелецкие, равняя ряды приведенных. Последние сняли шапки и опустились на колени.

Иоанн въехал в круг их и дрожащим от волнения голосом заговорил:

— Ободритесь, граждане новгородские, пусть судит Бог виновных пролития крови! Зла отныне не будет никому, ни единого. Узнал я, но поздно... злодейство. Кладу на душу мою излишество наказания, допущенное по моему неведению... Оставляю правителей справедливых... но памятуя, что человеку сродно погрешить, я повелел о делах ваших доносить мне прежде выполнения карательных приговоров...

Слова милости еще звучали в ушах не бывших в состоянии придти в себя горожан, а царь и царевич со свитою уже скрылись из виду.

Слова Бориса Годунова относительно Ма-

люты исполнились — он умер честною смертию воина, положив голову на стене крепости Вигтенштейна, как бы в доказательство того, что его злодеяния превзошли меру земных казней.

Злоба его не коснулась Федосея Афанасьевича, который, получив после брата оставшееся имущество, передал торговые дела второму сыну, а сам после отъезда Иоаннова из слободы, перебрался в Москву, в которой дожид до глубокой старости, схоронив жену, женив сыновей и выдав замуж дочерей, дождался не только внуков, но и правнуков.

В Юрьевом Новгородском монастыре, золоченые главы которого и до сих пор блестят на солнце, пленяя взор путешественника и вливают в его душу чувство благоговения, среди уцелевшей братии появился новый, строгий к себе послушник, принявший обет молчания. Слава о его святой жизни скоро разнеслась в народе, сотнями стекавшемся посмотреть на «молчальника».

Через несколько лет этот послушник принял схиму, под именем отца Зосима.

Это был никто иной, как Семен Иванов Ка-

расев, оставшийся в живых и поседевший в одну ночь, проведенную в беспамятстве, около трупа несчастной Аленушки и не менее несчастной Агафьи Тихоновой.

В помянниках Иоанна Грозного эти две жертвы новгородского погрома записаны не были.



СЦЕНА И ЖИЗНЬ (Повесть)

*Бедная, как она мало жила,
Как она много любила!*
(Н. Некрасов.)

Piff, paffi tron la la! vive la rigolade!
(Из известной шансонетки).

I

Красавец-мужчина

Владимир Николаевич Бежецкий проснулся, против своего обыкновения, очень рано и притом в самом мрачном расположении духа. Быстро вскочив с постели, он накинул свой шелковый китайский халат и вышел в кабинет, роскошно отделанный в восточном вкусе.

Подошедши к одному из окон, он даже раздвинул тяжелые занавески. Так, показалось ему, мало давали света громадные окна кабинета, выходившие на одну из лучших улиц Петербурга. Раннее серое декабрьское утро на самом деле не приветливо и мрачно смотрелось в комнату и тускло освещало огромный письменный стол, заваленный массой книг, бумаг и тетрадей, большой турецкий диван, покрытый шальями, и всю остальную, манящую к покою, к кайфу обстановку кабинета.

Владимир Николаевич стал медленно ходить взад и вперед, напевая сквозь зубы какой-то грустный мотив, что служило несомненным признаком его крайней озабоченности и было, надо сказать, редким явлением, так как Бежецкий любил напевать большей частью из опереток, да и самую жизнь считал

одним сплошным опереточным мотивом.

Он был в полном смысле *bon vivant*, прожигатель жизни, выбравший себе для нее девизом: день и ночь, сутки прочь! Несмотря на стукнувшие ему уже сорок лет, Владимир Николаевич был молод душою, ежеминутно увлекался и чувствовал себя положительно не по себе, если не был в данную минуту кем-либо очарован. Впрочем, и по наружности он казался моложе своих лет, время — этот, по выражению поэта, злой хищник, — несмотря на бурно проведенную юность и на постоянное настоящее прожигание жизни, как бы жалело, положить свою печать на это красивое, выразительное лицо, украсить сединою эти черные, шелковистые кудри и выхоленные усы и баки и заставить потускнеть эти большие блестящие глаза.

Владимир Николаевич был красавец мужчина в полном смысле этого слова. Высокий, стройный, изящный, всегда веселый, обладающий неисчерпаемым остроумием, он умел нравиться всем, особенно женщинам и был их кумиром. Меняя свои привязанности, как перчатки, он этим не уменьшал, а напротив,

увеличивал число своих поклонниц.

Занимая видное положение председателя «общества поощрения искусств», всегда окруженный артистками и жаждущими во что бы то ни стало ими сделаться, он катался, что называется, как сыр в масле.

С этой стороны он был совершенно доволен своею должностью, оплачиваемой к тому же весьма солидным содержанием, но, увы, была и другая сторона медали — это лежавшая на Владимире Николаевиче хозяйственная часть.

Тут всегда выходили «недоразумения». На общественных деньгах не было особой отметки, и Бежецкий как-то неволью смешивал их со своими и при ежегодных составлении отчета и поверке кассы был в затруднении.

Никогда, однако, это затруднение не достигало такой непреодолимости, как в этот раз.

Этим и объясняется мрачное настроение Владимира Николаевича в описываемое нами утро.

Бежецкий все продолжал ходить из угла в угол. Он даже не заметил, как в кабинет вошел его лакей Аким, угрюмый старик с крас-

ным носом, красноречиво говорившим о неустанном поклонении его владельца богу Бахусу, и остановился у притолоки двери, противоположной той, которая вела в спальню.

Аким своими воспаленными хитрыми, вечно слезящимися глазами молча следил за расхаживавшим по кабинету барином, и тонкая усмешка, изредка появлявшаяся на его губах, ясно доказывала, что он хорошо знает причину дурного расположения духа своего хозяина.

Наконец Аким тихо кашлянул.

Владимир Николаевич вздрогнул, остановился, обернулся в его сторону, несколько секунд посмотрел на него вопросительно и затем снова стал продолжать свою прогулку.

— Так как же таперича прикажете? — медленно начал тот. — Нешто к жиду сходить?.. Я намеднись был у него, чай пил, билетец в театр ему дал и с женой и с дочерью. Может, уговорю. Я уж ему и то тогда-то закинул. Знал, что понадобится, пошлете. Барин, мол, в скорости после тетушки большими деньгами наследует, потому тетушка Богу душу отдала.

Бежецкий остановился и удивленно посмотрел на Акима.

— Чего вы смотрите, это я для шику сказал. Уваженья больше. Не пронюхает, что неправда — сойдет! — серьезно заметил старик.

Владимир Николаевич нервно расхохотался.

— А может таперича оно и подействует, денег-то и даст. Так прикажете сходить? — невозмутимо продолжал Аким.

— Ну, ступай, только не назююкайся, — заметил Бежецкий, все еще смеясь и опускаясь на диван.

— Вот вы всегда так-то! Эх, барин!.. Обидеть завсегда норовите, а я ведь все для вас же лажу. Вас жалеючи, — обиделся тот.

— Ну как же не так. Для меня и напиваешься, квазимодо.

— Вестимо, для вас! Разве без того-то можно. За рюмочкой-то ладнее, да дружнее поразговоришься, да поразмаслишься. Человек добрее бывает. Ну, и так, и этак его возьмешь, он и раскошелится. Кабы не это то — никогда бы я вам ничего не добыл. Вот ведь таперича, в этом самом месяце, тысячу рублей у нарыш-

кинского повара прихватили да пятьсот рублей у дьячка. А все я компанию-то вожу. Поневоле выпьешь. Ведь что я от дьячковой-то жены перетерпел за это. Страсть сказать. Дьячок-то нализался, так она чуть с лестницы меня не спустила. Так ошарашила, ей Богу! Я это взял да в сторону, да будто пьяненький...

— Будто! — передразнил его Владимир Николаевич. — Наверное, шельма, в самом деле был пьян, лыка не вязал.

— Разорвись моя утроба, не был пьян. Ей-ей! Так она меня и ну дубасить. Бьет, а я все молчу, кряхчу только. Бей, мол, матушка, бей, заплатишь мне за это. Ведь шкура-то не купленная. Как проспался дьячок, я к нему и шась. Вишь, мол, фонари-то — это твоя жена мне их под глазами засветила. Давай барину займы, а то к мировому. А у них священник молодой, строжайший — узнает, что пьет дьячек — беда ему. Дьячок мой туда сюда, взмолился! Не тут-то было! Давай деньги, не то трах тебе! Дьячок, видит, капут, неча делать, раскошелился и дал, вот мы и помирились. Так вот из-за вас какие муки принимаю. Инда таперича спина болит. Уважила она меня то-

гда на славу. Любя вас претерпел.

Бежецкий перестал смеяться и задумчиво сидел на диване, облокотившись на одну из его подушек. Он, казалось, и не слышал последнего рассказа своего лакея.

В передней раздался звонок.

— Кого там еще несет спозаранку?! — проворчал Аким и вышел из кабинета.

II

Услужливый слуга

Владимир Николаевич остался один.

— Просто не знаю, что делать? — начал думать он вслух. — Из ума нейдет. Покою себе не нахожу... Жалованье за Крюковскую получил, за два месяца пятьсот рублей, расписался за нее, а деньги все вышли. Не понимаю, куда? Черт меня знает, как это случилось, но только все израсходовались. Отдать ей нечем, она третий раз пишет записки. Приказываю сказать, что очень болен, принять не могу и сам не выхожу. Наверно, от нее опять посол. После моего ухаживанья за ней, ей странно должно показаться, что обо мне ни слуху, ни духу целых три дня. Нестерпимое состояние... Точно Дамоклов меч висит надо мной... А кто

виноват? Сам.

Бежецкий вздохнул.

— Теперь и мучайся. Проклятые деньги! Как надоедает вертеться с рубля на рубль, перебиваться кое-как. Постылая жизнь! Да еще в кассе тоже не все, через несколько дней и там понадобятся. Просто хоть не живи. А занять теперь трудно стало, ох, как трудно; все прижимаются, у кого деньги есть. Да и Бог знает у кого они есть? Ни у кого нет. Прежде у всех были, а нынче ни у кого. Удивительно, право, куда они девались.

Владимир Николаевич встал с дивана и снова зашагал по кабинету.

— И хоть бы узнать, — начал он снова после некоторого молчания, — где они лежат, взял-то бы уж с умом бы.

— Да, — закончил он свои размышления с новым глубоким вздохом, дело дрянь, если Аким не достанет. Этот жидюга Шмель тоже обещал, да наверно надует, протобестия.

— Господин Шмель пришел, — доложил вошедший Аким, ставя на письменный стол поднос с стаканом чаю и несколькими бутербродами на тарелке.

— Вот легок на помине. Проси!

— Я нонича вам к чаю-то бутерброды приготовил. Больно вы мало кушать стали.

— Откуда это такой стакан с серебряной подстановкой? У меня прежде не было, — уставился Бежецкий на Акима, сев за стол и взяв в руки заинтересовавший его стакан.

— Суприс вам делаю! — лукаво подмигнул ему Аким. — Прежде не было, а теперь есть, — торжественно заключил он.

— Да откуда же ты взял? У тебя ведь денег не было, сам говорил.

— А вам какое дело? Еще откуда взял. Уж разве сказать? Спроворил у Кириловской барыни, как вы к ней посылали, — таинственно прошептал Аким.

— Ах, ты болван! Разве можно это делать? Ведь ты меня срамишь. Вот скандал! Воровать начал. Отнеси сейчас назад! — крикнул Бежецкий.

— Что за беда, что взял. Никакого сраму нету, никто не знает. Что ж, что взял, ведь у нас же воруют. Сколько вещей разворовали. Я на отместку, на убылое место. У нас таскают, а мы что за святые, что не смей. Другие могут,

а мы нет? Не из дому тащу, а в дом.

— Да разве мне прилично пить из ворованного стакана. Пошел, идиотская харя, сейчас отнеси, отдай. *Quelle canalle*. Как ты осмелился мне подать, старый негодяй!

— Хотел суприс — угодить вам, а вы ругаться! Дурак, что сказал, право, дурак. Никогда от вас благодарности не дождешься, как ни старайся. Об вас же заботился.

В голосе Акима слышалось искреннее огорчение.

— Он заботился! — еще более возвысил голос Владимир Николаевич. Убирайся, дурак, вон! Без разговору сегодня же изволь отдать. Слышишь! Иначе я тебя вон выгоню.

Он сунул поднос с стаканом в руки подошедшего Акима.

— А где же Шмель?

— Там дожидается... суровым, недовольным тоном отвечал тот.

— Так что же ты его там держишь! Разве это вежливо? Проси сейчас сюда!

— Не велика птица, подождет и там! — ворчал, уходя, себе под нос Аким.

— Какова скотина! — вскочил с кресла Бе-

жецкий. — Этакая скотина и разбирает еще, кто какая птица! Merci du peu. Так зазнался, животное, не знаю просто, что с ним делать. Вон выгнать надо.

— Да неловко; знает все мои дела. Болтать будет! — решил он после некоторого раздумья.

В дверях кабинета, между тем, появился ожидавшийся в приемной Борис Александрович Шмель.

III

Секретарь-референт

Вошедший был далеко не старый, юркий человек.

Его физиономия и вся фигура не оставляли ни малейшего сомнения в его семитическом происхождении, хотя Борис Александрович упорно отрицал это обстоятельство.

Он был членом «общества поощрения искусств» и, кроме того, состоял секретарем при Владимире Николаевиче, исполняя и обязанности эконома.

— Здравствуйте, Владимир Николаевич! Как изволите поживать? Ваше драгоценное здоровье? — почтительными мелкими шаж-

ками подкатился он к Бежецкому.

— Здравствуйте, Шмель. Спасибо, здоровье мое ничего, только вот в кармане чахотка. Никак не могу найти доктора, который бы излечил эту проклятую болезнь. Не окажетесь ли вы им, мой милейший? — со смехом отвечал тот.

— Несмотря на все мое желание угодить вам, не мог ничего сделать, Владимир Николаевич! Такая досада! — сделал Шмель печальную физиономию. Да паллиативные средства и не помогут, — многозначительно добавил он.

— Одно есть у меня средство, заветное средство против вашей чахотки, — продолжал он, помолчав, и усаживаясь по приглашению Бежецкого рядом с ним на диван. — То вот радикально бы могло излечить. Я его в других случаях, сходных с вашим, применял — помогало!

— Так говорите скорей, какое?

— Надо бы... вам жениться. У меня невеста есть для вас на примете. Такая, просто чудо. Лучше и сами для себя не выберете. Уж я насчет этого знаток, — самодовольно улыбнулся

Шмель. — Плохую не рекомендую. Моей рекомендацией все и всегда оставались довольны, потому что я на это зорок. Как увидите, так и влюбитесь, а деньжищ — полмиллиона! Ну, конечно, между нами условьице сделаем. Мне тысяченек десять тоже заработать дадите. Уж как бы зажили славно.

— Это значит продать себя за деньги!?! — вспыхнул Владимир Николаевич. — Нет, уж извините, я на это не пойду. Мне моя свобода дороже всего. Переносить бабьи слезы, сцены ревности, нянчиться с женой весь век! Да ни за что на свете. Спасибо, мне и так от бабья достается. А тут на законном-то основании. Да через неделю сбежишь.

Бежецкий уже успокоился, в его последних словах слышался задушевный смех.

— Ну, как угодно-с... Как вам угодно, — оторопел Шмель от тирады Владимира Николаевича. — Я только осмелился посоветовать, думаю, за то всегда деньги будут. А это вам нужно; вы барин, привыкли хорошо пожить, без денег-то и трудно.

— Черт с ними и с деньгами. Еще какая попадется, — засмеялся Бежецкий. — Пожалуй,

и сбежать не даст, запрет либо прибьет, как жена моего Акима.

Шмель захихикал.

— Однако скверно, — заметил Владимир Николаевич после некоторого раздумья, — что денег не достали. Некрасивый пейзаж может выйти! Совсем гадость... Что же нам теперь делать?

Борис Александрович в ответ только безнадежно развел руками.

— Вот что, Шмель, — нерешительно начал Бежецкий, — помогите мне составить отчеты... Я сам к этому не привык. Надо будет недостающую сумму порассовать кое-куда. Вы на это, кажется, мастер.

— С удовольствием! — вскочил с дивана Борис Александрович. — Это с удовольствием, я на это, вы правду сказали, мастер. Умею дела делать. И не в таких переделках бывал, да слава Богу, сух из воды выходил.

В голосе его слышалось самодовольство.

— Умом не обижен от судьбы, — докторальным тоном продолжал он, — вот мое достоинство; да и опытность есть, видел, как дела делаются. Пожалуйте-ка сюда... Мы сей-

час...

Шмель подошел к письменному столу, взял книги и начал их рассматривать.

— Тут помараем, да почистим, да поскоблим, а здесь запишем, лишь бы чисто было.

Владимир Николаевич присел к письменному столу и взял книгу, которую Шмель держал в руках.

— Вы сядьте, чего вы стоите, — обратился он к нему.

Борис Александрович уселся рядом.

— Вот как тут сделать? — указал Бежецкий на одно место в кассе. — Au nom de Dieu, как с этим быть? Что сделать с этим расходом? Не придумаю, куда деньги показать, sacre nom du Dieu!

Владимир Николаевич усиленно тер себе лоб.

— Так вы, Владимир Николаевич, отчего в другую рубрику не внесете? Я вот всегда так делаю. В одной нельзя больше показать, так я в другую страничку и влеплю. Напишите, что керосину больше вышло, да еще кой-чего прибавьте. Вот и выйдет так. Наши-то бесчисленные дураки все равно не досчитаются.

Деньги наши же — общественные, значит, — мы ими можем распоряжаться. Это надо быть идиотом, если самому не пользоваться, а другим давать брать. Рассудите хорошенько, все равно кто-нибудь да воспользуется ими: не вы, так другой председатель. Смотря так с философской точки зрения, на это дело, пускай лучше я буду для этого умен, чем кто-нибудь другой. Зачем мимо рта проносить да зевать. Я, по крайней мере, не желаю быть вороной.

Шмель расхохотался.

— Философски рассуждая, оно конечно так, — согласился Бежецкий. Только боюсь, как бы не придрались к этому на общем собрании. Ведь наши индюки иногда сидят, думают, думают, да и отольют какую-нибудь пулю. Вон Величковскому давно хочется в председатели на мое место попасть. Возьмет да ибрякнет, а другие за ним, у нас в этом отношении ведь совсем баранье стадо.

Он с усилием деланно улыбнулся.

— Полноте, что вы, — замахал руками Шмель. — С вашим-то умением очаровывать людей и обращаться с ними, да и я разве допущу, дам вас в обиду. Я такой гвалт и содом

подыму, что сам черт ничего не разберет. Уж в этом отношении можете положиться на меня. Я умею зубы заговаривать. Дам я вас им сожрать, как же! Да ни за что на свете. И наконец, все так делают, что же тут такого. Вы за моей спиной, как за каменной стеной; все общество, если понадобится, вверх дном переверну. Помилуйте, я с семьей при вас только свет увидал, вздохнул. Всем вам обязан. Ведь если вы вон, значит, и я вон. Новый председатель не оставит меня экономом. Что же мне по миру с семьей идти? Чем кормить? Голодать, что ли, прикажете? Раз вы при обществе, то и мы сыты.

Во время этой горячей тирады Бориса Александровича в передней раздался сильный звонок.

— Крюковская, Надежда Александровна, — таинственно доложил вошедший Аким. — Очень вас желает повидать. Так я сказал, что вы почиваете. Нездоровы-де, потому вы не велели принимать никого. Она не уходит, дожидать просит.

— Зачем ты сказал, болван, что я дома? — с досадой крикнул Владимир Николаевич.

— Да как же в такую пору-то. Рань ведь! — отпарировал Аким.

— Эх, черт возьми! — вскочил с кресла Бежецкий.

— Совестно страшно мне ее... как сказать? Это ужасно! Отказать неловко, — взволнованным шепотом продолжал он.

— Ну-с, так я теперь отправлюсь, — подмигнул лукаво Шмель Акиму, расшаркиваясь перед Бежецким. — К вам пришли, заниматься некогда будет. В другой раз зайду. Счастливо оставаться, Владимир Николаевич. Не хочу вам мешать. До свиданья.

— До свиданья! — машинально повторил Бежецкий.

Шмель быстро удалился.

Владимир Николаевич все продолжал стоять с совершенно растерянным видом.

— Как же быть, — думал он. — Вот положение... Она, впрочем, хорошая, простая, добрая... Разве покаяться во всем...

— Нет, не могу, — отогнал он эту мысль. — Ей больше чем кому-нибудь не могу... Презирать будет. Очень уж чистая у нее душа. Нет, слишком дорожу я ее мнением. Au nom du

Dieu, что придумать! Нет, не выпутаться...

— Так как прикажете? — вывел его из нашедшего на него столбняка вопросом Аким.

— Что?

Владимир Николаевич оглянулся кругом.

— Хорошо, что Шмель ушел, — подумал он, — без него все лучше, а то бы и он заметил. Ужасное положение! И выхода нет. Повидаться-то с ней хотелось бы. Три дня не видал... Эх! Делать нечего, надо принять. Будь что будет!

— Проси! — кивнул он Акиму.

Тот быстро вышел.

IV

Артистка

Надежда Александровна Крюковская, таинственный доклад о приезде которой Акима так сильно взволновал Владимира Николаевича, была премьерша драматической труппы при театре «Общества поощрения искусств», в котором, кроме любителей, служили на жаловании и «заправские» артисты.

Среди последних талантом, красотой и молодостью выделялась Надежда Александровна, но это ее превосходство не возбуждало,

против обыкновения, среди ее товарищей по сцене завистливого недоброжелательства: так умела эта еще почти совсем молоденькая девушка поставить себя в их разношерстной среде. Она относилась ко всем служившим с ней с сердечною теплотою, готова была всегда с подкупающей сердце искренностью придти на помощь нуждающемуся из товарищей, в каком бы ранге ни состоял он или она на сцене, и последние платили ей восторженным обожанием.

Это явление повторялось ежегодно, где бы не служила Крюковская.

Уже пять лет прошло с тех пор, как она в первый раз вступила на сценические подмостки. Четыре года провела она сезоны на провинциальных сценах и лишь первый год выступила в столице.

Вокруг нее сейчас же собрался многочисленный кружок поклонников, но вскоре все они должны были сознаться, что жестоко обманулись в своих надеждах, основанных на испытанной ими не раз легкости победы над «звездочками парусинового неба».

Эта звездочка оказалась для них чересчур

далекой.

По происхождению Надежда Александровна была из богатой помещичьей семьи, получила строгое домашнее воспитание, оставившее в ней отпечаток неуловимой сдержанности и неподдельной женственности.

Какие причины заставили ее в таком юном возрасте покинуть родительский дом для сцены, куда она принесла недюжинный талант, чем в наше время не может похвастаться большинство не только любителей, но и настоящих актрис, — это было известно только ей одной.

Владимир Николаевич год тому назад, конечно, с восторгом принял ее на сцену театра вверенного ему общества и не замедлил начать усиленно за ней ухаживать.

Надежда Александровна, надо сказать правду, отличала его из толпы своих поклонников, но, увы! Такое платоническое отличие было далеко не в его вкусе.

Порой он даже замечал в ее добрых светлых, как лазурь неба, глазах мелькавший луч любви, но не этого жаждал этот мотылек от цветка, вокруг которого настойчиво порхал.

Видимая трудность победы сделала даже то, что Владимир Николаевич стал воображать, что в его сердце закралось серьезное чувство, и это-то и было главной причиной отказа, не высказанной им Шмелю при предложении последним выгодного сватовства.

Неосторожная, легкомысленная, совершенно согласная с его натурой растрата денег любимой, как ему по крайней мере казалось, женщины заставила его не видеть ее в течение трех дней, и эта разлука еще более распалила его страсть, его желания.

Образ стройной, изящной Крюковской, с бледным, выразительным лицом, обрамленным роскошными пепельными волосами, настойчиво мелькал в его воображении, маня и вместе с тем дразня его своею недостижимостью.

И эта женщина здесь!

Какая-то неизъяснимая радость наряду с безотчетным страхом наполнили его сердце.

— Что с вами, Владимир Николаевич? Здравствуйте, — вывела его из задумчивости вошедшая Крюковская, скромно одетая вся в черное. — Чем больны? Я так беспокоилась за

вас. Сегодня нарочно пораньше встала, чтобы до репетиции заехать. Не опасно были больны? Уж я думала, думала... что в голову не приходило.

Благодарю вас, Надежда Александровна, — отвечал он, сконфуженно опустив глаза, — ничего теперь. Немного простудился. Извините, что в халате. Прошу садиться.

— Полноте извиняться, — перебила его Крюковская, усаживаясь вместе с ним на турецкий диван. — Я рада, что вас здоровым вижу, а то Бог знает, что мне не представлялось.

Бежецкий растерянно молчал.

— Я очень к вам привыкла, только теперь поняла. Вас не вижу, точно чего-то недостает, — снова начала она.

— Спасибо вам за доброе слово...

— Тут не за что благодарить... это невольно.

Снова наступило молчание. Владимир Николаевич сидел, опустив голову.

— Что вы? Точно расстроены чем? — торопливо спросила она.

Он не ответил ни слова.

— Что с вами случилось? — с возрастаю-

щим беспокойством продолжала она. — Вы не больны, а у вас на душе что-то нехорошо. Я вижу. Отчего? Скажите мне. Не скрывайте. Вы знаете, как я близко принимаю к сердцу все, что до вас касается. Ведь я вам друг.

— Ах, какая пытка! — чуть слышно прошептал он.

— Что? Что вы сказали, я не расслышала? — задала она вопрос.

Бежецкий молчал.

— Вот видите, — покачала она головой, — я угадала, что что-то есть. Что-нибудь серьезное.

— Ах, Господи, — продолжала она в сильном волнении, — я так и ожидала. Догадалась по всему. Ваш растерянный вид, когда последний раз мы виделись, ваше молчание на мои письма. Да не мучьте же меня, скажите откровенно все. Я и так измучилась догадками все эти дни, не видя вас. Что такое, говорите, ради Бога.

— Какая вы добрая, хорошая, я не стою, чтобы вы так беспокоились обо мне, — проговорил Бежецкий, не поднимая глаз.

В голосе его слышались слезы.

— Стоите, или нет, это уже мое дело. А если вы считаете меня хорошей, как сейчас сказали, — доверьте мне ваше горе. У вас есть горе, не отпирайтесь... Я пойму... Все пойму и никому не скажу, не выдам вашу тайну...

— Ах, если бы вы знали, чего вы просите! Есть вещи, которые не только близкому человеку, — матери не скажешь... не посмеешь, — через силу произнес он.

Крюковская задумалась.

— Нет, друзьям надо все говорить. На душе легче будет, — заметила она после некоторого молчания.

— Верно... — начала было она снова, но остановилась, — денежные затруднения, — чуть слышно окончила она свою мысль.

Он упорно молчал.

— Или... — она с ужасом посмотрела на него.

— Да нет, что я! — Простите, что так допрашиваю. Я не имею права требовать доверия, если его нет...

— Не то, Надежда Александровна, не то, — с неизъяснимой мукой в голосе произнес он. — Если бы не доверял вам, не уважал бы

вас, как лучшую женщину... нет, скажу правду не... любил бы вас, скорее сказал бы, легче бы было...

— Вы сейчас сказали такое слово, — встала она с дивана, — на которое я должна и хочу ответить откровенно.

Она задумалась.

— Если бы я тоже любила вас, тогда можно было бы все сказать? задала она вопрос.

Он остался без ответа.

— А это так и есть, — в упор сказала она.

— Нет, этого не надо, — закрыл он лицо руками. — Я не стою вас... Вы не знаете, какой я...

Он не успел договорить. Она перебила его.

— Да разве можно любить и думать: стоит или нет? Это уж будет не любовь. Я люблю не так. Если любишь, так все простишь, все поймешь, без рассуждений, сердцем. Знайте это! Вот я вас люблю, вы мне то же сказали, так значит ничего не надо нам скрывать друг от друга. Если бы вы сделались разбойником, и то бы я вас не разлюбила. Страдала бы за вас, но не перестала бы любить и не бросила.

— Не стою я этого счастья. Проклятая со-

весть не дает...

Владимир Николаевич не договорил и вдруг неожиданно заплакал.

— Что это вы... о чем? — села с ним рядом Надежда Александровна. Перестаньте, не мучьте себя, родной мой.

Она гладила его рукой по опущенной долу голове.

— Я как школьник перед вами, — сквозь слезы произнес он. — Мое наказание в моем унижении. Люблю вас и не смею поглядеть вам прямо в глаза. Стыдно, совесть мучает, грызет. Я перед вами гадость сделал. Простите ли вы мне?

Он схватил ее руки и стал покрывать их поцелуями, обливая слезами.

Она не отнимала их.

— Ваши деньги... начал было он.

— Не говорите об этом, — зажала она ему рот рукой, — не хочу я слышать вашего признания, видеть ваше унижение. Об этих деньгах никогда не спрошу. У вас мука в душе, я знаю, вам тяжело самому. Я все поняла. Вашу муку поняла, объяснила себе, оправдала и стало мне невыносимо жаль вас; хорошего,

умного человека в вас жаль, нравственно страдающего. Так жаль вашей настоящей муки, что, кажется, за это я вас еще больше теперь люблю. Вы дороже, ближе мне стали. Облегчить вашу муку, утешить, успокоить хотела бы, примирить вас с вашей совестью и оправдать.

— Оправдать, но не простить! — печально произнес он, все продолжая целовать ее руки.

Она наклонилась и поцеловала его в голову. Он припал головою к ее плечу и обнял ее за талию.

— Дорогая моя! Прости, прости, ты добрая, светлая, любимая моя... Моя ведь? — поглядел он ей в глаза.

— Все прощаю, — нежно сказала она, обнимая его за шею, — надо забыть прошлое и в будущем новом, лучшем, надо стараться, чтобы ничего не напоминало. Ты был один, а теперь не один. Не скрывать ничего, а говорить правду. Какая бы она не была... Не стыдиться, знать, что тебя поймут... Теперь должно наступить другое... около тебя есть любящее существо, которое всю жизнь свою готово отдать, чтобы огородить, уберечь тебя от всего

дурного... Себя отдать одной цели: чтобы жилось тебе лучше, легче, светлее...

Он порывисто, со страстью поцеловал ее.

— Чудная моя! Надя, любимая моя. Моя? Да? Будь женою моей, с тобой я чувствую, что буду другим человеком. Согласна? Дай мне это счастье! умоляющим голосом произнес он.

— Да, твоя... но не жена, женою быть не хочу... боюсь, слишком скоро... Лучше после... Подождем. У тебя увлекающийся характер. Ты можешь разлюбить меня. Посмотрим, можешь ли ты быть счастливым со мною. Я тебя связывать браком не хочу. Свяжешься, не развяжешься со мной после венца. Я боюсь себя. Тогда я с собой не слажу. Не хорошо кончу. Ты ведь не знаешь меня. Я ведь горячая, безумная... и так ты должен быть уверен, что я люблю тебя, еще более уверен... повторяю, твоя, твоя...

Она в свою очередь обняла его и крепко поцеловала.

V

Без протекции

После описанных нами в предыдущих главах нашего рассказа событий незаметно прошел год однообразной в своем разнообразии петербургской жизни.

Владимир Николаевич с помощью Бориса Александровича Шмеля и искусно составленных им отчетов благополучно пережил общее собрание членов общества и вновь почти единогласно был избран председателем. Это уже отошло в область прошедшего и через несколько дней предстояло новое общее собрание, которое, впрочем, далеко не так, как прежде, беспокоило Бежецкого. Наука Шмеля принесла свои плоды.

Надо еще заметить, что Владимир Николаевич, кроме пользующейся большим влиянием в обществе Надежды Александровны Крюковской, имел в настоящее время солидную поддержку в лице члена общества Исаака Соломоновича Когана, петербургского банкира и богача, и Нины Николаевны Дюшар, дамы аристократки, председательницы одного благотворительного общества, в котором Бежецкий состоял членом. Последняя была положительно околдована Владимиром Николаевичем.

чем и ради него записалась членом «общества поощрения искусств» и подбила на то же самое некоторых из своих знакомых.

Это упроченное положение барина отразилось и на расположении духа знакомого нам его «верного личарды» — Акима.

В описываемый нами день он благодушно беседовал, сидя за чайком в своей комнате около передней, с своей дражайшей половиной — Марьей Сильверстовной, старой женщиной, внушительного сложения, с ястребиным носом и таким же взглядом изжелта серых глаз и громадными руками, которыми она быстро вязала чулок и, казалось, не обращала ни малейшего внимания на разболтавшегося супруга.

Последний на это тоже, видимо, не обращал особенного внимания и продолжал начатую речь, взглянув на висевшие в комнате настенные часы.

— Еще всего двенадцать часов, а что у нас народищу перебивало. Слава те Господи, хоть Дюшарша за барином чай пить прислала, ну и сбурили всех. Рученьки разломало, отворяя дверь. Хоть часок другой теперь отдохну. Так

на звонке и виснешь цельный день.

Он с наслаждением стал отхлебывать чай с блюдечка.

Супруга хранила невозмутимое молчание.

— А все же, неча греха таить, прибыльное место. Ноне, слава Богу, заработал детишкам на молочишко, а ино бывает, что и задаром все утро прошмыгаешь. С актеров взятки то гладки. Николи ничего не дадут, коли сам не попросишь. Ну а ежели, что им к барину понадобится — тогда мне доход.

— На пьянство, — съязвила супруга.

Он не обратил внимание даже на это ее замечание или же, быть может, не слышал его.

— Это наша Надежда иной раз и сама сунет, — продолжал он. — Добрая, неча говорить... А ей не сдобровать! Шабаш, брат.

Он даже подмигнул углубившейся в вязание супруге.

— Белобрысая Дюшарша отобьет. Придет, так около барина по французскому и юлить. Да и дарит то то, то другое. Глянь-ка, в кабинет подушки какие навывшивала. Но уж и барин наш хорош, неча сказать. Ветрогон такой! Страсть! И как его хватает, и чего его ме-

чет, — не разберу. Диво, право, диво. Деньгам один перевод, да и просвистится с бабьем. Горе!.. Но и то правда, место такое на виду, бабье и лезет. — Вот уж я тебя ни с кем не сменяю, ни в жисть. Ино выпьешь, ведь ты меня башмаком лупишь, а я все люблю. Ты бьешь, а я как у принцессы у тебя руки целую. Потому знаю, что любя бьешь.

В передней послышался звонок.

— Иди, седая сорока, отворяй, — оборвала любовные излияния мужа Марья Сильверстова.

Звонок повторился опять.

— Ну, ну! Опять поехали... — заворчал Аким, направляясь к двери.

Нетерпеливой посетительницей оказалась очень полная, высокого роста пожилая дама с раскрашенным лицом, подведенными бровями, одетая в потертую суконную шубку с плюшевым воротником и в такой же шапке, покрытой шелковым белым платком сомнительной чистоты. В руках она держала большой радикаль.

Несмотря на заявление Акима, что барина нет дома, она силой вошла в переднюю, про-

шла приемную и достигла кабинета.

— Да говорят вам, дома нет, что вы лезете. Фу, ты. Господи, так и прет... Экая корпусная какая! — увещевал посетительницу Аким, стараясь заградить ей дорогу, но безуспешно.

Она как буря неслась далее.

— Врешь, врешь... вы всегда господам не докладываете, раздражительно заговорила она на ходу.

Вошедши в кабинет, она оглянулась кругом.

— Должно быть, и в самом деле дома нет! — заметила она упавшим голосом.

— Ведь я же вам сказал, а вы все свое. Говорят, так нет, нейметя! Приходите в другой раз, а теперь неча вам здесь делать. Отправляйтесь туда, откуда пришли... — с досадой отвечал Аким.

— Я и то уж на двух днях четыре раза была... Как же мне теперь быть?.. Что значит женщина без протекции... — всхлипывала она.

Аким молча продолжал указывать ей на дверь.

Она, между тем, как ни в чем не бывало

внимательно осматривала комнату.

— Вот он где поживает-то, хоть на комнату председательскую погляжу... А вы у них лаке-ем, голубчик? — заискивающим голосом обратилась она к Акиму.

— Видите, чего же спрашиваете?

— А как вас зовут, голубчик?

— А вам на что?

— Да все лучше, в другой раз, по крайности, приду и буду знать.

— Акимом, — с досадой отвечал он, — только отвяжитесь. Да уходите теперь-то!

— Я немножко только отдохну, голубчик, — уселась она совершенно неожиданно для Акима в кресло, — позвольте, Акимушка, уж отдохнуть, а то пешком шла — устала. Я женщина одинокая, без протекции, лишнего на извозчика тратить не могу...

Аким посмотрел на нее высокомерно.

— Ну, пожалуй, отдохните, коли уж так устали. Позволяю, — с важностью разрешил он ей, усаживаясь в другое кресло.

Наступило молчание.

— Вы кто будете, — прервал ее Аким.

— Я-то? Я — артистка Анфиса Львовна Дуд-

кина. Была из любительниц. Всех драматических любовниц играю; и Маргариту Готье в «Как живешь, так и прослывешь» играю, и Марьицу в «Каширской старине». Но могу и другие роли. Очень полезна быть могу на всех ролях. Как кого нет, так я всегда и заменю, голубчик, все роли играю.

— И мужчинские тоже? — усмехнулся Аким.

— Ах, нет, — обиделась Дудкина, — при моей-то комплекции. Хотя женщина я бедная, но до этого не доходила. В молодости разве пажей и мальчиков играла. А теперь нет. Вы надо мной не смейтесь. Ведь я еще и теперь молода и желаю почетное место в труппе занять. И заняла бы, да вот лет пять как протекции лишилась, а прежде за мной многие ухаживали.

— А какое жалованье получаете?

— Прежде и триста и двести получала, а теперь на семьдесят пять и пятьдесят в месяц даже пойду, лишь бы приняли, без места давно и за пятьдесят пойду, — заспешила она.

— Я бы и этого не дал, потому вид страшный, больно толсты, серьезно заметил

Аким.

Дудкина заплакала.

— Почему это вы меня так низко цените? Обиду хотите сказать. Вот везде со мной так. Участь моя горькая такая. В людях сердца нет. Не все же тоненьким девчонкам да красавицам на сцене быть. Да мне со сцены больше двадцати лет никто и не дает, как корсет надену. Я играть гожусь. Еще как играю... Всей залой принимают, как иногда плакать начну... Чувство на сцене главное. Заплачешь — всех тронешь...

— Ну, на это, может, и годитесь, — глубоко-мысленно решил Аким, — вот и теперь, чего разрюнились?

— Да как же! Как вы обижаете. Чем бы помочь бедной женщине, а вы вот насмешки строите, — сквозь слезы продолжала она.

— Фу! ты... Барыня какая, уже и обиделась, — развел он руками. Сказать ничего нельзя. Чего ревете то, чем я вам могу помочь. Ничем.

— Нет, можете, — встрепенулась Дудкина, отирая слезы. — Попросите барина хорошенько за меня. Окажите протекцию. Вы всегда

при них состоите. Значит, знаете, в какую минуту сказать. А я бы вас, голубчик, за это уж поблагодарила.

— Это можно, отчего не сказать, сказать можно, — заметил Аким, важно разваливаясь в кресле и презрительно осматривая с головы до ног Анфису Львовну.

Та с мольбою смотрела на него.

— Да чего с вас взять? Какую благодарность? Чай, у самих ничего нет, — с расстановкой продолжал он.

— Нет, я могу, — снова зашепила она. — У меня есть. Голубчик, уж скажите только, а я вам за протекцию очень буду благодарна! Поблагодарю, будьте благодетель... Да вот!

Дудкина быстро встала, вынула из радиокюля старый портмоне, а из него рублевую бумажку и подала ее Акиму.

— Возьмите себе за хлопоты, голубчик! А как устроите меня, то полумесячное жалованье вам отдам, честное слово! Только устройте. Сын у меня есть — плод любви несчастной, а кормить нечем. Подумайте, голубчик, об нас. Ведь без протекции теперь...

Аким взял рублевку и встал перед Анфи-

сой Львовной.

— Постараемся... Отчего для доброго человека не постараться. Ну, что с вами делать! Хоша и трудновато к нему приступиться, да жалеючи вас, улучу его в духе и дам вам знать. Вы где живете-то?

— Голубчик, — начала кланяться перед ним Дудкина, — будь отец родной. Я только второй день как приехала и никого здесь не знаю. Без протекции. Вот тут актриса у меня есть знакомая, ее хочу отыскать, да не знаю, где живет, Надежда Александровна Крюковская, она-то мне поможет...

— Крюковская, — ухмыльнулся Аким. — Я и это могу вам объяснить.

— Неужели ее знаете? Вот отлично, что разговорились, — обрадовалась она.

— Знаем, как не знать... Даже близко знаем-с. Я вам и адрес дам, важно заметил он.

— Спасибо вам, голубчик! Я к ней сейчас же пешком и пойду, а то вам отдала последнее, уж на извозчика-то и нет. Недалеко живет?

— Тут недалече от нас помещается. Барин-то наш туды часто шастает, таинственно

сообщил он ей.

— Ах, ах... Это отлично; я его там и увижу... Спасибо, что рассказали, буду знать...

Звонок, раздавшийся в передней, прервал ее речь.

Аким пошел отворять, а Анфиса Львовна последовала за ним.

Звонивший оказался посланным от Крюковской с письмом к Бежецкому. Аким с этим же посланным отправил к Надежде Александровне Дудкину, рассыпавшуюся перед ним в благодарностях...

— Вот не чаял, не гадал, а на водку попал, — рассуждал он уже сам с собою, кладя принесенное письмо на барский письменный стол. — Те, что заработал, Марье отдал, а эту рублевку, нет, брат, шалишь, не отдам! Мои кровные, на штофик. Сегодня себе можно позволить, потому что ни свет ни заря встал, все шмыгал. Бенефис себе по-ахтерскому устрой, такой страсть. Душеньку отведу, выпью, право, выпью.

Аким даже вынул из кармана данную ему Дудкиной рублевую бумажку и любовно начал ее осматривать, вертя в руках.

Эту идиллию прервал раздавшийся снова в передней звонок.

— Ну, кого там еще нелегкая несет, — буркнул он себе под нос, пряча бумажку в карман.

Оказалось, что «нелегкая» принесла Владимира Николаевича и Нину Николаевну Дюшар, приказавшую Акиму вынуть из кареты и внести за ними в кабинет какой-то большой и тяжелый сверток.

VI

Благотворительница

Нина Николаевна Дюшар, о которой мы уже упомянули только вскользь и которую Аким в разговоре с своей женой назвал «белобрысой», была действительно сильно белокурая, худенькая дамочка, средних лет, скромно, но изящно одетая в шелковое темно-серое платье и такую же шляпку. Довольно высокого роста, стройная, она держала себя чопорно и отличалась какими-то неестественными, натянутыми манерами.

— Положите, пожалуйста, здесь, — указала она Акиму на диван, входя в кабинет вместе с Бежецким.

Аким бережно опустил сверток на диван.

— Спасибо.

Аким отошел от двери и стал у притолоки.

— Теперь можешь идти. Ступай и затвори дверь, — сказал ему Владимир Николаевич, снимая перчатки.

Аким удалился.

Нина Николаевна уселась на одно из кресел.

— Merci, merci, chere Нина Николаевна, — подошел к ней Бежецкий и поцеловал ее руку поверх перчатки.

— Ах, mon cher amie... Это так мало, не стоит... Я очень рада, что эта безделица вам нравится...

Она пересела на диван и, развернув сверток, вынула из него большие столовые бронзовые часы.

— N'est ce pas que c'est gentil... — обратилась она к нему.

— Прелестно, — подтвердил он, взяв часы с дивана и ставя их на стол; — но я не понимаю, как это удалось мне на один билет выиграть такую прелесть.

— Не догадываетесь, — засмеялась Нина Николаевна, — как это случилось, а, между

тем, это очень просто! Я употребила маленькую невинную хитрость. Мне давно хотелось вам подарить такие часы, я и выбрала их в магазине для первого выигрыша в нашей аллегри, а вчера приказала нашей Marie, помните барышню, что сидела у колеса, отметить сверточек с первым номером красным карандашом. До вашего приезда аллегри не открывалась, а как вы приехали, я вам вынуть предложила свои услуги.

— Merсі, merсі, — подсел он к ней на диван и снова стал целовать ее руку.

— Женщина, когда захочет схитрить, всегда схитрит. Особенно для любимого человека. Надеюсь, вы за это на меня не посетуете. Этого никто не знает, никто, никто. Было бы очень досадно, если бы такая прелесть досталась кому-нибудь постороннему, cher Voldemar.

Она потрепала его по щеке. Бежецкий поймал ее руку и начал стягивать с нее перчатку, покрывая поцелуями. Она поцеловала его в лоб и склонилась к нему головой на плечо.

— Ах, — сентиментально начала она, — приличия света налагают на нас такие обя-

занности и оковы, что поневоле приходится хитрить.

Она томно вздохнула.

— Вот потому и приятнее иметь отношения с порядочной женщиной. Всегда лучше. Не может быть скандала. Соблюдено всегда приличие. Не рискуешь ничем. Сами свое положение и доброе имя берегут. Ну, а на меня в этом отношении всегда можно положиться. Я никогда не скомпрометирую женщину. Умею хранить, *cher amie*, чужие тайны.

Он неожиданно для нее поцеловал ее.

— Ах! — деланно вскрикнула она и отшатнулась от него.

Он снова привлек ее к себе.

— Я в этом уверена, — отвечала она. — Что ж делать, *mon ange*. Всякая из нас хочет жить, а свет так глуп, что не хочет этого понять. Никакой ни в чем свободы. Мне еще благотворительное общество дает возможность жить, как хочу. А то и к вам нельзя бы было ездить. Неприлично.

Она потупила глаза.

— Да, — вдруг переменяла она тон, — что же мы главное-то было и забыли. Я привезла,

что обещала. Вот тысяча рублей, которые вам нужны.

Она вынула из кармана пачку ассигнаций.

— Вчера литературный вечер дал три тысячи пятьсот... Я две показала в отчете в доход общества, а полторы на расход, стоил же вечер только пятьсот, конечно, моими заботами. Все артисты для меня участвовали даром. Ну, мне и можно было взять себе за труды тысячу рублей... Я так много хлопотала!.. Вот эта тысяча рублей, возьмите. Вам нужно было, отдадите, *mon cher*, когда будут. Да что между нами за счеты? Этого никто не узнает...

— Нет, Нина Николаевна, я этих денег не возьму... — с расстановкой проговорил он, отстраняя рукой деньги и задумываясь.

— Что! Почему?.. Ведь вам нужны были... Не обижайте меня... Не отказывайтесь... — заволновалась Нина Николаевна.

— Неловко мне их взять... — заметил он сквозь зубы.

— Это почему?.. — с недоумением уставилась на него она. — Ах, *mon Dieu*. Напрасно я с вами была откровенна, вы меня этим оскорбляете. Ведь никто не будет знать этого!

Неужели, если порядочная женщина вам доверилась, вы позволите себе ее третировать. О, ciel!.. Нет, берите, берите... Ну, если так вам совестно взять, дайте мне расписку. Вы всегда так надоедливы с вашей щепетильностью...

Она нежно улыбнулась и поцеловала его в лоб.

— Противный... но милый... так берите же...

Она хотела сунуть их ему за борт сюртука, но он отстранился.

— В таком случае я так оставлю, — встала она и бросила их на письменный стол. Никто не будет знать! — повторила Нина Николаевна.

Он задумчиво глядел на нее и молчал.

— А теперь мне пора, — вынула она крошечные золотые часики, — меня ждут. Ах, как досадно, что всегда так мало мне приходится быть с вами вдвоем. До свидания, заезжайте ко мне скорее.

Он молча поцеловал ее руку, проводил до передней и медленной походкой возвратился в кабинет.

Рассудил

Взгляд его упал на оставленные Ниной Николаевной на его письменном столе деньги.

— Черт знает, что за положение, — развел он руками. — Не брать неловко и взять неловко, а необходимо нужно взять. Иначе, иначе дело дрянь. Или взять... Ужасно неприятно.

Он задумался.

— Эх! Все равно... Надо взять...

Он взял со стола деньги и вдруг весело засмеялся.

Мысль его перенеслась на Дюшар.

— Неудобно ли, какой экземпляр. Потеха, да и только, но как мне везет в нынешнем году. Черт знает, что такое. От женщин отбою нет. А ведь что во мне особенного?

Владимир Николаевич подошел к зеркалу и стал себя осматривать с головы до ног.

— Не знаю, право. Что их прельщает, — продолжал он далее свои соображения. — Ну, умен, талантлив, говорят. Собой я не особенно уж красив. Такой же, как и все, а ведь вот другим такого счастья нет. Как любить! Все для меня отдать готовы: и деньги, и души, —

самодовольно продолжал он.

Он снова поглядел на себя в зеркало.

— Вероятно, во мне есть что-нибудь такое притягательное. Гм! Да! Осанка есть... Уверенность в себе и всегда веселый вид.

*Приятные манеры
И всегда веселый взгляд.
Шико, шико, шико,
Это все мне говорят!*

— запел Бежецкий и отошел от зеркала. — Однако шутки в сторону, остановил он сам себя. — Чтобы я стал делать, если бы не Нинка. Положим, не совсем красиво деньги достала. Я даже не хотел брать — противно было, а потом подумал, во-первых, не я их у общества взял, а она; теперь, значит, они ее, что же брезговать: к ним ничего не пристало, деньги, как деньги, обыкновенные. А потом думаю, что все равно она промотает на украшение шалами своей гостиной, или на сладкие пироги и чай для гостей, которые у ней по целым дням так с утра до вечера все чай и пьют, кто хочет приходи. Значит, все равно прахом пойдут, а меня они спасают от беды. Человека спасают, а не на прихоть идут. Все-таки для

них благороднее.

Бежецкий захохотал и бережно положил деньги в карман.

— Так что в сущности она должна мне быть благодарна, что я взял эти деньги. Я ее поступок облагородил.

Ему пришло в голову, что это очень похоже на философию Шмеля, и он поморщился.

Вспомнив Бориса Александровича, он вспомнил и о делах вверенного ему общества.

— Да... В нынешнем году я стал поопытнее. В прошлом перед общим собранием заблаговременно не запасся деньгами, спустил и свои, и общественные, и не помоги Шмель с отчетами, да Крюковская, тогда же был бы мне крах. Ух, как было жутко. А теперь, через три дня заседание, надо подавать отчеты, а у меня уж сегодня все деньги в сборе. Да-с! Теперь меня Величковскому спутать не придется. Крепко сижу, сам черт не брат. Все общество передо мной на задних лапках ходит. Чествуют меня и уважают.

Владимир Николаевич самодовольно улыбнулся.

Вдруг взгляд его снова упал на письмен-

ный стол. Он заметил на нем письмо и взял его.

— Письмо от Крюковской! Эта скотина никогда не доложит. Вот и еще экземпляр! Ну, эта, положим, не чета другим, ее ни с кем сравнить нельзя. Остальные так... веселее живется, а эта...

Он не окончил своей мысли, распечатал письмо и углубился в чтение, усевшись перед столом.

Крюковская уведомляла его, что приедет к нему, и просила быть дома. Бежецкий бросил письмо на Стол и задумался.

Он стал анализировать в уме свои настоящие отношения к этой, любимой им, женщине, так много сделавшей для него.

Он начал с мысли о предстоящем с нею свидании.

— Опять, вероятно, объяснение, — начал снова он думать вслух, — вечно чего-то ей недостает, а мне это скучно! Уф! Тяжело становится. И отчего во мне это? Разве не люблю? Нет, люблю и жаль мне ее, она мне дороже других, а чего-то нет во мне к ней!

Бежецкий опустил голову.

— Наконец, я сам себя перестаю понимать, не могу разобрать моих к ней отношений. Черт меня знает, что я такое? Или я не способен любить, потерял эту способность? Много жил! Да нет. Ведь вот без нее мне скучно. Отчего же при ней так тяжело. Просто душно как-то! Сознаю, что она хороший человек и меня любит и я ее люблю, должно бы быть с ней легко, а между тем, как вместе — вот так и хочется сбежать. Что это за дурацкая у меня натура? И она чувствует это, хотя и не говорит. Да... страшно жаль мне и уважаю я ее...

Он вдруг вздрогнул и поднял голову. Видно было, что новая мысль осенила его.

— Уважаю, — повторил он, — вот, должно быть, отчего и тяжело мне Уважаю ее, а сам не такой. Понимаю, что есть качества, за которые можно уважать человека, а сам таким быть не могу, не умею...

Он с горечью усмехнулся.

— Да, оттого мне с ней и тяжело. Она лучше меня, я это слишком глубоко чувствую. Та первая минута любви и воспоминание о моем унижении перед ней невыносимы для самолюбия. Они меня оскорбляют. Зачем она

такая, а я не такой? Я часто должен скрывать перед ней мои побуждения и мысли, а то со-
вестно...

Он снова поник головою.

— Совестно перед ней, вот слово, вот что меня давит, душит в ее присутствии. Ее превосходство... А при этом счастья быть не может. Каждая минута натянута, отравлена. Нам только тогда легко с людьми, когда мы чувствуем, что мы равны... Зачем она такая хорошая, отчего не хуже — тогда счастье бы было для нас возможно. Она бы подходила больше ко мне. Уж очень чиста! Как ангел, а мы люди грешные, больше чертей любим, с чертями веселее, — через силу улыбнулся он.

— Да, хотел бы я это изменить между нами, но, увы, этого, видно, не изменишь...

Владимир Николаевич встал и нервно зашагал по кабинету, затем прошел в спальню, оттуда вышел, переодевшись в халат.

VIII

Дебютантка

Господин Шмель примчал, — заплетающимся языком произнес, входя в кабинет, Аким, видимо, уже истративший данную Дуд-

киной рублевку.

— Разве так докладывают, азинс ты этакый! — крикнул на него Бежецкий. — Эге, да ты, брат, кажется того... уж налимонился... продолжал он, глядя на Акима. — Проси...

— Чего того? Ничего я! У вас все того, как про Шмеля что скажешь. Не велик барин, известно подстега, только умел к нам приснаститься... пустился старик в объяснения.

— Молчи, дурак, не твое дело. Ступай, проси, — оборвал его Владимир Николаевич.

Аким вышел.

— Извините, Владимир Николаевич, что я сегодня второй раз вас беспокою, — затараторил вбежавший Шмель, — но дело важное, не терпящее отлагательства и для вас весьма нужное.

— Здравствуйте прежде всего, а потом рассказывайте, что случилось. Садитесь.

Шмель уселся рядом с Бежецким на турецком диване.

Есть тут у меня один подрядчик знакомый, он купил на вас исполнительный лист и я боюсь, как бы не описал все это...

Борис Александрович указал рукой на об-

становку кабинета и продолжал:

— Я считал своей обязанностью вас известить об этом.

— Ах... какая гадость, — заволновался Владимир Николаевич. — Что мне делать? Надо это уладить как-нибудь, а то это мне может повредить сильно на выборах.

— А я вот, — лукаво засмеялся Шмель, — за вас уж и придумал, как уладить. Вы только теперь думать собираетесь, а я почти что и устроил.

— Как же это? Говорите поскорее.

— У него есть дочь — красивая девчонка, да немножко в цене потеряла: сбежала три года тому назад с офицером. Теперь замуж-то никто и не берет. Отец не знает, куда с ней деваться. У нее страсть к сцене, одолела его с любительскими спектаклями. Денег много сорит, ему и хочется устроить ее к нам в общество, хоть на маленькое жалованье... Примите ее на сцену, а он исполнительный лист разорвет... Могу я ему это обещать?

Борис Александрович торжествующе, но вместе с тем вопросительно посмотрел на Бежецкого.

— Я думаю, не умеет ходить по сцене, — презрительно заметил тот, — ну да все равно, валите. Пускай отец придет и принесет исполнительный лист, я сделаю... Только скажите ему, что, конечно, я с него взятки бы не взял, но если он мне сделает одолжение, то я не захочу понятно остаться у него в долгу. Порядочные люди иначе поступать не могут.

— Хорошо-с, конечно, так и скажу-с, — отвечал Шмель.

— Не прикажите ли еще на счет отчетов, как в прошлом году, исправить, — начал он заискивающим голосом, после некоторого молчания.

— Нет, спасибо, в нынешнем году все деньги в кассе у меня налицо, — с гордостью произнес Владимир Николаевич, — ведь и в прошлом году все это произошло только от моей рассеянности и неаккуратности: я выдавал на расходы и не записывал.

Шмель чуть заметно и лукаво улыбнулся.

— Впрочем, — вдруг как бы что-то сообразив, обратился к нему Бежецкий, — если вы мне их поможете проверить, я буду признателен, кое-что можно будет и исправить.

— Я всегда с готовностью, — поклонился Борис Александрович.

Занятые разговором, они не слышали раздававшегося в передней звонка, но при последних словах Шмеля в кабинете появился Аким с визитной карточкой на подносе.

— Госпожа Щепетович какая-то! — мрачно доложил он.

— Кто такая? — взял с подноса карточку Владимир Николаевич и стал ее рассматривать. — Скажи, что я не одет, принять не могу.

— Уж скажу. Известно, знаю как, — буркнул Аким, удаляясь.

— Кто это такая? — обратился Бежецкий к Шмелю, все еще продолжая вертеть поданную ему карточку. — Наверно, опять какая-нибудь любительница на сцену к нам просится. Страшно много их развелось. Как домашний скандал случился с барыней, побранилась с мужем — так и актриса готова.

Владимир Николаевич расхохотался.

— А вот, если барышня просится, так, наверно, после несчастной любви. Можно безошибочно сказать, — продолжал он.

В кабинете снова появился Аким.

— Что тебе еще надо?

— Да она говорит, — ухмыльнулся тот, — ничего, что не одет. Все равно я смотреть не стану и так, говорит, ладно. Только извольте их беспременно принять.

— Слышите, Борис Александрович, какая? — обратился Бежецкий к Шмелю. — Надо ее посмотреть.

— Любопытно, — ответил тот.

— Так все равно смотреть не будет? Ладно! Если ей все равно, и мне все равно. Даже еще приятнее! Хорошенькая или старуха? — обратился Владимир Николаевич к Акиму.

— Очень-с франтливая и субтильная барышня... На вид так, с отвагой!.. — продолжал ухмыляясь тот.

— Ну если субтильная, да еще с отвагой, — снова захохотал Бежецкий, так проси.

Аким вышел.

— Посмотрим, что это за Щепе... Щепе... Щепетович, — произнес он, посмотрев на карточку.

Дождаться прибывшей пришлось им не долго. В кабинет уже входила развязной, самоуверенной походкой молодая, шикарно

одетая барыня, на вид лет двадцати пяти, с вызывающе-пикантным личиком, на вздернутом носике которого крепко сидело золотое пенсне, придавая ему еще более дерзкое, даже нахальное выражение; из-под фетровой белой шляпы с громадным черным пером и широчайшими полями, сидевшей на затылке, выбивалась на лоб масса мелких буклей темно-каштановых волос. В общем, прибывшая, со стройной, умеренно полной фигурой, красиво затянутой в черное бархатное платье, маленькими ручками в черных перчатках и миниатюрными ножками, обутыми в изящные ботинки, обладала всецело той возбуждающей, животной красотой, которая так нравится уже пожившим мужчинам.

— Честь имею представиться, Лариса Алексеевна Щепетович, — прямо подошла она к вставшему при ее входе с дивана Владимиру Николаевичу и подала ему руку.

Тот окинул ее жадно-сладогострастным взглядом.

— Извините пожалуйста, что я, не имея чести знать вас, так настаивала, чтобы вы меня приняли, — продолжала гостья, грациозно

кланяясь Шмелю.

— Ах, помилуйте, очень рад, — продолжал Владимир Николаевич крепко пожимая ее маленькую ручку, которую она не отнимала, — меня только извините, что принимаю вас в таком костюме.

Он указал глазами на халат.

Борис Александрович, раскланявшись с прибывшей, с лукавою усмешкою поглядывал на видимо растаявшего Бежецкого.

— Садитесь, пожалуйста, — продолжал между тем тот, подвигая кресло к преддиванному столу и усаживаясь на другое, стоявшее *vis a-vis*.

Лариса Алексеевна грациозно опустилась в кресло, умышленно выставив свою крошечную ножку.

Владимир Николаевич впился в нее глазами.

— Вы курите? — вынул он из кармана портсигар и подал ей, — мне позволите?

— Мерсі, я курю, пожалуйста, не стесняйтесь... — игриво отвечала она, взяв папироску.

Бежецкий засуетился, зажигая спичку и

подавая ей. Лариса Алексеевна поблагодарила, грациозно склонив голову, и закурила.

Владимир Николаевич продолжал смотреть на нее влюбленными глазами.

Она, заметив, что ею любуются, кокетливо опустила глазки.

Молчание длилось несколько минут.

— Так чем же я могу вам, Лариса Алексеевна, служить? Что доставило мне счастье видеть вас у себя? Очень буду рад, если только мне удастся угодить вам, — начал он, растягивая слова и продолжая пожирать ее глазами.

— Ах! Вы все можете сделать, если только захотите. Все от вас зависит, — воскликнула она, вскинув на него глазами.

Он смотрел на нее вопросительно.

— По моим семейным делам, — продолжала она, сделав сконфуженный вид и опуская глазки, — мне необходимо жить здесь, в городе. Так неловко... Я желаю получить у вас в обществе место первой драматической ingénue. Я решила посвятить себя искусству и сцене...

Она замолчала.

Он молчал тоже, продолжая любоваться

ею.

— У меня так много было несчастий в жизни, — закатила она глазки и вздохнула. — И если теперь эта последняя попытка поступить на сцену не удастся, то я не знаю, что я должна с собою делать... просто не перенесу этого.

— Ах, помилуйте, — отвечал он, выразительно глядя на нее, — что за мысли! Мне кажется, по первому взгляду на вас, что вам все должно удаваться, чтобы вы не задумали. Я крайне удивился бы, если бы это было иначе...

— Ах, если бы это было так, — вздохнула она снова, — впрочем, я вас ловлю на слове: теперь моя удача зависит от вас...

— То есть от меня очень немногое зависит теперь, так как у нас труппа уже собрана, все emplois заняты... — заметил он уже более серьезно.

— Как это досадно, — сказала она после некоторого раздумья. — Нельзя ли мне поступить хотя бы на небольшое жалованье, сверх комплекта. Я играю всех драматических ingénues и буду вам полезна.

— Да как же это сделать? Мне бы очень было приятно помочь вам, Лариса Алексеевна, но женщин в труппе так много, что из-за ролей ссорятся. Если даже и поступите — играть не удастся, — совершенно серьезно ответил он.

Она опустила голову.

— Сделать это теперь в середине сезона трудно... — добавил он после некоторого размышления.

— Вот что... — подняла она голову. — Если хотите, я и без жалованья поступлю все равно, только примите.

Она улыбаясь глядела просительно на него и вдруг, встав с места, потянулась через стол за пепельницей. Бежецкий тоже вскочил и схватился за ту же пепельницу, чтобы подать ее ей.

При быстром движении их лица сошлись очень близко.

— Ну, голубчик... Устройте... для меня... Я буду вам очень, очень благодарна, Eh, bien... Устройте... — выразительно прошептала она, еще более приближая свое лицо к его и пожимая его руку.

— Ах, какая вы... — не досказал Владимир Николаевич своей мысли, отскочил от нее, как обожженный, и стал ходить в волнении по комнате.

— Ах, никогда, никогда в жизни мне ничего не удастся, — воскликнула Щепетович, сделав сконфуженный вид и закрыв глаза рукою.

Борис Александрович, молча наблюдавший всю вышеприведенную сцену, встал с дивана и стал раскланиваться с Щепетович, грациозно ответившей на его поклон, а затем, лукаво подмигнув на нее Бежецкому, подал ему руку.

— Однако до свиданья, Владимир Николаевич. Я не буду вам мешать заниматься делом, — подчеркнул он и вышел.

Бежецкий и Щепетович остались одни.

— Так как же? — подошла она к нему. — Можно надеяться?

Он не ответил ни слова.

— Вот что! — таинственно продолжала она, кладя ему руку на плечо. Если нужно, за меня вам будут платить... Только я должна быть актрисой. Пятьсот рублей в месяц я буду давать на расходы общества, только прими-

те...

В это время в дверях появилась фигура глупо улыбающегося Акима.

— Что тебе здесь надо? Ступай вон! — заметил ему Бежецкий.

Лариса Алексеевна быстро сняла руку с его плеча.

Аким исчез.

— Вот что, милейшая Лариса Алексеевна, — обратился он к ней, вы прелестная бабыня, только я на это согласиться не могу — это может меня скомпрометировать.

Он взял ее за руку.

Она с недоумением смотрела на него.

— А иначе как-нибудь, — многозначительно продолжал он, — устроить можно. Попробуем... Я бы хотел вам помочь...

Он улыбнулся.

Она поняла его и кивнула головой.

В передней раздался звонок.

— Кто-то приехал. Вот не кстати-то... — с досадой проворчал он.

Она лукаво улыбнулась.

— Так значит, можно? Ах, как я счастлива. Просто готова весь мир обнять в эту мину-

ту, — схватила она его за голову и поцеловала в лоб.

Он, в свою очередь, хотел обнять ее, но она ловко вывернулась.

— А теперь прощайте, я отправлюсь. К вам кто-то приехал, да и я тороплюсь. Приезжайте без церемонии ко мне ужинать, потолкуем. Я адрес оставлю вашему человеку, — на ходу, смеясь, проговорила она и скрылась за дверью.

Бежецкий в волнении схватился за голову и опустился в кресло.

IX Врасплох

Приехавшая так некстати гостья — была Надежда Александровна Крюковская, с которой Лариса Алексеевна и столкнулась в приемной.

— Крюковская. Вот неожиданная встреча, сколько лет, сколько зим не видались, — радостно раскрыла последняя свои объятия.

— Здравствуйте, — видимо, умышленно холодно отвечала на горячее приветствие Надежда Александровна, отшатнувшись от Щепетович.

— Гордячка! — прошипела та, опуская руки.

Обе женщины смирли друг друга вызывающими взглядами.

Во взгляде Крюковской почувствовалась какая-то гадливость, во взгляде Щепетович — горел злобный огонек.

— Вы тоже к нему? — подчеркнула Лариса Алексеевна.

Крюковская вспыхнула и молча прошла мимо Щепетович.

Та проводила ее язвительно-насмешливым взглядом и, высоко подняв голову, медленно прошла в переднюю в сопровождении наблюдавшего эту сцену Акима.

Владимира Николаевича Надежда Александровна застала еще далеко неоправившимся.

— От чертенок-то, — шептал он. — Ну, бабенка, должно быть, бедовая. Огонек! Просто обожгла! Какая грациозная, прелесть! Так и ластится и вьется, как бесенок. Надо будет к ней непременно с визитом заехать.

Он все еще продолжал задыхаться и даже поправил ворот рубашки, как будто он вдруг

ему сделался тесен.

— Здравствуй! — подошла и поцеловала его в лоб вошедшая Крюковская.

Он растерянно уставился на нее.

— Ну, целуй же. Фу, как устала. Сейчас с репетиции. Вели дать кофею. Мою записку получил?

Он машинально поцеловал ее.

Она опустилась в кресло, подозрительно поглядывая на него.

— Да, получил, — ответил он и позвонил.

Явился Аким.

— Подай кофе.

— Слушаю-с.

Аким удалился.

— Скажи, пожалуйста, — медленно начала Надежда Александровна, — зачем сюда приехала Щепетович? Только этого не доставало. Я и не знала даже, что она в Петербурге, да и ты почему-то не сказал мне этого.

— Да разве ты ее знаешь? — удивился он. — Я не думал. Она ко мне в первый раз приехала. Веселая такая и очень мила. Скажи, пожалуйста, кто она такая?

— Кто она? — нервно захохотала она. —

Ну, уж извини, при всей моей откровенности с тобой, я не решусь дать ей при тебе ее настоящее имя.

— Вот как!

— Да, мой милейший, ты поражен, не ожидал... Нет, вообрази, какое нахальство. Встречается со мной — целоваться лезет.

Надежда Александровна с негодованием передала ему сцену в приемной.

— А к тебе она зачем попала? Просилась на сцену, что ли? — закончила она свой рассказ.

— Просилась, — ответил он, — да тебе-то, скажи, что до нее за дело?

— Как, что за дело? — вспыхнула она. — Ты ее не вздумай принять. Без того у нас мало делом занимаются, а при ней уж совсем одни только кутежи пойдут. Если она будет у нас, я сейчас же уйду, да и другие уйдут, служить с ней не станут.

Он внимательно посмотрел на нее и вдруг смутился под ее взглядом.

Это не ускользнуло от нее.

— Та, та, та, посмотри-ка мне прямо в глаза, — подошла она к нему и взяла его за пле-

чи.

Он отвернулся.

— Нет, посмотри.

— Полно, Надя, что еще за глупости...

— А! Так вот что... И в глаза прямо смотреть не хватает совести... Бессовестный, гнусный волокита! Прилично ли председателю, серьезному человеку, заниматься таким пустозвонством. Вечно только одного веселья хочется... Ну, да ты у меня не увернешься, я тебя...

Она не окончила фразы, так как в кабинете появился Аким с кофеем, который он и поставил на стол.

Надежда Александровна отошла от Бежецкого и присела к столу.

Аким не уходил. Он остановился у прито-локи, молча улыбался и покачивал головой.

— Эх! — укоризненно произнес он наконец.

— Что тебе надо? Чего ты выпучил бельмы? Пьяница! — обернулся Владимир Николаевич.

— А то и надо! — передразнил его тот.

— Хорошенько его, барышня, — обратился

он к Крюковской, — а то у барина глаза-то больно завидуши. Чтобы эта тут вертихвостка, с позволения сказать, не шлялась.

Надежда Александровна улыбнулась.

— Бесстыдники! Право бесстыдники? — добавил Аким уже по адресу Бежецкого. — Ишь какая у нас с вами краля, а вам все мало.

Он мотнул головой в сторону Крюковской.

— Молчи ты, пьяная физиономия! — засмеялся Владимир Николаевич. — Что это ты врешь? Ступай вон, старая бесхвостая сова.

— Я и пойду. Чего вы ругаетесь-то! Опять за сову принялись. Это за то, что я правду сказал. Спасибо, всегда так надо. Ступай, мол, старый пес, вон. Вас же жалеючи говорю. Что? Аль опять захотелось по старому, бабе в лапы попасть. Опять пойдет, как бабье одолеет: Аким, Аким, денег надо, а я вот тогда и не пойду искать и не пойду...

— Да оставь, старый черт! Не ворчи. Убирайся вон.

— Всегда так, как начнешь правду говорить, все вон да вон, продолжал говорить Аким, уходя из кабинета.

— Видишь, я права, — с жаром начала На-

дежда Александровна. — Я при Акиме сдержалась, но теперь прямо скажу, что этого выносить не стану и при себе терпеть другую женщину не буду. Я тебе не жена и терпеть не обязана. Если ты осмелишься и я замечу — сейчас же брошу тебя. Что это за бесстыдство! Но помни, я тебе еще и отомщу за себя. Жестоко отомщу!

В тоне ее голоса звучала решимость.

Владимир Николаевич, видимо, струсил.

Он подошел к ней и начал ее успокаивать, стараясь с деланной улыбкой заглянуть ей в лицо.

— Ну, полно верить этому дураку, Надя, — поцеловал он несколько раз ее руку.

Она не отнимала руки, но молчала.

— Пожалуйста, не сердись. У меня к Щепетович еще не может быть никакого чувства. Я ее в первый раз и увидал сегодня.

— Знаем мы «в первый раз», — вскинула она на него глаза. — Уж ты мне тоже, пожалуйста, розовый вуаль на глаза не надевай, я и так умею различать предметы. Знаю твой вкус: пришел, увидел, победил. И чем скорее и новее — тем милее и вкуснее. Настоящий

гастроном в этом отношении: непременно переменное кушанье надобно. А Щепетович, я знаю давно, какая она птица. У Наташи Лососининой отбила мужа, он даже ей в то время нужен не был, другой был при ней, так только, чтобы отбить.

— Удивительно у вас, у женщин, в этом отношении феодальные закорюченные понятия, эгоизм какой-то, — отвечал он со смехом и начал ходить по кабинету. — Почему непременно, если любишь женщину, надо отказаться от жизни и не сметь подумать о другой женщине? Отчего не пользоваться и не наслаждаться всем, что встречается на пути хорошего? Приятнее, веселее бы всем жилось. Зачем друг друга стеснять и лишать свободы? И мужчины, и женщины — живые организмы, живущие своей жизнью, а не вещи, которые могут быть чьей-нибудь собственностью. Нам, детям девятнадцатого века, крепостничества не надо и мы его не терпим, во всем должна быть свобода — это знамение времени.

Он остановился перевести дух.

Она задумчиво глядела на него.

— Да и, вообще, мне кажется, — продолжал он, — притворяться и лгать в этом отношении очень гадко; я этого не могу. Чем я виноват, что меня прежде влекло, а теперь влечение прошло? Влечение и хорошо только тогда, когда естественно, да иначе оно и не может существовать, его вызвать насильно нельзя. Ну скажи, по совести, что в таком положении делать? Как тут быть?

Он остановился перед ней и глядел вопрошительно.

— В теории, пожалуй, я с тобой согласна, — медленно начала она, притворяться и лгать гадко, и насильно мил не будешь. Ты спрашиваешь меня, как тут быть? Я тебе ответить на это не сумею, сама в тупик становлюсь. Я чувствовать так не умею и для меня это непонятно.

Она провела рукой по лбу, как бы сдерживая наплыв мыслей.

— Только... если бы это случилось... Тяжело думать, — с расстановкой добавила она после некоторого молчания.

В голосе ее слышались ноты безысходной грусти.

Он тоже казался сосредоточенным.

— Да. Это не разгаданная загадка и не думаю, чтобы кто-нибудь разгадал ее непогрешимо верно, — серьезно сказал он.

Воцарилось молчание.

Она сидела, бессознательно глядя в пространство.

Он продолжал нервно ходить взад и вперед по кабинету.

— А потому и будем жить, пока живется, — начал он первый, подходя к ней и целуя ее в голову. — Ну, что задумываться! Перестань. Улыбнись.

Она горько улыбнулась.

— Вот так-то лучше, — он снова поцеловал ее.

Она схватила его за руку.

— Ах, Володя, иногда мне кажется, что я счастлива, близка к твоей душе, а порой я с ужасом убеждаюсь, что между нами есть что-то недоговоренное, что мы далеки и не понимаем друг друга.

— Надя, Надюша моя, я бы рад душой сам, если бы мог перемениться, но сорокалетнее дерево, если оно росло криво, перегнуть и вы-

прямить невозможно, а потому и мне изменяться трудно. Люби меня такого, какой я есть, а сделать меня нравственным вряд ли тебе удастся. Слишком поздно мы встретились с тобой, и ты напрасно взялась за это.

Он снова уселся в кресло.

— А как бы мы могли быть счастливы, — мечтательно, почти шепотом начала она, — каждая мысль пополам, — полным человеческим, сознательным счастьем.

Она смолкла на мгновение.

— А такого счастья, что у нас счастьем называется, я никогда не хотела и теперь не хочу, — вдруг возвысила она голос. — Живут люди в одном доме, носят одно и то же имя, едят из одной миски... и довольствуются... А что они нравственно далеки друг от друга, что ничего общего в мыслях нет, об этом и не заботятся... На мой взгляд, это не счастье. Вот почему я не хотела быть твоей женой. Боялась этого общего места, этой рутины. Хотелось другого счастья, основанного на взаимном доверии, чтобы на самом деле было «одно тело и одна душа», а не врозь душой, и это могло бы быть так.

Она порывисто встала, подошла к нему, обвила руками его голову и, целуя ее, прижимала к своей груди.

Он молча позволил ласкать себя.

— Не разменивайся ты только на мелочи. Я знаю, какая это умная и золотая головка, только вот сверху много мусору накопилось. Я бы хотела смахнуть этот мусор, чтобы золото было виднее.

— А если во мне нет этого золота, о котором ты мечтаешь, — поднял он на нее грустный взгляд. — Нет его и нет. Я сам чувствую, что нет. И зачем, право, ты меня всегда расстрожишь, душу мне только взволнуешь, а толку из этого никакого ни для меня, ни для тебя. Все опять по-старому пойдет. Во мне для этого переворота чего-то нет, недостает.

Она продолжала нежно смотреть на него.

Он раздражительно освободил голову из ее рук.

— Ты вечно только расстроишь меня, заставишь размышлять... Отойди, Надя, сядь. Кто-нибудь может войти, неловко...

— Почему это неловко, — уставилась она на него, не двигаясь с места. — Ведь все рав-

но, все знают наши отношения. Я не знаю, право, ты точно стыдишься их. Я иначе чувствую и понимаю. Готова не только здесь, в твоей квартире, сказать, что я люблю тебя, но на площади, перед всем народом, объявить, что я твоя. Нисколько не стыжусь, так сильно, искренно это чувство во мне. Я даже не понимаю, чего я тут должна стыдиться? Что мы не венчаны еще, так ведь это только форма. Мне кажется, что я скорее бы постыдилась сказать, если бы была твоей женой и не любила: тогда бы солгала и стыд действительно бы покрыл лицо краской. Отчего в нас такая разница понятий? Ты меня меньше любишь, вот что...

Он быстро встал с кресла.

— Ну, поехала... — сделал он нетерпеливый жест рукой. — Слава Богу, открыла: «меньше любишь». Вечный анализ! Это скучно, Надя!

В передней послышался звонок.

— Вот всегда так кончается, — с досадой сказала Надежда Александровна, опускаясь в кресло, — и непременно кто-нибудь да помещает. Нельзя даже выяснить наших отноше-

ний. Хоть бы поехать куда-нибудь вместе.

В дверях кабинета появился Аким.

— Господин Коган пожаловали, — ухмыльнулся он, — принимать прикажете, али нет?

— Конечно, принять, — заторопился Бежецкий и быстро ушел в спальню, откуда через несколько минут вышел в сюртуке. Аким продолжал стоять у притолоки двери.

— Что ж ты здесь торчишь? Проси! — крикнул на него Владимир Николаевич.

— Что твердить-то уж, слышали. Пущу! — ворча по обыкновению себе под нос, удалился старик.

X Банкир

Исаак Соломонович Коган был тот самый петербургский банкир и богач, который пользовался большим влиянием в «обществе поощрения искусств» и служил вместе с Дюшар для Владимира Николаевича сильной поддержкой в этом обществе.

Он был совершеннейший тип разбогатевшего жида, променявшего свой прародительский засаленный лапсердак на изящный костюм от модного портного и увешавшего себя

золотом и бриллиантами, но и в этом модном костюме и богатых украшениях он все же остался тем же сальным жидом, с нахально-самодовольной улыбкой на лоснящемся лице, обрамленном клинообразный классической «израильской» бородкой, в черных волосах которой, как и в тщательно зачесанных за уши жидких пейсах, проглядывала седина.

На вид ему было лет под пятьдесят.

По фигуре он был не высок ростом и как-то смешно шарообразен, так как при семенящей походке его солидных размеров брюшко мерно покачивалось на коротеньких ножках, и он для того, чтобы придать себе гордый вид, еще более выпячивал его вперед.

Он вошел в кабинет почти одновременно с вышедшим из спальни Бежецким.

— Очень рад вас видеть, уважаемый Исаак Соломонович! — приветствовал его последний.

Коган, не обращая, по-видимому, на его никакого внимания, мелкими шашками, с плотоядной улыбкой на губах подошел к Надежде Александровне и смачно чмокнул поданную ею руку.

Она брезгливо дотронулась губами до его лба.

Затем он с важностью подал свою руку, украшенную бриллиантовыми перстнями, Бежецкому и, не дожидаясь приглашения, развалился на диване.

Бежецкий тоже уселся на кресло.

— Как сегодня холодно, — начал Коган с важно серьезным видом, — я в моих соболях и то продрог. Тедески, — я всегда у него платье шью, — должно быть мало пуху положил, а две тысячи взял.

Он сделал вдруг еще более глубокомысленную физиономию.

— Может быть, впрочем, и погода виновата, что я озяб, — стал соображать он вслух. — У меня в доме и то только тринадцать градусов, несмотря на то, что сам Чадилкин строил, все по системе...

Он захихикал.

— Я сам не понимаю толку в постройках, да на что мне это и знать? всегда могу купить Чадилкинское знание. Он за стиль и вкус с меня большие деньги получил, а нам на что вкус, когда мы его купить можем. С меня за

вкус и план моего дома Чадилкин двадцать тысяч взял. Мой дом ведь триста тысяч стоит, да вкус двадцать, — итого триста двадцать тысяч, кроме купленной мебели... Да что нынче купить нельзя — все можно. Вот разве расположение мадемуазель Крюковской купить нельзя.

Он вопросительно посмотрел на Надежду Александровну и громко расхохотался.

Та смерила его быстрым взглядом.

— Да!.. Мое расположение трудно купить, дорого стоит, даже вам не по карману, да и не для вас, — кинула она ему.

— Насчет кармана вы не беспокойтесь, — самодовольно возразил он со смехом, — и по карману, и по мне, а уж вы такая капризная барыня: все выбираете. Меня же многие находят еще интересным мужчиной. Ведь главный интерес не в красоте, а в уме, а у меня ум.

Он сделал неопределенный жест рукой около лба.

— С министрами поспорим... — с важностью добавил он и поднял вверх указательный палец правой руки.

— Да уж вы этим известны, — насмешливо вставил Владимир Николаевич, кого хотите провести сумеете!

Крюковская тоже засмеялась.

— О!.. Всегда проведу! — захохотал и он, не поняв насмешки. — Затем и дураки на свете, чтобы их умные могли дурачить, а в особенности это легко с деньгами.

— Вы и умника всякого сумеете одурачить, — продолжал смеяться Бежецкий. — Что вам стоит это с вашими средствами?

— На счет этого мне удавалось и не раз. Да и что мне это стоит? Ну, брошу тысячу, другую, пожалуй, — и дело сделано. Люди падки на деньги! — с важностью заметил Исаак Соломонович и снова засмеялся довольным смехом.

— У меня сегодня до вас, любезнейший Владимир Николаевич, — обратился он к Бежецкому после некоторого молчания, — дельце есть. Я надеюсь, что вы мне это устроите. Там у нас старые счета есть, так я, пожалуй, разорву векселя, — презрительно добавил он. — Это для меня пустяки, но...

Он искоса поглядел на Крюковскую.

— Я бы желал с вами побеседовать наедине — предмет деликатный...

— Если угодно, пройдемте в гостиную. Надежда Александровна нас извинит, — заметил Владимир Николаевич, вставая с кресла.

— Пожалуйста, не стесняйтесь! — сказал Крюковская.

— Все насчет искусства, вы знаете, что поддерживаю искусство. Оно мне дорого стоит. Искусство — вещь великая... — ораторствовал Исаак Соломонович, выходя с Бежецким из кабинета.

Надежда Александровна была рада, что ее оставили одну, и снова погрузилась в размышления по поводу ее предыдущего разговора с Бежецким.

— Ах, Господи, все это мне кажется не то, — думала она, сидя с закрытыми глазами. — Так близко и вместе с тем так далеко. Не понимает он меня, и мне тяжело, а только стоит ему посмотреть на меня ласково — уж я воскресла и ожила. Опять надежда! Ведь добрый такой, умный... Неужели он не будет никогда таким, каким бы я хотела его видеть?

Она глубоко вздохнула и встала.

— Впрочем, вздор! — продолжала она размышлять, нервно расхаживая по кабинету. — Переверну все, это пустяки, можно переделать... Попробую перевернуть. Это должно быть моей целью. Он слишком легко ко всему относится. Серьезного человека в нем разбудить, осветить эту тьму, в которой он жил до сих пор... Тогда, когда мы сошлись, я дала себе эту клятву и сдержу ее. Все вынесу, все ему в жертву принесу, а теперь одно сознаю: люблю его и люблю. Все, что вижу, прощаю. Даже искусство, мое дорогое искусство забываю — для него. Да! Сил во мне много, сумею любить его, свою всю жизнь забыть. Он ветрен и... увлекается. Так что за беда? Пускай только будет чувствовать, что свободен и счастлив со мной...

Ее думы прервал вошедший Аким, с большим белым картоном в руках.

Он был еще в более сильном подпитии.

— Где у нас барин-то? Куды пропал? — остановился он, покачиваясь, посреди кабинета.

— Он в гостиной, занят! — ответила ему Крюковская.

Аким, с трудом передвигая ноги, направился к двери, ведущей в гостиную.

— Не ходи туда, Аким, барин занят, не беспокой! — заметила она ему.

— Как не беспокой? — остановился он. — Вот принесли, что заказано... Там дожидаются. Что вы меня к моему барину не пускаете? Это что такие за новости?!

— Говорят тебе, не хода, — загородила она ему дорогу, — барин занят. Если и пришли, так могут подождать. Да что это такое принесли?

Она протянула руку к картону.

— А то и принесли, — лукаво подмигнул Аким, пряча картон за спину, что не нужно вам знать, вас не касающееся... Секрет... Вот... видно, бабы-то везде равны, что в вашем, что в нашем звании. Что принесли? А то, что не вашего знания дело... Любопытны больно! Вы думаете, у нас с барином секретов от вас нет, ан, вон есть. А вы не пущать...

Он снова направился к двери.

Надежда Александровна снова загородила ему дорогу.

— Говорят тебе, не ходи теперь... Подай сю-

да картон!

Она ухватилась за картон, который Аким вырвал у нее из рук, но, потеряв равновесие, упал и уронил картон.

Крюковская быстро подняла его.

— Что это? Из модного магазина?

Аким, с трудом поднявшись, снова бросился к картону.

— Говорят, что не для вас... Вам знать не надо.

Надежда Александровна отстранила его рукой, подошла к дивану, поставила на него картон и стала его развязывать.

— Мне знать не нужно, поэтому я и должна знать...

Она раскрыла картон и остолбенела.

— Ведь я же говорил, что вам знать не годится... Спокойнее бы были... Право спокойнее, — заметил Аким, снова бережно завязывая картон.

Крюковская смотрела на него ничего не выражающим взглядом.

— А вы любопытничать. Ну, вот и устали, чего смотрите? Теперь плакать начнете. Велика беда, что пошалить барин, пошалит и

все тут. Мужчине можно пошалить, не ба-
рышня, — пустился он в рассуждения.

Она молчала.

— Таперича тот ругать начнет, — начал он,
уже обращаясь к самому себе, — зачем уви-
дала. Ах, ты Господи! Что станешь тут де-
лать? — Не сказывайте нашему-то, что виде-
ли, — обратился он снова к ней, — а то задаст
мне за вас... Экая оказия случилась!

— Для кого это? Для кого, — задыхаясь от
волнения, спросила она.

— Вот сказывай таперича, для кого. Да уж
все одно знаете, так нечего таить. Тут цыган-
ка эта изменница, — таинственно сообщил
он, — ну, барин и заказал...

— Уйди, Аким, уйди! — прерывающимся
голосом крикнула она.

Он смотрел на нее, не двигаясь с места.

Она подскочила к нему, повернула и стала
толкать его в спину.

— Поди, поди! Уходи, тебе говорят...

— Что вы толкаетесь. Уйду и сам, к барину
пойду, — заворчал он, направляясь с карто-
ном в гостиную, но вдруг остановился у две-
рей.

— Так барину-то ни гугу, а то опять достанется мне на орехи, таинственно обратился он к ней и вышел.

Она не слыхала его последних слов: на нее снова нашел столбняк.

Она стояла посредине кабинета и ломала себе руки.

Мрачные мысли одна за другой проносились в ее голове.

— Вот что... Цыганка... Ей шуба! У меня взять деньги третьего дня, сказал, необходимо матери послать... Обман... Ложь, все ложь... Я последние отдала... Он знал. Зачем?... Зачем такая гадость... Зачем я люблю... и такую гадость... Измена... оскорбление... Любил... Ну, разлюбил... А этот обман-оскорбление! Ужасное надругательство над чувством... Цинизм! Какое унижение человека!

Она зарыдала.

— Зачем полюбила? Зачем? Всепрощающей любовью полюбила, а теперь простить разве можно? Нельзя простить такого подлого существования... Разлюбить? Нет, и разлюбить не могу, простить не могу... Люблю его... люблю и ненавижу.

Она с новыми рыданиями упала на диван.

— Порок его ненавижу, а человека в нем люблю. Что же, не жена, законом не связана, а все-таки беспомощна, разлюбить не смогу... Какая дурная, должно быть, я стала? Ложь... Обман... Разлюбить не в силах... чувствую это...

Она вдруг быстро вскочила с дивана и потряхнула головой.

— Вздор! Смогу... силы найдутся. Разлюблю... Брошу... ненавидеть должна... ненавидеть... хочу ненавидеть и буду.

Она отерла платком глаза и сделала над собой невероятное усилие, чтобы казаться спокойной.

— Что теперь делать, что делать? — прошептала она. — Не хочу показать мою рану сердечную! Не стоит. Упрекать не буду. Да, не надо показывать вида, что я знаю... Не должна унижаться больше. Довольно!

Она задумалась.

— Вот что, равнодушной быть, а в душе ненавидеть. Силы... силы, главное, больше... Где силы найти? Не надо терять волю... я... я человек! Буду это помнить!.. Забыть себя!.. За-

быть и его!.. Нет, забыть не смогу! А легче ненавидеть, — с ожесточением прошептала она.

— Едем, едем, Исаак Соломонович, Аким! Шляпу, перчатки! — воскликнул Бежецкий, входя в кабинет под руку с Коганом.

— Извините, Надежда Александровна, нам нужно ехать, — обратился он к Крюковской.

— Ехать, ехать, господа! — насильственно веселым тоном проговорила она, — и я бы тоже хотела ехать, ехать веселиться... веселиться без конца.

Коган и Бежецкий вопросительно посмотрели на нее.

— Исаак Соломонович, хотите я с вами поеду... Мне душно, воздуху хочется, больше, больше... Прокатите меня на ваших рысаках, чтобы шибко ехать, быстро, лететь, так чтобы дух захватывало, хотите, поедем.

— Что у вас, Надежда Александровна, за фантазии иногда бывают, пожал плечами Владимир Николаевич. — Исааку Соломоновичу нужно самому ехать по делу, а вы предлагаете вас катать и забавлять...

— Положим, я для милейшей Надежды

Александровны, — поспешил прервать его Коган, — готов отложить наш визит до завтра. Я желал представить Владимира Николаевича прелестнейшей из женщин — Ларисе Алексеевне Щепетович.

Надежда Александровна вздрогнула.

— Будущей деятельнице нашего искусства. Мы все ведь для искусства служим! — продолжал Исаак Соломонович.

Она с нервным хохотом подошла к Бежецкому.

— Так вы к мадемуазель Щепетович? Торопитесь, торопитесь...

— Да, вот нечего делать, — отвечал он, избегая ее взгляда. — Исаак Соломонович тащит... Я обещал, надо исполнить...

— Что вы, Владимир Николаевич, я вас настолько не тащу, — развел тот руками, — а если угодно Надежде Александровне и она мне доставит это удовольствие, — я готов ее сопровождать... Наш визит мы можем отложить до завтра.

Бежецкий смущенно смотрел на него.

— У меня действительно, Надежда Александровна, лучшие лошади в городе, пять ты-

сяч стоят, — обратился Коган к Крюковской, — а английская упряжь стоит...

— Что бы она ни стоила, милейший Исаак Соломонович, — перебила она его, — это все равно.

Она снова захохотала.

— Весь вопрос в том, — продолжала она прерывающимся голосом, — что я сегодня хочу страшно веселиться. Если бы был бал, я бы поехала танцевать, в вихре вальса закружилась бы с наслаждением, до беспамятства... Нет бала, есть сани, значит — едем, едем. По едем дальше, туда... вдаль... за город... где свободнее дышится!.. Простора больше, где русской широкой натуре вольнее. Там, где синеватая даль в тумане, как наша жизнь!.. Вот чего я хочу: полной грудью вздохнуть, изведать эту даль.

Она смолкла.

Бежецкий и Коган с удивлением смотрели на нее.

— Что вы на меня так странно смотрите? — с нервным смехом обратилась она к Владимиру Николаевичу.

— Мне странно ваше поведение, да и не

похоже на вас, порядочную женщину, — сквозь зубы ответил он.

— Вам странно, что я веселюсь, может быть, делаю глупости, так не все же вам, мужчинам, этими глупостями и удалством отличаться, — с хохотом продолжала она. Ведь и мы люди, мы женщины, тоже хотим жить на свободе, ничем не стесняться, как вы веселиться, хотим хоть в этом с вами равными быть... Не рабами предрассудков, приличий и нравственности. Забыть все, хоть один час пожить свободно, без этих преследующих привидений нашей жизни. А весело это должно быть! Ух, как весело!

Она стала надевать шляпу, все продолжая хохотать.

— Так прощайте, Владимир Николаевич, прощайте, я еду веселиться.

Она схватила остолбеневшего от удивления Когана под Руку.

— Мчимся, Исаак Соломонович, мчимся и все сокрушим на нашем пути.

Она со смехом увлекла его с собою.

Бежецкий остался один и слышал, как хлопнулась за ними парадная дверь.

— Что это с ней сегодня? Не узнала ли чего? — начал он думать вслух. — Эх, Надя, Надя, жаль мне тебя.

Он прошелся по кабинету.

— А все-таки все это вздор! Нервы дамские! Притворство, или не на зло ли мне? Под вашу дудку, Надежда Александровна, я плясать не буду и, все-таки, хоть один, а отправлюсь к Щепетович.

Он начал одеваться и вскоре уехал.

XI

В «Малом Ярославце»

Все столики общей залы ресторана «Малый Ярославец», находящегося на Большой Морской, были заняты посетителями.

У того водопоя, на который, по выражению поэта, гоняют «без кнутика, без прутика», то есть буфета — теснились во множестве жаждающие пропустить «букашечку», опрокинуть «лампадочку», раздавить «черепушечку» — как многообразно и любовно выражает истинно русский человек свое желание выпить рюмку водки.

Обеденные часы ресторана были в самом разгаре.

Надо заметить, что этот ресторан в Петербурге — любимейший сборный пункт деятелей театральных подмоетков и газетных листов, а потом члены «общества поощрения искусств» и служившие в нем актеры неукоснительно его посещали.

Все «завсегдатаи» этого ресторана знакомы между собой и перебрасываются через столики замечаниями, вопросами и ответами, иные даже переходят от столика к столику, присаживаясь то к той, то к другой компании.

Какая-нибудь новость дня, пикантный анекдот, удачная острота, сказанная за одним из столиков, благодаря этим перекочевывающим посетителям в ту же минуту делаются достоянием всей залы.

В описываемый нами день разговор за столиками и у буфета вертелся на делах «общества поощрения искусств» и предстоящем на завтра общем собрании его членов.

Особенным оживлением отличалась компания, сидевшая за столиком в глубине залы. Она состояла из четырех мужчин. Двое из них, как можно было догадаться и по их

внешности, были актеры, служившие на сцене общества. Старшего, говорившего зычным голосом, звали Михаилом Васильевичем Бабочкиным, у младшего же, Сергея Сергеевича, как у большинства молодых актеров с претензиями на талант, зачастую признаваемый лишь своей собственной единоличной персоной, была двойная фамилия Петров-Курский. Другие двое, из сидевших за столиками, были члены «общества поощрения искусств» — Иван Владимирович Величковский, драматический писатель, считающийся в обществе знатоком сцены и театрального искусства, человек уже пожилой, худой, с длинной русой бородой с проседью, по фигуре похожий на вешалку, всегда задумчивый и вялый. Это был тот самый Величковский, соперничества которого на должность председателя боялся, если припомнит читатель, — Бежецкий; Михаил Николаевич Городов — частный поверенный, литератор-дилетант, пописывал рецензии и корреспонденции и давно мечтал попасть, если не в председатели, то по крайней мере, в секретари Общества, заступив место знакомого нам Бориса Александровича

Шмеля. Городов был тоже далеко не молодым человеком, полный коренастый брюнет с коротко подстриженными волосами на голове и бороде. Поговорить, по адвокатской привычке, он любил и, видимо, по той же привычке, любил устроить против кого-нибудь интрижку, перемутить, перессорить, словом, заварить какую ни на есть кашу. За столиком и теперь то и дело слышался его хриплый голос.

— Нет, господа, — говорил он, — у нас за нынешний год дела шли очень скверно. Что мы сделали? Что у нас нового? Все старье. Как хотите, а так продолжать нельзя, и завтра, на годичном собрании надо это круто повернуть.

— Зачем? — пробасил Бабочкин. — Ведь прожили благополучно. И до нас жили, и после нас так будут жить! Не нам это перевернуть. А перевертывать станем, себе бы шею не свернуть. Вот что!

— Нет, господа, как угодно, — не унимался Городов, — а так нельзя. Надо что-нибудь предпринять. Не так ли Курский?

— Конечно, так, — ответил молодой ак-

тер. — Дальше на самом деле тянуть так нельзя. Я думаю, это все понимают. Где у нас искусство? Разве при таких порядках актер может посвятить себя искусству? Я прошу, например, на днях поставить одну пьесу, значит, желаю работать, а мне отказывают. Просто стоит только и взять да удрать в другой город, я и удеру. Какое же здесь может быть дело и работа для искусства.

— Зато порядок есть, — снова забасил Бабочкин. — Чего вы волнуетесь, не понимаю, право, Теперь, по крайней мере, придешь, сделаешь свое дело и пойдешь покойно домой, не дрожишь за место. Неизвестно, при других порядок лучше ли будет. Нового председателя выберем, может, сами с места слетим. Лучше уж не менять.

— Вам бояться нечего, — заметил Михаил Николаевич. — Вы никого не трогаете, и вас никто не тронет, а вот таким господам, как Шмель, солоно придется.

Он захохотал.

— Воровать-то, пожалуй, не совсем удобно будет, — продолжал он со смехом, — я бы мог эту должность даром исполнять. За что же

Шмелю жалованье положили?

— А так, потому что это угодно господину Бежецкому, Шмель по его милости только и держится, — ядовито ответил Сергей Сергеевич. — Всю бы надо эту закваску старую, начиная с Бежецкого, к черту.

— Уж я кое-кому об этом шепнул, — таинственно прохрипел Городов, — на выборах чернячков Владимиру Николаевичу навалят. Действительно, надо все это старое вон, в архив сдать вместе с переводными французскими пьесами, со смехом добавил он.

— Конечно, надо ставить народные пьесы! — ухватился за Эту мысль Петров-Курский.

— Ну, это ты, брат, поешь потому, — покопился на него Бабочкин, что в иностранных держать себя не умеешь, на шпагу-то, как на хвост садишься, а нам вот все равно — привыкли прежде в трагедиях-то...

— Ну, вы, оралы старые! Нынче, брат, вы не в моде! Учитесь у нас, артистов реальной школы, а нам учиться у вас нечему... — напустился на него Сергей Сергеевич.

— Да разве у вас есть школа? — засмеялся

тот. — Я этого не знал, думал, что вы играете, как Бог на душу положит и без школы обходитесь. Чему, мол, актеру учиться? Родился талантом, да и баста! Ведь нынче всякий может быть актером и без ученья. Я думаю, что на сцену скоро и малые ребята из пеленок полезут.

— Ну, насчет школы-то, это ты на нас по злости клепаешь, у нас есть реальная школа и свои пьесы.

— Где играть учиться не надо — и так хорошо выйдет!.. — продолжил смеяться Михаил Васильевич своим густым басом.

— Не правда! Все лжешь! — продолжал горячиться Петров-Курский. — Вот тебе первый, — указал он на Величковского, — представитель реального направления в искусстве, известный драматург, литератор с честным направлением...

— Что я! — сконфузился Иван Владимирович. — Несколько только пьес написал, старый человек. Вот Marie будет отличная реальная актриса. Не правда ли?

Marie — была его племянница, игравшая небольшие рольки на сцене общества. В ней

Величковский не чаял души, приписывая ей всевозможные таланты и достоинства. На самом же деле она была заурядная, миловидная, молоденькая девушка, но как актриса — круглая бездарность.

— Да-с, будет! — согласился с ним, Сергей Сергеевич. — Но кончим, господа, спорить об искусстве. Надо сегодня же вопрос о председателе этой главной руководящей силе — серьезно обсудить и, по моему мнению, я случайно в разговоре указав на уважаемого Ивана Владимировича, сделал это как нельзя более кстати.

Он восторженным жестом указал на Величковского.

— Вот бы кто мог быть идеальным председателем, если бы только согласился удостоить нас этой чести.

— Нет, господа, — поклонился то, сидя, — избавьте. Теперь Marie служить, а тогда ей неловко будет. Скажут, что я ей даю лучшие роли, хотя она их вполне заслуживает.

— Это совершенные пустяки, — живо перебил его Сергей Сергеевич. — Да вы и не имеете права отказываться, потому что являетесь

спасителем целого дела и нас всех от произвола господина Бежецкого.

Он вскочил с места и добавил:

— Ох, да что тут толковать, надо просто вас взять и посадить на председательское место, а потому я пойду и подобью всех наших, находящихся здесь, просить вас.

Он быстро отошел от стола и, несмотря на протесты Величковского, стал переходить от столика к столику, ораторствуя то тут, то там с убедительными жестами.

Иван Владимирович с испугом следил за ним и не переставал говорить:

— Что же это такое? Я, право, не знаю... Зачем все это?

— Уважаемый Иван Владимирович, это нужно для дела и вы должны принести себя в жертву, — успокаивал его Городов. — Я, по крайней мере, если мне предложат, готов хоть сейчас принести себя в жертву делу, — со вздохом добавил он.

В этот момент в залу не вошел, а буквально влетел репортер и рецензент одной из самых распространенных в Петербурге газет мелкой прессы, Марк Иванович Вывих. Это

был высокий, стройный молодой человек, блондин, со слегка одутловатым лицом, в синих очках.

Он был также член «общества поощрения искусств».

Поздоровавшись направо и налево, Марк Иванович подошел к столику, где сидели Величковский, Бабочкин и Городов.

— Я вам могу сообщить приятную новость, — затараторил он, здороваясь с сидевшими и усаживаясь на подставленный лакеем стул, — завтра к нам на общее собрание приедет сам Исаак Соломонович и желает, в качестве почетного члена, принять деятельное участие в делах общества, с чем я искренне всех нас поздравляю. Это ведь не шуточка... Значит, у нас, то есть у общества, будут деньги. Сейчас только узнал эту свежую новость и надо будет сию же минуту отослать сообщение в газету.

Он вынул из кармана записную книжку, вырвал из нее листок и стал писать карандашом, положив бумажку на колено и прислонив последнее к столу, но в то же время не переставая говорить.

— Да, еще узнал новость. Это уж по секрету. Как нам в общество поступила в качестве актрисы, а следовательно и члена, госпожа Щепетович. Как кажется, мы ей-то главным образом и обязаны благосклонностью Исаака Соломоновича. Я с ней вчера познакомился. Прелесть, что за барыня, оживит все общество.

— Я эту Щепетович знаю, — пробасил Бабочкин, — только не знаю, зачем она к нам в общество понадобилась? А, впрочем, почему знать, может быть, теперь это и нужно для искусства...

Вывих кончил писать, сложил бумажку и подозвал лакея.

— Пошли сейчас же с моим извозчиком, — передал он ему бумажку, — вели ему отвезти в редакцию. Знаешь моего извозчика? Найдешь?

— Найду-с. Как же не знать-с.

— Так проворнее поворачивайся...

Лакей побежал.

— Ах, постой! — спохватился Марк Иванович, но лакей уже был далеко. Убежал. Вот до сада, забыл совсем в сообщении поместить

еще одну очень важную новость. Поступила к нам актриса Дудкина, — строчек десять проухал...

Вывих быстро отошел от них, сделав отчаянный жест рукой, и стал переходить от стола к столу, всюду сообщая эти свежие новости.

Городов, между тем, продолжал уговаривать Величковского.

— Вы послушайте меня внимательно. Иван Владимирович, я удивляюсь, почему вы не хотите и уклоняетесь от поступления в председатели. Я бы на вашем месте, если бы у меня было столько голосов, как у вас, и я мог бы, как вы, наверное рассчитывать быть избранным, — ни за что бы не отказался. Из меня тоже мог бы выйти хороший председатель. Юридическую сторону дела я знаю, а также и канцелярский порядок, потому уже несколько лет как частный поверенный, и административную великолепно тоже знаю — был прежде становым приставом. Ух, как бы я актеров держал. У меня ни гугу. А мое литературное значение всем известно. Корреспондирую в пяти газетах, значит, умею ценить ис-

кусство, кроме того, недавно пьесу написал, значит, вполне литератор, с пафосом закончил он.

— Да, вы человек основательный, — покосился на него Бабочкин. — Ни один редактор на вас не пожалуется, чтобы ему из-за вас какая неприятность была. Все дорожат, потому что не подведете — очень осторожны. Такому человеку можно дело поручить... Правильное направление твердо знаете, вот что дорого...

Перед столом опять как из-под земли вырос Вывих.

— Слышали, слышали, еще свежая новость, — с хохотом начал он. — Наши Фауст и Маргарита поссорились не на шутку. У них, говорят, что-то вышло из-за Когана. Оттого и Крюковская больна и за последнее время не являлась в «общество» и не играла. А я-то сожалел об ее болезни, хотел ехать навестить, а оказывается, просто у нее любовная мигрень.

Он снова расхохотался.

— Нет, господа, это не притворство, — серьезным тоном начал Михаил Васильевич, укоризненно посмотрев на Вывиха. — Мне ее в последний спектакль даже очень жалко бы-

ло — дрожит вся бедняжка. Дело-то у них должно быть всерьез пошло. Да и напугала же она меня. Входит ко мне в уборную, а меня в это время парикмахер брил. Схватила бритву: — Ах, вот, говорит, чего я все эти дни искала, мне для роли в одной новой пьесе нужно. — А сама смеется, да так нехорошо. — Продай мне, говорит парикмахеру. Я было у нее отнимать, думаю, руку обрежет, а она не дает и хохочет, даже мне от ее смеха страшно стало. — Чего вы, — говорит, испугались, не зарежусь. — Бросила парикмахеру десять рублей, убежала и бритву с собой унесла.

— Не нравится мне, — заметил Городов, — что у нее часто бывают такие странные выходы. Она баба хорошая, только переходы в ней чересчур резки: то уж очень весела, то, думаешь, не святая ли мученица какая?

К столу в это время подошел Курский-Петров и уселся на свое место.

Марк Иванович с негодованием отодвинул стул и вскочил.

— Однако надо выпить!

Он быстро ушел по направлению к буфету. Сергей Сергеевич расхохотался.

— Ишь, стрекача от меня задает! Знаете, за что меня Вывих не терпит и ругает?

— А за что? — спросил Величковский.

— Да я уж очень с ним шельмовскую шутку сыграл, — со смехом начал тот. — Был у нас тут в прошлом году один бенефисик назначен, я в ту ночь, около часу, Вывиха здесь же встретил; подлетает он ко мне и спрашивает, хорошо ли прошла пьеса. Я, говорит, не успел быть, а завтра нужно непременно отчет в газете, хоть в нескольких строках, а все-таки дать. Я, не долго думая, возьми да и соври ему, что, мол, прошел спектакль с успехом, только Бабочкин провалил свою роль. Марк Иванович эту самую шутку сейчас же из трактира в редакцию кратким сообщением и отослал, а пьеса эта вовсе не шла — бенефис был отменен. Егоза такую штуку все другие газеты продернули: пишет, мол, о спектакле, которого не было. С тех пор он меня видеть не может...

Присутствующие расхохотались.

XII

Общее собрание

На другой день, к семи часам вечера, собрались приглашенные повестками на годовичное собрание «общества поощрения искусств», как исполнители действительные, так и почетные.

Громадное помещение «общества», находившееся на одной из бесчисленных набережных Петербурга, было уже переполнено массой публики, прослышавшей, что заседание будет бурное. В одной из зал, предназначенной в обыкновенные дня для танцев, стоял громадный стол, или, лучше сказать, несколько приставленных друг к другу столов, покрытых зеленым сукном; кругом были расставлены стулья, а в середине находилось председательское кресло.

Несмотря на то что бы уже девятый час, эта зала была пуста. Заседание еще не открывалось — ждали приезда Владимира Николаевича Бежецкого.

Публика и члены, среди которых были и знакомые уже нам Величковский, Городов, Бабочкин и Петров-Курский бродили и занимали столики в буфетных залах. Компания, которую мы видели накануне в «Малом Яро-

славце», сидела и теперь за одним столом. Рядом с Величковским была на этот раз и его племянница Marie.

Дядя не сводил с нее глаз.

— Не озябла ли ты, Marie? — заботливо временами спрашивал он.

— Нет, дядя, мерсі, — отвечала она.

— Однако, господа, мы здесь говорим, пьем и едим, — возвысил голос Городов, — а о деле, для которого собрались, мало думаем. Надо решить! И на что это похоже — все собрались, а председателя нет. Заставляет себя дожидаться. Странно что-то. Я бы уже этого не позволил себе на его месте. — Он встал и подошел к сгруппировавшимся посреди залы.

Среди последних были: Исаак Соломонович Коган, архитектор Алексей Алексеевич Чадилкин, мужчина чрезвычайно высокого роста с окладистой черной бородкой.

К этой же группе подошла только что приехавшая в сопровождении Дудкиной, Надежда Александровна Крюковская.

С ней рядом шел Петров-Курский.

Он заметил ее, когда она входила в двери, раньше всех и поспешил к ней навстречу.

— А наконец-то наше красное солнышко проглянуло. Надежда Александровна, здравствуйте! Как здоровье? Мы так за вас боялись.

— Здравствуйте, Курский! — подала ему руку Дудкина.

Тот пожал ее.

Крюковская была бледна, но, видимо, старалась казаться веселой.

— Мега, я здорова, — засмеялась она в ответ на вопросы Сергея Сергеевича, тоже подавая ему руку, которую он почтительно поцеловал. Разве стоит за меня бояться, мне никогда ни от чего ничего не делается и ничто не пробирает, точно я заколдованная. Даже досадно. А, может быть, кошачья натура, — с новым смехом добавила она. — А вы как тут без меня живете, хорошо ли себя ведете себя, мои милые дети...

Они подошли к группе. Она и Дудкина начали здороваться с присутствующими.

— Да не совсем хорошо! — ответил за всех Сергей Сергеевич.

— Вероятно, все об искусстве заботитесь, которого нет... расхохоталась она.

— Ай, ай! Разве можно так говорить. Смот-

рите, старшие услышат.

— Что же тут такого? Я говорю правду.

— Правду-то, правду, только мне странно это от вас слышать...

— Почему странно, когда это правда? Разве вы думаете, что я должна кривить душой?

Она расхохоталась почти истерически.

— Так очень ошибаетесь. Я всегда говорила и буду говорить, что дело искусства не может быть там, где люди о нем не думают, а у нас каждый думает только о себе, о своих трактирах, именинах, пирогах и ужинах. Какое там еще искусство выдумали. Долой, господа, искусство; не думая о нем веселей живется.

— Bravo, bravo! Надежда Александровна! — слышались голоса, и все снова заговорили разом.

Дудкина под шумок пристала к Сергею Сергеевичу:

— А что же мой дебют? Когда для меня пьесу поставят? Я хочу играть Адриену Лукеврер, непременно Адриену...

— Я-то почему знаю, разве я здесь распоряжаюсь... отбояривался от нее Курский.

В это время вошла в залу Лариса Алексеевна Щепетович и остановилась у колонн.

К ней подлетел бродивший по зале Вывих.

— Здравствуйте, Лариса Алексеевна. Я вас здесь дожидался, чтобы ввести и со всеми познакомиться.

— Мега!.. Вы очень милы, но... — произнесла она, надевая пенсне, — я жду моего кавалера...

За колоннами показался Бежецкий.

— Вот видите и не странно, что председателя не было видно, он не один, — заметил Курский Городову, указывая на проходивших по зале Бежецкого и Щепетович.

Оба расхохотались.

— Милости просим, Лариса Алексеевна. Идемте. *J'espere, que vous n'etes pas, genee?* Бодрей, бодрей...

Он шел с ней под руку, гордо раскланиваясь со всеми кивком головы.

— *J'espere bien, que non!* Я не из трусливого десятка, — отвечала она, кокетливо улыбаясь по сторонам. — В мужском обществе не теряюсь. Вот барынь не люблю — скучные они все и меня к мужчинам ревнуют.

— Честь имею вам представить, господа, нашу новую артистку, Ларису Алексеевну Щепетович! — подошел он с ней к группе, где стоял Городов и только что подошедшие Бабочкин и Величковский.

При приближении их Коган, Чадилкин, Крюковская и Дудкина поспешно отделились от остальных и отошли в сторону.

После взаимных представлений, Щепетович обратилась к Бабочкину:

— Мы, Михаил Васильевич, с вами, кажется знакомы?

— Да-с, имел эту честь. У Палкина, если я не ошибаюсь, вы бывали со Степановым.

— Нет, с Сержем Войтовским, а Степанов всегда бывал в нашей компании. Тогда очень мило и весело жилось в Петербурге. Каждый день катанье на тройках, обеды у Палкина, ужины у Донона, потом на острова, цыгане... И всегда с нами Петя Лапшин, князь Коко... Вы помните, такой шалун и весельчак еще...

— Как же не помнить. Бывало, к ним попадешь, уж живой не выйдешь, всегда до положения риз... — засмеялся Бабочкин.

— Славные ребята! — расхохоталась на

всю залу Лариса Алексеевна. C'était charmant, в особенности Васька Белищев, не тот, штатский, а гвардеец, русская широкая натура.

— Каковы манеры! — поклонился Городов к Величковскому, — вот пример, что у нас делается. Разве эта барыня может иметь что-нибудь общее с искусством и носить звание артистки, впрочем, для кутежей, может быть, она артистка первоклассная.

Величковский только пожал плечами.

— Однако, господа, что же мы не начинаем? — поглядел на часы Владимир Николаевич. — Где же Шмель?

Борис Александрович вырос перед ним как из-под земли.

— Я здесь! Если угодно, можно начинать заседание. Все готово! Отчеты я положил вам на стол. Все обстоит благополучно.

Последнюю фразу он произнес шепотом.

— А, хорошо!

— И господ членов довольно уже набралось. Если прикажете, можно дать звонок, — продолжал он вслух.

— Так потрудитесь!

Шмель вынул из кармана колокольчик и

начал, звоня, обходить залы.

Все члены направились в зал, приготовленный для общего собрания, у дверей которого стояли два лакея, отбиравшие повестки у мало известных.

— Я вас провожу в зал заседаний. Я надеюсь, что вы мне позволите, подал Бежецкий руку Щепетович.

— О, с вами куда угодно. Хоть на край света! — громко и с ударением ответила она.

— Вот как!.. Зачем же это объяснять и так публично. Шалунья, заметил он ей уже на ходу.

Последняя фраза не ускользнула от оставшегося еще в той же зале Когана, разговаривавшего вполголоса с Чадилкиным.

— Вот как! — прошипел он. — Куда угодно, хоть на край света. Вы слышали каково?! Быстро, быстро! Не слишком ли скоро? Ну, да это мы увидим, с кем. Почему бы и не с вами, и не со мной. Увидим, кто сильнее: мы или Бежецкий?

*— Все мое, сказала злато,
И я твой, сказал булат,
Все куплю, сказала злато,*

И меня, сказал булат.

— продекламировал со смехом в ответ архитектор. — Война, значит, уважаемый Исаак Соломонович? — добавил он, положив ему на плечо свою огромную руку.

— Нет, как же война. Я так только пошутил. Разве подобная дрянь, как Щепетович, стоит этого. Я ею вовсе и не интересуюсь.

К ним подскочил Марк Иванович, вышедший из залы заседания.

— Что же вы, Исаак Соломонович? Пожалуйста. Все уже собрались, заседание будет интересное.

— Еще успеем, — зевнул Чадилкин.

— У нас тут возбужден будет вопрос о перемене председателя, — подошел к Когану Сергей Сергеевич.

Вывих при его приближении быстро отошел и направился в залу заседания, окинув Петрова-Курского презрительным взглядом.

— Желал бы я знать ваше мнение на счет этого, уважаемый Исаак Соломонович.

— На счет перемены председателя. А! Это очень кстати, и знаете, добавил он таинственно, — если будет другой председатель, я по-

жертвую для общества. Передайте это от меня членам.

— Непременно передам. Мы думаем выбрать Величковского, он человек с честным направлением.

— Величковского? Да! Он с честным направлением. Я согласен, согласен, — важно изрек Коган.

— Идите же, идите, — заспешил Курский и побежал обратно в залу, откуда уже слышались шумные возгласы.

Исаак Соломонович с Чадилкиным направились было туда же, но оттуда, как бомба, вылетел Вывих.

— Идите, идите, Исаак Соломонович, — подскочил он к ним. — Читают отчеты. Очень интересно, как они так подтасовали. Деньги растрачены. Завтра же в газетах тисну. Целый фельетон выйдет. Строчек в триста значит, пятнадцать рублей получу. Идите скорее.

— Идем, идем! Надо другого председателя выбрать. Я думаю Величковского, он с честным направлением, — сообщил Коган Вывиху.

— Величковского, конечно, Величковско-

го, — подтвердил на ходу уже в дверях Марк Иванович.

— Видно, — думал Алексей Алексеевич, идя вслед за ними, — в нынешнем году слетит господин Бежецкий — это не прежнее время. Баба замешалась, а во всякой гадости ищи женщину, а она тут и есть. Будет теперь знать, как мне не додавать денег. За постройку прошлого года мне не додали, а в нынешнем другого архитектора взяли. Я ему удружу.

Все трое вошли в зал.

XIII

Скатертью дорога

Заседание в самом деле было бурное.

По прочтении отчета, со всех сторон слышались возгласы.

Громче всех раздавались голоса Петрова-Курского и Городова.

— Неправда, неправда, вы подтасовали счета! — слышались крики.

— Это оскорбление личности! — старался перекричать Шмель, читавший отчеты.

— Вашей рукой счета переправлены. Какой вы экономя! — раздался громкий голос Городова.

— Вам самому хочется в экономы попасть, по этой причине я и не гожусь, — отпарировал Борис Александрович.

— Не ваше дело, чего я хочу, но во всяком случае брать жалованье с общества не стану, — наступал на него тот.

— Я и не беру. Неправда. Не беру.

— Господа, господа, потише, замолчите! — вступился Бежецкий.

— Не хочу я молчать. Вы, конечно, будете за него заступаться. Куда годны такие распорядители? — горячился Михаил Николаевич.

— Перестаньте, Городов! — перебил его Владимир Николаевич.

— Не делайте скандала, Городов! Зачем скандал? — увещевал его Бабочкин. — Не живет покойно! — добавил он как бы про себя.

— Господа, что же вы молчите! Наши деньги летят, а все молчат! воскликнул Городов.

— Вы оскорбляете, — начал было Шмель.

— Не оскорблять, а выгнать вас за это надо! — крикнул Михаил Николаевич.

— Выгнать, выгнать! — слышались сначала робкие голоса, а потом они стали все смелее и громче.

— Вот скандал! — захлебывался с восторгом Вывих. — Что завтра я напишу, что напишу!

— Вон, вон! — слышалось несколько голосов.

— Да, вон, нам воров не надо! Баллотировать.

— Баллотировать, баллотировать! — подхватили голоса.

— Пойдите, пойдите, господа! Вы меня этим оскорбляете, — заявил Владимир Николаевич.

— Господа, не оскорбляйте его недоверием. Это нехорошо! — заявила Щепетович, сидевшая около Бежецкого.

— Так не молчать же всем из-за того, что вы оскорбляетесь, возразила громко Крюковская, окинув ее злым взглядом, — дело важнее вас.

Бежецкий с ненавистью посмотрел на нее.

— Правда! Правда, Надежда Александровна! — закричал Сергей Сергеевич.

— Мы верных отчетов требуем, — вступился Городов.

— И вы обязаны их дать, — в упор сказала

Владимиру Николаевичу Крюковская.

— Имеем на то право! — высказался Чадилкин.

— Юридическое право, — подтвердил Михаил Николаевич.

— Имеем право, имеем право! — слышались крики.

— Конечно, имеете, и требуйте, господа! — обратилась к собранию Надежда Александровна.

— Требуем! Требуем! — раздались крики.

— Вам что до других за дело? Не мешайтесь в историю, — прошипел сквозь зубы, обращаясь к ней Владимир Николаевич.

— Я о деле говорю, — каким-то неестественным голосом крикнула она, оно мне дороже всего. Напрасно думаете, что я уж и на это права не имею и разум настолько потеряла, что и об искусстве забыла. Оно для меня выше всего и, конечно, выше ваших личных интересов.

— Да, дело выше личностей! — подтвердил Сергей Сергеевич.

— А у нас о нем не думают. Я один только думаю, — кричал Городов.

— Да никто не думает и даже те, кто управляет. Это для общества постыдно, господа! — крикнула снова Крюковская.

— Надо это изменить, господа! — заявил вышедший вперед Исаак Соломонович. — Общественное благосостояние выше всего, и требует...

Он не успел договорить, как его перебила Лариса Алексеевна.

— Исаак Соломонович! На пару слов.

Они отошли в сторону и стали разговаривать вполголоса.

— Да, господа, пора нам опомниться наконец. Что делаем, мы деятели деятели «общества поощрения искусств»? Что мы поощряем?

Надежда Александровна указала головой в ту сторону, куда отошли Коган и Щепетович.

— Кого на сцену принимаем? Зачем собираемся сюда? Неужели затем, чтобы в карты играть, пить у буфета и беспечно и весело прожигать жизнь? А о главной цели — об искусстве, вспоминать, как о мираже. Надо проснуться, мы ходя спим, все спим.

— Общественное благосостояние требует

ет, — снова заговорил Коган, оставив Ларису Алексеевну, — требует...

— Чтобы во главе стоял человек, занимающийся делом, — подсказывал ему Чадилкин.

— Да, делом, исключительно делом! — подтвердил Петров-Курский.

— Что, господа, долго разговаривать, баллотировать этот вопрос и все тут.

— Баллотировать, баллотировать! — подхватили почти все хором.

— Господа, прошу слова, прошу слова! — силился их перекричать Бежецкий.

Все постепенно смолкли.

— Несмотря на все мое желание быть полезным обществу, я вижу, что при настоящем положении дел, при таких беспорядках и при том, как ко мне относятся, я ничего сделать не могу и если общество желает меня оскорблять недоверием, сам попрошу уволить меня от ведения дел и звания председателя, или подчиниться моему умению и опытности. При таких условиях я могу управлять.

Он вызывающе посмотрел на собрание вообще, а на Крюковскую с особенностями.

Когда он кончил, со всех сторон слышались

лись крики:

— Bravo, bravo! Пора, давно пора уйти!..

Владимир Николаевич был поражен.

— Что это значит, господа? Bravo и пора уйти. Я не понимаю... растерянно начал он.

— А то, что вам пора уйти, — громко в упор кинула ему Надежда Александровна.

— Пора уйти. Пора! — раздались подтверждающие крики.

— Он не понимает, так растолкуйте ему... — со смехом кричали одни.

— Не хотим Бежецкого председателем! Что церемониться! — вопили другие.

— Это значит, что общество по обсуждению ваших поступков желает выбрать другого председателя, — выделился из толпы и важно произнес Коган.

— Что я вам говорила. Не слушали добрых советов, до чего довели, за дело! Доигрались, чем кончилось! — подошла и вполголоса начала говорить Бежецкому Крюковская.

— Оставьте меня!.. — он с ненавистью посмотрел на нее.

Кругом все еще продолжали шуметь.

— Если это так, — громко, после некоторой

паузы, начал он, — то мне действительно остается только поблагодарить за оказанную мне в прошлом честь и отказаться. Я ясно вижу, что против меня велась интрига — сильная интрига. Я оклеветан и твердо убежден, что впоследствии общество оценит мои заслуги и раскается в своем поступке против меня, но тогда уже будет поздно...

Голос, в котором слышались злобные ноты, дрогнул.

— Я не приму этой чести, — продолжал он. — Засим, мне остается только раскланяться, взять шляпу и уйти... и я уйду...

Он гордо выпрямился.

— Лариса Андреевна, вашу руку, я вас ввел, я и уведу, — обратился он к Щепетович.

— Извините — насмешливо отстранилась она от него, — я обещала поужинать с Исааком Соломоновичем.

Он не сказал ей ни слова, снова раскланялся перед собранием и медленной, гордой походкой вышел.

За ним с быстротой кошки, схватив портфель под мышку, выскочил из залы Шмель.

— На отказ нарвались! И тут отказ! —

нервно расхохоталась Крюковская, указывая головой на Щепетович медленно проходившему мимо нее Бежецкому.

— С богом, счастливый путь! — раздались ему вслед насмешливые крики.

— Скатертью дорога! Мы и без них справимся, — хохотал Городов.

— Давно было это пора! — вторил ему Петров-Курский.

— Догадался, как проигрался! — покатывался со смеха Чадилкин.

— Уж начали издеваться! — презрительно оглядел толпу Бабочкин.

— Господа, теперь сведя счеты с прошлым, нужно подумать о настоящем, — возбужденным, ненатуральным голосом начала Надежда Александровна. — Надо забыть все, что было, и приняться за новое. Искусство должно быть у нас на первом плане, нашей единственной целью! Мы должны отрешиться от наших личных интересов и желаний, работая для общего дела. Для этой цели все надо принести в жертву. Что теперь делать? Кого выбирать? — вот вопросы.

— Надо просить занять пост председателя

господина Величковского. Я тогда материально поддержу общество... Поддержу! — с важностью заявил Исаак Соломонович.

— Величковского! Величковского! — закричали почти все.

Он был избран единогласно.

После долгих отговорок, совещаний со своей племянницей, он согласился.

— А мне опять не удалось попасть, а хлопотал, ну все равно — хотя бы в экономы, — проворчал сквозь зубы Городов.

Общее собрание кончилось.

Все перешли в буфетные залы, обступили Величковского и непрерывно приносили ему поздравления, жали руку.

— Теперь мы, знаете, поставим мою пьесу? — заискивающим голосом говорил ему Сергей Сергеевич.

— Неправда, прежде мой дебют в Адриене Лекуврер, — заявляла Дудкина, отстраняя Курского от Ивана Владимировича.

— Прежде всего надо перестроить сцену! — подступил к нему Чадилкин.

— Нет, до переделки поставим мою пьесу. Да еще, Иван Владимирович, могу я надеяться

быть экономом? — подошел Городов.

— Господин Величковский, господин Величковский, у меня на нынешний год контракт есть — я служу, — пиццала Щепетович.

— Да, Иван Владимирович, Лариса Алексеевна служит, — подтвердил Коган. — Пожалуйста, не забудьте, завтра вы у меня обедаете. У меня вина недавно из заграницы присланы. Мой погреб стоит...

Его перебил Вывих:

— Я завтра привезу вам мою статью прочесть о вашем выборе. В котором часу прикажете?

Появилось, по требованию Когана и других, шампанское.

Начались тосты.

Надежда Александровна стояла все время как окаменелая, но вдруг встрепенулась. Она взяла с подноса лакея бокал шампанского.

— Пожелаем Ивану Владимировичу серьезно и хорошо поставить наше дорогое дело. Пусть наш общий, единодушный выбор его председателем послужит прочным звеном к успеху дела и его процветанию. Пью за дело, господа!

Она выпила залпом бокал, но вдруг зашаталась и упала в страшном истерическом припадке.

Нервы ее не выдержали.

XIV

Раскаяние

На другой день Надежда Александровна Крюковская, проснувшись довольно рано и с тяжелой головой, стала смутно перебирать в своей памяти происшествия вчерашнего вечера.

Она занимала уютную квартирку на Николаевской улице, ее спальня и будуар, отделанный розовым ситцем, ее небольшая зала, уютная гостиная и маленькая столовая представляли, каждая отдельно взятая, изящную игрушку.

Впрочем, в описываемое нами утро в глазах самой хозяйки вся эта веселенькая квартирка казалась тоскливой и мрачной. Происходило ли это от серого раннего петербургского утра, глядевшего в окна, или же от настроений самой Надежды Александровны — неизвестно.

— Что я сделала, что я сделала, — мысленно

но говорила она сама себе, одеваясь, — отомстить ли хотела и отомстила, или же за дело стояла и отстояла?

Она к своему ужасу должна была сознаться, что главным стимулом ее вчерашних поступков на общем собрании была месть оскорбленной женщины.

— Я погубила его и из-за чего? Из-за личного мелкого чувства ревности. Громкие фразы мои вчера об искусстве, об общем деле — были красивым домино, которым я задрапировала свое грязное, дырявое платье, свои низкие себялюбивые побуждения.

Она почувствовала к себе почти ненависть.

Наряду с этим перед ней возникал образ любимого человека, опозоренного, одинокого, всеми покинутого, без средств, без места. А она, она чувствовала, что любила его до сих пор, любила теперь еще более, после того, как была почти единственной виновницей, главной причиной, что его вчера забросали грязью. Она сознавала, что имела влияние в «обществе», и не перейди она вчера так открыто, с такой страстью на сторону его врагов неиз-

вестно, какие были бы результаты общего собрания.

— Я его погубила, я его и спасу... — уверенно воскликнула она. — Я ему напишу; вызову сюда. Поеду сегодня же ко всем. Напишу также Дюшар она имеет влияние на Когана. Вдвоем они сила... Все поправим.

— А если он не приедет? — задала она себе вопрос. — Не может быть, я напишу, что я больна. Он сжалится! А здесь, здесь, я вымолю у него прощение... я подчинюсь всецело его воле, я буду отныне для него переносить все, все прощать, на сколько хватит сил. Без него я жить не могу, я теперь поняла, поняла ясно, я люблю его, люблю безумно.

Она схватилась обеими руками за голову.

— Боже мой, что с моей бедной головой! Но она должна быть свежа для него, и будет.

Она сделала над собой невероятное усилие и почти спокойно села к письменному столу писать письма.

Окончив работу, она позвонила.

В будуар вошла Дудкина.

— Вы звонили, Надежда Александровна, и уж встали? А я думала, вы Почиваете после

вчерашнего-то. Ну слава Богу, что не больны! Уж я за вас так боялась, так боялась, несколько раз ночью приходила. Ведь как вас вчера на истерике-то трясло. Вы дама нервная, нежная — точь-в-точь, как я.

— Вы, Анфиса Львовна, расположены ко мне?

— Да что это вы спрашиваете? Вы моя благодетельница, у себя приютили, место доставили, сына на казенный счет определили, да расположена ли я?

— Не то, не то, — перебила Крюковская, — а вот что. Если вы меня любите, хотите успокоить, возьмите это письмо, поезжайте с ним к Владимиру Николаевичу, отдайте и скажите, что я очень больна, и непременно, слышите, непременно настаите, чтобы он с вами ко мне приехал. Вы сумеете это сделать, если захотите. Но, пожалуй, если будет отказываться, сотрите ему что-нибудь, — добавила она после некоторого раздумья, отдавая письмо.

— Хорошо, моя родная, хорошо. Совру. Эх, кабы в прежнее время, уж наврала бы я с три короба, а теперь все у меня что-то нескладно выходит. Не умею обворожить, — вздохнула

Лариса Львовна.

— Да это все равно, умеете ли вы оборотить, или нет! Поскорее только. Пойдите. Вот что еще. Передайте и это письмо.

Она отдала ей и другое.

— Что это смотрю я, голубочек мой, как вы себя беспокоите. Нисколько свою красоту не жалеете и не бережете. Я вот не так делала. Разве эти кавалеры стоят, чтобы из-за них себя мучить. С вашей-то красотой вы всегда себе протекцию найдете, да еще какую. Плюнули бы вы, право. Не такого еще красавчика подхватим, бриллиантами осыплет. Ах, какие у меня были бриллианты — по ореху! — патетически закончила Дудкина.

— Ах, что мне за дело до ваших красавцев, бриллиантов и орехов, — со страданием в голосе воскликнула Крюковская, — не надо мне их! Поезжайте лучше скорей, да заезжайте и по этому адресу, отдайте это письмо и попросите ответа. Это не Сергиевской улице; фамилия Дюшар. Там швейцару отдадите.

Надежда Александровна встала и нервно заходила по комнате.

— Поезжайте же, пожалуйста, скорее! —

повторила она, видя, что Дудкина не трогается с места.

— Не подождать ли часок? Очень рано, все спят еще, может быть; а через часочек я и отправлюсь, кстати, я напудрюсь и папильотки успею развить, — заговорила последняя.

— Ах, что мне за дело до ваших папильоток! — крикнула Крюковская. Чего ждать, совсем не рано. Не могу я ждать. Какая вы, право, мямля! Досадно даже. Поезжайте, или я пошлю горничную.

— Да еду, уже еду, голубчик вы мой, — направилась Анфиса Львовна быстрыми шагами к двери, — знаю ваше нетерпение — сама испытала.

Надежда Александровна молча продолжала ходить по будуару.

— Я надену вашу шубку — интереснее будет, — остановилась Дудкина в дверях, — моя-то плоха. Ах, голубчик, какую раз мне шубу один кавалер подарил!

— Надевайте все, что хотите, — нетерпеливо топнула ногой Крюковская, — только поезжайте, Анфиса Львовна, скорее, а то дома, пожалуй, не застанете.

— Еду, еду, радость моя.

Дудкина поспешно скрылась.

— Боже мой, как она порой нестерпима со своими воспоминаниями! Сумеет ли она уговорить Володю? — думала Надежда Александровна.

В передней раздался голос.

— Это еще кто?

Она вышла в гостиную.

— Наталья Петровна Лососинина, — положила вошедшая горничная.

— Наташа! — воскликнула Крюковская. — Проси, проси.

Она выскочила в залу.

Туда же входила высокая, полная, но стройная темная шатенка с выразительным красивым лицом, хотя и носившим отпечаток далеко не регулярной жизни, но этот отпечаток придавал еще большую прелесть томному взгляду глубоких прекрасных глаз, окруженных красноречивой бледной синевой.

Ей было не более двадцати пяти лет.

Наталья Петровна Лососинина была женой одного знаменитого провинциального

актера-комика, обладавшего громадным талантом, но страшного пьяницы; сначала она ездила с ним по провинции, где сошлась и подружилась с Крюковской, но уже несколько лет, как рассталась с мужем.

Подруги расцеловались, и хозяйка увлекла приехавшую в гостиную.

— Садись, пожалуйста, Наташа. Какими судьбами сюда, к нам. Я тебе ужасно рада! — суетилась Крюковская, усаживая гостью.

— Какими судьбами? — отвечала та, садясь рядом с хозяйкой на диван. Я из газет узнала, что ты здесь. Нынче утром, как приехала, послала из гостиницы узнать твой адрес, и вот... у тебя... Рассказывай, как поживаешь.

Лососинина сняла шляпу и перчатки.

— Как поживаю? — вздохнула Надежда Александровна. — После расскажу. Расскажи ты лучше, откуда ты и как жила?

— Откуда и как жила? Постой, я начну сначала. Мы, кажется, расстались с тобой, когда мой пьяница супруг меня бросил на произвол судьбы в гостинице с ребенком и долгом на шее. Да?

— Да. Что ты тогда сделала?

— Что я сделала? — рассмеялась Наталья Петровна. — Конечно, переехала к тому господину, который заплатил за меня долг, это было, кажется, в Оренбурге. Перезабыла даже.

Она снова захохотала.

— Да, в Оренбурге.

— У него я долго не оставалась. С полгода только прожила. Он со своей женой сошелся, а я уехала в Одессу. Надо было ребенка чем-нибудь кормить. У меня буквально копейки не было. Работы достать было трудно, да я не умела и не привыкла работать. Тут попался мне один интендант, порастрясли мы с ним солдатские пайки, но он, увы! скоро попался в эту историю последней войны, под суд угодил и в Сибирь сослан. На смену ему явился один богатый жид Эллин — он мне отлично отделил квартиру, жила я с год роскошно, потом опротивело так, что я его бросила, забрала только свои бриллианты и удрала с ребенком в Киев, ничего ему не сказавши.

Крюковская, казалось, внимательно слушала, но думала совсем о другом.

— Он, говорят, — засмеялась Лососинина, — хотел на меня в суд жаловаться, но я

ему такое письмо написала, что он струсил и успокоился. В Киеве за мной ухаживал один армянин, жила я там отлично, мебель и обстановка только одной квартиры стоила двадцать пять тысяч рублей, да на беду мою...

Наталья Петровна вздохнула и остановилась.

— Я там встретила с одним греком, — начала она снова, но медленней, — и... влюбилась.

Она захохотала.

— Врезалась так, что просто беда. Он же, к несчастью, был беден. Я армяшку побоку, все распродала и переехала в Харьков. Там мы с моим греком прожили все, что у меня было, пошли ссоры, неприятности, денег нет... Ах, тяжело вспоминать бедность! Самой стирать приходилось... Я все переносила, ну а он, конечно, от меня удрал и я осталась опять как рак на мели, весело закончила она.

— Что же дальше?

— Дальше. Несмотря на все несчастья, нам с сыном кушать каждый день хотелось. Что с тех пор пережила, и рассказывать не стану. Часом было с квасом, а порой с водой. Вот ви-

дишь — показала она на свою ногу и засмеялась — шелковые чулки, у меня три дюжины таких. Мне подарили. Серьги, шляпы, браслеты, зонтики — все даровое. Платье тоже подарили, а никто никогда не подумал о том, обедали ли я и мой ребенок, а не обедать часто случалось. Кареты, ложи, ужины, шампанское, а никто никогда не спросил, есть ли у меня рубль на завтра, чтобы ребенка накормить, да и сама я об этом никогда не заботилась и не знала, что мы будем завтра есть. Так и жили. Теперь хочется устроиться на сцену, да и молодость уходит, хочу попробовать свои сценические способности.

— Бедная ты моя, бедная, как же мне тебе это устроить? — задумалась Крюковская.

— Там Аким от Владимира Николаевича пришел... — доложила вошедшая горничная.

— Аким! — встrepенулась Надежда Александровна и бросилась на кухню. Прости, я сейчас, — сказала она на ходу Лососининой.

Та проводила ее удивленным взглядом.

— Аким, ты какими судьбами? Барии прислал? Письмо есть? — подбежала Надежда Александровна к сидящему на кухне Акиму.

— Нет, барышня, я не от барина. Сами по себе пришли. Нас с барином ведь порешили, значит, чего же мне с ним путаться, у барина все нарушено, так надо подумать самому о себе. Тоже питаться хотим. На Владимира Николаевича надежда таперича плохая. Так вот я примчал к вам попросить, не найдется ли мне, по знакомству, местечко у нового председателя, потому мы это дело знаем, и место прибыльное. Уже будьте милосердны.

Аким несколько раз низко поклонился ей.

«Даже лакей бросил! Все разом отшатнулись!» — с горечью подумала она.

— Вот что, Аким, — начала она вслух, — ты ступай назад к Владимиру Николаевичу и за себя не бойся, я о тебе позабочусь, только барину хорошо служи и угождай...

— Да как же таперича задаром-то угождать? — с недоумением уставился он на нее.

— Не задаром... Владимир Николаевич еще, может, останется. Ты подожди уходить.

— Так подождать, говорите, — недоверчиво покачал он головой, — а как новый председатель себе другого возьмет, тогда мы пропади. Марья мне задаст, что прозевал.

— Ты успокой свою Марью, скажи, что я обещала, и иди к Владимиру Николаевичу, служи, только исправно...

— Загадки, право!.. Дарма мы не прошмыгать... Сумнительно...

— Уж если я сказала, не сомневайся... А здоров ли барин?

— Да что, ничего! Приехал это вчерась, страсть! Понеси всех святых вон, и тут Шмеля еще принесла нелегкая. Так так-то ругались, что у меня душа в пятки ушла. Думаю: погибли мы совсем, а потом, как наругались вдоволь, то отошли сердцем. Значит, потишали. Шмель ушел, я им подал ужинать, ну, подумали и стали тут кушать, а потом писать сели, я это, подождал, подождал, да сон меня склонил, а они знать так и не раздевались, потому меня не позвали. Утром встал, все тихо, дверь в спальню заперта, я и умчал к вам. Думаю, пока спят-то, сбегая. А то, чай, гроза-грозой поднимется...

Аким засмеялся и остановился.

— А что осмелюсь я вас, Надежда Александровна, спросить, — после некоторой паузы снова начал он, — вы говорите подождать,

нешто нас за правду порешили или поживем?

— Поживете, поживете, иди, говорю тебе, иди... — отвечала Крюковская и вышла из кухни.

Аким, покачивая головой и простившись с прислугой, отправился домой.

Не успела Надежда Александровна возвратиться к Лососининой, как в передней снова послышался звонок и через несколько минут в дверях гостиной появилась Анфиса Львовна в сопровождении Бежецкого. Последний шел сзади и был сосредоточенно-серьезен.

Крюковская побледнела как полотно.

Дудкина бросилась здороваться с Натальей Петровной, ее старой знакомой по провинции.

— Вы меня звали, Надежда Александровна, — приблизился Владимир Николаевич, подавая руку и удивленно кланяясь Лососининой. — Мне Анфиса Львовна сказала, что вы в постели, и что она боится за вашу жизнь. Я удивлен, что вижу вас на ногах и не ожидал встретить у вас гостей.

На его губах играла холодная насмешка.

— Ах, да что же мы стоим, я и не попрошу садиться, — растерянно начала она, не глядя ему в глаза. — Ах, да! И не познакомила вас.

Она представила Бежецкого Лососининой.

— Моя старинная подруга, — рекомендовала она ее ему.

— Очень рад познакомиться, — с чувством пожал он руку Наталье Петровне.

— Вот, Надежда Александровна, — затараторила Дудкина, — все ваши поручения аккуратно исполнила, дорогой гость уже здесь, а та барыня, за которой вы посылали, сама меня принимала в гостиную. Я вхожу в бархатной-то шубке совсем барыней, все лакеи на меня смотрят и рассыпаются, потому что вид у меня уважения достойный. Кто калоши снимает, кто платок, кто шубку, так все и бросились. Думают, первое лицо в городе приехало, а я это так неглиже, гордо вхожу, вижу, что они на меня смотрят, сбросила шубку и послала доложить. Попросили меня сейчас же в гостиную.

Анфиса Львовна вздохнула.

— И вспомнила я, какая у меня была гостиная. Она сама ко мне вышла и, прочитавши

письмо, велела вам передать, что сейчас сама у вас будет.

— Как, сама ко мне приедет? — вскочила с места Крюковская.

— Да, так и сказала, просила только, чтобы никого у вас не было...

— Наташа, голубушка, извини, пройди в столовую... Нам нужно переговорить... Анфиса Львовна, дайте, пожалуйста, Наташе кофе...

— Сейчас, извольте с удовольствием и сама, кстати, напьюсь, очень я люблю кофе.

Дудкина с Лососининой удалились.

Бежецкий и Крюковская остались вдвоем.

XV

Неисправимый

— Скажите, что все это значит? — сдержанно-холодно начал он. — Я очень удивлен, после того, что произошло вчера, нашему свиданию, Надежда Александровна, и вашей мнимой болезни.

В голосе его прозвучала насмешка.

— Нам теперь некогда, Владимир Николаевич, — порывисто отвечала она, — долго разговаривать и рассуждать. После поговорим. Теперь я должна вам скорее объяснить, что

сейчас сюда приедет мадам Дюшар.

Владимир Николаевич даже вскочил с места.

— Это не должно вас застать врасплох: приготовьтесь и скажите, что мне надо говорить... — продолжала она.

— Мадам Дюшар? У вас? Что все это значит? Я, я здесь при ней, зачем?.. — уставился он на нее.

Она смутилась.

— Я, я... Да что долго говорить... Я так не могу... Я не помню сама, что вчера делала. Надо все исправить.

— Не поздно ли спохватились, Надежда Александровна? — с горечью спросил он.

— Нет, не поздно! Все можно исправить при поддержке мадам Дюшар, и я все исправлю. Не ожидала я, что она ко мне поедет, и это добрый знак. Значит, можно будет надеяться все переменить.

— Да что переменить-то? Оскорбив человека, надругавшись вдоволь над его самолюбием — и справлять. Странно что-то! — горько улыбнулся он.

— Нет, не странно. Вы сами во всем про-

шлом виноваты, зачем мало делом занимались, за что меня оскорбили? — пылко заметила она.

— Ну, об этом не будем говорить, — перебил он ее. — Почему и зачем? Случилось так, и не я виноват, и теперь не вернешь. Вы позвали меня затем, чтобы упрекать, не так ли? — снова с горечью добавил он.

— Не упрекать я вас позвала, а поправить беду — вспыхнула она.

— Сами же напортили, да поправлять. Не верю я вам. Вы мне главное зло нанесли.

Слезы брызнули у нее из глаз.

— Не, не сердитесь на меня... Я виновата... Простите мне... Вы не знаете, что я вынесла за эти дни. Какую ужасную борьбу сама с собой, измучилась душой. Простите!

Она зарыдала.

Он стоял посреди комнаты, смотрел на нее и молчал.

— Прости меня, — продолжала она, прерывая слова рыданиями, — если бы ты знал, как я тебя любила, если бы ты мог понять, чем ты был для меня... Я точно в угаре ходила... Мечь... тоже упоение и опьянение... точно не

я все это делала... Не помню ничего. Я больна, нравственно больна... Пожалей хоть меня... Я страшно страдала. Ты, Бог тебя знает, что делал, а я все видела, знала, молчала и одна со своими мыслями обезумела... В душу-то закралось, что не дай Бог тебе испытать.

Она упала ничком на диван, на котором сидела, и зарыдала еще сильнее.

— Прости меня, если я, не помня себя, тебе вредила... Пожалей, пожалей меня...

— Опомнитесь, Надежда Александровна, — заговорил он, наконец, строгим тоном, подходя к ней, — не делайте еще большего скандала. Сейчас к вам приедет Нина Николаевна, а вы на что похожи...

Она опомнилась.

— Ах да! Я и забыла.

Она вскочила с дивана, хотела подойти к зеркалу, но зашаталась и не подхвати ее Бжецкий — упала бы на пол. Он бережно положил ее снова на диван.

Она была без чувств.

— Надя! Надя! Опомнись! Что с тобой, Надя! Боже мой, никогда с ней этого не бывало!

Он приподнимал ее с дивана, тряс за пле-

чи, но она не приходила в себя.

— Опомнись, милая, поцелуй меня.

Он целовал ее в закрытые губы.

Ах, я проклятый!..

— Прости мне... Забудь... Забудь... — прошептала она, приходя в чувство.

— Я не сержусь на тебя... — поцеловал он ее. — Успокойся только, ради Бога. Я виноват тоже, сам виноват.

Он сел с ней рядом.

Она бросилась к нему на шею и снова зарыдала.

— Я люблю тебя еще больше жизни, больше всего на свете. Не могу жить без тебя...

— Ну, теперь и не расстанемся никогда. О прошлом поминать не будем. Оба мы делали глупости... Ну, успокойся...

Он гладил ее по голове.

Она плакала и смеялась одновременно.

— Ты любишь меня? Скажи, не разлюбил?..

— Я и сам не знаю, Надя! — задумчиво ответил он. — Иногда кажется, что очень люблю, а иногда, Бог знает, что со мною делается. Не хочу тебе лгать. Точно вдруг ненависть какая-то явится, а потом опять кажется, что

люблю. Ты знаешь, я никогда не могу сам за себя отвечать. Сам себя иной раз не понимаю. Не могу с собой совладать. Одно только — не лгу никогда, а если увлекаюсь, то увлекаюсь искренне. Вот теперь кажется, что опять сильно, сильно тебя люблю и скажу опять по-прежнему: дорогая, ненаглядная моя...

Очень крепко поцеловал ее.

— Я виновата перед тобою, первый раз в жизни виновата, но это не повторится более, я дала себе слово не стеснять твою свободу. Буду довольствоваться тем, что есть. Не буду требовать того, что ты не можешь дать. Ты уже много до меня жил, а у меня ты первая привязанность. Оттого я тебя и сильнее люблю. Счастлива тем, что опять с тобой. Все перенесу, как обещала прежде, помнишь в первый раз, и так же буду счастлива, только нужно все устроить, чтобы ты был опять покоен.

Она восторженно глядела на него.

— Кажется, что это невозможно! — печально проговорил он.

— Нет, возможно! — Невозможного ничего нет, если сумеешь сделать, а я люблю и сумею. Уж я придумала, не мешай только мне.

Сейчас придет Дюшар, я скажу, что ты просил ее сюда приехать.

— Нет!.. Этого нельзя... — быстро возразил он. — Сюда... к тебе... Я просил... Да что ты! Разве ловко мне?

— Да, сюда, ко мне и ловко. К тебе неловко, а ко мне в дом — это приличнее.

— Ну, и что же дальше?

— А то, что она все сделает...

Она улыбнулась.

— Она к тебе равнодушна, — продолжала она. — Не отпирайся... Я знаю... Мне нельзя сказать, что я, любя тебя, прошу — она тогда ничего не сделает, а ты скажешь, что для приличия только пригласил ее сюда с моего разрешения... Все будет сделано... Я оставлю вас вдвоем, и вы переговорите...

— Какая ты хитрая.

— Будешь хитрая, когда вся жизнь на волоске. Теперь я счастлива, счастлива... опять с тобой...

Она обняла его и поцеловала долгим поцелуем.

— Однако ты поправься, нехорошо, ты растрепана...

Она подошла к зеркалу и быстро привела в порядок свою прическу.

— Вот я и готова, — весело сказала она.

На лице ее не было никакого следа волнения.

— Быстрая перемена! — улыбнулся он.

— Такая же быстрая перемена должна теперь совершиться и с тобой и не для меня, а для тебя самого, для твоего же счастья это необходимо. Делом, делом надо заниматься, дорогой мой! Все от этого зависит. Изменишься, и общество к тебе иначе отнесется. Ты послушай, что я буду говорить тебе...

— Опять меня исправлять, — шутя заметил он.

— Нет, избави меня Бог от этого. Я наверное знаю, что тогда бы ты меня окончательно разлюбил, именно за это и очень скоро. Я буду говорить только о тебе, ради твоего счастья. Ты должен понять одно, что любя, я не могу смотреть хладнокровно на твое нравственное падение. Для тебя хочу, чтобы тебя уважали, и не в силах выдерживать двусмысленных улыбок на твой счет. Я тебя люблю... Люблю со всеми твоими недостатками, поро-

ками, таким, каков ты есть. Но другие должны уважать тебя, если ты хочешь ими управлять. Я хочу, чтобы уважали и преклонялись перед тобой, моим богом, моей слабостью... Если же это божество... эта слабость... оказываются безнравственны и низки... Что же я после этого, я, боготворящая тебя... Я должна тогда забыть честь и совесть и поступать во вред делу... От этого-то у меня такая ненависть и проснулась к тебе вчера. Я хочу любить в тебе мое лучшее «я», высшее существо против меня и окружающих нас людей, а вчера, какое было унижение! Где то обаяние и сила, которые меня преклонили и поработили перед тобой?

— Но пойми, что этой силы нет, — нетерпеливо перебил он ее восторженный бред.

— Неправда, она есть, — вскричала она с еще большим увлечением. Есть она. Ты только не хочешь отвыкнуть от дурных привычек. Ты такой способный, умный и добрый. Душа у тебя отличная, отзывчивая, я помню, сколько раз при мне ты помогал бедным. Если бы ты захотел только, то мог бы встать во главе какого угодно общества, не только у

нас. А ты возишься Бог тебя знает с какой дрянью. Например, Шмель. Вчера ведь уличили его, что он подчищает отчеты. Конечно — так нельзя.

Она подошла к нему и взяла его обеими руками за голову.

— Ну, смотри на меня, ведь я любя тебя говорю... Неужели нельзя заняться делом серьезно, без легкомыслия... Вспомни, как мы сошлись с тобой, что говорили, на что надеялись! Как мы могли бы быть счастливы! Ведь у нее одна идея, одно общее дело, будем работать вместе в одну сторону. Если опять выберут, надо бросить прошлое легкомыслие, глядеть на жизнь серьезнее и тогда ты увидишь, что больше этого не случится, все будут уважать, любить тебя, как я люблю...

Он смотрел на нее, но уже скучающим взглядом.

Она этого не заметила.

В передней послышался звонок.

— Вот верно и она... — сказала Надежда Александровна, быстро отскочила от него и поправясь еще раз у зеркала, пошла в залу на встречу приехавшей Дюшар.

Это приехала она и входила уже в залу под густой черной вуалью.

XVI У актрисы

— Bonjoir, madame, — подала Нина Николаевна руку Крюковской, вошла в гостиную по ее приглашению и откинула вуаль.

— Ах! Вы, монсеньор, здесь? — увидела она Бежецкого. — Я думала, что я буду одна. Я так просила.

Владимир Николаевич молча поздоровался с нею.

Надежда Александровна не дала ему времени заговорить и усадила гостью.

— Я вам за Владимира Николаевича отвечу, — начала она с принужденным смехом, — вы, Нина Николаевна, вероятно, знаете, что случилось вчера. В «обществе» вышел скандал из-за Шмеля. Владимир Николаевич просил меня пригласить вас сюда приехать, боясь лишних разговоров, чтобы не сделать этим вам неудовольствие. Вы простите меня, если я осмелилась исполнить эту просьбу Владимира Николаевича и попросила вас сю-

да. Он так был расстроен, что я решилась, по дружбе к нему, исполнить его просьбу, даже не будучи с вами знакома. Вопрос в том, что вчера все «общество» ополчилось на Владимира Николаевича и во главе его Коган.

— Я вчера же это слышала и жалела очень, что не знала раньше. Тогда-то можно было это предупредить. Может быть, ничего бы и не случилось, — с расстановкой проговорила Нина Николаевна. — Но мне ужасно странно, что я у вас по поводу этого, — с улыбкой добавила она.

— Я всегда слышала о вас, — перебила ее Надежда Александровна, — как об очень развитой и гуманной женщине, и Владимир Николаевич также всегда говорил о вас с восторгом.

Дюшар потупилась.

— И еще говорил... Я скажу все, Владимир Николаевич? — обратилась к нему Крюковская.

Тот покорно склонил голову.

— Говорил, что он считает за честь, что вы к нему всегда так дружески были расположены, что и теперь, он убежден, не откажетесь

помочь ему подавить интригу Когана и Величковского. Он этого, скажу как член общества и актриса, вполне заслуживает.

— Если только я могу что-нибудь сделать, то сделаю с удовольствием, жеманно ответила Нина Николаевна, — я всегда ценила заслуги Владимира Николаевича перед «обществом» — вот откуда наше хорошее знакомство, надеюсь, мадам, что это останется между нами.

— О! Вы в этом можете быть уверены вполне, Нина Николаевна... Если Владимир Николаевич доверил мне, то, вероятно, убежден, что отсюда это никогда не выйдет. Я многим обязана ему, а потому очень рада ему услужить, но перейдем к делу. Нужно взять господина Когана за бока, и это сделать можете только вы, Нина Николаевна. Он член в вашем благотворительном Обществе и, как я знаю, очень этим гордится и дорожит. Недавно я с ним каталась, — смеясь прибавила она, — он мне хвастался, что через вас и ваше общество получит скоро отличие и будет настоящим кавалером. Если что можно сделать для Владимира Николаевича, то через него. А

затем вы меня извините, Нина Николаевна, ко мне неожиданно сейчас приехала одна моя старинная приятельница, которую я давно не видала, и мне нужно кое о чем распорядиться... Я распоряджусь и сейчас же вернусь. Pardon, — встала Крюковская...

— Ах! Пожалуйста, не стесняйтесь, только прошу вас, чтобы ваша приятельница на знала, что я здесь. Пожалуйста, чтобы это не разнеслось...

Надежда Александровна ушла.

— Как мне странно, — презрительно огляделась Дюшар, — я здесь... я... у актрисы. Но это, мой дорогой, только для вас. Надеюсь, нас никто здесь не подслушивает? — обратилась она к Бежецкому.

— Никто!.. Мерсі, что приехали сюда... — взял он ее руку и поцеловал. — Вы этим доказали, что действительно я могу относиться к вам, как у другу. У меня большая неприятность, un grand desagrément. Я просто не знаю, что делать? Помогите мне как-нибудь побороть моих врагов. Я только на вас и могу надеяться. У меня нет другой поддержки.

— Так только это нужно... Давно бы сказа-

ли... С этим народом я скоро справлюсь. Во-первых, если Коган ваш враг, так завтра же может быть вашим другом, — засмеялась она. — Он у меня теперь в руках... *Entre nous soit dit*, от меня зависит представить его к тому украшению, которого он с таким нетерпением жаждет.

Она сделала жест около шеи.

— Я председательница общества, стоит мне ему только слово сказать, и он все что угодно сделает. Я сейчас же за ним пошлю, он сам будет ездить к вам просить и устраивать, но...

Она остановилась и пристально посмотрела на него.

— Что это значит, что вы здесь у этой... мадам Крюковской, у актрисы... *Fi donc!* Это не наше общество. Я ужасно боюсь, — добавила она, понижая голос и оглядываясь, — она разболтает, будет хвастать, что я к ней приезжала, так неприятно, *si desagreable!*

— Нет, *quelle idee*, об этом не беспокойтесь, — поспешил уверить он ее. — Я боялся вас к себе просить, тотчас после вчерашней истории. И к вам тоже ехать — скорее бы раз-

неслось. Вы будьте покойны, отсюда не выйдет *c'est plus convenable...* Я понимаю вашу жертву и ценю. Вы для меня сюда приехали. С вашей стороны, это в самом деле подвиг. *Merci* за это... *merci*.

Он с нежной улыбкой крепко поцеловал ее руку.

Она поцеловала его в лоб и встала.

— Я теперь уеду, неловко долго оставаться. Когана к вам пришлю сегодня же *et je lui ferais une petite reprimande*, все Бог даст, устроится, как было. Вы завтра вечером ко мне приезжайте кушать чай как ни в чем не бывало. *Au revoir!* — подала она ему руку, которую он поцеловал, я вас жду завтра. *Je serais seule a la maison*.

Она лукаво улыбнулась.

— Кланяйтесь мадам Крюковской! Пожалуйста, только, чтобы никто не знал, что я здесь была.

Владимир Николаевич проводил ее до передней.

— Уехала? — спросила его Надежда Александровна, когда он возвратился в гостиную.

Она была в шляпе, перчатках и с муфтой.

Он утвердительно кивнул головой.

— И обещала сделать все под мой диктант? — рассмеялась она.

— Уехала и все обещала.

— Теперь ты понял, что я сделала? — положила она ему руки на плечи.

— Понял, — поцеловал он ее руку поверх перчатки, — и плут же ты! Сама напортила, сама же и устраивает...

— Да, сама расстроила, сама и устрою. Не могу против тебя чувствовать себя виноватой. Но ты понимаешь, какие это люди? Куда ветер подует. Пешки, неспособные сами думать и передвигаться. Разве можно делать какое-нибудь дело с такими людьми. Все у них основано на личном расчете. Умей только поймать их за этот конец — води на поводе, куда угодно и верти ими, как пешками. И это общество! Разве могут они быть способны создать что-нибудь прочное и полезное? Не доросли еще до этого и долго не дорастут. Божек им нужен, игрушка красивая. Из-за этого они себя продадут, свою совесть, все... Можно ли от них чего-нибудь ждать хорошего?.. Жить-то с ними и то не стоит. Так вот уж... с тобой я

связалась и распутаться не могу, а то бросить только стоит... Ну, а теперь прощай.

— Ты куда едешь?

— В «общество» вертеть других дураков, а то на эту одну аристократическую белиберду положиться тоже нельзя. Там теперь идет репетиция. Поеду бунтовать актеров, и скоро ты опять будешь блеснуть и сиять прежним ореолом славы и величия...

Она с хохотом поцеловала его.

— Вертит людьми, — захохотал и он, — и ей же еще это не нравится, издевается над нами, весело, что другие под ее дудку пляшут. Самовластная женщина!

— Весело!.. Нет, друг, не весело, — злобно засмеялась она. — А то меня злит, бесит, что такие куклы могут иметь влияние на серьезные дела и имеют, да еще думают, что способны на что-то! Туда же, развитой, интеллигентной женщиной себя считает. Благодарница рода человеческого!

— Сама заставляет ее мне помогать и сама ругает, что ее послушались. Ревнивица ты, больше ничего, — со смехом заметил он.

— Да ругаю, потому что это унижает чело-

века, а вовсе не ревную. Однако мне пора. Прощай.

— Да и я с тобой. Мне только проститься с Натальей Петровной.

Последняя на зов Крюковской вошла в залу.

Бежецкий крепко, с чувством, пожал ее руку и ощутил ответное пожатие.

Это не ускользнуло от Надежды Александровны.

XVII Подруга

Прошло около недели.

Надежда Александровна провела все эти дни в непрерывных хлопотах! Она интриговала, просила, убеждала, подзадоривала.

Дело вторичного избрания Бежецкого — цель предпринятой ею работы было, что называется, на мази.

Но чего только не наслышалась она о любимом человеке за это время в ответ на ее ходатайства за него.

При ней не стеснялись, так как она делала вид, что хлопочет не за него, а за дело.

Разбитая и нравственно, и физически, возвращалась она обыкновенно к себе.

— Так неужели он вор? — вспоминала она, оставшись наедине сама с собой, слышанные ею разговоры. Все говорили! В ушах точно звон идет! Вся кровь у меня прилила к лицу... Обидно... Унизительно... Эта история с дочерью подрядчика... Разорвал векселя, а ее не принял. Да ведь не мог же он принять! Не успел, а не украл — старалась она найти оправдание своему кумиру.

— Я их убеждала в том, что не украл, что он не вор, и, кажется, убедила, — продолжала она соображать, — но как было тяжело лгать. Убеждать в том, во что сама перестаешь верить — это пытка! Пообещала каждому лакомый кусочек! Подкупила всех — каждого его личным интересом! Я-то убедила их, они поверили... а я... изверилась и разубедилась в конец.

К такому угнетенному нравственному состоянию Крюковской присоединилось еще вскоре, не ускользнувшее от ее наблюдения, новое увлечение Владимира Николаевича Натальей Петровной Лососининой, бывавшей у

нее почти ежедневно.

Она заметила даже, что они, не стесняясь, назначают в ее отсутствие свидания в ее квартире. Она, раз возвратившись домой, застала их tete-a-tete.

Ее подруга, видимо, благосклонно принимала эти ухаживания, надеясь, при возвращении Бежецкому его прежнего положения, о чем, как она знала все хлопотали, пробраться при его помощи на сцену «общества поощрения искусств».

Надежде Александровне при этом открытии стало положительно гадко.

В озлоблении на него, она вновь вспомнила слышанные о нем пересуды.

— Неужели он мог быть вором? Человеком, которому я принадлежала. После этого, что же чистого, не загрязненного могло остаться во мне?

Она содрогнулась.

«А я люблю его... все еще люблю, — принялась она за анализ своего чувства. — Не могу изменить себе, своему чувству. Я не его, а свое чувство к нему люблю теперь. С этим и умру. Говорят, в этом видна честная женщина! Нет,

это падение... глубокое падение! Я низко упала и не встану. И все мы одинаковы, и честно любить не можем, и ненавидеть честно не умеем. Лучше умереть, чем так жить, — решила она. — Мне теперь более ничего не осталось. Мне его не переделать и самой переделаться нельзя. Я слишком много любила его, отдавала этому чувству все мои силы. Больше сил во мне не найдется для другого такого же чувства. Я не сумею еще так любить. Да и зачем любить? Кого? Себе изменить надо, полюбив другого, или влачить, как все, гнусное существование, отдаваясь не любя».

Она снова содрогнулась всем телом.

— Нет, я этого не могу, — вскрикнула она. — Слишком скверно идти по общему пути, меняя поклонников, осквернять себя. А молода ведь я... жить хочется. Без личного счастья не проживешь. Нет, лучше умру... спасу его и умру, если он не изменится и не даст мне за все, что я перенесла за него, этого счастья. И его погублю... но погублю совсем.

На этом решении она успокоилась.

Владимир Николаевич на самом деле се-

ррезно увлекся Лососининой. Ее вызывающая красота, ее полные неги манеры, не могли не произвести впечатления на искусившегося в жизни ловеласа, которому, как и всем ему подобным, нравится в женщинах не натура — она уже давно приелась — а искусство. Этого же искусства было в Наталье Петровне — опытной куртизанке, — что называется, хоть отбавляй.

Не мудрено, что успокоенный Дюшар и явившимся к нему в тот же день по ее обещанию Коганом, рассыпавшимся перед ним в любезностях и сочувствии, и зная, что Крюковская имеет большое влияние в «обществе», и если взялась, то сделает дело, Бежецкий, уверенный в лучшей будущности, увлекся встреченной им обаятельной женщиной, как он называл Наталью Петровну, ни на минуту не задумываясь о том, какое впечатление произведет это его увлечение на Надежду Александровну — женщину, положившую за него всю свою душу.

Такова была натура этого современного мотылька.

В одном лишь ошиблась Крюковская — это

в том, что они заведомо назначали свидания у нее в квартире. Свидания эти начались и продолжались совершенно случайно. Лососинина первые дни ежедневно приезжала к своей подруге и, не заставая ее дома, беседовала с Дудкиной, а Владимир Николаевич приезжал справиться о положении дел в «обществе».

Таким образом они и встречались.

— Надежды Александровны нет дома, да все равно посидите; я сейчас прикажу вам подать кофе, — встретила его Дудкина, через несколько дней после посещения Нины Николаевны, когда он приехал к Крюковской узнать от нее о результатах ее хлопот в «обществе».

— Вот Наталья Петровна, — указала она на вошедшую в гостиную Лососинину, — займет нашего дорогого гостя...

Увидав снова Лососинину, Бежецкий не устоял и остался.

— Вы такая красавица! — продолжала ораторствовать Дудкина. — Вам легко занять кавалера. Вот в прежнее время я бы вам этой чести не уступила: хоть десять человек будь ка-

валеров — всех одна, бывало, займу. Ух, какие были у меня протекции, а теперь уж форсу и авантажу того во мне нет.

Анфиса Львовна вышла.

— Коми какой эта Дудкина!.. Всегда таких вещей наговорит, что сконфузит даже! — заметила Наталья Петровна, усаживаясь на диван.

— А вы часто конфужитесь? Это очень мило в женщине! — подсел он к ней.

— Только нахальные женщины не конфужатся, а я не нахальна и притом нахальство в женщине не изящно...

— Я очень хорошо вижу, что вы во всем изящны...

— Как это вы могли так скоро заметить и в чем это?

— Начиная с вашего костюма, — оглядел он ее с головы до ног восторженным взглядом. — Но я, впрочем, не хочу затрагивать вашу скромность. Скажешь — опять сконфузишь, хотя к вам очень идет, когда вы конфужитесь...

Он засмеялся.

— О вы, кажется, человек, который не по-

лезет за словом в карман, когда захочет сказать комплимент женщине, — кокетливо улыбнулась она. — Вы и не говоря, умеете сконфузить...

— Однако вы бедовая барыня, с вами надо держать ухо остро... Умете быстро читать между строк...

— Что же тут дурного. Живя одна, по неволе привыкнешь различать, что и в каком тоне говорится и как кто относится.

— Ну, разве я неправду сказал, что вы бедовая! — продолжал смеяться он. — Только в данную минуту на мой счет вы ошиблись, я не хотел вам говорить комплиментов, а просто высказал вслух произведенное вами на меня впечатление. Мне кажется, что в моей откровенности для вас ничего не было обидного, а, напротив...

— Во-первых, — перебила она его, — я никогда ни на кого не обижаюсь, а во-вторых, знаю себе цену сама.

— Должно быть, барыня, вас в жизни баловали-таки порядком? расхохотался он.

— Ах, нет, меня жизнь не баловала! Вероятно, мы с вами бы здесь не встретились, ес-

ли бы это было так... — задумчиво ответила она.

— Я не смею быть нескромным и спросить, что вас привело сюда, но желал бы узнать, почему если бы вам жилось хорошо, вы бы не поехали сюда? Надежда Александровна, кажется, ваша подруга и вам очень рада.

— Я приехала сюда места искать на сцене. Надя — здесь всеми любимая актриса и может мне помочь...

— Жаль, что вы не приехали несколько ранее.

— Почему?

Он коротко передал ей свою историю и свои надежды на возвращение своего положения.

— Прежде я считал бы за честь это вам устроить и надеюсь, что вы тогда бы благосклоннее на меня посмотрели. Да и теперь, если все уладится, как я предполагаю, я и все мое влияние будут к вашим услугам.

Она поблагодарила его улыбкой.

— Я не знаю, отчего вы подумали о моей неблагосклонности к вам...

— Если этого нет, то я очень счастлив, что

ошибся. Я бы во всяком случае постарался добиться этой благосклонности...

В это время в гостиную влетела Дудкина.

— Я вам, Владимир Николаевич, приготовила кофе своими собственными руками. Надеюсь, что вам будет вкусно и приятно. Сюда прикажете подать или в столовую пожалуйста, там теплее и уютнее для интимных разговоров. Вот уголок, так бы с кем-нибудь вдвоем и сидел бы. Очень поэтично.

— Слышите, что говорит Анфиса Львовна? В столовой уютнее и теплее... Пойдемте туда, авось вы там не будете такая холодная, — встал Владимир Николаевич.

— Мне все равно где сидеть, и я везде одинаковая, — поднялась с дивана Лососинина.

Они отправились в столовую и принялись за кофе.

Анфиса Львовна все продолжала увиваться около Бежецкого и всячески угождала ему. Видимо, у ней вертелась на губах какая-то просьба.

— Осмелюсь я вас попросить, Владимир Николаевич! — наконец начала она. — У вас такая добрая душа и уж такой вы мне благо-

детель. Окажите благодеяние до конца. Вы здешний житель, значит, знаете всех, а я здесь совсем одинокая женщина и никого не знаю. Вы изволили тогда по доброте вашей меня на службу принять, а Надежда Александровна мне платьев надавала, но все-таки у меня гардероб очень плох и из-за этого мне нельзя хорошие роли играть. Не знаете ли вы такого человека, который дал бы мне взаймы на экипировку. Я бы из жалованья стала выплачивать. Мне просто крайность...

— Вот, Анфиса Львовна, я могу вам предложить сто рублей. Это небольшая сумма, но в данную минуту я не могу вам больше одолжить, — он вынул из бумажника радужную и подал ей.

— Какой вы добрый и хороший человек! — воскликнула Лососинина.

Дудкина взяла деньги и бросилась целовать его в щеку и в плечо.

— Благодарю!

— Что вы, что вы, — отстранял он ее, — полноте! Это обязанность каждого человека по возможности помогать другому. Великодушным нужно быть, — обратился он уже к

Лососининой, — чтобы и другие к нам были великодушны. Великодушие — вещь великая. Не так ли, Наталья Петровна?

— Вы меня этим поступком просто обворожили! Это так редко встречается! — подала она ему руку.

— А вы уж меня прежде обворожили, — крепко и долго поцеловал он ее руку. — Я как заколдованный — от того и добр. Ваша вина. Женщина очаровательный двигатель добрых сил в человеке.

Дудкина незаметно исчезла из столовой.

Этот-то tete-a-tete и застала Крюковская.

Она побледнела.

— Что в вами, Надежда Александровна? — спросил ее Владимир Николаевич, пока она холодно поздоровалась с ним и Лососининой, — вы бледная, нехорошая такая. Верно, ничего не удалось в «обществе»?

— Успокойтесь, — презрительным тоном ответила она. — Все удалось, и даже так, как я не ожидала.

— Удалось, значит — будем жить! — весело воскликнул он. — Отлично заживем. Мерсі, мерсі, вам, дорогая моя!

Он бросился к ней, схватил ее руку и поднес к губам, чтобы поцеловать ее.

Она вырвала ее.

— Зачем эти нежности? Не надо. Я и так сделаю. Обещала, так и сделаю. И вы можете быть счастливы и довольны.

В голосе ее звучало полное презрение.

— Коли в этом вы находите счастье... — помолчав, тем же тоном добавила она.

XVIII

Кто в лес, кто по дрова

В «обществе поощрения искусств» происходил между тем ужасный беспорядок.

Величковский оказался никуда негодным администратором.

Все лезли распорядиться и дело, как ребенок у семи нянек, по русской пословице, оказалось без глазу.

Интрига, проводимая все эти дни Крюковской, возымела свое действие: все были недовольны новыми порядками.

— Помилуйте, Иван Владимирович, я хоть только экономайстер и не смею вмешиваться в ваши распоряжения как председателя, но все-таки скажу, что так нельзя. Как же можно

ставить пьесу безграмотного автора, ведь в ней смысла человеческого нет. Поневоле публика освистала ее, — говорил Городов Величковскому через несколько дней по его избранию, ходя с ним по пустой сцене.

— По правде сказать, я не успел ее прочесть. Дела, знаете, много и на репетиции ни на одной не был, все по делам общества хлопотал. Туда поедешь, сюда, ну и некогда. Ведь актеры сами пьесу предложили, думаю, значит, хороша, а как свистать стали, так заливались, что я даже убежал.

— Мало ли что актеры предлагают? Вот автор теперь жалуется на них, что они семь раз за его счет ужинали, а ему это сто рублей стоило, прошла же пьеса один раз и они же сами отказались дальше в ней играть. Он их бранит на чем свет стоит, говорит, что они нарочно ее провалили, а с него ужины брали.

— Это он напрасно актеров винит. Не актеры, а пьеса виновата. Уж очень плоха. Я, когда слушал ее, сам ничего не понял, думаю, что за дичь, и Marie тоже сказала: что за бестолковщина!

— Так вот вы сами посудите, — засмеялся

Городов, — если вы не поняли, так как же публике понять, а она ведь, бедная, деньги платит, думает в театре хорошее впечатление получить. Еще, например, ставят новую картину в древнем русском вкусе, а читает в ней стихи актриса в пышном бальном платье. Это уже совсем нехорошо. Потом Курский пьянее вина был.

— Так он с именин, — развел руками Величковский, — что же делать? Это еще не велика беда! Вот вчера я был на него очень зол: на целый час к спектаклю опоздал, не знаю, что и делать, где его сыскать, а публика кричит и шумит.

— Как же вы его не оштрафуете?

— Как оштрафовать? Он говорит: оштрафуйте, а я больным на неделю скажусь. Вот тут и делай, что хочешь. Оштрафовать нельзя — он необходимый артист, без него сбора не бывает. Вот теперь жду ответа от Щепетович. Не знаю, возьмет ли роль? Если она не возьмет, то не знаю, что и делать. Некому дать. Хоть пьесу не давай. А что с ней станешь делать? — она по контракту обязана играть только три раза в неделю, в четвертый раз не

захочет, ну и баста! Принудить не могу. Ведь не могу, Marie?

— Конечно, не можете, дядя! — подтвердила племянница Ивана Владимировича, находившаяся, как и всегда, около него.

— Это оттого, что вы им мирволите, — заметил Михаил Николаевич.

— Нет, батюшка, я не мирволю, а они, что я ни прикажу, все надо мной смеются да хихикают.

— Очень хихикают, даже, не стесняясь, при мне... — подтвердила Marie.

— Как же не смеяться, когда вы такие странные распоряжения делаете. Вдруг публичке запрещаете аплодировать, ну они и обозлились.

— Я думал, больше в театре порядка будет.

— Потом, как же можно спрашивать у актеров, кто сочинил «Разбойников»? Кто же не знает, что Шиллер?

— Я забыл, да и не обязан знать — это не наша, не русская пьеса.

— Что это, Иван Владимирович, какие вы мне роли присылаете? Я вам не пешка. Не приму эту роль. В ней ни одного выигрышно-

го места! — влетела на сцену Щепетович.

— Так что же я-то должен делать, Лариса Алексеевна? Это необходимо, иначе спектакль не состоится! — растерянно забормотал Величковский.

— Что мне за дело до вашего спектакля?

— Лариса Алексеевна, ведь вы служите, деньги получаете, так как же вам до спектакля нет дела. Если вас общество наняло, так для того, чтобы вы были полезны делу, а вы хотите играть только выигрышные роли, — заметил ей Городов.

— К чему вы-то вмешиваетесь? Не ваше вовсе это дело, — обрезала она его.

— Я вам сказал за Ивана Владимировича, как член общества.

— Что же у председателя своего голоса что ли нет? — расхохотался Вывих, приехавший вместе со Щепетович. — Это прелестно.

— Я с господином Городовым согласен! — поспешил заявить Величковский.

— А какое вы имеете право, — наступал на него Вывих, — требовать от актрисы того, к чему она не обязана. Я видел контракт Ларисы Алексеевны. Она должна играть только

три раза в неделю, а вы в четвертый требуете это незаконно. Я завтра же напишу, какие у вас распоряжения, — требуете того, на что не имеете никакого права. Вы бы прочли контракт-то.

— Мерсі, мерсі m-г Вывих, что вы за меня вступились, а то меня здесь притесняют и ролей хороших не дают. Только и играй все без щелчка.

— Так ведь я не виноват, Лариса Алексеевна, что вы публике не нравитесь! — рассеянно ответил Иван Владимирович.

— Что? Вы вздумали еще меня оскорблять? — напустилась на него Щепетович. — Вот вас Вывих продернет за это в газетах. Продернет.

— И продерну... — подтвердил Марк Иванович.

К ним подошли вновь прибывшие Петров-Курский и Бабочкин.

Увидав первого, Вывих быстро отошел.

— Здравствуйте, господа, я заехал узнать, будет у нас завтра репетиция или же не состоится, как и нынешняя. Потрудитесь мне сказать, Иван Владимирович, я тороплюсь в го-

сти, — первый заговорил Курский.

— Я, право, еще и сам не знаю, какая завтра пьеса пойдет. Вы не уезжайте — нужны здесь.

— Какое мне дело, что я нужен. Я не нанимался торчать у вас целый день в театре.

— Поедем, брат, нас там ждут, там поросенок заливной на закуску приготовлен, — торопил его Бабочкин.

— Да погодите, господа, надо еще нам решить, какую пьесу поставить, удерживал их Иван Владимирович.

— Что нам решать, нам какое дело? Я вам говорил — составьте комитет. Тогда мы сами и будем решать, а вы не хотели. Теперь сами и возитесь, отвечал Сергей Сергеевич.

— Вот вздумалось еще — комитет! Поедем лучше! — ужаснулся Михаил Васильевич.

— Что же я сделаю, если Лариса Алексеевна играть не хочет, погодите уезжать, — умолял Величковский.

— Этакая неурядица. Как распоряжаются! — воскликнул Курский.

— Так я что ли виноват? Всегда меня винят, — жалобно протестовал Иван Владими-

рович.

— Чтобы вас не винили, составьте комитет. Дело пойдет лучше. Курский правду говорит. Они хотят этого и дайте им... — посоветовал Городов.

— Право уж, и не знаю! — снова развел руками Величковский. Здравствуйте, Анфиса Львовна, — обратился он к только что приехавшей Дудкиной, здоровавшейся во всеми. — Скоро ли приедет Надежда Александровна? Надо сказать ей, что на завтра пьеса не состоится — надо переменить.

— Как переменить? — вспылила Дудкина. — А я для нее платье сшила. Зачем же меня в расходы ввели? Я играть не буду, пока не обновлю платья. А Надежда Александровна не совсем здорова и едва ли сегодня приедет.

— Так что же это, господа! — воскликнул в отчаянии Величковский. Тот «не хочу», другой «не хочу». Я не знаю, что мне и делать.

— Кто же виноват, если вы распорядиться не умеете. То и делать, что мы хотим. Составьте комитет, и все пойдет как по маслу, — заявил Сергей Сергеевич.

— К чему нововведения? Зачем еще? —

проворчал Бабочкин.

— Конечно, комитет нужно непременно, — поддержал Курского Городов.

— Вот комитет — это другое дело. Мы все будем довольны! — решила Щепетович.

— Ах ты Господи! Ну, делайте, как хотите, лишь бы дело шло, — махнул рукой Иван Владимирович.

— Так комитет... Комитет... Отлично! — раздались возгласы.

— Моими распоряжениями не довольны, теперь распоряжайтесь сами, только порешите, Бога ради, на чем-нибудь. Я не знаю, какую пьесу ставить! — сквозь слезы проговорил Величковский.

Решено было спектакль на завтра отменить и вечером созвать комитет.

Все разъехались довольные.

XIX

Скандал

На другой день, к восьми часам вечера в одну из зал «общества поощрения искусств» собрались все актеры и актрисы и открывали первое заседание комитета, в руки которого, как нам известно, Величковский передал

свою власть.

Не было только Крюковской.

— Ну, слава Богу, дождались наконец-то. Сами гораздо лучше справимся, — начал Петров-Курский. — Садитесь, господа!

Все уселись за стол, покрытый зеленым сукном.

— Мы такую пьесу поставим, что прелесть! Вот что я думаю: поставим мы первый раз «Расточителя», — продолжал он.

— Сбору не даст! — отрезал Бабочкин.

— Конечно, два с полтиной будет. Вы лучше поставьте «Каширскую старину», — вмешалась Щепетович.

— В самом деле, поставьте, я отлично Марьицу сыграю! — вставила Дудкина.

— Это моя роль. Какая же вы Марьица? — накинулась на нее Лариса Алексеевна.

— Вы хотите все роли только себе забрать! — огрызнулась Анфиса Львовна.

— Неправда, не потому, но вы для драмы устарели.

— Как я устарела? Я, по крайней мере, опытная актриса, а вам только кокоток играть. Разве вы на что-нибудь другое годитесь?

— Что? — вскочила с места Щепетович. — Да что же это такое, господа? Меня оскорбляют, а вы молчите, — обратилась она ко всем.

— Перестаньте, барыни! — вступился Бабочкин и даже встал. — Садитесь, Лариса Алексеевна. Ну, садитесь же!

Она села.

Бабочкин тоже сел.

— Я вас помирю. Не надо совсем «Каширскую старину». Другое что-нибудь выберем. Не ссорьтесь только. По моему мнению, «Гамлета» надо поставить.

— Ты только все для себя хлопчешь, чтобы тебе поорать где было! усмехнулся Курский.

— Я, брат, артист старой школы, люблю пьесы, где не только поиграть, а создать роль надо, а вы, нынешние, — не артисты, а ремесленники, возразил ему Михаил Васильевич.

— Гамлет, конечно, и сбор даст. Я Офелию буду играть — согласилась Щепетович.

— Ну, а я играть в этой пьесе не буду, — вскочил Сергей Сергеевич.

— Так ведь тогда некому играть будет, так как и вчера у дяди, наивно заметила оторо-

певшая Marie. — Как же быть? Вы, господа, пожалуйста, сладьтесь между собой.

— Ставьте для меня «Расточителя», — уселся снова Курский, — тогда я стану играть, а иначе брошу вас и уеду в провинцию. Вот и все тут. Посмотрим, как вы без меня обойдетесь.

— Нельзя же все только для вас одного ставить, а нам вам подыгрывать. Мы тоже не будем, — отвечала ему Лариса Алексеевна.

— И я не буду. Я прежде всегда была первая, для меня всегда пьесы ставились, — вскочила Анфиса Львовна, затем села повернувшись спиной к столу.

— Вы, Анфиса Львовна, играйте или не играйте — это как угодно, а задом к столу и ко всем садиться невежливо, — басом заметил ей Бабочкин.

— Как вы смеете мне делать замечания! Вы невежа! Я всегда умела себя держать и в большом мужском обществе, и все меня находили деликатной и великолепной. А вы меня учить — не оборачиваясь, сказала Дудкина.

— Да как же, когда вы нам спину показываете. Разве это вежливо?

— А что вы мне прикажете, лицом к вам перевертываться? — повернулась она на стуле. — Скажите, какие претензии!

— Лицом, не лицом, но все же. Так как же, господа, с пьесой? Надо что-нибудь ставить. Вот разве подождать Надежду Александровну — она придет, так ее спросим.

— Почему это мы должны спрашиваться у госпожи Крюковской, — обиделась Лариса Алексеевна. — Скажите, пожалуйста, какое начальство. Я желаю сама решать.

— Да она мне сказала, что если мы составим комитет, то она ходить не будет, а тем более вмешиваться в дела. Говорит, что это одна кукольная комедия, — выпалила Дудкина.

— Как вы смеете позволять себе передавать нам, — сцепилась с ней снова Лариса Алексеевна, — что госпожа Крюковская нас куклами считает. Это дерзость.

— Ничуть не дерзость, — заметил Бабочкин, — потому что по-старому лучше было.

— Ты, Бабочкин, все за свои старые, отжившие порядки стоишь! съязвил Сергей Сергеевич.

— Потому покойнее было — меньше неуря-

дицы.

— Зачем же ты с нами в комитете заседаешь? Сиди себе дома да точи веретена, если нравится, а нам не мешай.

— Как не мешай? Вы мной будете командовать да распоряжаться, а я дома сиди и молчи. Шалите! Прежде я начальству подчинялась, а своему брату подчиняться не хочу.

— Господа, господа, перестаньте, надо пьесу выбрать! — слышались голоса.

— Поставьте «Как поживешь, так и прослывешь» — я много раз Маргариту играла, — сказала Анфиса Львовна.

— Да что вы, Анфиса Львовна! Маргарита в чахотке умирает, а какая же вы чахоточная? — запротестовал Курский.

— Вы мне ходу не даете. Это все только интриги одни, боитесь, что меня вызывать больше, чем вас будут, — сквозь слезы произнесла она.

— Как интрига! Разве вы смеее товарищей в таких вещах обвинять, напустился на нее Сергей Сергеевич. — Кто виноват, что вы состарились и растолстели, да видно и из ума выжили.

Щепетович громко расхохоталась.

— Меня оскорбляют, на что это похоже? Какие позволяют себе говорить даме пошлости! Вы на моих крестинах не были, чтобы мои года считать, а до моей полноты вам дела нет, — со злобными рыданиями кричала Анфиса Львовна.

Лариса Алексеевна продолжала неудержимо хохотать.

Дудкина с презрением уставилась на нее.

— Конечно, я дама видная, не селедка какая-нибудь, как другие, подчеркнула она.

Щепетович так быстро вскочила со стула, что задела Курского по лицу.

— Это вы на мой счет? Я, по-вашему, похожа на селедку? Если я селедка, так вы кочан капусты!

— Я, я кочан! — взвизгнула Дудкина.

— А вы что толкаетесь и не извиняетесь, разве это прилично. Не умеете держать себя в обществе! — старался перекрычать последнюю Сергей Сергеевич, обращаясь к Щепетович.

— Да что это наконец, господа! — вступился Бабочкин.

— И всегда скажу, что вы и на женщину-то не похожи! — не унималась Анфиса Львовна.

— Ну, конечно, вы только одна женщина... — вышел из себя Михаил Васильевич.

— Вы с какой стати вмешиваетесь? Она вам с какого бока припека? напустилась на него Дудкина.

— Пожалуйста, Бабочкин, отделайте эту госпожу хорошенько, вступитесь за меня, а то она зазналась слишком! — подзадоривала его Щепетович.

— За вас никому не следует вступаться, когда вы сами делаете невежества и не извиняетесь! — продолжал наступать на нее Курский.

В это время в залу, никем не замеченный, проскользнул Вывих.

— Я знаю, почему вы ко мне придираетесь... Не удалось... — язвительно заметила Курскому Лариса Алексеевна.

— Что не удалось? Что вы этим хотите сказать? Говорите, говорите... вспылil Сергей Сергеевич.

— А то, что вы за мной ухаживали...

— Вот что открывается. Какие пошлости про себя сообщают! — всплеснула руками

Дудкина.

— Как вы смели про меня это сказать? Я человек женатый, на всякую не брошусь! — крикнул Курский. — Разве в пьяном виде, так кто же виноват, что вы с нами напиваетесь...

— Хорош комитет! — фыркнул на всю залу Вывих.

— Вам что здесь угодно? Здесь комитет, и вам не место, ваше дело только подслушивать да в газетах разглашать. Потрудитесь выйти вон, подлетел к нему Сергей Сергеевич.

— Здесь общая зала, я член общества, а потому имею полное право остаться, — уселся Марк Иванович к столу. — Притом и интересно — есть действительно, что сообщить в газеты.

— Ну, брат, — расхохотался басом Михаил Васильевич — задаст тебе завтра жена баню!..

— Если только вы осмелитесь сообщить, что сейчас здесь происходило, я вам голову размозжу, сплетник газетный! — вышел из себя Курский.

— Что? — вскочил Вывих. — Что вы сказали? Повторите, повторите!

Марк Иванович все подступал ближе к Курскому.

— Не только не повторяю и еще прибавлю, что вы лгун газетный. Пишете о том, чего не было...

— Я лгун, а вы нахал. Погодите у меня... Погодите... Не так запоете...

— Я нахал?.. Да как ты смел это сказать, бездельник!

— Как ты смеешь меня, негодяй...

Вывих не успел договорить, как Курский дал ему здоровенную пощечину.

— Так вот же тебе и негодяй...

Марк Иванович схватил стул и бросился с ним на Курского, но был удержан Бабочкиным и другими.

Скандал вышел полный. На шум вбежали игравшие в карты члены и гости «общества».

Так окончилось первое и последнее заседание вновь испеченного комитета.

Наличные члены общества обязали председателя Величковского созвать экстренное общее собрание для обсуждения положения дел и принятия каких-либо мер для восстановления порядка.

Такое собрание и было созвано через несколько дней.

XX Возвращение

Описанным в предыдущей главе скандалом воспользовались как нельзя лучше Крюковская, Дюшар и Коган для окончательной пропаганды среди членов общества мысли о возвращении Бежецкого.

Созванное общее собрание было очень бурное. С Величковским на нем повторилась почти та же история, что и с Владимиром Николаевичем на прошлом собрании. Его заставили отказаться от должности председателя и проводили из залы вместе с неразлучной с ним Marie свистками и насмешками.

По инициативе присутствовавших на собрании Крюковской, Дюшар и Когана решено было единогласно просить Бежецкого вновь принять избрание и стать во главе общества.

Избрали депутацию, которая с этой просьбой и поехала к нему на квартиру.

Во главе депутации отправился сам Исаак Соломонович.

Члены в ожидании прибытия их избран-

ных разбрелись по гостиным, буфетным и карточным залам.

— Что это я на вас погляжу, какая вы стали, Надежда Александровна? подсел Бабочкин к Крюковской, приютившейся в уголке гостиной. — Стоит разве что-нибудь на свете, чтобы худеть и себя мучить. Я догадывался, а теперь знаю кое-что. Мне Дудкина рассказала. По-моему, надо на все это наплевать. Легче живется.

— На все можно плевать, но не на внутреннюю свою жизнь, в раздумье, как бы про себя, сказала она.

— Эх, о чем заговорили. Я на это дело давно махнул рукой. Вот и видно, что в вас еще жизни много, силы молодые — вас и мучают они, а вы бы жили по-нашему, «доживали», лучше — не волнуешься.

— Что это значит «доживали»? — вопросительно поглядела она на него.

— А так «доживай», как живется, а от людей лучшего не желай и не проси. Что нам! Доживем время и ничего нам не нужно. Выпьешь и ляжешь спать, а после нас хоть весь мир перевернись — не нам в нем жить, что

лишнюю заботу на себя брать. Не принесешь пользы ни себе, ни людям. Пожалуй, еще после скажут: ерунды натворил. В хаос мыслей попадешь и еще жить тяжелее будет. А так доживай, водочку попивай, спи крепко, ешь сладко и гляди спокойно на мир Божий. Никто тебя не тронет! — грустно улыбнулся он. — Любите вы много других, себя больше любить надо. Душа у вас большая, широкая; сократить ее наполовину надо. Попробуйте, право...

Он дружески поглядел ей в глаза.

— Не могу я мириться ни с чем, — снова, как бы говоря сама себе, начала она, — я помню, как еще маленькая, живя в деревне у отца, раз убежала в лес и заблудилась на два дня. Тогда отец меня высек. Не помогло! Бывало только и хорошо мне, когда лето; бегаю на воле по полям, по лугам, порхаю свободно, как птичка, а зимой всегда больно-тяжело взаперти сидеть было. А как отец умер, я на сцену ушла. Если бы мать была жива, другое бы, может, дело было. На беду мою она меня ребенком сиротой еще оставила. Не помню ласки ее. Не испытала счастья. Всю жизнь

между чужими.

— Вы, голубка моя, не грустите, может, еще и счастливы будете, — взял он ее за руку. — Вот теперь Владимир Николаевич будет опять председателем, оба вы успокойтесь, обвенчаётесь, ссориться не будете и пойдет все по-прежнему.

— Не хочу так жить, — нервно вздрогнула она, — не хочу я прежнего. Мне лжи не надо и лучше совсем не жить, чем изменить себе, своей натуре. Лукавить не могу. Мне с правдой только легко дышится, а от лжи я задыхаюсь. Не могу я видеть равнодушно всего, что здесь делается.

Она сделала презрительный жест.

— Каждый хлопчет для себя, какое тут искусство! Высшие лгут, подличают. Низшие унижаются, и все вместе ссорятся из-за прав на теплые места и самолюбия, — говорят это общее дело. Разве может оно тут быть, они даже не понимают его. Забыли его задачи, делают, что кому выгодно. Разве это общее дело? Это исковерканная жизнь общей лжи, — не хватает во мне смелости среди этих людей, где на каждом шагу натыкаешься на челове-

ка, который готов тебя продать, предать и задушить, если это принесет ему пользу. До положения животных дошли в своем эгоизме. Так можно ли жить с ними по-человечески, а я иначе жить не могу. Нет, жить мне нельзя!

Последнюю фразу она почти крикнула с какой-то внутренней болью.

Он испуганно посмотрел на нее.

— Что вы это говорите?! Подумайте хорошенько, другое дело себе найдите, уезжайте отсюда.

— Ведь люди одинаковы, — с горечью сказала она. — Везде теперь одно и то же. Я к ним не подхожу, не ко времени. Столетием раньше родилась, чем бы мне следовало, или несколькими столетиями опоздала. Теперь я не гожусь. Глупа для жизни. Не понимаю ее. И не умею наполовину жить... Для меня, мой друг, один исход остается: уехать туда, где не нужно современного ума. И я уеду! — загадочно добавила она.

— Приехал, приехал, господа! Бежецкий здесь, приехал! — раздались вокруг них восклицания.

Все поспешили в залу. Крюковская и Ба-

бочкин, все продолжавший окидывать ее тревожным взглядом, пошли туда же.

Там уже стоял Владимир Николаевич, гордый, сияющий и довольный, окруженный раболепной толпой.

Возле него была Наталья Петровна Лососинина.

Оказалось, что депутация застала ее у него, и он приехал с ней вместе.

Увидав ее, Надежда Александровна дрогнула всем телом, точно кто сильно ударил ее. Вся кровь бросилась ей в лицо, потом она вдруг стала бледнее прежнего.

— Позвольте поблагодарить вас, господа, — говорил между тем Бежецкий, — за честь и доверие, которые вы мне оказали своим выбором и предложением занять опять тот пост, который я занимал столько лет. Доверие это настолько меня тронуло, что заставило забыть те недоразумения, которые, к моему большому сожалению, случились недавно между нами. И вы, и я хорошо понимаем, что мы не виноваты в них, так как они произошли вследствие неаккуратности Шмеля и вина его достаточно и заслуженно наказана

исключением из общества с воспрещением когда-либо посещать его. Я же, со своей стороны, извиняюсь перед вами за мою обидчивость и отказ служить обществу. Теперь с новым рвением, забыв все прошлое, я постараюсь оправдать ваше доверие ко мне и принимаю с удовольствием управление делами общества.

Он поклонился всем одним низким поклоном.

Все наперебой старались пожать его руку, выразить свое удовольствие по поводу его возвращения.

— Очень рад вас видеть, — крепко жал ему руку Городов, — я теперь здесь экономом и надеюсь угодить вам и увидеть, наконец, свою пьесу на здешней сцене.

— Какая унижительная картина! — с нескрываемым омерзением сказала почти вслух Крюковская. — Все прежде гнали, а теперь унижаются.

— Здравствуйте, Надежда Александровна, — подошел к ней Владимир Николаевич. — Что же это вы ко мне и не подошли, подумаешь, что не рады меня видеть здесь?

— А, пожалуй, что и не рада! — подала она ему свою дрожащую от волнения руку.

— Странно мне это, — пожал он плечами, — и не совсем любезно с вашей стороны...

— Извините! Но, по крайней мере, я думаю, что это лучше и искреннее всех других приветствий. Я прямой человек, Владимир Николаевич!

— Прямой, но непонятный, не совсем уживчивый и слишком переменчивый...

— Ну, в этом-то вы меня не можете упрекать, напротив, слишком постоянный... но надоедливый человек, как всякое напоминание совести! — в упор глядя ему в глаза, медленно, с расстановкой сказала она.

— Странно, — мрачно начал он, — вы хотите опять...

Он не договорил.

Его снова обступили с вопросами по делам общества.

— Позвольте, господа, позвольте, — зажал он уши. — Я сегодня здесь гость, а завтра займусь делами. Сегодня же мы будем только пировать.

Не дожидая

Дюшар и Коган не приняли приглашения Бежецкого на заказанный им роскошный ужин.

Первая просто ужаснулась даже при его приглашении.

— Quel horreur! С актрисами! Я и так большую жертву принесла для вас, что приехала сюда, и это только для вас, mon cher.

Она кокетливо улыбнулась.

Он проводил ее до швейцарской.

Исаак Соломонович объявил, что обещал ужинать со Щепетович, пригласить которую Владимир Николаевич не мог, так как она была в контрах с Лососининой — из-за Ларисы Алексеевны «пьяницы-мужа», как выражалась Наталья Петровна, что бросил ее в гостинице.

Ужин, таким образом, состоялся en petit comité. В нем приняли участие Лососинина, Дудкина, Крюковская, Городов, Бабочкин, Петров-Курский и Вывих.

Последних предварительно помирил у буфета Городов.

— Господа, так право нельзя быть в ссоре

двум членам одного и того же общества. Помириться, господа, все благополучно устроилось и вы должны помириться. Кисло-сладкий Величковский был виноват во всех беспорядках, и его уж нет — он поплатился за все. Вы люди одного и того же закала и направления, надо забыть, оба были виноваты. Вам, Вывих, вперед не писать о Курском, а вам, Курский, не драться с Вывихом.

— Да я что же... Я ничего... — говорил Вывих.

— Я, право, не хотел того, что случилось... Сам не помню, как это в раздражении у меня вышло, — показал Курский жестом, как дают пощечины.

— Ну, так вот выпьем вместе и помириться, — решил Михаил Николаевич.

— Я не прочь мириться, если он меня не будет ругать печатно... согласился Сергей Сергеевич.

— Я не буду ругать, но только и вы, пожалуйста, не того... сделал Вывих жест рукой, показывая, как бьют.

Враги выпили и расцеловались.

Ужин начался шумно и весело. Одна Крю-

ковская, холодно поздоровавшаяся с Лососиной и севшая на противоположном от нее конце стола, рядом с Бабочкиным, была сосредоточенно-печальна.

Наталья Петровна с тревогой поглядывала на нее.

Это не ускользнуло от внимания сидевшего с ней рядом и не спускавшего с нее глаз Бежецкого.

— Надежда Александровна не в духе. Вы не удивляйтесь. Я за последнее время привык ее видеть такой, — сказал он.

— Я не в духе? — пристально посмотрела на него Крюковская и деланно рассмеялась. — Напротив, очень в духе и готова много веселиться и смеяться. Но удивляюсь вам, зачем вам понадобилось замечать мое расположение духа. Вы от меня теперь получили уже все, что могли требовать, — с явной насмешкой в голосе добавила она. — Я больше ни на что вам не нужна, а также и мое расположение духа.

— Ну, об этом после поговорим, — нетерпеливо перебил он ее и отвернулся.

— Теперь мы проживем с вами, Наталья

Петровна, ух как поживем знатно! Ведь вы не уедете, можно будет служить? — обратился он к Лососининой.

— Погодите торопиться! Понравлюсь ли я публике? — улыбнулась та.

— Вы кому-нибудь не понравитесь! Не поверю — это невероятно. От вас все будут без ума, так же, как и я.

Он бросил взгляд в сторону Надежды Александровны.

— Вы всегда веселая, всегда в духе, — подчеркнул он. — С вами не видишь, как время летит.

Лососинина переменяла разговор, переводя его на недавнее примирение Вывиха и Курского.

— Отлично, — саркастически расхохоталась Крюковская, — подрались, помирились и оба довольны остались.

— Конечно, отлично: меньше неприятностей будет, да я это все по-старому поверну, лучше разве ссориться? — заметил Бежецкий.

— Какая ссора?.. Ссора ссоре рознь... — возразила она.

— Лучше совсем не ссориться, а жить в ла-

ду, не мешая друг другу и не стесняя. Это приятнее, веселее и свободнее... — наполнил он бокалы шампанским.

— Как для кого! Кто может, а кто и нет.

— Конечно, это зависит от характера, Надежда Александровна. Если у вас дурной, неуживчивый характер, то нельзя всех судить по себе.

— И вы можете это мне говорить? — нервно откинулась она на спинку стула.

— Не волнуйся, Надя, тебе вредно, — не на шутку перепугалась Лососинина. — Ведь Владимир Николаевич все шутит и шалит только.

— Ты всю жизнь шутила, — колко и зло ответила ей Крюковская, — ну и шути, а я шутить с собой никому не позволю. Шалить не умею и не желаю шутить.

— Я вас уважаю, Наталья Петровна, — сказал Владимир Николаевич, — за то, что вы умеете шутить — это доказывает ум, желал бы с вами всю жизнь прожить, прошутить и прошалить. Никогда бы не изменил вам и не бросил вас, как ненужную вещь.

Он несколько раз выразительно посмотрел

на Надежду Александровну.

— Ах, какой вы приятный шалун! — встала Дудкина.

— Что вы хотите этим сказать, Владимир Николаевич? — задыхающимся голосом начала Крюковская, поднимаясь вся дрожащая со своего места. Оскорбить тем, что сказать мне, что я глупа, — так это дерзость или издевательство надо мной и над нашим прошлым — так это может сделать только нечестный человек.

— Опомнитесь, Надежда Александровна, — вскочил он, — таких вещей порядочным людям не говорят. Я не понимаю ваших намеков о нашем прошлом.

— А я поняла, — горячо и порывисто продолжала она, — я вам сказала только, что вы нечестно со мной поступаете, как вы вскочили. Что же должна сделать я, над которой вы издеваетесь и ругаетесь.

Она в изнеможении опустилась на стул. Он тоже сел.

— Мне это, Надежда Александровна, наконец надоело. Я попрошу вас раз и навсегда мне никаких напоминаний не делать. Чест-

но, нечестно я с вами поступил — никого это не касается. Я не желаю быть судим никем! Я не виноват, что вы в запальчивости не умеете сдерживать ваших чувств и афишируете ими.

Она вздрогнула, но молчала.

— Господа, — обратился он ко всем, — кто мог понять, что я сказал что-нибудь на счет Надежды Александровны, а она, принимая мои слова на свой счет, делает вид, что будто бы между нами были какие-то отношения.

Она продолжала молча не спускать с него глаз. Присутствующие тоже молчали.

— Если бы даже это было так, то честный человек никогда этим на хвастается, — снова обратился он к ней. — Если же вы желаете сами делать в таких вещах публичные признания, так я не желаю себя срамить. наших отношений с вами, какие бы они там ни были, никто не знал, но после всего случившегося, конечно, как порядочный человек, я должен от вас удалиться, потому что у меня вовсе нет охоты быть публично оклеветанным в нечестных поступках. С этих пор я считаю и говорю это при всех: наши отношения и зна-

комство с вами закончены навсегда. Мне бы нужно было отсюда сейчас уйти, но на основании пословицы: «был молодцу не укор» я остаюсь. Мне не совестно настоящей нашей сцены: ведь с мужчины всякие любовные дела, как с гуся вода, если что и было, всякий скажет: шалость — больше ничего!

Он рассмеялся.

Надежда Александровна медленно встала со стула.

— Однако, господа, не будем прерывать нашего веселья, — снова заговорил он уже совершенно спокойным голосом. — Человек, шампанского!

— А я прерву! — задыхаясь от волнения, почти шепотом, произнесла она и, быстро обойдя стол, остановилась около Бежецкого. — Вы сказали все, что хотели? Теперь моя очередь. И я скажу. Скрывать мне больше нечего. Все во мне опозорено. Прежде мужчинам их шалости проходили безнаказанно, а теперь...

Она подошла к нему совсем близко и быстро вынула из кармана бритву.

— Вот как платят женщины за эту ша-

лость.

Она бросилась на него, но следивший и последовавший за ней Бабочкин схватил ее за руку. Бритва скользнула по обшлагоу сюртука Владимира Николаевича.

Надежда Александровна, увидав, что ей помешали, быстро вырвала свою руку у Михаила Васильевича и с невероятной силой ударила саму себя бритвой по горлу и упала на нее ничком, обливаясь кровью.

Все остолбенели.

Явилась полиция, доктор, и самоубийцу бережно повезли на ее квартиру, сделав необходимую перевязку.

Ее сопровождал Бабочкин.

Она умерла дорогой, не приходя в сознание.

— Дожить не сумела!.. — задумчиво сказал Михаил Васильевич, выходя из квартиры покойницы.

Так рано погибла в омуте искусства, а быть может, и в житейском омуте, родившаяся, по ее собственному выражению «не ко времени», — чистая, светлая, честная личность, для которой сцена была жизнь, но жизнь не была

сценой.

Наше правдивое повествование окончено. Говорить о судьбе остальных героев и героинь не стоит. Они живут по-прежнему, припеваючи, среди вас, заражая воздух своим тлетворным дыханием.

Бабочкин доживает.

СЦЕНЫ, ОЧЕРКИ И ТИПЫ

Торжество добродетели (из петербургской жизни)

— **Т**ак вы поступаете с несчастной, любящей вас женщиной, через год любви! Только через год! Я, беззащитная молодая вдова, приехала в этот столичный омут, в этот ваш Петербург, не успев оправиться от безвременной утраты любимого мужа, без средств к жизни, желая в большом городе найти себе честный кусок хлеба, поступив в гувернантки, в лектрисы, в компаньонки, в конторщицы, чтобы, добывая себе скудное пропитание тяжелым трудом, окончить свою жизнь, как была, — честной женщиной.

Она быстрым движением откинула шлейф своего роскошного утреннего капота и нерв-

но заходила по мягкому, пушистому ковру убранного как игрушка будуара.

Он стоял, опершись правой рукой на спинку chaise longue'a с опущенной головой и молчал.

— Я встретила с вами, — она остановилась снова перед ним, — я увлеклась, я, слабое созданье, была не в силах устоять против вашей элегантной внешности, против ваших заискивающих ласк, против хитросплетенных сетей соблазна, я отдалась вам безраздельно, бесповоротно, безрассудно...

Она закрыла своими маленькими ручками, сплошь унизанными дорогими кольцами и браслетами, красивое вызывающее лицо, обрамленное роскошными волосами пепельного цвета, и замолкла.

Он не смел поднять на нее глаза.

— Правда, вы окружили меня роскошью, — начала она снова упавшим голосом, бессильно опустив руки и обводя комнату полупрезрительным взглядом, — вы исполнили все мои прихоти, даже капризы, вы, видимо, любили меня, но эта роскошь, этот комфорт куплены ценой моего падения...

Она истерически захохотала.

— Я простила вам и это, я до сего дня любила вас, любила безумно, мысль о неверности казалась мне преступлением среди этой жизни в грехе, а вы... через год, только через год...

Она подступила к нему совсем близко.

— Где вы были вчера вечером?

Он сделал движение губами, не поднимая головы.

— Не открывайте рта, не оправдывайтесь, я знаю это лучше вас... В отдельном кабинете у Кюба с одной из тех тварей, которые составляют достояние всех... Вы, пользующийся взаимностью красивейшей женщины Петербурга...

Она отступила от него и окинула себя быстрым взглядом в огромном трюмо.

— И притом честной женщины... — с пафосом добавила она.

— Идите вон! — крикнула она через мгновение, сделав величественный жест по направлению к двери, — и чтобы нога ваша не переступала этого созданного вашими же грязными руками гнездышка любви...

Он продолжал стоять молчаливый, сму-

ценный, застигнутый врасплох.

Она была права, он был виноват, он поддался обаянию французской сирены, но как могла она узнать про это таинственное свидание, при котором им принято столько предосторожностей?

Он недоумевал.

Оставалось одно: предложить ей руку; сердце уже было давно ей отдано. Он знал, что она всеми силами души желала этого, но до сих пор воздерживался, хотя был совершенно независим и самостоятелен; страшно расставаться со свободой.

Теперь это являлось единственным средством смягчить ее справедливый гнев.

Он решился.

— Прости, прости меня, моя дорогая, я виноват, каюсь, я увлекся, прости меня, ты имеешь полное право упрекать меня...

Он сделал к ней несколько шагов.

Она отступила...

— Прости меня, этого более не повторится; отныне я хочу, чтобы ты еще более имела прав на меня, я прошу тебя быть моей женой...

Он снова приблизился к ней.

Она не отступила.

* * *

Через несколько времени состоялась их свадьба. Только несколько друзей после церковного торжества выпили по бокалу шампанского в их гнездышке любви.

Один из друзей спросил его, как пришла ему мысль жениться?

Он рассказал все.

Друг улыбнулся. Он вспомнил вечер, проведенный с ней в отдельном кабинете ресторана Кюба, и то, как она внимательно прислушивалась кговору в соседнем кабинете.

Современные сестрицы (из петербургской жизни)

Завернул это я на днях на Варшавский вокзал к скорому поезду проводить одного приятеля, покидавшего «любезное отечество». До отхода поезда оставалось более получаса: мы засели за один из буфетных столиков выпить прощальную бутылку.

Отъезжающих было не особенно много, больше все иностранцы, русских же наперечет.

За соседним с нами столом поместилась компания русских, состоявшая из двух дам и двух кавалеров.

Дамы были обе молоденькие — одна блондинка, с льняным цветом волос и каким-то восковым прозрачным миловидным личиком, другая совершенная брюнетка с выразительными чертами дышащего здоровьем лица.

Несмотря на кажущийся контраст, в лицах обеих дам было что-то родственное. Мужчины были также своего рода контрастами — один блондин, с реденькими чиновничьими баками и гемморoidalным лицом истого петербуржца, другой темный шатен, с небольшой окладистой бородкой, с энергичным выражением лица и проницательным взглядом карих глаз, блестящих из-под очков в золотой оправе.

Шатен и блондинка были одеты в дорожные костюмы.

Блондин и брюнетка — в городские; они, видимо, провожали первых.

Костюмы всех были весьма изящного покроя.

Они говорили по-русски и были все на «ты» друг с другом.

На столе перед ними стояла покрытая салфеткой бутылка шампанского и фрукты...

Меня почему-то заинтересовала эта компания, и я стал прислушиваться к разговору.

Увы, он не давал никакой путеводной нити к разгадке говоривших личностей. Разговор шел о курсе, перекидывались взаимной просьбой писать. Родственное «ты» звучало какой-то дисгармонией в видимо натянутой беседе.

Это заинтересовало меня еще более.

В это время в буфетную залу вошел приехавший тоже провожать моего приятеля наш общий знакомый и направился к нашему столу.

Проходя мимо стола, за которым заседала заинтересовавшая меня компания, он снял шляпу и поклонился. Все сидевшие ответили ему поклоном.

— Кто это, что сидят рядом с нами, наклонился я к нему, когда он, поздоровавшись с нами, уселся за стол. Он назвал фамилии мужчин. Блондин был чиновником, а шатен

был доктор.

— А дамы?

— Блондинка жена блондина, а брюнетка ее сестра. Да на что вам понадобилось все это?

— Они меня почему-то заинтересовали.

— Ишь у вас нюх-то какой! Они в самом деле действующие лица недавней драмы, хотя с благополучным, как видите, концом. Это целая история...

— Расскажите!..

— Извольте...

Он передал мне наскоро следующую, не лишённую пикантности и далеко не заурядную историю:

Лет пять тому назад, две сидевшие за столиком сестры: старшая блондинка и младшая брюнетка жили со старухой матерью в собственном доме на Петербургской стороне. Отца обе потеряли еще в детстве. Он оставил им хорошее состояние. За старшей сестрой ухаживали два друга, только что окончившие курс — медик и юрист. Медик был застенчив и робок с женщинами, юрист — большой руки ловелас. Пока первый обдумывал сделать

решительный шаг, второй уже успел увлечь девушку и объяснился.

Доктор, наконец, решился сделать предложение в день рождения любимой девушки, когда ей исполнилось восемнадцать лет, но, увы, этот день оказался днем объявления невестой его друга.

Опоздавший затаил в себе свое горе и остался другом счастливого соперника, весьма часто бывал у супругов и был их домашним доктором.

Молодая женщина догадывалась о его застенчивой беспредельной к ней любви, но, боготворя своего мужа, не показывала доктору об этом даже и виду, стараясь, напротив, держаться от него подальше.

Доктор, со своей стороны, ни на что не рассчитывал. Его дружба к ее мужу была совершенно искренняя.

Через два года после свадьбы умерла ее мать, и ее младшая незамужняя сестра переехала к ней.

Они стали жить втроем...

Муж видимо ухаживал за своей свояченицей, старался всячески ей угодить, но любя-

щая жена была вне всяких подозрений, объясняя все это желанием сделать приятное ей, так как муж знал, что она горячо любила сестру.

Так шло время...

Месяца три тому назад жена его друга захворала и слегла.

Болезнь была серьезная. Доктор внимательно следил за ее ходом и приложил для ее излечения все свои знания... Больная стала поправляться.

Однажды, это было не особенно, давно доктор, приехав утром, позволил ей в этот день встать, но не надолго, и уехал, обещав заехать на другой день.

— Я не скажу мужу, а сделаю ему сюрприз, — подумала больная, вечером одену капот и пойду к нему в кабинет. То-то удивится и обрадуется.

Сказано-сделано.

По возвращении мужа со службы, часа через два после обеда, больная встала с постели, накинула капот и тихонько пошла к кабинету, отворила дверь и... увидела свою сестру, сидящую на коленях у мужа...

По странной тайне человеческого организма, слабая женщина вдруг окрепла: твердой походкой прошла она в переднюю, надела верхнее платье, накинула на голову платок и вышла из дома.

Ошеломленные, застигнутые врасплох, муж и сестра не успели опомниться, как она уже ехала на извозчике на холостую квартиру доктора.

Последнего не было дома.

Пораженный расстроенным видом приехавшей дамы лакей не осмелился не пустить ее в квартиру.

Она прошла в кабинет.

Возвратившийся доктор застал свою нежданную гостью полулежащей в кресле в глубоком обмороке...

Он привел ее в чувство... Она рассказала ему все...

К мужу она не вернулась и сошлась с доктором...

Муж возвратил ей все ее вещи и капитал, тихо, мирно, без скандала.

Они даже помирились.

Теперь, оправившись от болезни, она с

доктором уезжает за границу. Муж и сестра, как видите, провожают их.

— Чем это не тема для современного романа? Дарю вам ее! — закончил рассказчик.

Раздался второй звонок.

Все поспешили на платформу.

Я видел, как компания, сидящая за столом, расцеловалась друг с другом на прощание.

Пробил третий звонок. Поезд тронулся.

Блондин подал руку брюнетке. Они вышли из подъезда вокзала, сели в ожидавшую их изящную пролетку на резинах и укатили.

Дорогая шляпа (из закулисной жизни петербургско- го кафешантана)

Было четыре часа пополудни второго дня Святой недели.

В одном из громадных домов Офицерской улицы, во дворе, в убогой комнате, отдаваемой «от съемщика», сидел на сильно потертом, но когда-то обитом американской клеенкой, покосившемся, видимо, от отсутствия одной ножки, диване «куплетист» одного столичного увеселительного заведения Федор Николаевич Дождев-Ласточкин.

На столе, стоявшем перед диваном и покрытом цветной скатертью, кипел позеленевший от времени самовар и между чайной посудой стояли бутылка водки, рюмка, тарелка с хлебом и довольно значительных размеров куском ветчины. Тут же лежали разбросанные деньги: две радужных и объемистая пачка мелких кредитных билетов.

У стены, около двери комнаты, убранство которой дополняли несколько разнокалиберных легких стульев, железная кровать с убогой постелью и небольшой комод, на котором красовалась шелковая шляпа-цилиндр, стояла в почтительной позе высокая худая старуха с хищным выражением лица квартирная хозяйка, известная между ее жильцами под именем «Савишны».

— За мной за два месяца и четырнадцать дней, следовательно, по первое мая за три месяца, — говорил Дождев-Ласточкин.

— Точно так-с, — отвечала Савишна, пожирая глазами лежавшие на столе кредитки.

— За три месяца, значит, будет всего тридцать шесть рублей получите, — отсчитал он ей деньги и подал.

Старуха дрожащими руками приняла деньги и тщательно их пересчитала.

— Очень вами благодарны... Таперича, значит, мы по первое мая в расчете.

— То-то, а вчера ругаться да мировым стращать... Ах ты, старая карга, Бога бы побоялась, — для такого праздника.

— Уж не осудите: такое наше ремесло, — сделала сконфуженный вид старуха и поспешно удалилась из комнаты.

Федор Николаевич остался один.

— Вот они, голубушки, — положил он руку на лежащие на столе деньги, и почет и уважение, и талант, и гений — все в них, — задумчиво произнес он и, налив себе рюмку водки, начал резать ветчину.

Дверь комнаты распахнулась и в нее не вошел, а буквально влетел товарищ Дождева-Ласточкина по сцене, «рассказчик из народного быта» того же увеселительного заведения, Антон Антонович Легкокрылов.

— Дома и пирует... Ба, да ты Калифорнию, кажется, открыл, — увидел он лежавшие на столе деньги.

— Здравствуй, — подал Федор Николаевич

руку приятелю, — садись... Сперва чаю или водки?

— Конечно, последней, — заявил Легкокрылов.

Федор Николаевич выпил налитую рюмку, закусил и, наполнив ее снова пододвинул к усевшемуся за стол Легкокрылову, а затем собрал со стола деньги и сунул их небрежно в боковой карман пиджака.

Легкокрылов выпил, закусил и устался на хозяина.

— Да откуда тебе такая уйма денег свалилась, наследство, что ли, получил? — задал он вопрос после некоторого молчания.

— А помнишь, Кречинский сказал, что во всяком доме есть деньги, надо уметь только их найти.

— Так что же?

— Ну, я и нашел...

— Где же и как ты нашел?

— Как! Ум, брат, всему делу начало, ум, но работает он подлец, только в крайности, поэтому и полагаю я, что все великие открытия сделаны нищими.

— Да ты не философствуй, а расскажи тол-

ком, — приставал гость.

— Нет, ты погоди, — продолжал Федор Николаевич, — остался я к первому дню праздника в этой только паре, даже фракную на страстной заложил, а без нее, ты знаешь, каждый из нас, как солдат без ружья, за квартиру три месяца не плачено, хозяйка изгнанием грозит и только ради великого праздника милость оказала; — за душой ни полтины и вдруг одна гениальная мысль и в кармане три радужных.

— Три, — подавился даже куском ветчины пораженный такой суммой гость.

— Да, три.

— Но откуда же, не томи, голубчик!

— Изволь, для приятеля расскажу, — заметил Федор Николаевич. Затем, выпив рюмку водки и наполнив ее для Легкокрылого, он встал, подошел к комоду, взял цилиндр и подал его ему.

— Видишь!

— Вижу, шляпа, — недоумевал тот.

— Шляпа, — передразнил его Федор Николаевич, — а что на дне тульи написано?

— Ф. Н. Дождев-Ласточкин, — прочел Ан-

тон Антонович вытесненную золотом надпись и удивленно поднял глаза на хозяина. — Но в чем же дело? Не понимаю!

— Вот эта-то шляпа и принесла мне сегодня доходу триста рублей словом, благоговей — это дорогая шляпа, — взял ее из рук Легкокрылого Федор Николаевич и бережно поставил на комод.

— Да не разводи бобы-то, расскажи! — не унимался Антон Антонович.

— Ты знаешь, что я с нашей шансонеткой Зюзиной разошелся, порвал все, она меня променяла на того восточного человека, который обыкновенно сидит у нас в первом ряду, то есть не на человека, а на ходячий набитый карман. Я ее не упрекаю, она сделала, подобно Периколле:

*До гроба твоя Периколла.
Но больше страдать не могу...*

Пропел Федор Николаевич и задумался. Антон Антонович застыл в ожидании продолжения.

— Теперь ее удел — роскошь и блеск, а мой — нищета и страданье! меланхолически

начал Федор Николаевич. — Одно, с ее стороны, подло: она, по настоянию своего восточного человека, который ревнив, как Отелло, порвала со мной всякое знакомство и я не могу даже прибегать к помощи моей бывшей подруги жизни. Наконец, как я тебе говорил уже, я дошел до крайности... Фрачная пара, понимаешь ли ты, фрачная пара и та заложена... Сегодня утром я решился идти к ней с визитом и — пошел!..

— Ну?..

— Звоню; отворяет горничная, я вхожу, «Дома?» спрашиваю. Смешалась. «Никак нет-с!» говорит. На столе в передней, стоит шляпа-цилиндр, — его шляпа, тоже с вытесненной золотом фамилией; я свою — поставил рядом. Я сперва хотел войти насильно, но вдруг гениальная мысль озарила меня! Я беру вместо своей его шляпу и — удаляюсь... Обрадованная горничная запирает за мной дверь.

Федор Николаевич снова умолк.

— Дальше, дальше! — прошептал Легкокрылов.

— Иду оттуда и прямо домой. Не проходит получаса, как ко мне является ее горничная с

моей шляпой.

— Обменять изволили!

— Знаю.

— Позвольте получить?

— Триста рублей, ни копейки менее, — заявляю я и выпроваживаю вон с моей шляпой.

Проходит еще томительных полчаса, и горничная со шляпой и пакетом с тремя радужными является снова. Я возвращаю шляпу.

— Да ты, Федя, гений! — порывисто произнес Антон Антонович, — выпьем, ты мне плесни в чайный стакан — вместе хочу.

Федор Николаевич начал наливать водку.

Чековая книжка (из жизни петербургского темного люда)

Встретился на днях с приятелем, который знает чуть не пол-Петербурга и посвящен почти во все закулисные тайны, как крупных, так и мелких столичных «дельцов».

Разговорились о том, о сем и между прочим о частых крахах петербургских банков.

— Конечно, заметил я, платится одна лег-

комысленная провинция...

— Нет, не скажи, — перебил он, — многие держат деньги у этих, с позволения сказать, банкиров и на вкладах и на текущем счету, соблазняясь высоким процентом, а иные имеют от них чековые книжки для разного рода кунштюков... С ними они обделывают свои делишки и пускают пыль в глаза...

— То есть как?

— Да так... Вносите вы, положим, в такую банкирскую контору тысячу рублей, вам контора выдает квитанцию в этой сумме и чековую книжку, на которой не обозначена сумма вашего вклада... Квитанцию вы запираете в ваш письменный стол, а книжку чеков кладете в карман и вы... капиталист... Вы берете по чекам деньги, выбираете даже все, но квитанция, а главное, чековая книжка остается у вас и вы все-таки... продолжаете быть капиталистом...

— Даже когда по этой книжке не выдадут больше ни гроша?..

— Даже когда не выдадут ни гроша... Да вот, вы знаете Z?

— Это комиссионера?.. Знаю, видал... он

живет на Стремянной...

— Он самый, но вы ошибаетесь, он не может называться комиссионером в обыкновенном значении этого слова, он, поднимайте выше, делец... у него что месяц, то один проект грандиознее другого, он всегда окружен если не большими капиталистами, то во всяком случае состоятельными людьми, месяц-два безусловно верящими в его финансовый ум вообще и в его проекты: «Товарищество на паях для добывания олова на Мурманском берегу» и «Акционерное общество копчения свиных туш в Тамбовской губернии для экспорта за границу», в особенности... Но это между прочим... Я отвлекся от нити рассказа...

Вот у этого самого Z всегда есть чековая книжка какой-нибудь банкирской конторы и на нее он зарабатывает хорошие деньги... Пригласит к себе обедать какого-нибудь еще не разочаровавшегося в нем будущего «пайщика» в деле «добывания олова» или «копчения свиных туш». Обед — надо отдать справедливость — всегда хороший, с шампанским, в седьмом часу вечера. Вдруг за обедом

подает лакей, — пройдоха тоже парень, телеграмму, всегда одну и ту же — тщательно ее сохраняют... Z разворачивает и читает: «Немедленно выезжайте курьерским, Москва, жду». Z за бумажник, там оказывается каких-нибудь двадцать-тридцать рублей...

— Каково, положение! — восклицает он. — Надо сейчас же ехать в Москву, а денег нет... Дайте, голубчик, триста — четыреста рублей, а я вам напишу чек на банкирскую контору — завтра в 10 часов получите... Приди телеграмма, — будь проклята наша почта, — двумя-тремя часами ранее, получил бы сам, а теперь контора закрыта...

Еще не разочаровавшийся гость, будущий «пайщик», вынимает деньги... Z вырывает чек из книжки и пишет сумму и, выпроводив гостя... остается дома, приказывая лакею несколько дней говорить обедавшему с ним, что он уехал в Москву...

Через известное количество дней он, наконец, принимает своего нового кредитора, бросается к нему навстречу и не дает выговорить слова...

— Простите, ради Бога, мою рассеянность,

чек с вами...

— Со мной, по нему ничего не выдали, так как деньги ваши уже все получены, — подает кредитор чек.

Z быстро рвет его.

— Из ума вон... совсем из ума вон, что денег там нет... Просто от этих дел голова идет кругом... Уж вы меня извините, голубчик, что заставил вас понапрасну проехать в контору...

— Ничего, ничего... — заставляет тот, думая, что сейчас получит свои деньги... Ничуть не бывало.

— Завтра завезу вам с благодарностью, — заставляет Z, и это завтра продолжается до последнего «судного дня»... Так и живет... да еще как живет — припеваючи... Только частные крахи контор вводят его в хлопоты: приходится добывать и вносить деньги на время в другую контору для получения чековой книжки... — заключил рассказчик.

Выигрышный билет (Петербургская быль)

Павел Петрович Маслобойников был вдовоц.

Человек еще далеко не старый он служил бухгалтером в одной из петербургских банкирских контор и получал обеспечивающее его содержание.

Имея, кроме того, небольшой капиталец, он жил припеваючи.

Детей у него не было. Жениться второй раз он не намеревался, хотя среди знакомых, и маменек, и дочек, он считался завидным женихом, и его в силу того еще радушнее принимали.

Павел Петрович посмеивался себе в ус и пользовался выгодами своего положения.

Двумя отличительными чертами характера моего героя были деликатность и скопидомство.

Последнее выражалось в отношении всех лиц, с ним так или иначе сталкивавшихся, независимо от того или другого их положения. Даже с единственной прислугой своей, кухаркой Марфой, он не иначе обращался как на «вы», величая ее Марфой Силантьевной.

Марфа Силантьевна была разбитная солдатская вдова, лет сорока, дородная и красивая баба, давно уже жившая по местам в Пе-

тербурге, оставившем на ней, вместе с промозглым запахом цикория, особый отпечаток, свойственный лишь истой «петербургской» прислуге.

Жила она у Павла Петровича лет около десяти, поступивши еще при жизни его супруги, и почти три года его вдовства бесконтрольно вела его небольшое хозяйство.

Нравственности она была безукоризненной и, хотя любила позубоскалить с соседней прислугой и дворниками, но никакого «двоюродного брата» или просто «унтера» на кухне Павла Петровича не появлялось.

— Если в закон вступить, — оно пожалуй; а то что так публику-то пугать, — отвечала она на вопросы по этому поводу.

Павлу Петровичу и его интересам она была предана фанатически, и товарищи его даже смеялись над ним, говоря, что он держит из экономии влюбленную в него кухарку; да и на самом деле — малейшая шутка с ней Павла Петровича доставляла ей видимое удовольствие, и по лунообразному ее лицу разливалась масляная улыбка.

Живя тихо и скромно, она успела скопить

себе на выигрышный билет внутреннего займа, и Павел Петрович сам купил ей его в своей конторе; два раза в год после тиража Марфа Силантьевна, подавая барину самовар, озабоченно спрашивала:

— А что, батюшка, Павел Петрович, на мою сиротскую долю ничего Бог не послал?

Оказывалось обыкновенно, что не послал.

Номер билета был записан у Павла Петровича.

Так мирно текла их жизнь, и лишь за год до описываемого мною события Марфа Силантьевна была встревожена известием о пожаре, посетившем ее деревню, и о том, что дом ее родителей сделался жертвой пламени.

Привез это известие ее шурин.

Поговорила об этом с барином во время утреннего чая, потужила, поохала, отписала в деревню — и все пошло по-прежнему.

Однажды, на другой день тиража, просматривая в конторе таблицу выигрышей, Павел Петрович был поражен: на билет Марфы Силантьевны пал главный выигрыш в двести тысяч.

Павел Петрович задумался.

— Славная она баба, — рассуждал он, возвращаясь домой из конторы, простая, добрая, хорошая из нее жена выйдет...

— Двести тысяч — это уж какой капитал, а в хороших руках много с ним сделать дел можно, — мелькнуло у него в голове.

Он вернулся домой. На встретившую его Марфу Силантьевну он посмотрел как-то особенно нежно.

— Ну что, королева, обед готов, — взял он ее за подбородок.

— Готов, мигом подаю, — зарделась Марфа Силантьевна.

Весь вечер просидел у себя в кабинете Павел Петрович, раздумывая, сказать ли Марфе о выигрыше и потом предложить ей руку и сердце, или же сперва жениться, а потом сообщить.

— А ну, как с такими деньгами она на меня и глядеть не захочет, рассуждал Павел Петрович.

В согласии Марфы Силантьевны на брак с ним в ее настоящем положении он не сомневался.

Павел Петрович решил не говорить.

Смущенный ожидал он на другой день утром обычного вопроса Марфы Силантьевны об ее «сиротской доле», но его не последовало.

— Сам Бог помогает, — думал Павел Петрович, уходя на службу, — видно, забыла.

Ухаживаний Павел Петрович за Марфой Силантьевной, увенчавшихся полным успехом, и нежных сцен со стороны последней на мотив вопросов: «И за что ты меня дуру-бабу любишь? Я описывать не стану. Скажу лишь, что со свадьбой поспешили. Она совершилась более чем скромно в присутствии лишь необходимых свидетелей-товарищей Маслобойникова, немало подтрунивших над приятелем и немало подивившихся его странному выбору.

Через несколько дней после свадьбы Павел Петрович решился, наконец, за утренним чаем, когда Марфа Силантьевна уже не стояла около, а восседала за самоваром в качестве «молодой хозяйки» — прислуживала же другая кухарка, — навести разговор об интересующем его предмете.

— Дай-ка, Маруша, — ласково начал он, — твой выигрышный билет, я его с своим поло-

жу — теперь все равно у нас все общее.

— Какой билет, батюшка? — уставилась на него жена.

— Как какой? Да вот, который я тебе четыре года назад купил, — еще ты все спрашивала, не выиграл ли?

— И, батюшка, я его еще летошний год разменяла, а деньги в деревню на поправку после пожара родным отослала. Шурин и разменял, и деньги отвез.

Павел Петрович побледнел, схватился обеими руками за голову — и откинулся на спинку стула.

Марфа Силантьевна бессмысленно уставилась на него своими заплывшими от жира глазами.

Картина!

Этажом ошибся (правдивая история)

— **К**олзаков!
— Хмыров!

— Какими судьбами?

— Проветриться приехал, плесень деревенскую стряхнуть.

— Здравствуй!

— Здравствуй!

Раздались поцелуи.

Так встретились на Невском два господина, один в меховом пальто и бобровом картузе, толстый брюнет с легкой проседью в длинной бороде, а другой шикарно одетый в осеннее пальто и цилиндр, блондин с тщательно расчесанными баками и в золотом пенсне на носу.

Полный брюнет был богатый помещик одной из приволжских губерний, первый раз приехавший в Петербург Петр Александрович Колзаков, а изящный блондин — отставной корнет Аркадий Осипович Хмыров, проживший на своем веку не одно состояние, и теперь, в ожидании наследства, живущий в кредит, открытый, впрочем, ему почти везде в широком размере. Сосед Колзакова, по бывшему своему имению, Хмыров, был с ним приятелем, но несколько лет уже как совершенно потерял его из виду, продавши имение.

— Ну, как живешь? — спросил Колзаков.

— Ничего, надеемся, не унываем.

— Это хорошо!

— Женился...

— Ты?

— Да, с год, на француженке, парижанке, воплощенное изящество и грация. Впрочем, что же я расписываю, сам увидишь, зайдешь, чай. Ты надолго?

— Поживу.

— Так заходи.

— Всенепременно, на днях...

Хмыров сказал свой адрес, назвал одну из лучших улиц Петербурга, примыкающих к Невскому проспекту, близ Адмиралтейства, номер дома и квартиры.

— Да ты запиши.

— Запомню, я возвращусь к себе в гостиницу и сейчас же запишу.

Прятели расстались.

На другой день, часов около двух Петр Александрович нанял извозчика и отправился к Хмырову. Отыскав дом, он вошел в подъезд и обратился к швейцару.

— Квартира номер 12?

— Второй этаж, дверь направо.

Колзаков поднялся по лестнице и нажал пуговку электрического звонка.

— Дома? — спросил он у отворившей ему горничной.

— Дома-с.

Разоблачившись, Петр Александрович пришел в залу, затем в гостиную. Меблировка комнат была шикарна, но позолота мебели и багет страдали резкостью и аляповатостью.

В противоположной двери гостиной, через которую виднелся роскошный будуар, появилась изящная блондинка с красноватым цветом волос, одетая в роскошный пеньюар из легкой материи, сплошь обшитой кружевами, так что казалось, что его обладательница утопала в кружевных волнах. Картина была поразительная.

Петр Александрович онемел от восторга.

— Славную, однако, штучку подцепил Хмыров, — мысленно сказал он себе, глотая слюнки и церемонно расшаркиваясь с хозяйкой.

— Bon jour, — протянула та ему руку, причем откидной рукав дал ему возможность увидеть ее всю до плеча, — je ne m'en souviens pas.

Петр Александрович положительно за-

хлебнулся.

— Prenez place, — указала ему хозяйка на табурет.

Колзаков уселся.

Красавица опустилась на близ стоящую кушетку, причем откинула шлейф пеньюара, и Петр Александрович увидел очаровательные миниатюрные ножки, обутые в ажурные чулки и шелковые голубые маленькие туфли.

Он сидел и млеял.

— А супруг ваш дома? — наконец, решился он задать вопрос.

— Je ne comprends pas!

Оказалось, что хозяйка не понимала по-русски.

Колзаков же не понимал совершенно по-французски.

Наступило молчание, во время которого Петр Александрович положительно пожирал хозяйку глазами.

— Верно, его дома нет, тоже вертопрах, одна заря, чай, вгонит, другая выгонит, а ей одной бедняжке скучно: хотя и говорить с ней не могу, а все посижу, больно хороша, — думал Колзаков.

— Peut etre voulez vous un gobelet de champagne? — начала хозяйка.

Петр Александрович с недоумением смотрел на нее.

— Выпить, — перевела красавица и сделала жест около рта, причем показала восхитительный розовый локоток.

Колзаков понял и утвердительно закивал головой.

— Все за закуской посижу подольше, — подумал он.

— Денги! — вдруг протянула руку француженка.

Петр Александрович до того был поражен, что машинально вынул объемистый бумажник, развернул его и протянул ей.

Она осторожно вынула две радужных, причем, наклонившись к Колзакову, обдала его каким-то восхитительным ароматом, исходящим от ее тела сквозившего на груди через тонкую ткань кружев; у него закружилась голова.

Хозяйка, взяв ассигнации, исчезла в будуаре.

— Какой же подлец Хмыров: без денег же-

ну оставляет, спросил бы вчера — я бы дал. Фонбаронство заело, гордость — на брюхе шелк, а в брюхе щелк. А она прелестна, и достанется же такое сокровище такому скоту. Приударить разве, да вот беда, по-ихнему не знаю...

В будуаре раздались легкие шаги, хозяйка появилась снова.

— Prends place ici, — указала она Петру Александровичу на место около себя на кушетке.

Ободренный Колзаков пересел, не веря своему счастью.

— Неужели будет успех! Только бы Хмыров не вернулся, — подумал он.

Через несколько времени на столе появилось замороженное шампанское.

Выпив несколько стаканов, Петр Александрович стал целовать у хозяйки руки и добрался до локотка.

* * *

Уже наступали сумерки, когда Петр Александрович, веселый и довольный выбрался из квартиры Хмырова.

На лестнице первого этажа ему встрети-

Лась какая-то изящная брюнеточка.

— Тоже штучка невредная! — прошептал он.

Вдруг перед ним как из-под земли вырос Хмыров.

— Ты откуда? — воскликнул тот.

— От тебя, брат, — смутился Петр Александрович, — недавно приехал, с женой твоей минут пять посидел, — премилая барынька.

— Как с женой? Она сейчас со мной из гостей приехала, вперед прошла, ты ее встретил?

— Это брюнетка, нет — то блондинка.

— Какая блондинка?

— У которой я был.

— В каком номере?

— В двенадцатом.

— Ну, я живу в четырнадцатом, этажом выше.

— Значит, я этажом ошибся, — развел руками Колзаков.

— Ишь, старый греховодник, да как удачно ошибся-то, куда попал! расхохотался Хмыров.

Вечный жених

(Тип)

— А прогормос! Вы завтра свободны от двух до четырех? — обратилась ко мне на днях Валентина Львовна Кедрина, моя хорошая знакомая, молоденькая, хорошененькая и разбитная вдовушка, довольно долго оставляя в моей руке свою миниатюрную ручку в лиловой перчатке.

— Для вас я свободен всегда, я не свободен только никогда от мысли о вас, — пошутил я.

— Шалун... я спрашиваю серьезно...

— Серьезно?

— Да, пойдите завтра со мной к Гомолицким...

— К Гомолицким... я их не знаю...

— Узнаете... я вас представлю, я давно об вас говорила... их дочь Наденька — брюнетка в вашем вкусе...

— Мне не надо никого... кроме...

— Кроме меня... знаю... слышала... но вам надо «петербургские типы», вы на днях говорили мне, а там вы встретите тип, который едва ли встречали... Я специально и еду для того, чтобы спасти от него Nadine... или, скорее, карман ее татап.

— Вы, спасти... от кого?

— От «вечного жениха».

— От «вечного жениха»? Объясните, ради Бога, ровно ничего не понимаю...

— Тем лучше, пойдите туда, когда поедете... В два часа я вас жду...

Она вырвала у меня свою ручку и скрылась в подъезде.

Разговор этот происходил у одного из домов на Сергиевской улице, куда я проводил Валентину Львовну из Аквариума.

Обещанный тип меня крайне заинтересовал... «Вечный жених»... Что может значить это прозвище «вечный жених» в связи со спасением от него карманов.

На другой день я был аккуратен, и в начале третьего часа мы с Валентной Львовной уже были на Бассейной улице, где жили мать и дочь Гомолицкие, очень состоятельные люди, занимавшие роскошную квартиру в бельэтаже.

Во время церемонии представления меня в зале, от моего внимания не ускользнула какая-то странная сконфуженность, почти смущение обеих хозяек.

Нас попросили в гостиную, где сидел в

кресле довольно красивый господин, на вид лет сорока, элегантно одетый с волнистыми светло-каштановыми волосами и такой же расчесанной на двое бородой.

Я невольно взглянул на Кедрину — она очень заметно улыбнулась.

«Вечный жених» промелькнуло в моей голове, и я пристально оглядел вставшего при нашем приближении господина... Лицо его было мне знакомо, я встречал его зимой прогуливающимся на Невском, в концертах, театрах, на балах, а летом на загородных гуляньях...

— Андрей Дмитриевич Торбеев, вы не знакомы... — представила хозяйка гостя Валентине Львовне.

— Нет, мы хорошо знакомы... — подчеркнула последняя слово «хорошо» и поклонилась кивком головы.

По лицу Торбеева пробежало нечто вроде судорог, но он остался с полупротянутой рукой.

Он подал ее мне, когда нас представили.

Не прошло пяти минут, как он встал и стал откланиваться хозяйке и ее дочери...

В гостиной еще никто не нарушил неловкого молчания, наступившего после неудачного представления...

Торбеев вышел очень быстро...

— Не понравилось... — громко захохотала ему вслед Валентина Львовна.

Обе хозяйки со страхом и беспокойством глядели на нее.

Я впился в нее глазами и насторожил уши.

— Он сватается за Наденьку? — спросила Кедрина в упор старушку Гомолицкую...

— Да... то есть... нет... почему вы так думаете? — растерялась та.

— Да потому, что я знаю, что он сватается всюду, сватался ранее за десяток других, сватался, наконец, за меня, так как он этим живет — это его профессия... он «вечный жених».

— За вас?.. — воскликнули разом мать и дочь.

— Да за меня... взял у меня две тысячи для получения полугодового отчета из своего саратовского имения, на которое показывал мне план, фотографии усадьбы и живописных мест...

— Он показывал их и нам...

— Поздравляю... может, вы дали тоже денег...

— Нет еще... Я обещала завтра взять из банкирской конторы три тысячи... ведь он почти объявленный жених Nadine... — призналась m-me Гомолицкая.

— Гоните его, скорей гоните... — у него не только имущества, у него ничего нет... Я тоже была его объявленной невестой... и благословляю Бога, что отделалась только двумя тысячами... Да он и не женится... Он начнет оттягивать на долгий срок, пока невеста не потеряет терпенья и не откажется сама, как я и сделала... — взволнованно говорила Валентина Львовна...

— Это невозможно... это невозможно...

— Да спросите Наталью Семеновну... он сватался и был даже ее женихом, несмотря на то, что ей сорок семь лет и она далеко не богата, — он сумел наказать и ее на тысячу рублей...

— Но помилуйте, она-то нас с ним и познакомила... очень его хвалила!

Валентина Львовна покатила со смеху...

— Молодец!.. Вероятно, захотела вернуть свою тысячу из ваших трех, вошла с ним в компанию...

Обе Гомолицкие сидели как ошпаренные...

— Да вы не бойтесь... Он теперь к вам и носа не покажет... Не приедет и за деньгами... Меня увидел, значит, кончено... я громоотвод... засмеялась Кедрина и принялась рассказывать, как она через горничную узнала, что Торбеев сегодня будет у них.

Мы просидели еще несколько минут и уехали...

— Целуйте ручку... Видели и слышали... — заявила Валентина Львовна, когда за нами захлопнулась дверца кареты.

Я с двойным удовольствием исполнил ее приказание.

Предсказание ее сбылось: Торбеев более не явился к Гомолицким, хотя, как слышно, не перестал заниматься своей оригинальной профессией сватовства.

* * *

Все, рассказанное нами под вымышленными фамилиями, — факт, дорогой читатель! «Вечный жених» гуляет по Петербургу, соби-

рая дани с алчущих связать себя узами Гименей.

От Москвы до Петербурга (наброски с натуры)

Почтовый поезд Николаевской железной дороги идет на всех парах.

В общем вагоне первого класса «для курящих» по разным углам на просторе разместились: старый еврей-банкир, со всех сторон обложившийся дорогими и прихотливыми несессерами; двое молодых гвардейских офицеров из «новоиспеченных»; артельщик в высоких со скрипом сборами сапогах, с туго набитой дорожной сумкой через плечо; худощавый немец, беспрестанно кашляющий и успевший уже заплевать вокруг себя ковер на протяжении квадратного аршина, и прехорошенькая блондинка, с большими слегка подведенными глазами и в громадной, с экипажное колесо, шляпе на пепельных, тщательно подвитых волосах.

В ушах у блондинки красуются крупные бриллианты; красивый воздушный стан ее как-то особенно элегантно задрапирован складками шикарного дорожного костюма из

темно-серой английской материи.

Она полулежит на угловом раскидном кресле и исподлобья бросает томные взгляды на своих спутников.

Каждый из них в свою очередь отвечает ей тем же, причем взгляды кавалеров, исключая всякий намек на робость, выражают самую геройскую решимость познакомиться во что бы то ни стало.

Даже катаральный немец плюет с какой-то особой, чуть не ли не геройской отвагой.

— Станция Клин!.. Поезд стоит 10 минут! — как перун, проносясь по вагонам, возвещает кондуктор.

— Уже!.. — вырывается у блондинки восклицание удивления.

— А вы разве только до Клина едете?.. — чуть не плачет один из «свежеиспеченных» гвардейцев, поднимаясь с места и как-то особенно ухарски звеня шпорами и отпущенной саблей.

Старый жид насмешливо смотрит на юного Марса, немец угрюмо сплевывает в его сторону; товарищ юнца слегка подтягивается,

как парадер на смотре; один только артельщик хладнокровно зевает, крестя свой широкий рот.

— Нет!.. Я еду в Петербург!.. — возвещает блондинка, обжигая своего нового знакомого молниеносным взглядом.

В вагоне ощущается поголовное облегчение.

Молчаливый гвардеец стучит и гремит бранными доспехами не меньше своего разговорчивого товарища; старик банкир щурит свои морщинистые и маленькие глазки; немец кашляет и плюет как-то аккуратнее и веселее.

Раздается протяжный свисток. Поезд останавливается.

В столовой блондинка, по странному стечению обстоятельств, очутилась между обоими юнцами, которые по очереди друг перед другом угощают ее всеми кулинарными благами, украшающими буфетные столы.

Немец сидит неподалеку и сосредоточенно пьет из чашки бульон; старик-жид прохаживается мимо и лукаво улыбается.

По возвращении в вагон гвардейцы подса-

живаются уже ближе к юной путешественнице и ведут с ней оживленную беседу.

Худосочный немец и старый банкир вслушиваются; артельщик вытаскивает откуда-то подушку в тиковой полосатой наволочке, плотно подсовывает себе под бок свою сумку и укладывается в кресле.

В вагон входит франтоватый барин средних лет, с тщательно выбритым, еще красивым лицом и безукоризненными манерами истого джентльмена.

Он сразу опытным взглядом бывалого человека окидывает вагон и усаживается по соседству с соблазнительной блондинкой.

Она взглядывает на него и, сдернув с правой руки перчатку, сверкает крупными бриллиантами своих колец.

Джентльмен пристально смотрит попеременно то на нее, то на ее кольца, и многозначительно улыбается.

Один из юнцов перехватывает эту улыбку на лету и пересаживается поближе к джентльмену.

Разговор начинался с взаимного одолжения спичкой и быстро переходит в более ин-

интересную беседу.

— Какова?.. Не правда ли, красавица?.. — восторженно спрашивает юный Марс.

— Да... недурна!.. — снисходительно поводит франт своими выхоленными усами. — Поддержана немножко!.. А все-таки живет!

Разговор происходил на французском диалекте. Джентльмен говорит не совсем шепотом.

Гвардеец тревожно озирается.

— Тише! — остерегает он своего нового знакомого. — Она может услышать.

— Пускай ее слушает на здоровье? Все равно ничего не поймет! Это из отечественных!

— Почему вы думаете?

— Я не думаю, а наверно знаю! — улыбается джентльмен. — В чем другом я ошибиться могу, а уж на этом меня никто не поймает. Не дешево мне досталась эта наука! Не один десяток тысяч я на этом курсе оставил!..

— Что же вы думаете? Из каких она?

— Да чего же тут думать? Тут и думать нечего. Из «онных», — это вне всякого сомнения. И в добавок из небогатых!.. Быть может, для контенансу на какой-нибудь провинци-

альной или клубной сцене время от времени подвизается... движения несколько театральны... но по профессии своя, родная, великорусская кокотка!.. Все аллюры родного, недо-создавшегося деми-монда. Все мы, к стыду нашему и в то же время к нашей гордости, до создания своего кровного демимонда еще не выросли, не допутались... Паров у нас не хватает! Мы пробавляемся еще подражаниями и подражаниями пока вообще довольно слабыми!..

На лице юного гвардейца выразилось легкое разочарование.

— Да... а?.. — протянул он. — Вот оно что! Ну, а как же вы говорите, что она «из небогатых»?!. А бриллианты-то у нее какие? Вы не заметили?..

— Напротив, заметил и подробно оценил!.. Это тоже «подражание» и тоже неособенно удачное. Есть в Петербурге такой магазин, «а ля парюр» он прозывается, и вот в нем-то и продаются эти «парюры»... Но вы этим не смущайтесь, ваше высокопревосходительство!.. с ласковой фамильярностью истого барства прибавил красивый джентльмен, дружески

протягивая руку своему юному собеседнику. — Смело, вперед!.. Чем слабее неприятельские силы, тем легче и успешнее победа... Только не зевайте, твердо помните одиннадцатую заповедь! За вами стоит опасный арьергард.

— Арьергард?.. Какой?

— А видите в том углу старого еврея? Это известный банкир Шлемензон!.. Денег у него груды и танцовщицу свою он недавно «расчитал»... как он выражается, значит, вакансия есть. Много тратить он не любит, но для этой «парюрными» бриллиантами разукрашенной блондинки его немного покажется целой Голкондой! Она, видимо, в тонких!

— Спасибо вам за совет!.. — улыбается гвардеец, крепко пожимая руку симпатичного джентльмена. — Ну, а сами-то вы как же?.. И не попробуете счастья?..

— Где уж нам старикам! — махнув рукой, улыбается барин. — У меня дома жена хорошенькая да четверо детишек маленьких! Что мне сия Гекуба, и что я Гекубе?

Во время этого апарте дела другого юнца идут очевидно довольно успешно. Он уже си-

дит рядом с соблазнительной блондинкой и играет кистями ее миниатюрной муфты.

Немец отплевывается с возрастающим ожесточением.

Еврей плотоядно улыбается.

Артельщик выводит носом легкие рулады.

Проходит несколько часов.

Оба гвардейца на верху блаженства. Они по очереди окружают блондинку вниманием и заботами, укладывают ее подушки, прикрывают пледом ее маленькие ножки, и оба млеют от восторга.

Немец захлебывается от кашля.

Старый банкир безмятежно дремлет.

Красивый джентльмен потягивается под щегольским английским пледом и, покручивая свои седеющие усы, отечески посматривал на молодых гвардейцев.

— Станция Бологое!.. Поезд стоит полчасика! — возвещает кондуктор.

Из вагона выходят далеко не все.

Поезд двигается вновь... Все погружаются в глубокий сон... Кое-где фонари задерживаются зелеными и темно-фиолетовыми занавесками, кое-где свечи совсем тушатся... Проходит

НОЧЬ.

— Станция Колпино! Остановка пять минут!.. — кричит кондуктор среди пробудившегося вагона.

Гвардейцы уже воспрянули ото сна и блещут всей красой своих мундиров, шпоры их звенят как-то особенно победоносно.

Красивый джентльмен тоже окончил свой утренний туалет, и от него несет дорогими духами и какой-то особой барской свежестью.

Вокруг немца образовалось целое озеро мокроты.

Артельщик оплеснул себе лицо холодной водой и всей пятерней провел по жирным волосам.

Старый еврей озирается во все стороны.

Блондинка встает с кресла и тщательно опускает на лицо вуаль.

Глаза ее не так красивы и велики, как накануне, губы значительно бледнее, и на побледневших ланитах следы слегка стершихся розовых лепестков.

Вдали показывается Петербург.

В вагоне начинается усиленное движение.

Гвардейцы куда-то исчезают. Немец оже-

сточенно стягивает ремнем свой плед.

Артельщик крестится на далекую главу Исаакиевского собора.

Старый банкир, волоча ноги по ковру, подходит к блондинке.

— Вы у где оштановитесь?.. — осведомляется он, бесцеремонно заглядывая ей под шляпку.

— Я, право, еще не знаю сама... Я посмотрю.

— Ни жнаете?.. — продолжает допытываться еврей. — Ни уф кому не пишали? Ни ждуют?

— Нет, меня никто не ждет!..

— На удалую жначит?.. — улыбается он своим беззубым ртом. — Ничево!.. Не бойтешь!.. Выручим!.. Коли шчет деньгам жнаете, наведайтешь в мою банкирскую контору: Шлеменсон и Компания, уф Невского проспекта. Вот этого карточку пришылайте!..

И он сует ей в руку свою карточку.

Блондинка поднимает на него благодарный взор.

— Когда можно... прислать?.. — спрашивает она, захлебываясь от восторга.

— Жачем пришлатъ? Шами заходите!.. Контору жапирают уф шесть чашев!.. Я швободен!.. Карточку подадите... проведут!.. — бросает он ей на прощанье и прежними скользящими, неслышными шагами возвращается на место.

Немец давится приступом кашля и брызжет как фонтан.

Гвардейцы возвращаются и молодецкато помогают своей попутчице устроиться с багажом.

Красивый джентльмен стоит в дверях и смотрит на всех не то с тоской, не то с горькой усмешкой.

Артельщик крестится на мелькающие уже вблизи кресты церквей.

Под сводом дебаркадера виднеется толпа встречающих.

МЕЛКИЕ РАССКАЗЫ

(СЮЖЕТЫ ЗАИМСТВОВАНЫ)

Бессилие искусства

(Драма в цирке)

— **О**, это просто дело упражнения и привычки — вот и все! — сказал мне старый жонглер. — Конечно, надо иметь и некоторую способность, крепкие, здоровые пальцы, а главное условие — это терпение и ежедневная работа в течение многих лет.

Подобная скромность меня удивила, тем более, что среди жонглеров, кичащихся, по обыкновению, своей ловкостью, он положительно на целую голову выдавался своим искусством. Я, по крайней мере, не встречал более ловкого.

Нет сомнения, что все часто видели не только в цирках, но и даже в убогих балаганах, исполнение заурядного фокуса, состоящего в том, что мужчина или женщина становится спиной к экрану с распростертыми крестообразно руками, жонглер же мечет издали ножи, вонзающиеся в дерево между пальцами рук и вокруг головы стоящего.

Этот фокус в сущности не представляет из себя ничего особенного. Быстрота ударов, сверкание клинков, живая цель — придают только наружный вид некоторой опасности фокуса, на самом же деле ножи весьма мало смертоносны и вонзаются на значительном расстоянии от цели.

В данном случае было не так. Тут не было ни тени плутовства. Ножи были отточены, как бритва, и старый жонглер ловко вонзал их, совсем близко у тела своей живой цели, в самые углы между пальцами руки, окружал голову и шею узким кольцом, так что человек, стоящий у экрана, не мог пошевелить головой, не рискуя порезаться.

Поразительнее всего было то, что старый жонглер проделывал все это, не глядя на свою живую цель: его лицо было закрыто маской из провощенной плотной материи, без малейших отверстий для глаз.

Понятно, что, как все выдающиеся художники, он не был понят толпой, смешивавшей его с обыкновенными фокусниками. Его маска в глазах толпы служила только доказательством несомненного плутовства.

— Он нас считает за круглых дураков, — думали зрители. Точно на самом деле можно целиться, не глядя.

Напрасно старый жонглер каждый раз перед представлением давал осматривать свою маску публике. Последняя не могла заметить обмана, но тем не менее продолжала считать себя обманываемой.

Только я один угадал в старом жонглере выдающегося артиста и был глубоко убежден, что он был чужд всякого обмана. Я высказал это ему вместе с удивлением к его искусству. Он был тронут отданной ему справедливостью. Таким образом, мы сделались друзьями и он мне скромно объяснил истинный секрет этого фокуса, непонятый толпой.

Секрет этот весь заключался в следующих простых словах:

— Быть немного способным и работать в течение многих лет каждый день.

На мою уверенность в отсутствии тени плутовства в его искусстве старый жонглер сказал мне:

— О! да, да, вы правы, вы совершенно правы. Мне даже невозможно плутовать. Невоз-

можно настолько, что вы не можете даже себе представить. Если бы я вам только рассказал? Но к чему?..

На его лицо набежала тень. Мне показалось, что крупные слезы блеснули в глазах жонглера. Я не смел настаивать на откровенности, но, вероятно, мой взгляд был не настолько скромн, как мой язык. Его-то молчаливой просьбе и уступил старый жонглер.

— Впрочем, почему бы мне и не рассказать вам? Вы, вы поймете меня... Она, она хорошо поняла... — прибавил он почти свирепо.

— Кто она? — спросил я.

— Моя жена, будь она проклята! — отвечал он. — О, какое это отвратительное создание, если бы знали! Она поняла, даже слишком хорошо поняла! Этого-то я ей простить не могу! Она меня обманывала, но это так естественно со стороны женщины — это еще можно простить. Но что касается до остального — это уже преступление, ужасное преступление.

Его жена была той самой женщиной, которая каждый вечер служила ему живой целью.

Ей было лет сорок, она была, видимо, когда-то хорошенькой, но с вульгарными черта-

ми лица: курнобая со злыми глазами, с чувственным, но вместе с тем и неприятным ртом с выдававшейся вперед нижней губой.

— Я заметил несколько раз, что при каждом брошенном ее мужем ноже она смеялась едва слышным, но очень выразительным смехом, смехом горьким и звучащим насмешкой.

Я приписывал этот смех подробности исполнения номера.

— Это условлено между ними, — думал я, чтобы сильнее оттенить возможную опасность, презрение к этой опасности, в силу уверенности в меткости метальщика.

Мне только что пришел на память этот смех, как старый жонглер начал снова:

— Ее смех, — конечно, вы слышали его?.. Ее злой смех, которым она дразнит меня, ее подлый смех, который доводит меня до бешенства. Именно подлый, так как она хорошо знает, что с ней ничего не может случиться, ничего, не смотря на то, что она этого вполне заслуживает, несмотря на то, что я должен был бы это сделать, несмотря, наконец, даже на то, что я хочу это сделать.

— Что же вы хотите?

— Боже, неужели вы не догадываетесь — я хочу ее убить.

— Убить за то, что она вас...

— За то, что она меня обманывала? — перебил он меня. — О нет! Не за то, повторяю вам. Но самое худшее это то, что когда я первый раз простил ее и когда я сказал ей, что тем не менее я мог бы отомстить за себя, зарезав в один прекрасный день ударом ножа, не показавши даже вида, что сделал это нарочно, но как бы по несчастью, по неловкости.

— Вы ей это сказали?

— Да. И я думал об этом. Я думал, что могу это сделать. Я, кроме того, имел на это полное право. Это было так просто, так удобно, так соблазнительно. Подумайте только. Один неправильный удар, только на один сантиметр — и ее сонная артерия перерезана. Мои ножи режут так хорошо. Порез сонной артерии смертелен. Ее — моей жены — не существует, а я, я отомщен.

— Это верно, убийственно верно! — заметил он.

И без всякого риска для меня — не правда

ли? — продолжал он. Несчастье — вот и все, случайность, промах, как это часто случается в нашем ремесле. За что меня обвинили бы? Кто подумал бы даже меня обвинить? Нечаянное убийство — это немного. Меня скорее бы пожалели, нежели обвинили! Моя жена! Моя бедная жена, сказал бы я, рыдая. Моя жена, которая была для меня так необходима, которая играла главную роль в моем заработке. Поверьте, меня только бы пожалели бы!

— Без всякого сомнения.

— И какое бы это было мщение, лучшее из всех практиковавшихся мщений, с обеспеченной безнаказанностью.

— Конечно!

— И когда я ей это сказал, как теперь говорю вам, с непоколебимой решительностью в голосе, с угрозой, готовой перейти в немедленное исполнение, разозленный до бешенства, знаете ли вы, что она ответила мне?

— Что вы честный человек, что у вас не хватит на это злой воли...

— Не то, не то! Я совсем не такой честный человек, как вы думаете. Я не боюсь крови. Я ей это когда-то доказал. Для вас безразлично,

как и когда. Но она — она знает это. Она не сомневается в том, что я способен на многое, даже на преступление.

— И она не ужаснулась?

— Нет! Она мне просто ответила, что я не буду в состоянии сделать то, что говорю. Понимаете ли вы, что я не смогу сделать...

— Почему?

— Вы не понимаете ничего! Объяснил же я вам, сколько времени и терпения потратил я на ежедневные упражнения в метании ножей, не глядя...

— Ну так что же?

— Вы, значит, не понимаете того, что она так ужасно быстро поняла! Вы не понимаете, что моя рука теперь не слушается меня, если бы я даже заставлял ее сделать неправильный удар.

— Не может быть?!

— Увы, это правда. Я на самом деле хотел исполнить задуманную месть, которую считал такой простой и удобной. Уверившись в неискоренимости виновной, я решился несколько раз убить ее. Я прилагал всю мою ловкость, все мои усилия, чтобы сделать от-

клонение в ударе на один сантиметр — этого было бы достаточно, чтобы перерезать ей шею. Я хотел, старался, но не мог, не мог никогда, никогда... Ее подлый смех звучал в моих ушах всегда, всегда...

Со скрежетом зубов, обливаясь слезами, он добавил:

— Она меня знает, она хорошо знает, что я бессилен в своей ловкости, в своем искусстве!

Исповедь (Этюд)

I

Он и она, вот как я буду обозначать героев моего настоящего рассказа, во избежание разных придумываемых имен, вроде Ивановых, Петровых, и нисколько не желая называть их настоящими именами, так как рассказ этот не вымышлен и, против моего обыкновения, далеко не забавен: лица могли бы быть указаны, а я положительно враг всяких разоблачений и коварной маскировки, из-под которой видна часть лица. Герой мой известный художник, постоянный баловень судьбы, женщин, любимец молвы, увенчанный лаврами и славой. Поклонение, почести, льсти-

вые речи, нежный шепот, постоянное общество женщин, вот атмосфера, в которой он жил, которую он любил и которая ему не придалась, — образ жизни, пожалуй, довольно банальный, но восхитительный! Что влекло к нему женщин? Любопытство? Любопытство ли, истинное ли чувство, может, и то, и другое вместе — ответить трудно, только они, как бабочки на огонь, со всех сторон летели к нему и своим лепетом навевали упоительные грезы на его венчанное лаврами чело.

Она явилась к нему не так, как другие, не поклонницей его таланта, не с льстивыми речами и нежным взором, а с первого раза просто, без малейшего кокетства, с каким-то чудовищным, но вместе с тем благородным цинизмом потребовала она от него стать ее любовником. Женщина света, рано, еще почти ребенком выданная против воли замуж за человека гораздо старше себя, который был ей мужем только по имени, она жаждала изведать все радости любви и взять свою долю счастья на пиру жизни. Взять в любовники кого-нибудь из окружающих ее, спуститься до первого встречного, она не могла, а потому и

выбрала его, желая заставить себя простить себе свой поступок ради гения любимого человека и ставя таким образом честь своего имени под охрану его чести и имени. Какой другой ответ мог он дать этой удивительной женщине, манящей его к себе своей строгой и вместе с тем вызывающей красотой, как не упасть к ее ногам и не покрыть поцелуями маленькие ручки, которых у него не отнимали.

II

Счастье, полное счастье, основанное на взаимном доверии, уважении и любви, было результатом этого союза. В одном из самых отдаленных уголков Петербурга, где еще встречаются сады с вековыми деревьями и роскошной растительностью, нанял он на чужое имя помещение и со свойственным ему вкусом обратил его в один из тех восхитительных уголков, где время, кажется, летит чересчур быстро, где ничто не нарушает нетерпения ожидания и громко раздается последний поцелуй прощания. Тут принимал он ее и тут нашел свое счастье. Она не солгала, когда просила научить ее любви. Невин-

ной, чистой, девственно-прекрасной досталась она ему. Безмерное наслаждение первому сорвать этот цветок чистоты, посвятить ее мало-помалу во все тайны неги, очарование поцелуев выпало ему на долю, а многие ли находят эту полноту обладания даже в браке, где согласие большей частью синоним покорности, переходящей постепенно в привычку. И он блаженствовал, упиваясь всею сладостью святотатства и тысячью восхитительных профанаций этой чистоты, но божество по-прежнему оставалось неизменно чистым в его глазах. Об упреках, угрызениях совести не могло быть и речи. Что им было за дело в чужду их благополучия до остального мира и что мог весить остальной мир на весах, где любовь служит противовесом. Все, что она требовала, что искала в жизни, — друга для сердца и для чувств, — все это нашла она в нем и отдалась безраздельно. Ему, лично ему, человеку, жившему, страдавшему и помнившему это страдание, такая беззаветная полная отдача своего «я», конечно, была немислима; нежное, часто почти родительское чувство, совсем новое для него, испытывал он к этой

женщине и благодарил судьбу, пославшую ему такую удивительную любовницу.



Более года прошло этого ничем невозмутимого, спокойного, как гладкая в хорошую погоду поверхность озера, счастья. Что может быть иначе, что такой образ жизни не в порядке вещей, им не приходило и в голову, а между тем несчастье подстерегало их.

Однажды более чем когда-нибудь влюбленный и нетерпеливый, с большим букетом ее любимых бледных роз в руках, с горячими поцелуями на устах поджидал он ее в своем укромном гнездышке, заранее предвкушая все радости свидания, так лучезарно озарявшие однообразие жизни, но она медлила.

Наконец у дверей раздались шаги, но шаги были не ее; дверь отворилась, но вошла не она. На пороге, тихо затворив за собой дверь, стоял священник в черной рясе. Предчувствие какого-то большого несчастья, чувство неизъяснимой тоски охватило его вдруг; он знал, он угадывал, что дело касалось ее, а между тем спросить не хватало сил; священник тоже молчал, очевидно, сам смущенный

своим поручением.

— Я духовник господина X. - начал наконец новоприбывший. Художник глядел на него, ничего не понимая. — Господин X. умирает, — продолжал тот, — через несколько часов его не станет. Пачка писем, которую он нашел у жены, имя автора которых неизвестно, но все между тем заставляет предполагать, что это вы, дает повод думать, что госпожа X. ему изменяла. В случае, если бы это оказалось верно, господин X. твердо решил уничтожить совершенное в ее пользу завещание и все свое состояние отказать на церкви и богоугодные заведения. Я должен буду подписаться под этим новым завещанием, но совесть моя запрещает мне быть исполнителем подобного желания, может быть, несправедливого, если бы госпожа X. оказалась безвинно оклеветанной. Обращаюсь к вам, так как вы один можете решить этот вопрос, и не как служитель алтаря, а просто как честный человек взываю к вашей чести и прошу сказать мне правду.

И медленно скрестив на груди руки, священник терпеливо стал ждать ответа.

IV

Растерянный, глубоко пораженный, стоял он, не смея поднять глаз на говорившего. Что совершилось, что происходило в нем, чем и как мог этот смиренный, но торжествующий и величавый в своем смирении служитель церкви вызвать всю бурю чувств, происшедшую теперь в его душе? Стыд ли своей внутренней грязи и сознание неизмеримого расстояния между собой и этим не от мира сего человеком уничтожали его. Весь его скептицизм, выработанный опытом жизни и чтением философов, отодвигался на задний план, умолкал перед великодушием поступка: его постоянная прежде насмешка над алчностью духовенства не оправдывалась, не находила себе места. Луч ли веры, освещавший его молодость и заставлявший некогда горячо молиться в деревенской, позолоченной отблесками угасающей вечерней зари церкви, снова закрался ему в душу, или мысль, как молния сразившая апостола Павла по дороге в Дамаск, промелькнула в уме и указала на единственный, отчаянный исход спасти горячо, безумно любимую женщину — сказать

мудрено, но чудо совершилось, и вольнодумец-артист медленно опустился на колени перед священником и голосом далеко неприговорным сказал:

— Прошу вас выслушать мою исповедь, отец мой.

Без малейшего признака, как человек, привыкший ко всякого рода неожиданностям, священник осенил себя крестным знамением и приготовился слушать. Затем наступила глубокая тишина, прерываемая шепотом кающегося да тиканием часов, еще накануне звонивших им часы любви в этом очаровательном уголке неги, с застывшими, казалось, в воздухе отзвуками страстных поцелуев.

V

Приняв благословение, печальный, с опущенными глазами, встал он на ноги, но вдруг поднял голову и поглядел прямо в лицо духовника:

— Знаете ли, — начал он, — что вы обязаны забыть все, что слышали на духу, и что религия запрещает извлекать из узанного какие бы то ни было мирские выгоды?

— Я знаю это, милостивый государь, — ответил просто священник и, вежливо раскланявшись, вышел.

Господин Х. умер несколько дней спустя.

Госпожа Х. унаследовала все его состояние.

Кто в силах объяснить честные порывы истинно благородных душ?

Он никогда не хотел больше с ней видеться.

В цирке (вечерняя фантазия)

Как различны по возрастам впечатления прочитанного, слышанного и виденного!

Я помню, в детстве меня возили в цирк.

Сколько радости, сколько удовольствия!

В юности я тоже посещал его и посещал часто — меня тянули туда грация движений наездниц, смелость акробатов, торжество дрессировки животных венцом творения — человеком...

Наступили более зрелые годы — я изредка и лишь случайно заходил в цирк.

Теперь я не хожу туда вовсе. Почему?

Я помню, когда последний раз был я там, меня посетили очень странные мысли...

Дошла очередь — я живо припоминаю это — до последнего номера программы — укрощения львов.

На арену вывезли на колесах громадную железную клетку. В ней быстро ходили взад и вперед, издавая глухое рычание, потрясая гривами и сверкая глазами, три молодых африканских льва.

Они как будто рассуждали сами с собой, и мне казалось, по разнообразному тону их рычания, что эти рассуждения были разные темы.

Один, — я понимал их, — говорил:

— Кто смеет приказывать мне? Перед кем склоню я голову и на кого не выпущу когтей? Я уйду, только меня и видели! Я сломаю все запоры, я пробегу неизмеримые пространства и достигну моей далекой родины — тихой пустыни. Там, где газели, которыми я полакомлюсь, пьют у ручья, где и я утолю свою жажду, меня ждут, нежась на раскаленном песке, прекрасные молодые львицы с шелковистой шерстью, с глазами, горящими зеленым огнем. Я испущу радостный крик любви, и на мой зов откликнется та, которая любит меня.

Мы пойдём с ней вдвоем по обширной пустыне, опалённые солнцем, счастливые, свободные. Отдавшись первым восторгам любви, облизывая губы, окровавленные счастливой добычей, мы сладко заснём, и лишь луна, испуганная и очарованная, будет созерцать с безоблачного неба этот супружеский сон царственной четы пустыни...

Другой более резким тоном строил другие планы:

— Кто думает подчинить меня? Перед кем склонится моя гордая воля? Сейчас схвачу я зубами решетку, замки и разгрызу их легче, чем ребенок щёлкает орехи. Но я не удалюсь в тишину и покой пустыни, я побегу в города, где мои собратья изнывают в неволе, где их осмеливаются выставлять на показ для забавы. Я разрушу все клетки и освобожу несчастных узников. Нас будут десятки, сотни, тысячи, и только тогда, когда на всем земном шаре не будет ни одного льва в заключении, только тогда возвращусь я в родные страны, освобождённый и освободитель, с радостью в сердце, как подобает царю-победителю, возвращающемуся в свое отечество во главе

освобожденного народа.

Третий мечтал об ином:

— Пусть не стараются поработить меня! Это потеря времени! Ни один взгляд не заставит меня потупить взора! Одним ударом моей могучей лапы я сломаю вдребезги и дерево, и железо моей тюрьмы, все превращу в щепки и в прах. Но я жажду свободу не для наслаждений любви и не для достижения славы освободителя поработенных собратьев. Нет, совсем нет. Я уйду в самую отдаленную, неизвестную ни людям, ни львам. Там я буду жить один, созерцая вокруг себя лишь безграничные пространства: пустыню, море и небо. Я буду меняться взглядами только со звездами. Наконец, состарившись среди этой обворожительной беспредельности, я умру, склонив голову на лапы, в виду заходящего солнца.

Так — казалось мне — думали вслух эти три молодых льва, заключенные в клетке, стоявшей на арене, когда в быстро отворенной дверце появлялась укротительница.

Она не выдавалась ни силой, ни красотой, худая, бледная, истомленная, одетая в трико с блестящим шитьем.

В правой руке она держала небольшой бич, которого едва ли бы испугалась и маленькая собачка.

Но как только они ее увидели, эти три диких льва, так перестали рычать и, поджав хвосты, сбились в кучу в противоположном углу клетки. Одно мгновение в их глазах блеснул было злобный огонек, но она хлопнула бичом и они присмирели. Под взмахами этого же бича она заставила их прыгать через барьеры и в кольца.

Тот, который, влюбленный в дикую львицу, жаждал лизать окровавленные губы, лизал руки укротительницы. Замышлявший освободить всех трех львов, укусил, подобно хорошо дрессированной собаке, одного из своих товарищей, замедлившего дать лапу, а мечтавший умереть, созерцая заходящее солнце, задрожал всем телом при холостом выстреле пистолета.

Наконец представление кончилось. Укротительница, выходя из клетки, бросила львам по куску мяса. Они зажав его в лапы, стали пожирать, видимо довольные, с потухшим взором.

Не то же ли бывает с людьми?

— Эти три льва, — не чудные ли мечты юности: страстной любви, жажды славы, возвышенных стремлений?

Но... надо есть!

Укротительница — это жизнь.

Вот каковы были мои мысли — и я перестал ходить в цирк.

Портрет (Этюд)

— Берсенев! — раздался около меня чей-то голос. Я обернулся посмотреть на того, кто носил такую фамилию: мне давно хотелось познакомиться с этим знаменитым петербургским Дон-Жуаном.

Он был уже не молод. В волнистых волосах на голове и длинной бороде, ниспадавшей на грудь, пробивалась маленькая седина, что очень шло к их темно-каштановому цвету. Он разговаривал с какой-то дамой, слегка наклонившись к ней; его тихий грудной голос всецело гармонировал с его ласковым взглядом, полным изысканной почтительности.

Я знал, по слухам, его жизнь. Он был много раз любим безумно, и много светских дам бы-

ло связано с его именем. О нем говорили, как о пленительном человеке, перед обаянием которого устоять было невозможно. Когда я спрашивал о нем женщин, более других рассыпавшихся ему в похвалах, с целью узнать от них причину его притягательной силы, они мне отвечали всегда после некоторого раздумья:

— Как вам сказать... я не знаю... но он очарователен.

Между тем он совсем не был красив. В нем, казалось, не было ни одного из тех качеств, которыми, по общему установившемуся мнению, должны обладать победители женских сердец. Тогда я спрашивал себя, в чем же заключается это его обаяние? В уме его?.. Мне никогда не доводилось слышать повторенными его слова, и никто не восхвалял его ум или даже остроумие... Во взгляде?.. Может быть... Или в его голосе?.. Голоса иных людей звучат такой негой, такой притягательной прелестью, что слушать их доставляет истинное наслаждение.

Мимо меня прошел один из моих друзей. Я окликнул его.

— Ты знаком с Берсеньевым?

— Да.

— Познакомь меня?

Через несколько минут мы уже обменялись пожатиями рук и беседовали в дверях танцевального зала.

Его речь была умная, меткая, с красивыми оборотами, но в ней ничего не было особенно выдающегося. Голос, на самом деле, был прелестный: нежный, ласкающий, гармоничный; но я слышал голоса более захватывающие, сильнее проникающие в душу, я внимал ему с удовольствием, как бы прислушиваясь к журчанию ручейка, совершенно спокойно, так как, чтобы следить за его речью, не требовалась ни малейшего напряжения мысли, ничего неожиданного не подстрекало любопытства слушателя и не возбуждало томительного интереса. Его разговор скорее успокаивал нервы, чем возбуждал их, так как не зажигал ни желания возразить ему, ни с увлечением согласиться с ним.

Отвечать ему было так же легко, как и слушать. Ответ сам просился на язык, как только он умолкал, и слова лились, как будто то, что

он сказал, само собой вызывало их.

Меня поражала одна мысль. Я был знаком с ним всего каких-нибудь четверть часа, а между тем мне казалось, что мы старые друзья, что все в нем мне уже давно известно: его лицо, его жесты, его глаза, его мысли.

После нескольких минут разговора с ним, я уже считал его настолько близким себе человеком, что готов был посвятить его во все сокровенные тайники моей души.

Положительно, в этом была какая-то тайна. Тех преград, существующих вначале между всеми людьми, уничтожающихся одна за другой лишь с течением времени, при известной доле взаимной симпатии, при одинаковых вкусах и одинаковом развитии, совершенно не существовало между ним и мною и, весьма вероятно, между ним и всеми, как мужчинами, так и женщинами, которые сталкивались с ним в жизни.

Через каких-нибудь полчаса мы расстались, обещав друг другу видеться как можно чаще; он дал мне свой адрес и пригласил позавтракать у него на другой день.

Позабыв назначенный час, я явился рань-

ше; его не было дома. Лакей отворил мне дверь, проводил меня через залу в гостиную, тонувшую в полумраке от тяжелых занавесей и портьер, но уютную и укромную. Я сразу почувствовал себя в ней, как у себя дома. Сколько раз я замечал влияние обстановки на состояние духа посетителей. Существуют комнаты, в которых чувствуют себя глупыми; в других, напротив — остроумными. Иные наводят грусть, несмотря на то, что светлы и блестящи: другие же — веселят, хотя в них преобладают темные цвета. Наш глаз, как и наше сердце, имеет свои симпатии и антипатии, которыми не делится с нами, но сообщает их совершенно неожиданно нашему настроению. Обстановка производит впечатление на нашу нравственную природу, как воздух лесов, моря или гор на физическую.

Я сел на диван и совершенно утонул во множестве подушек. Мне показалось, что этот диван именно был сделан для меня, исключительно по моему личному вкусу.

Я стал осматриваться кругом. Не было ничего кричащего, бросающегося в глаза. Все чрезвычайно скромные, но дорогие вещи,

редкая старинная мебель, занавеси из восточной материи и женский портрет на стене. Поясной портрет небольшой величины. Изображенная на нем женщина была причесана гладко и скромно, с почти печальной улыбкой на устах. Вследствие ли этой прически, или же поразившего меня выражения ее лица, но никогда еще не один портрет женщины не казался мне более уместным, как этот, — в этой квартире. Почти все те, которые я видел прежде, изображали женщин в изысканных нарядах, тщательно причесанных, или же в рассчитанном неглиже, но всегда с выражением лиц, красноречиво говорящих, что они позируют не только перед художником, их рисующим, но и перед всеми теми, кто будет смотреть на их портреты.

Иные были изображены во весь рост, во всей их роскошной красоте, с горделивым выражением лица, которого не могли сохранять постоянно в обыденной жизни; другие казались жеманными даже на мертвом полотне; и у всех было что-нибудь: цветок, брошка, складка платья или губ, написанные художником для эффекта. Сняты ли они в шляпе, с

кружевами на голове, или же простоволосые, — в них всегда сыщется что-нибудь неестественное. Что именно? Это трудно определить, особенно, когда не знаешь оригиналов, но это чувствуется. Они кажутся приехавшими в гости к людям, которым они хотят нравиться и показываются во всем своем блеске; и они усвоили себе, изучили те или другие манеры, то скромные, то напыщенные.

Что же сказать о той, которая была предомной теперь? Она казалась у себя, и одна. Да она одна, так как она улыбается, как улыбаются только наедине, вспоминая о прошлом, отчасти грустно, отчасти нежно, но не так, как улыбаются в присутствии посторонних. Она казалась настолько одинаковой и находящейся у себя, что вносила во всю эту большую квартиру впечатление какой-то странной пустоты. Она жила в ней, наполняла и оживляла ее одна, в комнате могло быть множество народа, все могли говорить, смеяться, даже петь, но она всегда казалась одна, с ее улыбкой одиночества, а между тем одна она могла и оживлять эту комнату своим взгля-

дом с портрета.

Этот взгляд был устремлен в пространство. Он, пристальный и ласкающий, покоился на мне, но не видал меня. Все портреты знают, что их будут созерцать, и отвечают глазам глазами, которые неотступно следят за нами, с момента нашего входа и до нашего выхода из комнаты, где они находятся.

Этот же портрет не видел меня, не видел ничего, несмотря на то, что его взгляд прямо направлялся на меня.

Я припомнил слова цыганского романса:

*«Так взгляни ж на меня
Хоть один только раз:
Ярче майского дня
Чудный блеск твоих глаз».*

Эти глаза влекли меня к себе с непреодолимой силой, волновали, заставляли переживать какое-то новое неиспытанное мною ощущение — эти жившие, а, быть может, еще живущие нарисованные глаза. О, какое было в них бесконечное очарование! Они были пленительны, как небо, подернутое розовато-голубыми сумерками, и немного печальны, как ночь, которая следует за этими сумерками, и,

казалось, сходит теперь из этой темной рамы, из глубины этих непроницаемых глаз. Эти глаза, созданные несколькими взмахами кисти, носили в себе тайну той неведомой, но несомненно существующей силы, которой порой обладают глаза женщины и которая способна зародить в нашем сердце чувство любви.

Дверь отворилась. Вошел Берсенев. Он извинился, что опоздал; я со своей стороны извинился, что пришел слишком рано. Затем я спросил его:

— Это не будет нескромностью, если я спрошу у вас: чей это портрет?

Он отвечал со вздохом:

— Это портрет моей матери, умершей в ранней молодости.

Я понял тогда причину необъяснимого обаяния, производимого на окружающих этим человеком.

Петербургская субретка (одна из столичных метаморфоз)

Андрей Николаевич Загорский только что проснулся, когда ему доложили, что его дожидается в передней горничная г-жи Ма-

левской.

Загорский был одним из видных представителей «золотой» или, вернее, «золоченой» молодежи.

Последнее название ближе к истине уже потому, что золота в карманах этой молодежи, сравнительно с широкой жизнью, бывает зачастую весьма немного, — ее спасает «обширный кредит», но, конечно, спасает до поры до времени.

Счастливым подчас улыбается отдаленное наследство.

В таком положении находились денежные дела и Андрея Николаевича.

Небольшое заложенное имение в Рязанской губернии было единственным его достоянием. Конечно, от продажи его можно было получить довольно порядочную сумму, но это имение служило краеугольным камнем кредита, оказываемого Загорскому «петербургскими благодетелями», и продажа его представилась делом рискованным, делом крайности.

Тем более что у Андрея Николаевича в запасе был богатый и старый дядя, отставной

военный, хотя еще бодрый, молодящийся старик, но не могущий же прожить два века.

Так соображал племянник — его единственный наследник.

А потому мысль о продаже имения, хотя и приходившая в голову Загорскому, в силу этих соображений откладывалась.

По наружности Андрей Николаевич представлял из себя благообразного шатена с гладко причесанными волосами, с коротко подстриженной бородкой «а la Boulanger». Среднего роста с усталыми, не особенно умными глазами, всегда изящно одетый, он ничем не отличался от сотни других петербургских джентльменов, шлифующих в урочный час панели Невского проспекта — этих, по меткому выражению поэта, «детей вековой пустоты и наследственной праздности».

Накинув свой изящный шелковый халат, Загорский приказал лакею позвать к нему раннюю гостью.

— А, Лидия! — воскликнул он. — Письмо от Натальи Петровны?

Он протянул даже руку.

Наталья Петровна Малевская была хоро-

шенькая и молоденькая светская женщина — жена одного из приятелей, даже друзей Андрея Николаевича, что, впрочем, не мешало ему быть с ней в интимной переписке, причем горничная Малевской — Лидия, служила для них уже в течение года верным почтальоном.

— Нет, не письмо, — смущенно произнесла хорошенькая горничная, Наталья Петровна мне отказала...

— Отказала! — повторил он.

Это его смутило — Лидия была такая преданная.

— За что? — спросил он.

— Барыня меня заподозрила...

— В чем?

— Относительно барина...

— Относительно Сергея? — так звали Малевского. — Вот как! Ха-ха-ха! Ну и что же?

Лидия опустила глазки.

— Я не могу жаловаться на Наталью Петровну. Она обошлась со мной ласково, без крика, она сказала мне только: «Я даю тебе два часа, чтобы ты могла уложить свои вещи и уехать!» Рассчиталась она со мной тоже

очень хорошо...

— Что же вы хотите от меня? Согласитесь сами, что просить за вас Наталью Петровну немножко не... удобно...

— Я и сама это очень хорошо понимаю, Андрей Николаевич, только я служила вам целый год верой и правдой... У вас знакомых целый город, — все господа хорошие...

— А у вас есть рекомендация?..

— Ни одной! Мне все барыни по злости отказывали: из-за своих мужей...

Лидия снова опустила глазки.

Загорский внимательно осмотрел ее с головы до ног.

Лидия была прехорошенькой девушкой, с густыми каштановыми волосами, высокая, стройная. Это был тип избалованной субретки.

— Ваш паспорт? — сказал он.

Она быстро сунула руку в карман дипломата и подала синенькую книжечку.

Такие книжечки выдаются С.-Петербургским градоначальником только дворянам.

Это его удивило.

Загорский развернул книжечку. Лидия

оказалась дочерью поручика.

— Э! Да вы дочь бедных, но благородных родителей!

— Как же с, мой папенька был офицер, моя маменька...

— Довольно. Вы дитя несчастья.

У него блеснула мысль.

У вас есть, конечно, шляпка?

— О, да...

— В таком случае садитесь и подождите меня здесь, — сказал он, возвращая ей паспорт.

Он прошел в кабинет и сел за письменный стол.

Загорский решил привести в исполнение мысль, блеснувшую у него во время рассмотрения паспорта Лидии.

Среди его знакомых была одна барыня, — Ольга Николаевна Меньшова, жившая отдельно от мужа, служившего где-то в провинции и аккуратно высылавшего ей ежемесячное содержание.

Ольга Николаевна любила окружать себя хорошенькими лектрисами; устройство дальнейшей судьбы этих лектрис составляло ее

специальность.

Андрей Николаевич бывал у Меньшовой редко, но всегда, как человек, по-видимому, богатый, являлся желанным гостем.

К ней-то и решился Загорский направить Лидию. Вращавшаяся совершенно в ином кругу, нежели тот, в домах которого последняя служила в горничных, Меньшова не могла знать прошлого рекомендуемой особы.

Загорский принялся за письмо:

«Дорогая Ольга Николаевна!»

«Подательница письма дочь одного из друзей моего покойного отца круглая сирота, судьба которой достаточно печальна, чтобы вызвать сострадание доброго сердца.

Я знаю, что вы обладаете таким сердцем. Притом вы любительница хорошеньких; моя протеже не из числа тех, которые остаются незамеченными, в чем вы, конечно, сами убедитесь, а потому я надеюсь, что, посылая ее к вам, я тем самым кладу первый камень в основание устройства ее жизненной карьеры — вы же довершите здание».

— Вот письмо, с которым вы отправитесь на Малую Итальянскую, дом номер 17, к гос-

поже Менъшовой.

— Она замужем?

— Да, но мужа здесь нет, вы поступите к ней не в камеристки, а в компаньонки или лектрисы. Ах, черт возьми, забыл? Умеете вы читать и писать?

— Да.

— Смотрите — о прошлом ни полслова!.. Держите ухо востро. Сочините какую-нибудь жалостную историю насчет любви и помните, что вы круглая сирота... Поняли?

— Поняла...

— А в награду... поцелуй...

— Ах, что вы...

Время шло. Андрей Николаевич в вихре светской жизни совершенно забыл Лидию и сорванный поцелуй. Уже около года, как он потерял ее из виду, ни разу не заехав к Ольге Николаевне.

Впрочем, Загорскому за последнее время совсем было не до Лидии, не до Менъшовой. Несколько его векселей поступили в протест; кредиторы становились все назойливее и назойливее; без залога ни за какие проценты никто не верил. Вся надежда покоилась на дя-

дюшке, на его отправлении в лучший мир... Если эта надежда обманет, продавай Рязанское имение, а там, хоть в петлю.

Погруженный в соображения: «где прихватить?», Загорский в обычный час шел по Невскому. Его внимание остановилось на изящной, совершенно новенькой «с иголочки» коляске, запряженной парой вороных.

Коляска подкатила к магазину Антонова на углу Михайловской улицы и из нее выпорхнула на панель изящно одетая барыня.

Загорский как раз проходил мимо. Барыня, увидав его, приостановилась.

Он не мог прийти в себя от удивления — это была Лидия.

Она узнала своего благодетеля.

Загорский подошел к ней; они разговорились. Лидия сообщила ему, что нашла себе покровителя, человека пожилого, но очень богатого, который ее страшно балует.

— Я обязана всем этим — она глазами показала на свой туалет и коляску — все-таки вам. Мы встретились с ним у Ольги Николаевны.

— Прекрасно, — воскликнул Андрей Нико-

лаевич, — значит, за вами, Лидия, шампанское!

— Ах он меня любит, так любит, — продолжала болтать Лидия, — что если бы...

Лидия остановилась.

— Что такое «если бы», — не понимаю.

Лидия, смеясь, прошептала что-то на ухо Загорскому.

— Так зачем же дело то стало?

— Невозможно! В его лета...

— Ну хорошо, Лидия, я вам и теперь помогу советом!

На этот раз он что-то начал шептать Лидии.

— Подумаю... однако же, прощайте...

— Прощайте и помните: маленькие рожки ведут к большому благополучию.

Молодые люди, смеясь, расстались.

Прошло более полугода.

Загорский в последнее время был как на ножах; для него разрешалось гамлетовское «быть или не быть»; при каждом визите к дяде старый лакей Иван сообщал ему, что барин нездоров и не может принять его. Загорский с наслаждением потирал руки: махну тогда за

границу, в Париж... О, Господи, поскорей...

В одно прекрасное утро, когда Андрей Николаевич сидел дома, весь погруженный отчасти в сладостные мечты о Париже, отчасти — в горестные думы на тему: ни один дьявол денег не дает, — к нему явился все тот же Иван с письмом от дяди.

От волнения у Загорского даже задрожали руки, когда он распечатывал конверт.

Он стал читать:

*«Дорогой племянник!
Извини меня, что я не принимал тебя последнее время. Я не был особенно болен, но зато был очень занят. Мне нужно устроить судьбу дорогой для меня особы. Около года тому назад я заехал к Ольге Николаевне, и она представила меня прелестной девушке, дочери приятеля моего брата, а твоего отца и рассказала ее печальную историю. Она круглая сирота, ставшая жертвой гнусной западни одного негодяя»...*

Андрей Николаевич тяжело задышал, крупные капли пота выступили на его лбу.

«Такая судьба тронула меня до глубины души. Она была прелестна, но, окруженная ореолом несчастья, казалась еще прелестнее. Ты помнишь: «Любви все возрасты послушны». Я полюбил ее и не раскаиваюсь. Для меня началась вторая жизнь... О если бы ты видел, как она ласкает мои седые волосы... Скажу тебе на ушко: через несколько месяцев я надеюсь быть счастливым отцом, а я хочу, чтобы ребенок был законным.

*«Надеюсь, что ты не откажешься быть моим шафером.
Твой дядя и друг.
Михаил Загорский.*

Р. С. Мою будущую жену зовут Лидия — не правда ли прелестное имя?»

Письмо упало из рук Загорского; он долго не мог придти в себя.

— Придется продавать Рязанское имение! — были первые слова, вырвавшиеся у Андрея Николаевича.

Первая подлость (рассказ)

— Ты там что ни говори, мой милый, — заплетающимся языком ораторствовал Коко Вельяшев, видимо усердно вкусивший от яств и в особенности питей, остатками которых в изобилии был уставлен стол отдельного кабинета одного из шикарных французских ресторанов, обращаясь к находившемуся тоже в сильном подпитии Сержу Бетрищеву, — а тебе до меня, Поля и Пьера далеко, ты перед нами, извини... младенец, далеко не знающей жизни... Жизнь... это запутанная, трудная книга, для изучения ее необходимо время, ты в свои двадцать два, двадцать три года, еще только начал читать ее и дочел едва до пятой главы, а Поль, Пьер и я, нам уж под сорок, мы уже дочитываем двадцатую главу... и, увы, скоро, пожалуй, увидим короткое слово: «конец».

Серж Бетрищев стал горячо возражать. К чему же в таком случае служат ему его деньги, которые он швыряет направо и налево, его кутежи, если ценой этого он не приобрел опытности. Он не пожелал окончить курса, он бросился в жизнь, в самый омут петербургской жизни, и ему кажется, что едва ли они,

более зрелые, чем он, летами, могут научить его чему-нибудь новому, им не испытанному...

Но Поль и Пьер, пьяными голосами, грузно облокотившись на стол, сквозь зубы, в которых держали дорогие сигары, выразили свое полное согласие с Коко Вельяшевым и забросали Сержа далеко не лестными для него эпитетами:

— Мальчишка!

— Щенок!

Бетрищев вскочил, обиженный, уничтоженный...

Вельяшев положил ему руку на плечо, усадил снова и начал говорить авторитетным тоном:

— Не сердись, дружище, ты очень милый, хороший товарищ, богат, великодушен и щедр, мы очень любим тебя... но все-таки тебе нельзя тягаться с нами в знании жизни... Ты вот претендуешь на это знание, говоришь, что испытал в жизни все... тогда ответь мне на следующий вопрос... чтобы быть совершенно опытным в жизни человеком, прошедшим, как говорится, огонь и воду и медные

трубы, надо иметь в своем прошлом известное количество совершенных подлостей... это неизбежно... Так, у Поля — его женитьба... у Пьера — его любовь к старушкам... у меня сплошь вся моя жизнь...

Вельяшев остановился, в его голосе звучала пьяная откровенность.

— А у тебя? — после некоторой паузы уставился он на Сержа своими осоловелыми глазами.

— У меня... — пробормотал последний, совершенно пьяный и совершенно смущенный, — у меня... Я не знаю... за собой ничего такого...

— Вот видишь ли... — вставил слово Пьер... — значит, еще ты не дорос... но не беспокойся... это придет само собой...

— И очень скоро... — воскликнул Бетрищев... — и в доказательство этого я прошу у вас сроку только три дня... Я сообщу вам о моей совершенно свежей первой подлости...

Все три прихлебателя расхохотались...

— Когда?

— Где?

— Сегодня четверг... Итак, в понедельник...

мы пообедаем у Фелисьена... в шесть часов... Первый явившийся выберет кушанья и вина...

— Это буду я... — заметил уверенно Поль.

— Человек... счет... — обратился Серж к явившемуся на звонок лакею и по обыкновению заплатил за ужин.

Собутыльники расстались.

II

На другой день Серж Бетрицев проснулся часов в двенадцать с совершенно свежей головой. Сон молодости уничтожил последствия бурно проведенной ночи.

Это всегда бывает с теми, кто в книге жизни читает еще только пятую главу. Его сотоварищи, дочитывающие, по их собственным словам, двадцатую, чувствовали себя, вероятно, на другой день далеко не так хорошо.

Проснувшись, Бетрицев тотчас вспомнил о подлости, которую он должен был совершить в эти четыре дня, под страхом уронить себя окончательно во мнении опытных прожигателей жизни; Коко, Пьера и Поля.

Он глубоко задумался, и начало интрижки, которую он намеревался закончить до поне-

дельника, восстало в его памяти.

На прошлой неделе он случайно встретился на улице с своим другом детства и товарищем по гимназии — Урбановым, которого в течение десяти лет он совершенно потерял из виду...

Радость встречи была сердечная и взаимная... Урбанов два года уже как женился... Это был брак по любви, а не по расчету... Он усердно работал для своей маленькой женушки — Лизы... совершенной куколочки, хорошенькой, изящной... В их квартире раздавались чаще звуки поцелуев, чем шелест ассигнаций... но... они еще успеют разбогатеть... под старость...

Урбанов затащил Бетрищева к себе обедать, главным образом, чтобы познакомить его с своей женой, Елизаветой Андреевной, как представил он ее.

Та приняла старого друга своего мужа с распростертыми объятиями и, хотя обед был очень скверный, Бетрищев не соскучился... Как-то особенно легко дышалось в их маленькой квартирке на пятом этаже, казалось, какое-то внутреннее солнце освещало ее далеко

не изящные стены.

Молодая женщина с нескрываемым наивным восторгом рассматривала Сержа, этого богатого юношу, изящно одетого, цвет его галстука, драгоценные камни, блестявшие в его булавке и в кольцах, на выхоленных породистых руках...

Несколько раз не ее светлые глазки набегало какое-то облачко грусти... и она особенно пристально, с какой-то затаенной мыслью смотрела на друга своего мужа. Урбанов веселый и счастливый, не замечал ничего...

Когда Бетрищев стал прощаться, Елизавета Андреевна в передней нервно пожала ему руку и проговорила чуть слышно:

— О... если бы вы только пожелали...

— Заходи... почаще... ты теперь знаешь дорогу... — крикнул ему вслед Урбанов, перегнувшись через перила лестницы.

Об этой-то Елизавете Андреевне и вспомнил Серж, возымеv «благое намерение» совершить первую подлость. Он ей понравился, это несомненно. Да и что же в этом удивительного? Он... красив... богат... Остальное пойдет как по маслу... Обмануть своего старого това-

рища... совратить с истинного пути эту женщину — полуробенка... до сих пор такую любящую, такую верную... разбить его счастье... убить эту любовь... разве это не будет подлостью высшей пробы... приятной и шикарной?..

— Я начну с сегодняшнего дня... — пробормотал Бетрищев. — Днем... Урбанов на службе... мы будем вдвоем... Это так просто...

Оказалось, впрочем, что это не совсем просто, так как, когда наступил час, он отложил свой визит на завтра, завтра на следующий день и так далее... Наконец наступил понедельник... откладывать было более нельзя... если только он желал вечером заслужить одобрение своих «почтенных» руководителей Коко, Поля и Пьера.

III

— Это вы!.. — радостно воскликнула Елизавета Андреевна, увидав входящего Бетрищева, — но мужа нет дома...

— Очень жаль... но я этого ожидал... — отвечал он веселым тоном, затворяя дверь. — Я и пришел побеседовать с вами... только с вами...

— Вот как...

Она посмотрела на него удивленно — любопытным взглядом, застигнутая врасплох в своих занятиях по хозяйству, одетая в простенькое домашнее платье, но все-таки прелестная, молодая, свежая, грациозная.

— Да, я хотел попросить у вас одно объяснение...

— В таком случае садитесь... здесь... около меня... и я вас слушаю...

Тогда без всяких предисловий Бетрищев спросил ее, что значила произнесенная ею при прощании с ним в последний раз фраза: «Если бы вы только желали»...

Она опустила голову, покрасневшая, сконфуженная... и, наконец, печально тихо произнесла:

— Я виновата... забудьте... об этом...

Но Бетрищев уже обнял ее за талию и привлек к себе.

Она вырвалась и встала:

— Милостивый государь!..

Тон ее изменился. В нем прозвучали ноты оскорбленного самолюбия честной женщины, вполне искренние ноты.

— Что с вами? Что же тут такого? — изумился он.

Она медленно заговорила. Она бы должна его выгнать тотчас же, но ее муж говорил ей... что он в гимназии был его единственным другом, почти братом... И он, красивый, богатый, который имеет свободный выбор между множеством женщин, которому стоит лишь протянуть руку, чтобы все желания его исполнились, он вознамерился обворовать ее мужа, ее бедного мужа, у которого единственное сокровище — она!..

Бетрицев встал.

— Это верно... — подтвердил он... — я подлый, низкий скот... Но если бы вы знали!..

И он последовательно рассказал ей свою жизнь, обрисовал своих приятелей Коко, Поля и Пьера, их гнусную философию жизни, свое пари на подлость, доведшее его до этого поступка.

Она слушала его с широко открытыми глазами и по временам произносила:

— Так вот каковы... эти богатые... Тогда я бы предпочла остаться бедной...

Он на коленях стал просить у нее прощ-

ния, снова обратившись в ребенка, и главное, снова обратившись в хорошего мальчика, каким он был; он умолял ее ничего не говорить ее мужу, которого он все-таки любил. Он казался таким огорченным, таким искренним, что она простила и улыбнулась.

В сущности женщина всегда польщена, в какой бы форме за ней не ухаживали... в особенности честная женщина.

— Но эта фраза? — снова начал он, — эта фраза: «если бы вы только пожелали»?.. Что она значит?

— Ничего! — отвечала она снова взволнованная. — Мой муж бранил меня... я была виновата... я вам повторяю... вдвойне виновата... вы теперь это видите сами.

Он продолжал настаивать на объяснении...

Мало-помалу она высказывалась, видя, что он так богат, слыша, что он говорит так легко о суммах, для нее баснословных, о пари в несколько тысяч рублей, безумно брошенных без всякой надежды возврата, она подумала, что ее муж и она с двумя или тремя тысячами рублей, которые бы они после возвратили,

могли бы выйти из своего бедственного положения. От друга детства, она полагала, можно, не краснея, принять эту помощь, но ее муж, с первого ее слова, разбранил ее, разбранил в первый раз в жизни, отвергнув самую мысль об этом.

Бетрищев слушал с нескрываемым волнением.

— Боже мой, не только две- три тысячи, а пять, десять, если вы хотите... Я поговорю с вашим мужем... я заставлю принять от меня их в знак моей дружбы.

— В самом деле... радостно воскликнула она... И... вы будете... всегда... умница...

— Клянусь вам... О, как я доволен... Не презирайте меня... я был совершенным идиотом... жизнь меня испортила... Как все это глупо...

Он пожал ее руку. Они расстались.

На улице он вспомнил:

— Однако, где же моя подлость?

Он посмотрел на часы, было пять часов вечера. Вельяшев, Поль и Пьер, вероятно, уже ждут у Фелисьена и заказали обед.

Бетрищев улыбнулся и отправился на бли-

жайшую телеграфную станцию.

Там он написал и отправил телеграмму:

«Ресторан Фелисьена. Вельяшеву. Эта телеграмма будет получена вами тогда, когда, вероятно, вы уже начали обедать, так как с мальчиком, подобным мне, нечего стесняться. Обед, вероятно, хорош, так как вы же его и заказали. Мне предстояло за него заплатить, но... я не приеду... Думаю, что у вас троих в карманах не найдется и пятнадцати рублей. Выпутывайтесь как знаете... Вот моя «первая подлость».

Примечания

1

Полицейские того времени. (Здесь и далее примечания автора).

[^^^]

По прозвищу.

[^^^]

Обывателей.

[^^^]

В передний угол.

[^^^]

Разбой.

[^^^]

6

Охотниками прозывали молодцов, промышлявших набегами на соседние земли.

[^^^]

Пушки.

[^^^]

8

Новгородское тесто того времени.

[^^^]

Оловянная кружка.

[^^^]

Митрополит московский, бывший после Св. Филиппа.

[^^^]

Тюрьма.

[^^^]

Так называли новгородцы ливонских рыцарей.

[^^^]

Персидским.

[^^^]

В описываемое нами время строжайшим указом запрещено было пить в будни.

[^^^]

Суд для рабов.

[^^^]

Денежная пеня.

[^^^]

Траурном.

[^^^]

Повозка для покойников.

[^^^]

Плакальщики.

[^^^]

Моровая язва.

[^^^]

Эти орудия составляли русскую артиллерию до 1450 года.

[^^^]

Пушки.

[^^^]

Старинный инструмент — род дудки.

[^^^]

В гривне их считалось 50, каждая из них стоила 20 коп.

[^^^]

Вследствие торго с иностранцами в России в то время были в обращении монеты разных стран.

[^^^]

Хлебная мера того времени.

[^^^]

Новгородский житель, тайный доброжелатель великого князя Иоанна, заколотивший 55 пушек своих земляков, за что был мучительно казнен правителями Новгорода.

[^^^]

Т. е.: в милости.

[^^^]

Первая супруга Иоанна была тверская княжна.

[^^^]

Верховые.

[^^^]

Ливонцы — название того времени.

[^^^]

Озеро новгородское, в котором потонуло много людей во время сражения с Иоанном в 1471 году.

[^^^]

В гривне их считалось 25.

[^^^]

Т. е. крепостных вечных, временных и нанятых.

[^^^]

Нынешние мещане.

[^^^]

Так назывались продавцы мелочных товаров.

[^^^]

Цеховые или мастеровые люди.

[^^^]

БаннЫЙ.

[^^^]

Конюшенный.

[^^^]

Где теперь здание судебных установлений.

[^^^]

Верховые.

[^^^]

Должность, соответствующая должности гоф-
маршала.

[^^^]

А. И. Майков.

[^^^]

Предохранительный лист для свободного
приезда в Москву.

[^^^]

45

15 500 рублей.

[^^^]

Конюшие.

[^^^]

Заведующие уборкой комнат.

[^^^]

Нынешние камер-юнкеры.

[^^^]

Оплечья.

[^^^]

Этажерка.

[^^^]

Великий князь Иоанн III первый ввел в обыкновение целование монаршей руки.

[^^^]

Этот образ вывезла из Рима великая княгиня
Софья Фоминишна.

[^^^]

Придворных.

[^^^]

Герольдам.

[^^^]

Крепость Ниеншанц была на месте Петербурга, на болотистых и лесистых берегах Невы.

[^^^]

Род бильярда.

[^^^]

Ныне крепость Шлиссельбург, основана в 1324 году князем Юрием Даниловичем и названа «Орешком» по кругловатости острова, на котором она построена. Ливонцы, завладевшие ею, называли ее Нотебургом.

[^^^]

Вперед!

[^^^]

Свирели или флейты.

[^^^]

Завесными они назывались потому, что завешивались ремнем за плечи. Были еще затинные пищали. Затин — слово старинное, означает — заряд. Затинщики — были артиллерийские служители, помощники пушкарей. Затинные пищали были собственно малокалиберные пушки; их заряжали с казенной части, или ружей, двойных колчанов с луками и стрелами, сулицы — род малого копья, которым поражали неприятеля издали, кистеней и бердышей.

[^^^]

У великих княгинь были собственные дворы, воеводы и часть войска.

[^^^]

Так назывались музыкальные инструменты того времени (прим. авт.)

[^^^]

П. Н. Петров. «Царский Суд» истцов. Кроме этой «молитвы царя», некоторые из предыдущих картин новгородского погрома заимствованы мною из той же повести.

[^^^]